

АНАТОЛИЙ
МАРИЕНГОФ


I

АНАТОЛИЙ
МАРИЕНГОФ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

АНАТОЛИЙ
МАРИЕНГОФ



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ I

СТИХИ

ДРАМЫ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

КОЛЛЕКТИВНОЕ: МАНИФЕСТЫ
И ПИСЬМА

ПИСЬМА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ТЕРРА  **ТЕРРА**
ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE

 **КНИГОВЕХ™**
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1
М26

Внешнее оформление художника
А. БАЛАШОВОЙ

Мариенгоф А. Б.

М26 Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Стихи; Драмы; Произведения для детей; Очерки; Статьи; Коллективное: манифесты и письма; Письма; Комментарии / Вступ. ст. З. Прилепин. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 784 с., 32 с. ил.

ISBN 978-5-4224-0738-5 (т. 1)

ISBN 978-5-4224-0737-8

Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962) – писатель, поэт, драматург, один из основателей ярчайшего литературного течения Серебряного века – имажинизма. Многие работы А. Б. Мариенгофа долгое время были неизвестны читателю. Данное издание является первым собранием сочинений писателя, где в наиболее полной форме представлено все его литературное наследие: от произведений для детей до пьес и мемуаров

В первый том собрания сочинений включены стихи разных лет, драмы, произведения для детей, статьи, очерки, коллективные манифесты имажинистов и личная переписка А. Б. Мариенгофа.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-4224-0738-5 (т. 1)
ISBN 978-5-4224-0737-8

© А. Мариенгоф, наследники, 2013
© З. Прилепин, вступительная статья, 2013
© О. Демидов, состав, комментарии, 2013
© РГАЛИ, фотоматериалы, 2013
© Книжный Клуб Книговек, 2013

Синематографическая история

Как ни странно, начнем мы с чужого стихотворения.

Отчего-то Есенину хотелось родиться в ночь с 6 на 7 июля, в праздник Ивана Купалы.

«Матушка в Купальницу по лесу ходила. <...> Охнула, кормилица, тут и породила», — писал он о своем рождении, которое на самом деле случилось осенью.

А 7 июля (по новому стилю) родился Анатолий Мариенгоф. Был такой сочинитель.

Матушка его происходила из обедневшего дворянского рода. Правда, ночь родов она провела не в лесу — а в Нижнем Новгороде, где жила вместе со своим мужем — Борисом Мариенгофом, евреем-выкрестом, человеком красивым, дельным, образованным, имевшим что-то вроде собственной аптеки и, кстати сказать, бывшим под надзором местной полиции по поводу своих неблагонадежных взглядов.

Позже, в поэме «Развратничая с вдохновением» Мариенгоф утверждал, что родился на Лыковой Дамбе — так это или нет, установить не удалось, но доподлинно известно, что проживали Мариенгофы в самом центре города, по адресу Большая Покровская, 10В. Дом их по сей день стоит на том же месте, все такой же снаружи, и даже лестницы, по которым бегал маленький Толя, те же.

Лыкова Дамба — в пяти минутах от Покровки; вполне возможно, что роды проходили на дому, а Мариенгофу просто понравилось это наименование, притягательно ассоциирующее с выражением «лыко в строку».

Мать умерла, когда он учился в гимназии.

То ли от пристального внимания полиции, то ли от мест, связанных со смертью жены, то ли по каким иным причинам Борис Мариенгоф и двое его детей (Анатолий и его младшая сестра) решил в 1913 году перебраться в Пензу, где стал представителем фирмы «Граммофон».

Там Анатолий закончил гимназию. Странно, но этот глубоко начитанный и быстро думающий человек, отлично знавший историю и античную литературу, писавший, как показывают

рукописи, достаточно грамотно — учился на одни «тройки». Хотя, да не покажется вам это сравнение некорректным, будущий — в известном смысле — кумир Мариенгофа, Лев Николаевич Толстой, тоже настолько дурно учился в университете, что даже бросил его.

После окончания гимназии, летом 1916-го Анатолия Мариенгофа мобилизуют на фронт. Армейская жизнь позже так или иначе будет отображена в его романе «Бритый человек».

Окончив школу прапорщиков, Мариенгоф возвращается в Пензу, где его застает революция.

Итак, он — офицер, имеющий все шансы в скорой Гражданской отправиться воевать за Белую идею, но это, конечно, совсем не его история — Октябрь Мариенгоф встречает восхищенно, о чем явственно будут говорить, да что там «говорить» — вопить его стихи.

Еще в гимназии Мариенгоф начал сочинять («С восьми лет / Стал я точить / Серебряные лясы») и даже организовал поэтический кружок. По возвращении с фронта он принялся за литературу совсем всерьез.

В 1918-м Мариенгоф выпускает первую свою книжку — «Витрина сердца». В одиночку придумывает поэтическую школу русского имажинизма, теоретиком которого становится (в Москве, независимо от Мариенгофа, тот же самый имажинизм тогда же придумает поэт Вадим Шершеневич — идеи в воздухе витают).

В том же году в Пензу вошли так называемые «белые чехословаки».

И случается ужасное: в нелепой перестрелке гибнет отец Анатолия Мариенгофа.

Позже, в своих мемуарах Мариенгоф опишет ситуацию так, будто бы причиной смерти отца послужил он сам — сына повлекло к «месту событий», отец побежал за ним и был смертельно ранен в пах.

Однако сводный брат Анатолия Мариенгофа — Борис в мемуарах напишет, что все было иначе. А именно: «Я родился 28 мая 1918 года в Пензе. Как раз в мае был бой с белочехами... и в этом бою в отца попала шальная пуля, когда он выбежал на крыльцо посмотреть извозчика, который отвез бы его в роддом, где я родился...»

Брат Борис путает? Или Анатолий Мариенгоф зачем-то взял незаслуженную вину на себя? Правда неизвестна и вряд ли когда-то откроется.

Но вот важный момент: оставшийся полным сиротой поэт, хоть и вчерашний офицер, — но совсем еще юноша, никакого

болезненного сиротства не чувствует — напротив, если при-
смотреться, он находится в состоянии эйфории и бешеного
прилива сил.

В первую очередь, это выражается, конечно, в его стихах.

Первые же, из числа дошедших до нас, сочинения Мариенгофа — замечательны. Они по сей день кочуют из антологии в антологию русской поэзии. Скорее всего, гимназические его опыты не сохранились, в итоге получилось так, что он вовсе не имел периода ученичества, а сразу объявился, как сложившийся автор.

Полдень, мягкий, как Л.
Улица, коричневая, как сарт.
Сегодня апрель,
А вчера еще был март.
Апрель! Вынул из карманов руки
И правую на набалдашнике
Тросточки приспособил.
Апрель! Сегодня даже собачники
Любуются, как около суки
Увивается рыжий кобель.

Прелесть; очень весенние стихи.

Что с таким добром было делать ему? Естественно, перебраться из «толстопятой Пензы» (его определеннице) в Москву.

Перебирается.

Там он (внимание!) немедленно попадает на работу в секретариат ВЦИК: двоюродный дядя — комиссар водного транспорта, что вы хотите!

Как выглядел Мариенгоф в те дни, рассказывает поэт Рюрик Ивнев: «В приемной увидел сидевшего за столиком молодого человека, совершенно не похожего на советского служащего. На фоне потертых френчей и галифе он выделялся своим видом и казался заблудившимся <...> гвардейским офицером. Черные лакированные ботинки, розовый лак на отточенных ухоженных ногтях, пробор — тоже гвардейский...»

И здесь имеет место новая развилка.

Хваткий и умный юноша мог бы сделать карьеру в советском государстве — кадров не хватает, а тут само все идет в руки.

Но нет — и карьеры он тоже бежит. Поэзия! Поэзия его влечет.

В 1919 году выходит альманах «Явь» с подборкой новых стихов Мариенгофа. Самое мягкое определение, что можно придумать для них, «эпатажные».

Впрочем, едва ли и оно подходит.

Это стихи дикие, безумные, их будто бы сочинял человек, бьющийся в паучей, или восхитительно ее имитирующий:

Кровью плюем зазорно
Богу в юродивый взор.
Вот на красном черным:
— Массовый террор.
Метлами ветру будет
Говядину чью подместь
В этой черепов груди
Наша красная месть
По тысяче голов сразу
С плахи к пречистой тайне
Боженька, сам Ты за пазухой
Выносил Каина

Ужас; с этих строк, собственно, и начиналась подборка в альманахе.

Можно сказать и по-другому: так началась слава Мариенгофа.

12 марта 1919 года по поводу альманаха появилась разносная статья в «Правде» под названием «Оглушительное тьявканье».

«...Апогей хамства» — так охарактеризовала главная большевистская газета стихи Мариенгофа. Автор статьи посчитал нужным объяснить, что подробно останавливается на фигуре Мариенгофа потому, «...что его стихи занимают первое и самое видное место в сборнике: потому, что он задает тон, потому что он самый яркий, <...> потому что он до конца договаривает то, на что другие только намекают».

А в альманахе между тем наряду с Мариенгофом были опубликованы Андрей Белый, Василий Каменский, Борис Пастернак — но их едва заметили. У него, конечно, подборка была солиднее, но дело все равно не в этом. Стихи его совершенно очевидным образом имели оглушающий эффект.

Дали Мариенгофа почитать вождю мирового пролетариата, Владимиру Ильичу, он отозвался коротко: «Больной мальчик».

Мы не записывались в адвокаты советской власти, ни в ее хулители, но так ли уж болен был Мариенгоф — на фоне того, что творилось тогда в стране?

То, что словно бы в полузабытьи выкрикивал он — это было эхом того, что выкрикивало и выхаркивало время.

В том же году происходит знакомство Мариенгофа с Есениным.

Дружба их стала определяющим моментом в судьбе не только первого из этой пары. Мариенгоф тоже стал самым важным человеком в жизни Есенина. Достаточно сказать, что они прожили вместе, в одной квартире больше, чем Есенин жил с любой из своих жен.

И фотографий совместных у них столько, сколько у Есенина нет ни с одной женщиной — мало того, их больше, чем снимков у Есенина со всеми его женами и любимыми вместе взятыми! В этом смысле хоть какую-то конкуренцию составляет Айседора — но тут другая история: это не сами Есенин и Дункан фотографировались — это их, как одну из самых известных и скандальных пар, фотографировали репортеры.

Происхождение фотографий Мариенгофа и Есенина иного свойства: им ужасно нравилось себя запечатлеть. Они были уверены, что это — для истории.

Есенин посвятил Мариенгофу самую главную свою теоретическую работу «Ключи Марии» (1918), лучшие поэмы: маленькую — «Сорокоуст» (1920), и драматическую — «Пугачев» (1921), «Я последний поэт деревни...» и еще одно пронзительное стихотворение «Прощание с Мариенгофом» (1922): «...Среди прославленных и юных / Ты был всех лучше для меня»...

А какие письма он писал ему!

«Милый мой, самый близкий, родной и хороший...»

«...если б ты знал, как вообще грустно, то не думал бы, что я забыл тебя, и не сомневался... в моей любви к тебе. Каждый день, каждый час, и ложась спать, и вставая, я говорю: сейчас Мариенгоф в магазине, сейчас пришел домой...»

(Свою переписку поэты публиковали в журналах, критика реагировала так: «Неужели интимные письменные излияния Есенина к "Толику" Мариенгофу вроде: "Дура моя — ягодка, дюжину писем я изволил отправить Вашей сволочности, и Ваша сволочность ни гу-гу", — могут растрогать и заинтересовать хоть одного обитателя Москвы?»)

О, нет, надутый глупец. Обитателей Москвы интересуют только критики — они так смешно смотрятся спустя некоторое время.)

Это была высокая дружба — о таких отношениях слагают песни и пишут романы.

«Как Пушкин с Дельвигом дружили, / Так дружим мы теперь с тобой», — писал Мариенгоф и вовсе не кривил против истины.

Все понятно, что нам могут сказать по этому поводу: «Не было бы Есенина — не было бы никакого Мариенгофа!» Мол, щедрый рязанский Лель пригрел на груди змею с лошадиным лицом — Толю, — а тот позже отблагодарил черной, без вранья, неблагодарностью, написав известные мемуары.

На самом деле, все как раз наоборот. Когда бы Мариенгоф писал и жил отдельно от Есенина — он и остался бы, как отдельный стихотворец и писатель вполне себе первого ряда, ну, или, полуторного — потому что там тако-ой первый ряд был — глаз не хватит вершины разглядеть. Что поделать, да, Есенин — гений. Есенин был настолько огромен, что оказался способен заслонить кого угодно — собственно, и заслонил. Как будто, великий поэт Николай Клюев выбрался из-под есенинской тени.

Но...

Они собирались выпустить книгу «Эпоха Есенина и Мариенгофа», даже написали для нее манифест (и в очередной раз сфотографировались вдвоем). Долгое время (по меркам стремительной и короткой жизни своей) Есенин, безусловно, воспринимал своего друга — как равного.

Позже заходила речь о другом совместном сборнике, на обложке которого было бы написано: «Есенин и Мариенгоф. "Хорошая книга стихов"».

И если Мариенгоф — бездарность и негодяй — это что ж означает, что у Сергея Александровича был дурной вкус? Что он не разбирался в людях? А мы теперь такие умные выросли, что разбираемся?

Мало того, слава Есенина — действительно, огромная уже при жизни, — вовсе не затмевала уверенной известности Мариенгофа.

Мариенгоф был одним из самых издаваемых поэтов той эпохи. С 1918 по 1921 год у него вышло восемь книг стихов! В то время как 99 из 100 поэтов и одну не могли издать. (У самого Маяковского — всего шесть сборников опубликовали за тот же период; больше, чем у Мариенгофа, появилось книг только у Демьяна Бедного и Блока).

Поэтические сборники Мариенгофа читали запоем, передавали из рук в руки, уже при жизни — о нем (и о Есенине, конечно) писали книжки.

Критик Л. Повицкий констатировал в главном на тот момент советском журнале «Красная новь»: «Нет имени в стане

русских певцов и лириков, которое вызывало бы столько разноречивых толков и полярных оценок, как имя Мариенгофа».

Когда замзава Агитпрома Я. Яковлев по поручению Сталина делал обстоятельную докладную записку о ситуации в литературе, среди двадцати основных имен самых видных советских писателей (Горький, Городецкий, Асеев, Маяковский, Пастернак, Эренбург, Всеволод Иванов, Пильняк, Зощенко, Есенин...) — он, естественно, называет Мариенгофа. Без него картина была немислима.

Многие ли знают, что Мариенгоф, совместно со скульптором Якуловым, который, конечно, погоды не делал, безо всякого Есенина собирал на свое выступление Колонный зал Дома Союзов? «Никогда еще, вероятно, стены дома не видели такого количества публики. <...> Это были юные и бурнопламенные студенты, <...> заполнившие зрительный зал задолго до наступления диспута», — отчитывалась пресса.

Ему мучительно подражали молодые поэты — наследники имажинистов, которые как грибы росли в первые послереволюционные годы по городам Советской России.

В журнале «Студенческая мысль» советский критик П. Зырянин напутствовал студентов, увлекающихся поэзией: «Отсутствие ритма современности, вялость и бледность — вот поэтические болезни, от которых очень многим из наших поэтов надо лечиться, принимая внутрь большие дозы...» — далее на вопрос, кого он назовет, — отвечаем: «...большие дозы стихов Маяковского, Есенина, Зенкевича и Мариенгофа».

Сравните с польской прессой, которая писала о лучшей советской поэзии, называя три главных имени: «Кое-кто слышал, конечно, кое-что об «апофеозе большевизма» в произведениях Блока, о кощунстве и других ужасах в произведениях Мариенгофа и Есенина, но <...> в этих произведениях рядом с несомненными странностями сверкает чистейшая струя вечной красоты в новых и бесконечно разнообразных образах и формах».

Лиру Мариенгофа высоко ставил гениальный Велемир Хлебников и прямо признавал, что тот оказал на него очень важное влияние.

А как его любили женщины! Поэтесса Сусанна Мар первый сборник стихов называет «АБЭМ», зашифровав в названии книжки имя любимого поэта и обожаемого мужчины.

В 1920, в Политехническом музее четыре молодых человека, под восторженный грохот толпы, подняв вверх правые руки и поворачиваясь кругом, читали свой «межпланетный марш»: «Вы, что трубами слав не воспеты, / Чье имя не кружит

толп бурун, — / Смотрите — / Четыре великих поэта / Играют в тарелки лун».

Четыре поэта — это Мариенгоф, Есенин, Шершеневич и Грузинов. Вышеназванная веселая компания, организовавшая Орден имажинистов, стала на несколько лет самой серьезной литературной силой в стране.

Газета «Известия ВЦИК» с возмущением писала: «Имажинизм <...> пошел дальше и глубже. Вчера он, можно сказать, безраздельно участвовал в области поэзии, а сегодня уже переселился в беллетристику, выступая под именами Борис Пильняк, Всеволод Иванов <...> и прочих подражателей имажинизму, которых достаточно и в среде пролетарских поэтов».

Имажинисты владели двумя книжными лавками, кино-театром, тремя литературными кафе (главное из которых — «Стойло Пегаса» — Моссовет освободил от большинства налогов, и работало оно, в отличие от всех московских заведений, не до 24, а до трех утра). Ездили в собственном салон-вагоне по стране, в которой только что закончилась Гражданская война. Причем по своим маршрутам! Шили пальто и костюмы у самого дорогого портного Москвы Деллоса и щеголяли в них — в нищей Москве. А цилиндры! Помните, что у Есенина в стихах появляется цилиндр? Так они действительно в них ходили, ошарашивая прохожих. Глянцевые цилиндры, пальто от Деллоса с широкими меховыми воротниками, и лаковые башмаки плюс к тому!

Имела компания и свое постоянное место для развлечений — подпольный салон Зои Шатовой. Позже это место было описано Булгаковым в «Зойкиной квартире» (а Мариенгофа тот же Булгаков спародировал под именем Ивана Русакова в «Белой гвардии»).

Когда салон накрыли, а всех находившихся там арестовали чекисты, советская пресса писала: «...у Зои Павловны Шатовой все можно было найти. Московская литературная богема — Мариенгоф и все его друзья — весело распивали "николаевскую белую головку", "старое бургундское и черный английский ром" <...> здесь производились спекулянтские сделки, купля и продажа золота...»

Много было веселого и разного, о том прочтете у самого Мариенгофа в его книгах.

Молодость их — удалась безусловно. У судьбы они отыграли тогда все, что смогли, не упустив ни одного шанса.

А потом дружба с Есениным оборвалась.

Мы не будем вдаваться в эту тему, она сложная и неоднозначная — и это отличный сюжет для кино, который, к слову

сказать, до сих пор пытались разрешить весьма тенденциозно, и — напрасно, что так.

Есенин тогда в очередной раз женился — на упомянутой танцовщице Айседоре Дункан, а Мариенгоф — в первый и последний раз — на актрисе Анне Никритиной.

И началась следующая серия жизни Мариенгофа.

Та эпоха — закончилась.

Замелькали титры.

* * *

Но о поэте Мариенгофе, под титры, мы все-таки скажем несколько слов.

В Пензе, в здании по улице Московской, 34, до революции размещалась частная гимназия Пономарева — там учился и там собрал поэтический кружок Мариенгоф. А сейчас в этом здании находится магазин под названием «Арлекино». Знаковое совпадение!

Арлекин, клоун, акробат, даже шут — те маски, которые выбрал себе Мариенгоф: создатель собственной уникальной поэтической мастерской, реформатор рифмы (собственно, то, что он сделал с неправильной, разноударной рифмой — вещь совершенно уникальная), ну и самое главное — своей, узнаваемой и только для него характерной манеры, кого-то — отталкивающей, кого-то — завораживающей.

По черным ступеням дней,
По черным ступеням толп
(Поэт или клоун?) иду на руках.
У меня тоски нет.
Только звенеть, только хлопать
Тарелками лун дзин-бах!

Многие купились на эти его — под куполом — кульбиты, кто-то аплодировал, кто-то свистел, но только самые внимательные догадались, что кричит он столь дерзко и громко далеко не всегда для того, чтоб на него обратили внимание. Иногда он кричит так, как кричат дети, чтоб напугать то, что самих их приводит в ужас.

К тому же маска шутства дает возможность, словно бы кривляясь, говорить о самом главном и самом страшном (шут потом станет частым персонажем стихотворных драм Мариенгофа, да и кто герои его романа «Циники», как не трагические шуты? Можно сказать, что повествование романа «Бритый человек» так же идет от лица шута).

Имажинистская школа — с ее ставкой на совмещение чистое и нечистое, на читательский шок — очень подходила Мариенгофу.

В раскрытую рану какую,
Неверия трепещущие персты
Сегодня Страстной Монастырь
Из горла выдавлю, завтра кухмистерскую.

Впрочем, и для Есенина имажинизм — этап мало того, что не лишней, но, уверенно скажем мы, — один из наиболее важных. В какой-то момент он стал слишком остро чувствовать, что все произносимые им слова — уже кто-то держал в руках до него. Хотелось использовать старые слова так, чтоб они, как из-под копытца, вылетали новыми и золотыми — иначе зачем вся эта поэзия.

И тогда Есенин понял, что для этого надо бить одним словом о другое — крайне неожиданное! — вдруг выдавая непредсказуемый образ, поражающий наповал («Всем вам спокойной ночи! / Отзвенела по траве сумерок зари коса... / Мне сегодня хочется очень / Из окошка луну обоссать», — это Есенин, знаете?).

Пройдя имажинистскую — наимоднейшую на тот момент, сверхмодернистскую школу, Есенин совершил свое, мир покорившее чудо. После революции он как-то вслух пожаловался пролетарскому поэту Кириллову, что «слова стерлись, как монеты». В имажинизме Есенин оживил и перекалил эти монеты — и затем простейшие слова в его устах зазвучали точно и пронзительно.

С тех пор уже сто лет целые полки поэтов почвеннического направления пытаются быть «как Есенин» на том (немалом) основании, что у них тоже есть кровное и мучительное чувство Родины.

Между тем Есенин уже в 1921 году написал: «Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками языка. Когда они посылали своим врагам птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию был нужен целый синедрион толкователей. Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким».

«В некоторой степени», да — но не в абсолютной. Но если эта степень — никакая, искусства тоже не получается.

Чувство Родины — прекрасное чувство, но у многих и многих русских почвенников скажем, очень серьезно огрубляя — никогда не было своего Мариенгофа — этого великолепно-го поэтического фокусника и затейника, этого неустанного стрелка из лука, этого денди и в поэзии, и по жизни.

У Мариенгофа — только не бросайте в меня камнем — Есенин многому научился. Доказать это несложно, находя в стихах Мариенгофа слова, сочетания и мелодии — которые уверенно брал в долг Есенин для создания своих прекрасных песен.

Поэту Эрлиху Есенин говорил, что у него в «Пугачеве» рифмы — «как лакированные башмаки».

В самом широком смысле, и в прямом и в переносном, лакированные башмаки в жизни Есенина появились — от Мариенгофа. Есенин с удовольствием надел их, выбросив лапти Николая Клюева, — и Клюев этого Есенину не простил никогда, обиженно восклицая, что новые стихи любимого Сереженьки «...поливал Мариенгоф / кофейной гущей с никотином».

Поливал-поливал, все верно: и так выросли невиданные цветы.

Есенин вовсе не обязан был хранить в душе благодарность Мариенгофу за дружбу и, в известном смысле, сотворчество. Есенин был гений, ему прощительно. Но мы-то взрослые люди, мы должны себе в этом отчет отдавать.

На друга своего Мариенгофа Есенин уже в 1921 году немало озлился, сказав, что Толя «ничему не молится», а нравится ему «только одно пустое акробатничество».

Тут, видимо, возник вопрос о вышеупомянутой «некоторой степени», которую, по мнению Есенина, Мариенгоф преступил, увлекшись сочинением песен исключительно от ума.

На эти есенинские слова любят ссылаться безмерно почитающие Есенина и столь же безмерно не любящие Мариенгофа.

В них, да, есть правда.

Но разве Мариенгоф не внял им? Внял!

Образы его с каждым годом становились все более органическими.

Тяжелым яблоком
Свисает стих —
Сегодня он впервые солнценосно вызрел, —
И празднует поэт
Свой августовский Спас
Прости,
Волос горячий пепел!
Зачесанный сурово локон,
Спадешь ты на чело фонтаном седины —
То будет час,
Когда перешагну за середину.

А молился ли он? Ну, да — безусловно.

Быть может, Родине в меньшей степени, чем Есенин, хотя и ей тоже.

Но дружбе и высокому искусству молился точно — и этого не мало.

Сегодня вместе
Тесто стиха месить
Анатолию и Сергею.

Поэтическая дружба была для него священнодействием!

Когда дружба иссякла, а заодно и революция, в которую так неистово поверил Мариенгоф, начала менять обличье, — стала истощаться и поэтическая страсть его.

О други, нам земля отказывает в материнстве,
Пусть будем мы в своей стране чужими
Делить досуги с ними мудрено, —
Они целуют в губы нелюбимых,
Они без песен пьют вино
Не говорите ж стихотворцам горьких слов,
В пустыне жизнь что легкий дым,
Но хлеб черствее, чем камень.
Мы сами предадим
Торжественному запустению
Любимые сады стихов.

Именно тогда и выяснилось, что Мариенгоф в поэзии и в поэтической дружбе (а эти вещи для него, пожалуй, равнозначные) не лукавил и не кривлялся — он весь из этого состоял.

Прочитавшие в 1922 году строки Мариенгофа о том, что он сам предаст запустению свои любимые стихотворные сады, могли подумать, что он опять кокетничает.

Но нет — его поэтическая страсть очень скоро сойдет на нет.

Из поэзии его уйдет воздух и ветер, и воля, и фантазия. После смерти Есенина всерьез стихов он писать больше не будет — а те, что напишет — их могло бы и не быть.

Более того: иных — действительно лучше бы и не было.

У Мариенгофа в имажинизме слова сияли — порой мертвенным цирковым блеском, порой солнечным, а потом — раз, и сиять прекратили.

Как будто Арлекин снял маску и мы увидели уставшего, постаревшего человека, нервного, неровного... впрочем, еще очаровательного, еще помнящего, что он умел когда-то.

Пока был «поэт или клоун» и шел на руках — получался ошеломительный «дзин-бах».

Потом «перешагнул за середину», встал на ноги, и понял, что пора заняться другим делом.

Были у Мариенгофа, как минимум, три попытки заговорить новым поэтическим голосом: стать детским поэтом (во второй половине двадцатых), военным поэтом (в сороковые-роковые) и автором кратких поэтических афоризмов (самая последняя попытка и самая удачная из всех).

Все три истории заслуживают рассмотрения, но, по гамбургскому счету, вышеназванное любопытно лишь в том контексте, что это написал «тот самый» Анатолий Борисович, или «рыжий» — как его Есенин любовно называл.

Рыжий Арлекин с тарелками лун.

* * *

Прозаика Мариенгофа при жизни удивительным (удивительнейшим!) образом никто в полной мере не оценит.

Едва ли не впервые назовет вещи своими именами другой «рыжий» — Иосиф Бродский.

Предваряя французский перевод «Циников», он взвешенно скажет, что это «...одна из самых новаторских работ в русской художественной литературе этого века, как в плане языка, так и в плане структуры. <...>. К примеру, он стал первым, кто использовал прием "киноглаза", позднее получивший такое название благодаря любезности великой трилогии Джона Дос Пассоса. <...> Другая замечательная особенность "Циников" в их остроумных, оборванных диалогах».

И еще, важное, о героях:

«Ее зовут Ольга, ее мужа — Владимир. Оба имени несут в себе отзвук Киевской Руси, и умышленно служат примером исконных категорий Русского мужчины и Русской женщины. Или, если кто-то желает шагнуть дальше, — русской истории, как таковой».

Рыжий рыжего увидел издалека!

А при жизни Мариенгофа события развивались так.

В 1926 году Мариенгоф издаст маленькую книжечку «Воспоминания о Есенине».

Подумает-подумает и вскоре дополнит ее до целого романа, который отлично, со свойственным ему дендистским шиком и цинизмом, назовет «Роман без вранья».

Выпустит книжку ленинградское издательство «Прибой». Скандал будет — ух!

Еще бы, во всех красках расписать юные и богемные похождения самых известных в постреволюционной России

поэтов, а Есенина неожиданно преподнести не как херувима, голубей целующего в уста, а как глубоко непростого и мятежного человека.

Роман ругали все подряд: и Горький, и советская пресса, и друзья Есенина (за то, что Есенин не настолько хорош, как надо бы), и враги Есенина (за то, что Мариенгоф слишком любит своего друга), и моралисты всех мастей, и всякие пошляки тоже.

Бунин, сжимая челюсти, в своей надменной манере повторял: смотрите какой талантливый роман — как точно он описал мерзкую жизнь всей этой мрази (Иван Алексеевич и Мариенгоф не терпел, и Есенина не жаловал).

На долгие годы роман стал легендой, о нем обязательно упоминали в послесловиях к бесконечным переизданиям есенинских стихов как о гадком пасквили. Однако массовой публике прочесть его удалось только в новейшие времена.

И вдруг выяснилось, что ничего чудовищного в этой острой и меткой книжке нет.

Чего все так возбудились-то вообще?! — вот что думалось тогда.

Мариенгофу нужно было просто поверить — именно он знал, что описывал, как никто другой.

Уже четверть века «Роман без вранья» переиздается непрерывно — с 1988 года он выходил отдельными изданиями и в антологиях, как минимум, 16 раз. Анатолий Борисович, безусловно, порадовался бы этому обстоятельству.

Собственно, скандальный успех и во второй половине 20-х имел место быть: книгу Мариенгофа за два года переиздали трижды.

И тут мы вынуждены отметить важную человеческую черту нашего героя.

По большому счету, ему было все равно, что писать: стихи, романы, пьесы, теоретические трактаты, драмы в стихах или мемуарную литературу.

Он обладал личностным зрением, своей, как Есенин это называл, словесной походкой, своим, в конце концов, шармом — и мог проявлять себя в любых жанрах.

Есенин писал о себе, что «осужден на каторге чувств / вертеть жернова поэм». Мариенгоф мог вертеть жернова чего угодно.

Главное, что ему было необходимо — немедленная реакция на сделанное. Рюрик Ивнев вспоминал, как Мариенгоф удивлялся, зачем заниматься поэзией для себя, пряча написанное в стол: «Ну, знаешь, — сказал Мариенгоф, — Хоть убей меня, я

не могу понять, как можно писать стихи, зная, что они не будут напечатаны сейчас же, немедленно».

В середине 20-х он догадался, что его поэзия Советской России нужна не очень (она и в постсоветской не нужна, правда, по другим уже причинам: при Советах некоторые стихи прятали от читателей, а сейчас читатели прячутся от любых стихов).

На тот момент у Мариенгофа было три пути, которыми он мог пойти (и пошел): переквалифицироваться в драматурги, переквалифицироваться в сценаристы и, наконец, стать писателем — раз такая масть началась.

По сути, Мариенгоф будет заниматься всеми этими тремя занятиями одновременно, но в какой-то период именно на прозу сделает наивысшие ставки.

Раз так гремит «Роман без вранья» — почему бы и нет? А то, что ругают — ну, так мало ли его ругали: удар он умел держать, хотя на критиков огрызался постоянно, и зазорным это не считал (как, впрочем, и почти любой русский классик).

В общем, Мариенгоф принимается за новый и уже самый настоящий, не мемуарный роман — «Циники».

* * *

Отметим один парадокс. В общественном восприятии Мариенгоф — все-таки поэт (к примеру, именно как поэт он рассматривается в гуманитарных вузах). При этом большую часть жизни он занимался драматургией и на это жил.

Однако самой известной его книгой стали все-таки «Циники».

Подавляющее большинство поклонников Мариенгофа — поклонники этого романа. Эту книгу чаще всех остальных его книг переводили (и по сей день переводят) на иностранные языки. Только в Германии «Циники» выходили пять раз! А еще — в Англии и США, в Голландии, Италии, Франции, Сербии, Финляндии... О романе пишут серьезные исследовательские работы. Именно «Циники» были экранизированы — с Ингеборгой Дапкунайте и Андреем Ильиным в главных ролях — постановка Дмитрия Месхиева по сценарию Валерия Тодоровского.

«Циниками» Мариенгоф доказал, что он интересен не только как автор неканонического портрета Есенина, а как самостоятельный писатель, аналогов не имеющий. Он, конечно, и поэт редкий и небывалый — но кто у нас тут еще не разучился читать и ценить стихи? — поднимите руку! А лучше — обе руки. И сдавайтесь: наше время истекло.

«Циники» были сделаны меньше чем за год — в 1928-м.

На волне успеха «Романа без вранья» Ленинградский отдел Госиздата решил издать второй роман Мариенгофа.

Ему, конечно же, ужасно не терпелось, и когда берлинское издательство «Петрополис» («Petropolis Verlag») тоже предложило издать «Циников», Мариенгоф, естественно, согласился — а пусть выйдет сразу и в Берлине, и в СССР, почему бы и нет!

Немцы, к несчастью (или к счастью?), оказались куда более проворны, чем «Госиздат», и роман Мариенгофа издали стремительно — в октябре того же 28-го: только с рабочего стола, еще теплый, и вот уже — готовая книжка, вся эмиграция читает.

«Книга странная и, местами, отвратительная, но умная, резкая и отчетливая», — писал Георгий Адамович, первое критическое перо эмиграции.

«Автор ее, — рассказывал Адамович, — довольно известный поэт, бывший футурист (неправда. — *Примеч. З. П.*), бывший имажинист, и сводит он счеты не только с революцией, но, кажется, и со средой, в которой долго жил...»

Адамович не заметил только одной вещи, которую вообще мало кто замечает в Мариенгофе: с кем бы он ни сводил счеты — самый серьезный счет у него все равно к себе. Мы уже упоминали выше о том, что, возможно, он сам на себя навесил чудовищный грех за смерть отца — но это лишь один из примеров.

В целом, «Циники», конечно же, не столько антибольшевистская книга (пожалуй, даже и вовсе нет — о чем сам Мариенгоф будет вполне, на наш взгляд, искренне говорить твердолобым советским критиканам), сколько месть самому себе за свой юношеский цинизм.

Мол, что, Толя, хотел кровавых метел, человеческой говядины и плах?

Получай от жизни в зубы тогда.

Ты думаешь остаться в стороне, когда жизнь перемальвает огромными челюстями всех подряд? Нет, она перемолотит и тебя, вместе с твоей любовью и твоими книжками, с которых ты так любил стирать пыль.

Однако диалог Мариенгофа 1928 года с самим же собой десятилетней давности советскую критику не взволновал. Куда больше взволновало их то, что весьма сомнительный роман вышел в Берлине (сначала на русском, а спустя год и на немецком), и трактуют эту книжку за границей в совершенно однозначном ключе.

Тогда в советской прессе как раз прошла злая кампания по поводу Бориса Пильняка и Евгения Замятина, тоже переправивших свои неполиткорректные сочинения в Берлин, — теперь к ним начали суровой ниткой подцеплять и Мариенгофа.

В 1929 году «Литературная газета» дала программную статью, где осудила теперь уже писателя Мариенгофа за «тенденциозный подбор фактов, искажающий эпоху военного коммунизма».

«Красная газета» выступила с однозначным призывом уже в заголовке: «За Пильняком и Замятиным — Мариенгоф». (Интересно, вспоминал ли этот заголовок Мариенгоф в 1938-м, когда прочитал в «Правде» известие о том, что Пильняка расстреляли?)

Впрочем, Мариенгоф и не собирался опускать руки. («Я трижды верую, что огонь вдохновенья / Не погасит позорной оплеухой», — говорит у Мариенгофа поэт Тридиакровский в драме «Заговор дураков». Именно!)

Он на разгоне — как так, только начал, не останавливаться же, когда летишь на всех парах...

На работоспособность он никогда не жаловался — при всем своем дендизме, Мариенгоф был тот еще трудяга.

В общем, пока его пропесочивают, в 1929 году он делает еще один роман — «Бритый человек».

И, самое главное, несмотря на все случившееся в течение года — опять отправляет его в «Петрополис»: а что? хочу — и печатаюсь.

Но тут случилось то, что в случае Мариенгофа всегда было куда более действенным, чем любая критика.

Выход «Бритого человека» за границу почти не заметили (в том числе, и потому, что в романе как-то слишком мало антибольшевистского: зацепиться не за что!.. А что, вы до сих пор думаете, что эмигрантская критика была многим умней, чем советская? Та же история, только в профиль).

Более того, и в Советской России на выходку Мариенгофа вовсе не обратили внимания.

Этого он уже не мог потерпеть. Еще Есенин в свое время высказывался примерно так: «Что бы не говорили — лишь бы говорили». А тут — полное молчание.

Надо срочно менять профессию, решил Мариенгоф.

Всякий раз со сменой ампула он как бы закрывает израсходованный жанр.

Итак, было написано три романа (26-й — «Роман без вранья», 28-й — «Циники», 29-й — «Бритый человек») — все, finita.

В конце 30-х он потряхнул стариной, сделал целый исторический роман «Екатерина» — но это явно была не органичная его собственным желаниям попытка, что называется, вписаться в литпроцесс. Роман, с одной стороны, получился несколько вымученный, каждую главу он перекатывает, как камень — ох. С другой стороны, это ж все равно Мариенгоф — и в каждой главе — да не по разу — замечаешь: а умел же ведь! Ай, как красиво мог составлять слова.

Но «Екатерина» все-таки послесловие к прозаику Мариенгофу.

* * *

Малую прозу можно делать на уровне фразы или на уровне абзаца.

Это — всегда самая эффектная и самая видимая часть работы. Всякую фразу можно принарядить. При умении можно зажечь ее, как бенгальский огонь и она начнет искриться. Абзац можно построить, как анекдот, как театральную зарисовку, — всем будет, как минимум, забавно.

Большая проза делается на других механизмах, когда сюжет, разрешение характеров героев и вообще движение романа происходит как бы скрыто — это нельзя рассмотреть, это можно сравнить с работой мотора. Все едет, но ты не видишь, как именно такая машина приведена в движение.

Прозаик Мариенгоф поставил любопытнейший эксперимент. Он учился писать романы по «Опавшим листьям» Василия Розанова: то есть, грубо говоря, по дневникам.

Внешне — это не «большая проза». Это набор цирковых номеров в пределах одного абзаца.

Так написаны и «Циники», «Бритый человек» и даже «Екатерина» (хотя исторический роман тащить на подобном ходу оказалось всего сложнее).

(По большому счету, и «Роман без вранья» тоже сделан подобным образом — но в этой книжке перед автором не стоит важнейшая задача: познакомить читателя с героем, дать его рассмотреть, и потом убедительно показать характер в движении. Даже сюжет — и тот не очень нужен: мы и так заранее имеем отличное представление о том, кто главный герой и каков был сюжет его жизни.)

Удивительно, что в случае с «настоящими» (не автобиографическими) романами — у Мариенгофа все получилось.

Да, он делал с фразой то, что до него, пожалуй, и не делал.

У него «пухляя гимназисточка» вылезает из платья, как розовая зубная паста из тюбика. У него «дерево, гнедое как лошадь». Он пишет о молодой, влюбленной женщине: «Она была натоплена счастьем, как маленькая деревенская банька». А еще в прозе Мариенгофа встречается: «рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать».

Как метафорист Мариенгоф составляет в русской литературе конкуренцию Юрию Олеше и Валентину Катаеву, и неизвестно еще, кто из них выигрывает.

Сдается, и свой мовизм Катаев придумал если не напрямую отталкиваясь от опыта Мариенгофа, то втайне имея его в виду.

Но, знаете, кто наверняка учился у Мариенгофа? Сергей Довлатов.

И не только он, конечно, — особенно в новейшие времена.

После Мариенгофа подобным образом пытались работать очень многие: фокусничая и жонглируя разнородными предметами, превращая каждую сцену в анекдот.

Выходила, как правило, все равно полная ерундистика, напыщенная и подлая.

Одно из объяснений, почему получилось именно у Мариенгофа — за ним стояла огромная эпоха и его собственная судьба.

Без судьбы — не пишется ничего: судьбу не соткнешь из воздуха, про нее можно наврать, но то, что ее вес (и крест) не давит на твои плечи — видно по твоей походке.

Другое объяснение, и оно самое верное (хотя и дополняющее первое): у Мариенгофа это получилось интуитивно, — он откуда-то знал, как нужно писать, быть может, сам о том не подзревая.

Но в итоге у него имеет место быть все то, что положено: он дал типажи (тех же постреволюционных циников) — которых не было до него, причем дал их в развитии. Типажи ожили до такой степени, что и теперь находятся среди нас. Ольга или Владимир из «Циников» — лица вполне реальные, и в русской (литературе — зачеркиваем) жизни они на всех основаниях сосуществуют с Печориным, Хлестаковым, Базаровым, тургеневскими барышнями, и так далее — Климом Самгиным, Бендером и К°, Митей Векшиным, Клэр и Николаем, Телегиным, Роциным, а также их чудесными спутницами — сестрами Катей и Дашей...

Ожили типажи и — ожили времена.

Мариенгоф, при всем своем внешнем минимализме прозаика, сдвинул махину, а как это работало, мы в очередной раз, на наше счастье, не поняли.

И не нужно, наверное, нам это понимание.

Но что бы не говорили о беспросветном цинике Мариенгофе, мы все равно чувствуем: ему ведь невыносимо жалко своих героев в «Циниках». Критики наперебой писали про подлость и низость всего происходящего в романе, странным образом не замечая, что это — очень человеческая книга. Самая человеческая у Мариенгофа вообще — сравнимая, быть может, только с итоговой мемуарной — «Мой век...».

В «Циниках» дан человек со своей невыносимой болью.

Присмотришься и понимаешь — нет никакого цинизма во все, а есть только мужество личности под пятой времен и непреходящая печаль бытия.

* * *

Завершив с прозой, Мариенгоф в третий раз меняет профессию.

Как сам он признавался позже, начиная с 30-х годов его профессия — драматургия.

Театр в стране Советов приобрел наиважнейшее значение (сам Иосиф Виссарионович просил писателей писать больше пьес), — и Мариенгоф решает, что там ему место найдется (Сталин в его случае ни при чем, конечно).

Все-таки поэзия — вещь сугубо личностная и даже интимная (если ты не Демьян Бедный). Да и в прозе тоже от себя убежать сложно (Мариенгоф точно с этой задачей не справлялся, и подмигивал читателю из-за каждой строки).

Что до драматургии — то Мариенгофу показалось, что здесь ему будет чуть проще спрятаться за героев, а то и вовсе лишить себя авторского голоса.

Главное было избавиться от имажинизма.

Мы помним, что как поэт Мариенгоф родился с имажинизмом и с ним же исчез.

Но и как писатель Мариенгоф — не меньший имажинист: и если б он рискнул писать роман, избавившись от своей манеры разрешать любую коллизию через образ (image) — то никакого бы романа у него, наверное, не получилось бы.

И лишь как драматург Мариенгоф со временем зажил полноценной жизнью, полностью свободной от своего бурного поэтического прошлого.

Но чтоб понять, как это случилось поэтапно, нам придется немного открутить назад — и вернуться к первой серии.

Начало драматургической работы было положено еще в период жизни с Есениным.

В 1921 году два молодых поэта (Есенину — 26! по нынешним меркам юноша! Мариенгофу — 24! по нынешним меркам подросток!) засели за драмы.

Жили они в одной квартире, и кто б из нас отказался посмотреть на эту картину: как сидит один, с золотой головой, а второй со своим легендарным пробором — и оба пишут, закусив удила: Есенин «Пугачева», Мариенгоф — «Заговор дураков». Обе драмы из XVIII века — время Екатерины Великой и Анны Иоанновны.

Обратите внимание, какими рывками (прыжками!) развивались тогда молодые поэты. От лирики — к революционным маршам, от революционных маршей — к сложновыстроенным поэмам, — оттуда, с головой, — в драматическую историю России, чтоб найти если не ответы, то хоть созвучия новым временам.

А сегодня пиит может полвека подряд переливать из одного стакана в другой, такой же и все о себе, лишь о себе. И кто-то после этого посмеет сказать, что Мариенгоф — поэт скромных масштабов? До он по нашим временам — огромен. Просто он жил, как мы видим, в одной комнате с Есениным и, образно говоря, по соседству с Маяковским, в одном шагу от Блока. Жил бы между нас — потерялись бы у него в ногах.

(...Обидели сто сорок человек современных поэтов, едем дальше.)

Работу Мариенгофа восприняли с воодушевлением. Журнал «Театр и музыка» писал: «Оригинален и плодотворен замысел трагедии Мариенгофа: если Есенин в Пугачеве искал первого зачинателя революционных восстаний, то урбанист Мариенгоф первых «бланкистов» — заговорщиков против царизма — находит в шутах-дураках, потешавших самодурцариц: Анну Ивановну и ее приспешников. <...> Трагедия Мариенгофа несомненно знаменует благодный перелом в его творчестве, <...> поэт пришел к интуитивному углублению исторического «вчера» и к лирическому предвосхищению исторического «завтра». <...> Мариенгоф не только умный ученик и даровитый последователь Есенина, он превзошел своего учителя мастерским воплощением трагедии первых заговорщиков, энергией драматического движения, разнообразием и своеобразием сценических положений».

В 21-м Мейерхольд собирался ставить «Заговор дураков» (и «Пугачева» тоже).

Ставки у Мариенгофа того времени максимально высоки: если его кто ругает — так это Ленин, если Мариенгоф кого-то ниспровергает — так это Блока и Брюсова, если он дружит с кем-то — так с Есениным, если ссорится — так с Маяковским, а если кто-то ставит пьесу Мариенгофа — так, значит, должен быть кто-то не меньше гения.

У Мейерхольда, впрочем, с Мариенгофом не сложилось (как и с Есениным).

Хотя постановку по «Заговору дураков» сделали все-таки в Проекционном театре Мейерхольда — но без его прямого участия — и спектакль чудовищным образом провалился на первом же показе.

История знает такие казусы, это не единственный.

Зато уже следующую пьесу Мариенгофа — «Вавилонский адвокат» — поставил в 1923 году Камерный театр.

После этого случится серьезный перерыв в театральных постановках, тем более, как мы помним, он уйдет в прозу. Параллельно с прозой у Мариенгофа случится роман не роман, но вполне себе заметная интрижка с кино.

В 1924 — 25 годах Мариенгоф работал заведующим сценарным отделом «Пролеткино». Понемногу освоившись в новой должности, он и сам перешел к сценарной работе.

В 1928 — 29 годах выходит сразу пять фильмов, в создании которых Мариенгоф поучаствовал.

1928-й. «Дом на Трубной». Режиссер Б. Барнет. Над сценарием работал Мариенгоф в соавторстве с давними друзьями по имажинизму Вадимом Шершеневичем и Николаем Эрдманом, их компанию дополняли Виктор Шкловский и Белла Зорич.

В том же 1928-м: «Проданный аппетит». Режиссер Н. Охлопков. Сценарий написан в соавторстве с Николаем Эрдманом.

В 1929-м сразу три фильма. «Веселая канарейка». Режиссер Л. Кулешов. Сценарий написан в соавторстве с Борисом Гусманом.

«Живой труп» (он же «Законный брак») — по пьесе Л. Н. Толстого. Режиссеры Ф. Оцеп и В. Пудовкин. Мариенгоф снова работал в соавторстве с Борисом Гусманом.

И, наконец, «Посторонняя женщина». Режиссер И. Пырьев. Второй сценарий с Эрдманом.

Тут, безусловно, тоже стоит напомнить о ставках Мариенгофа тех лет. Работает он не абы с кем, а исключительно с классиками советского кино.

Борис Барнет — будущий автор культовой «Окраины» и лауреат Сталинской премии за «Подвиг разведчика». Николай Охлопков — культовый актер (шесть Сталинских премий), но и знаменитый режиссер тоже. Лев Кулешов — один из виднейших теоретиков кино впоследствии. Всеволод Пудовкин — будущий автор «Победы», «Минина и Пожарского», «Суворова» и «Адмирала Нахимова» (три Сталинских премии). И, наконец, Иван Пырьев, поставивший впоследствии едва ли не половину самых знаменитых советских картин — «Свинарка и пастух», «Трактористы», «В шесть часов вечера после войны», «Кубанские казаки», «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы» (и тоже лауреат всех на свете премий).

Несмотря на все вышесказанное, в те годы работа в кино конкретно для Мариенгофа была, скорей, подсобной возможностью как-то перебиться: времена, когда имажинисты владели кафе, книжными лавками и ездили в собственном салон-вагоне, прошли, гонорары от «Романа без вранья» закончились, а издаваемые за границей «Циники» и «Бритый человек» дивидендов не приносили — надо было как-то жить.

Сценарная работа как началась резво, так же и завершилась (после 29-го года по сценарию Мариенгофа снимут только один фильм, в 1936-м — «О странностях любви», режиссер Я. Протазанов, сценарий написан в соавторстве все с тем же Борисом Гусманом).

О причинах столь неожиданно прекратившейся бурной деятельности пока можно только догадываться, но, скорее всего, их было несколько.

Во-первых, у Мариенгофа и его компании явно имел место быть какой-то фарт в советской кинематографии, который со временем накрылся.

Известен факт, что после того, как он ушел из «Пролеткино», спустя несколько лет, его арестовали.

Дело в том, что «Пролеткино» было госпредприятием, куда большевики вкладывали много денег. В итоге и деньги куда-то пропали, и картин сняли мало. В числе прочих спросили и с Мариенгофа (продержав его два дня в камере); он, видимо, нашел доводы в свое оправдание, но вполне мог очень серьезно перенервничать.

Во-вторых, такая работа быстро перестала удовлетворять его тщеславие. Одно дело — быть автором драм, как Шекспир, Мольер и Гоголь с Чеховым, а другое — делать на ходу подмазки для кино, хоть и в веселой, как правило, компании. Все-таки театр — это выше, это серьезней.

И, в конце концов, где слава? Пять фильмов вышло — ни одной рецензии, ни одного скандала. Так дело не пойдет.

В 1930 году Мариенгофу только 33 года — это время отсчета для самых главных свершений, а не для того, чтоб сдать себя в синемаграфический утиль.

* * *

Открытие Мариенгофа как драматурга еще предстоит. Запоздалое, ну ладно. Лично мы по этому поводу испытываем даже некоторое трепетное предвкушение.

Он писал драмы в разные времена и с разными целями, но ряд его работ в этом жанре — безусловные шедевры.

Трагедия «Заговор дураков» при всей их оригинальности, все-таки была пробой, к тому же поэтический, тем более — абсолютно имажинистской: перенасыщенной образами и метафорами; плюс ко всему имеющей несколько надуманный сюжет (сложно все-таки представить, что поэт Третьяковский хотел свергнуть Анну Иоанновну).

Хотя и там уже проявились фирменные черты драматургии Мариенгофа.

Во-первых, точный, нисколько не базарный, а скорей даже аристократический (в конце концов, он все-таки русский дворянин по материнской линии) юмор.

Достаточно сказать, что сама трагедия начинается со сцены похорон лошади Анны Иоанновны:

Утишьте страсти Умерьте пыл
Сегодня день надгробных возрыданий
Хороним мы прекраснейшую из кобыл —
Любимицу великой государыни

Во-вторых, смеховое начало там неизменно соседствует с трагедийным: Мариенгоф жил в эпоху революций и войн, человеческое мелкотемье было не в его вкусе. Большим временам — большие трагедии.

(Надо сказать, Мариенгоф позволял себе то, что было более чем уместным в русской драме XIX века, а в следующем веке уже стало моветоном — он запросто и всерьез вводил в свои драмы в качестве героев цариц и царских наследников, вождей и премьеров: шекспировский размах, шекспировские страсти; а вот Есенин Екатерину Великую из «Пугачева» выбросил — решил, что не мужицкое это дело — цариц рисовать.)

Наконец, Мариенгоф был, в лучшем смысле, классицист, поэтому драматическое напряжение, завязку, конфликт и раз-

вязку выдерживал неукоснительно. Большинство его пьес элементарно интересно читать.

Это как любую классическую драму XIX века случайно, даже нехотя, начнешь перелистывать — а спустя десять минут только и думаешь: «Какая все-таки прелесть!»

«Шут Балакирев» и «Актер со шпагой» — две лучшие его драматические вещи, написанные нерифмованным, упругим, полным воздуха и какой-то почти пушкинской светлой силы стихом. Время Петра Великого и время его дочери государыни Елисаветы Петровны поданы так, что драмы звучат, как громокипящие имперские гимны.

Эти вещи, безусловно, лучше и легче читаются «Заговора...», в первую очередь потому, что Мариенгоф в них как драматург наконец избавился от своего имажинистского наследия.

Недаром «Шут Балакирев» поставили и в Ленсовета, и в БДТ им. М. Горького, и во многих провинциальных театрах — эта духоподъемная штука сотни раз прошла по всей стране в самые трудные годы — с 1941 по 1946-й.

В других своих, уже не стихотворных, театральных вещах, Мариенгоф забыл об имажинизме напрочь и правильно сделал. Разве что, изредка передавал тайные приветы своему прошлому.

В «Острове Великих Надежд» один из героев рекомендует зайти своим знакомым в кафе поэтов. Действие пьесы происходит в 1920 году: Мариенгоф был уверен, что к тому времени, когда он заканчивал «Остров...» — а это 1950 год, — никто уже не помнил, что там за кафе такое было.

Зато сам он хорошо понимал, что в том кафе, куда хотели зайти герои его пьесы, выступали 23-летний Мариенгоф и 25-летний Есенин — между прочим, хозяева заведения.

Или обратите внимание, в каком стиле написана вещь «Уход и смерть Толстого» — в телеграфном! До этого же только автор «Циников» мог додуматься! «Уход...» писался в 1960 году — это последняя вещь Мариенгофа, а ведь, надо же, не забыл прозаических наработок.

Как цитата из «Циников» звучат и крики газетчицы в «Острове...»: «Вечерние известия! Вечерние известия!.. Красные войска взяли Самару... Германия просит мира у президента Вильсона... Вобла без карточек!.. Вечерние известия! Агония Турции... Капитуляция Болгарии... Вобла без карточек!..»

Скрывать нечего: имели место быть в случае Мариенгофа и полупоклоны власти, и уступки временам. И «Суд времени» (написанный в 1948-м в разгар борьбы с космополитизмом, по этому самому поводу) и «Рождение поэта» (о Лермонтове, где

Николай Первый неистово желает загубить вольнолюбивого сочинителя) по нынешним временам могут показаться читателю слишком «советскими»... Названные пьесы, впрочем, приобретают в этом смысле интерес уже иной и тоже, по-своему, серьезный — как документ эпохи.

К тому же рука Мариенгофу не отказывала, и порадоваться в его драмах всегда есть чему. Откройте упомянутый выше «Остров великих надежд» и в первом же действии обнаружите россыпь афоризмов: «Прежде чем сесть за круглый стол, я хочу знать, где его острые углы»; «...два великих премьера не могут принять одно мелкое решение», «Вы напрасно хотите запаковать живого петуха в папиросную бумагу, сэръ!»; «Когда суп слишком горяч, трудно судить, хорошо ли он приготовлен...» — не будем продолжать цитаты, а то увлечемся.

Наконец, драматургия стала для Мариенгофа возможностью жить и заниматься тем делом, ради которого он был рожден — литературой.

Бытует мнение, что Мариенгоф был едва ли не запрещен всю свою жизнь. Но, как это ни удивительно, книжки его пьес время от времени выходили: «Шут Балакирев» (1941), «Рождение поэта» (1951), «Маленькие комедии» (1957), «Не пиццать! Пьеса в трех отделениях для юношества» (1959) и еще один сборник из двух пьес — «Рождение поэта. Шут Балакирев» в том же 1959 году.

Его скетчи ставили многие провинциальные театры. Пьесу «Люди и свиньи» — Московский театр сатиры (1931), «Преступление на улице Марата» — Ленинградский драматический театр (1945), с пьесы «Золотой обруч» в 1946 году начал свою работу театр на Спартаковской (впоследствии Московский драматический театр на Малой Бронной) — и постановка прошла около трехсот раз! «Суд жизни» шел после войны во многих провинциальных театрах.

Заработал ли он себе славу на этом поприще? Едва ли.

На хлеб зарабатывал — и то хорошо.

Евгений Евтушенко, помещая потом стихи Мариенгофа в антологию «Строфы века» со свойственной ему, так сказать, широтой и безапелляционностью, заявит: «Мариенгофа... каким-то чудом не посадили, но из литературы почти вышвырнули — держали в холодной прихожей».

Вообще говоря, «каким-то чудом» не посадили почти всю их имажинистскую компанию: и Шершеневича, и Рюрика Иванова, и Матвея Ройзмана, и Грузинова Ивана (Кусиков уедет за границу). Эрдмана, да, посадят — но выпустят, а после этого он еще получит Сталинскую премию.

И дело не в этом.

Мариенгофа, конечно, задвинули.

Но все-таки. С 1926 года по 1962-й у него выйдет 12 книг и книжечек, по его сценариям снимут шесть фильмов, в театрах поставят, как минимум, семь спектаклей по его пьесам, сотни, если не тысячи раз на самых разных площадках покажут его скетчи... Не считая всякой прочей мелочи — вроде публикации глав из романа «Екатерина» в журнале «Литературный современник» в 1936 году, выступлений по радио в войну, радиопостановки по «Рождению поэта» и периодических встреч с читателями.

Да, детская книжка «Мяч-проказник» была изъята из продажи, а «Роман без вранья» — из библиотек. Да, пьесу «Люди и свиньи» запретили после сотого показа, а «Золотой обруч» — после двухсотого. Да, после того как «Золотой обруч» прикрыли — пришлось трудно... Но и тогда Мариенгоф нашел веселый выход из положения — переписал от руки «Роман без вранья» и продал в музей как черновик 26-го года. И купили!

Так, «холодная прихожая» или нет?

Да, не барские покои, увы.

Но дело в том, что сейчас поэтов и в прихожую не пускают. И — ничего.

А они, может, очень даже хотят в такую прихожую.

По факту — Мариенгоф всю жизнь оставался тем, с чего начал свой путь, — советской литературной богемой.

А наша богема — больше чем богема: это зачастую и есть элитарии российской культуры.

Жил, кстати, Мариенгоф всегда в лучших квартирах в центре Москвы и Ленинграда. И отдыхал он в Пятигорске, Сочи, Коктебеле, Севастополе и Пицунде — в компании с маститыми советскими писателями. И домработница в их семье всегда была. И выглядел он, даже в самые невеселые времена, как элитарий: костюм, отличные ботинки, элегантное пальто, трость.

Недаром его называли «последний денди республики». Это кое-чего стоит. Денди в прихожей не живут.

* * *

А ведь еще была и жизнь у Мариенгофа. Обычная (или не обычная) человеческая жизнь, о ней-то мы немного позабыли.

Ввиду того, что он был элитарием, а не отщепенцем — всю жизнь дружил Мариенгоф с лучшими людьми эпохи — композитором Дмитрием Шостаковичем, поэтессой Агнией Барто, актером Василием Качаловым, писателем Юрием Германом.

Творчество Мариенгофа и его письма дают одно очень твердое ощущение: это был человек, наделенный необычайным жизнелюбием.

А помимо любви к жизни имел еще и страсть к одной женщине. Об этой страсти мы не имеем права смолчать.

Жену свою — известную актрису Анну Никритину сам Анатолий Борисович любовно прозвал «Мартышон» (она же «Мартын», она же «Мартышка»).

К Никритиной его еще Есенин ревновал. В письмах писал: «Как тебе не стыдно, собаке, — залезть под юбку и забыть самого лучшего твоего друга. Мартын — это одно, а я — другое». (Надо понимать послание так: не бросай меня, брат Толя, одиноко мне!)

Но потом, судя по всему, сам Мариенгоф будет мучительно ревновать своего Мартышона.

По крайней мере, мотив мучительной ревности — один из постоянных в стихах Мариенгофа постимажинистского периода.

Листья стекают в августе
Пеною легких вин.
Милая,
Милая,
Милая,
Ты мне скажи, пожалуйста,
Я у тебя один?

— спрашивает поэт в рукописном сборнике «Анне Никритиной», начатом в 1926 году.

Друг семьи, Рюрик Ивнев, в 1932 году в своем дневнике цитирует Чехова: «Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее уменье знакомиться и коротко сходить с знаменитыми людьми». И тут же поясняет смысл приведенной цитаты: «Написано точно про Мартышку Мариенгофа».

В 1937 году, в «Записках сорокалетнего мужчины» Мариенгоф почти дрожит от мужского бешенства: «Не пускайте себе в душу животное! Я говорю о женщине». И еще: «Все женщины распутны. А так называемые верные жены еще хуже неверных, потому что в сердце своем, в мыслях, изменяют чаще и бесстыдней». И вот так еще: «Все дело в том, что у женщины душа помещается чуть пониже живота, а у нас несколько выше».

Не знаю, как вам, а нам кажется, что такие штуки только ужасно влюбленный человек может выкидывать.

В 1939 году Мариенгоф пишет:

Как же быть-то?
Расстаться что ли?
Ну ударь!
Закричи!
Что-нибудь разбей.
Ты моя до физической боли,
До мозга моих костей.

В том же году в следующем же стихотворении (одного не хватило — выговориться) кричит:

И ты такая же,
И ты
Боюсь подумать
И сказать
Какие чистые черты!
Какие ясные глаза!
Как черный узел развязать?
Я не сумею,
Не смогу,
И эти губы тоже лгут,
И эти тоже лгут глаза.
Уж ты поведай мне,
Открой.
Большое ль счастье принесло
Тобой содеянное зло,
Боль, причиненная тобой?

При этом сама Никритина говорила, что «...с Мариенгофом наша жизнь была безраздельна»: то есть они всегда были единым целым.

И большинство мемуаристов в один голос утверждают, что Мариенгоф свою жену обожал, а отношения у них были просто удивительные.

Артист и режиссер Михаил Козаков писал: «Лучшей пары, чем Мариенгоф — Никритина, я никогда не видел, не знал и, наверное, не увижу и не узнаю».

С другой стороны, в книге Ларисы Сторожаковой «Мой роман с друзьями Есенина», все та же Анна Никритина делится с подругой тайным рассказом о том, как милый Толя душил ее от ревности, а она хрипела: «Дверь закрой, соседи увидят...»

Хотя... в такое ли уж противоречие вступают слова Козакова и мемуары Сторожаковой? Может, напротив, тут никаких противоречий нет?

В 1947 году Ивнев (он сам рассказывал) зашел к Мариенгофу в гости, поболтали, потом Мариенгоф говорит: «Мне надо срочно уходить. Пойдем вместе. Одного я тебя не оставляю с моей женой».

А Мариенгофу ведь — 50 лет! Впрочем, как тут же замечает Ивнев: «Анатолий <...> выглядел таким же молодым, как и раньше. В жизни я встречал много людей, с которыми расставался на долгие годы, но не помню случая, чтобы человек почти не старел. Что касается Никритиной, его любимой «Мартышки», то она оставалась такой же, как в давние времена Таировского театра».

В 1950 году Мариенгоф завершает пьесу «Остров великих надежд». Подобно тому, как он передавал приветы своей имажинистской юности, так же он передает здесь приветы своей жене, давая прекрасной героине Жене прозвище Мартышон.

Там есть один знаменательный диалог, который (если б пьеса была поставлена) любимая жена непременно услышала бы со сцены. Разговаривает эта самая Женья с героем по имени Захар:

Ж е н я (*долго смотрит ему в глаза*). У вас в глазах черным по белому написано: «А все-таки, Мартышон, я тебя — черт тебя дери»...

З а х а р. «Черт тебя дери» не написано!

Ж е н я. Ну, что-то в этом роде.

Человеку 53 года — а он все сюрпризы устраивает жене, да?

Это была удивительная страсть, и не спорьте.

Нехорошо, конечно, но у нас есть и возможность заглянуть в письма Мариенгофа к жене (хотя едва ли они откровенней его стихов).

«Скучаю по тебе, Мартуха, любовька ты моя.

Длинный».

«Лето уже вероятно будет в Одессе, когда встречу со своей миленькой. Отсчитываю дни, как гимназист перед канкулами.

Целую и обожаю. Твой Толюн».

«Не забывай, Люха, своего глинного обожателя.

Твой, твой!»

«Целую ручки и ножки и то местечко, из которого они произросли.

Твой Толюха».

«Любушка, а ты ведь все-таки не знаешь, как я тебя обожаю!»

«Нынче я тобой наказан, сижу без твоих чудных каракуль. Бог тебе простит это, миленькая!

*Скоро ли уже расцелую в горяченькие губы?
Твой».*

Автору этих писем — шестой десяток.

И вот уже 1959 год на дворе, Мариенгофу — за шестьдесят. И вдруг он сочиняет короткое и жуткое стихотворение.

Как дьявол нынче зла
— молчишь?
Снег сбрасывают с крыш
Весна пришла.
Что? Влюбилась в кого-то кобла?
Да.

Может, стихотворение и не к Мартышону обращено, конечно. Но вряд ли... Вряд ли, а?

В мемуарной, итоговой книге своей «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» Мариенгоф напишет, что ни разу в жизни не ругался со своей любимой больше, чем на пять минут.

Поверим, что ли, на слово.

* * *

Отношения Мариенгофа и Никритиной были разломаны пополам самым страшным событием, что может случиться в жизни любящих людей.

У них был сын — Кирка, Кирилл, парень удивительный, с ясной головой. Его должен был крестить Есенин — но судьба развела отца и его лучшего друга.

Однажды Мариенгоф и его Мартышка пошли ночью прогуляться — до Невского. А потом еще кварталчик. Такие ночные прогулки тоже, как мы знаем, совершают чаще всего романтично любящие друг друга люди.

Когда вернулись, обнаружили, что их 16-летний обожаемый сын — повесился.

Задолго до этого Клюев в письме Есенину писал: «Молюсь твоему лику невестственному, <...> тебя потерять — отдать Мариенгофу, как сноп васильковый, милый, страшно. <...> За твое доброе слово я готов пощадить даже Мариенгофа, он дождется несчастья».

Клюев был ведун.

Мариенгоф дождался.

Потом вспоминал такие семейные сцены:

— Папа, ты сегодня весь вечер дома?

— Да.

— Мама, а у тебя есть спектакль?

— Нет.

— А концерт?

— И концерта нет.

— И не репетируешь?

— И не репетирую.

— Значит, тоже дома?

— Дома.

— И гостей не будет?

— Не ждем.

<...>

Кирка обвивает ручонками шею матери и горячо, с благодарностью, целует ее в губы. Потом меня. В щеки, в нос, в лоб.

— А когда у тебя, папка, будет лысина, еще и в нее целовать буду.

— Не придется.

— Ой, не храбрись, старый денди!

Теперь она есть, но уже некому в нее целовать меня.

Причины смерти Кирилла Мариенгофа до настоящего времени не установлены, сообщают нам справочники.

Всю оставшуюся жизнь его отец задавался вопросом: зачем сын сделал это?

Он был очень амбициозный и чувствительный парень, об этом пишет отец.

Еще Кирка отлично понимал, какое мрачное время на дворе: отец вспоминает и про это обстоятельство.

У Кирки была девушка, и, кажется, они с ней поссорились: перед самоубийством пацан позвонил ей по телефону и сказал, что собирается сделать.

Были еще какие-то причины...

Только об одном обстоятельстве Анатолий Мариенгоф не говорит ничего — может быть, забыл в 1956 году, когда заканчивал книгу.

Самоубийство случилось зимой, в самом начале 1940-го. А на 1939-й год приходятся самые мучительные стихи Мариенгофа о его, на грани разрыва, отношениях... ну, пусть будет так: с лирической героиней этих стихов.

Но если Мариенгоф об этом обстоятельстве умолчал в своих мемуарах, значит, так оно и нужно.

Молодой Булат Окуджава часто приходил к дяде Толе и пел ему свои песни.

Кажется, так лучше всего закончить нашу историю.

Зачем мы ее рассказывали?

Ну, хотя бы чтоб показать — смотрите, это ж как в кино. Даже лучше, чем в кино, потому что перед нами настоящая жизнь.

Но фильм тоже можно снять. Там будет все: шумные успехи и чудовищные трагедии, гениальные друзья и сладостные подруги, и, конечно же, главный герой — который раз за разом восстает, как Феникс из пепла. И непрестанный труд этого героя, и горькая усмешка его, и его мудрость.

И лаковые башмаки, и трость в руке.

Разве не кино? Готовый сценарий.

Возьмите на заметку.

А мы пока договорим о литературе.

Мариенгофа можно трактовать как угодно. То есть как Пушкина. Как Блока. Как Есенина. Как Мандельштама. У них для любого интерпретатора найдется по необходимой строке.

Мариенгоф — революционный поэт, большевистский подпевала? Да запросто.

Многая лета,
Многая лета,
Многая лета
Здравствовать тебе — Революция,

— пропел он в поэме «Застольная беседа».

«Невозможно — это не советское слово», — афористично и с безмерным уважением к своей стране отчеканил Мариенгоф в одной из своих пьес.

Контра? На раз.

Берем роман «Бритый человек», цитируем: «А не думаете ли вы... что мы сбрили наши русские души вместе с нашими русскими бородами в восемнадцатом году? Не думаете ли вы, что в душе у нас так же гладко, как на подбородке?»

Империалист и государственник? Конечно же.

Даже саркастическая ода Тредиаковского из «Заговора дураков» звучит как имперская песнь:

Звени, звени хрустальный алыт стаканов —
То льет восторг покорная держава,
Тебя — сияющей короной увенчанную
Поет на флейте радостная слава.

Не блеском скипетра и митры и порфиры
Сиять в веках правленью Анны.
Поет за доброту тебя серебряная лира,
Поют за разум бубны и тимпаны.
Лишь мудрым рулевым ты встала у кормила —
Средь волн бестрепетно поплыл корабль России.
Несчастную страну счастливо воскормили
Твои, Царица, розовые перси
Сосцы своих грудей, тяжелых молоком и салом,
Ты вкладывала трем младенцам в нежный рот
О, Государыня, тебя сосали
Пехота, кавалерия и флот...
Другой любви, иных зачатий пришла весна потом
И вот — вторично оценилась сука.
Не ты ли греешь теплым животом
Политику, искусство и науку.

Или, может быть, наоборот — он человек, возненавидевший это тяжеловесное тысячелетнее государство? И это тоже верно.

Дурацкую мечту поэта
Перетянула золотая
Литая чаша
Империи...

— жалуется Мариенгоф. Что было мечтой его? Наверное, свобода.

Значит, антисталинист и предвестник «оттепели»?

Конечно, недаром он приводит в книге «Мой век...» разговор с сыном:

— Неужели, папа, ты всерьез думаешь, что при нем можно писать?

— О чем ты?.. О ком?.. Не люблю загадок.

Кирка отчеканивает:

— Я тебя спрашиваю, неужели ты не понимаешь, что при нем писать нельзя...

Или все не совсем так?

Да, не совсем так.

Вчитайтесь внимательно в «Шут Балакирев», в прекрасную эту драму о Петре Великом, где последовательно разрешается как раз тема репрессий и дана вполне весомая попытка понять их и даже объяснить.

Идем дальше.

Русофоб? Еще бы!

Это его лирический герой в романе «Бритый человек» говорит: «Русский человек? Глупо. Подло. Совершенно лишнее. Неосновательная фантазия природы».

И там же остроумничает про «кукиш, счастливо заменяющий русскому человеку дар остроумия и находчивости».

Это ж его, наконец, стихи:

Исчезни ж, Русь!
Скачурься! смойся! сгинь!
С тобой
Губительной не жажду встречи
Ни во хмелю,
Ни в легких снах.
Пусть океан
Ворочается в желтых берегах.
Пусть камня финского приподнятые плечи
Пусть ветер, соль
И синь

Хорошо, пусть так.
Но не русофил ли он, раз на то пошло?
Да несомненный!
Это он объявит:

Я твой, Россия.
В славе ль ты,
В позоре.
Я тень люблю, что падает на милое лицо

Это он в ответ на слова Есенина, что у его собратьев по имажинизму «нет чувства родины», сказал: «...имажинизм отныне не формальное учение, а национальное мировоззрение, вытекающее из глубины славянского понимания мертвой и живой природы своей родины».

Это он за границей признается:

Птицы, звезды и степи,
Желтые зори.
И трава.
Тридцать три переедешь моря,
А в сердце:
Пепел
И маленькая Москва

Это он, еще раз, спустя годы повторит:

И вот я сердцем холодею:
Трястись куда? Бежать куда?
Когда в косматых Пиренеях
Из Пензы милая звезда.

Это он напишет в поэме «Денис Давыдов»: «Велики великороссы!.. Помяни-ка нас добром!»

Нас!

Это он в «Романе без вранья» скажет, что Василий Розанов (Розанов!) научил любить его Россию «не только во времена величия, но и во времена слабости и унижения».

Может, и ксенофоб тогда? А как же!

Это же он написал: «...только тем, кто несет погромные колья / Стихов серебряные росы».

Это он, вполне внятно направляя свой гнев против «господ Коганов и Фриче» в своей работе «Буян-остров», требовал оставить искусство в покое.

Это в его «Бритом человеке» сообщается: «Работали в дружине татары из-под Уфы, сарты и финны. Татары были жалкие, сарты суровые, финны наглые». Готовый международный скандал! ...Потом финнам не заплатили за работу, они устроили дебош, вызвали эскадрон. «Но финны разбежались раньше, чем уланы сели на коней».

Мы уж не говорим про откровенно антинемецкий пафос его военных поэм и баллад — там время было такое.

Но это Мариенгоф писал безо всякой войны: «Необходимо пресечь губительную тягу Московии к Америке. Американец вечно спешит и никогда не имеет времени. Вчера они перестали заниматься искусством, сегодня — любить, завтра им некогда будет думать. Эту роскошь они предоставят нам, если только железная чума не пожрет наши души».

Как сейчас сказано. Замените американца на жителя какого-нибудь российского мегаполиса покрупней, и тоже будет в точку.

По нынешним временам, это не очень либеральная точка зрения, не так ли?

Совсем не по себе становится, когда в одной из его пьес лидеры европейских держав садятся за круглый стол и говорят о своих планах:

«Отделение от России латышей, литовцев, а может быть, и украинцев. Для украинцев как будто предусмотрена французская сфера влияния. <...> Наконец, самостоятельность Кавказа, подмандатная Средняя Азия — для управления на основе протектората. Все это требует свержения большевиков. Вот наша историческая миссия».

Мечтая о распаде России, лидеры европейских демократий так резюмируют желание воевать против нее: «Да будет эта война последней в Европе. Мы этого, господи, хотим. Демократия хочет вечного мира».

Анатолий Борисович был непрост! При всем его антитоталитаризме, пустить его по линии «тайных диссидентов» и «мучеников совести» никак не получится.

В общем, нам хотелось бы заранее остеречь всех критиков Мариенгофа и его текстов хоть «слева», хоть «справа». Какая бы не была ваша платформа, доказать обратное не составит труда.

Скажите, богохульник и антикваликал?

Согласимся: еще какой.

В «Бритом человеке» появляется архиерей, «грассирующий, как парижанка, и затянутый в рясу, будто в шелковый дамский чулок».

В театральной вещи «Уход и смерть Толстого» появляется старец Варсанофий, который прячется в дамской уборной, чтоб не пропустить смерть Льва Николаевича.

Начинал поэт Мариенгоф с того, что «...хилое тело Христа на дыбе...» вздыбливал в Чрезвычайке.

А потеряв сына он же сказал:

Друг мой, живу как во сне.
Не разговаривай строго
Вот бы поверить мне
В этого глупого Бога!

Но стоит ли, вопреки всему, говорить о нем и как о человеке, ведавшем о бытии Бога?

Да, опять — да.

Это он напишет о Христе-воителе и русской революции:

Чернь царственная, ты не внемлешь
Холодным доводам ума
Тогда Христос,
Теперь
Московская чума
Очистит черной язвой землю.

Это он, пожилой уже человек, пишет жене о своем житействе такие вещи: «Вскочил, как огурчик, в 6 часов, чтоб встретить Зойку. Она, стерва, опоздала минут на 15. Так что торжество было мое. Я с ней, как истый христианин, похристовался нашим оранжевым яичком, чем опять же посрамил эту ожидавшую дворянку».

И это он же в самом начале своего пути, в тоске воскликнет, что «...от Бога / отрезаны мы, / как купоны от серии».

Можно ли тогда сказать, что Мариенгоф (как Пушкин, Блок, Есенин или Мандельштам) не един — а разломан и противоречит сам себе?

Нет, конечно.

Есть у него вещи удачные, и есть провальные, есть шедевры, и есть черт знает что... Однако словесная походка и дендистская повадка, своеобразная, на грани провокации, философия бытия и античный стоицизм — все это с первых слогов позволяет угадать: перед нами — он.

Цельный, как его трость. Ровный, как его пробор. Сияющий, как его цилиндр.

Вы имеете некоторые основания его ненавидеть. Мы имеем все основания им восхищаться.

Анатолий Борисович Мариенгоф.

Захар Прилепин

БЕЗ ФИГОВОГО ЛИСТОЧКА

Ваше письмо от 18.3 получил. Посылаю, согласно Вашей просьбе, для американского из-ва нечто вроде автобиографии.

Я родился в 1897 году в ночь под Ивана Купала. По легенде в эту ночь цветет папоротник. Мечтатели ищут цветок, который открывает клады. И еще в эту ночь цвела Россия песнями и кострами. Я сам прыгал через пламя, обжигая пятки и юность.

Меня принимала сумасшедшая акушерка. Я родился с темными кудряшками и оттопыренными ушами. Говорят, что моя голова была похожа на вызревший подсолнух. Сумасшедшая акушерка приняла меня за черта. Она пыталась отстричь мне голову ножницами. Каким-то образом моему отцу удалось убедить ее отказаться от этой благородной мысли. Прямо от нас акушерка уехала в дом умалишенных.

Все детство я проиграл в солдатики. У меня были оловянные дивизии, корпуса, армии. Однорукий генерал, лет пятнадцать тому назад влюбившийся в мою мать — тогда эпархиалку, был моим несменным товарищем и сверстником. Командуя оловянными эскадронами, маскируя в диванных подушках крохотные батареи, он проползал по ковру в моей детской всю вторую половину своей хронической влюбленности. Однажды я наголову разбил своего сверстника в генеральских лампадах. Мои снаряды из жеваной бумаги смели его пехоту. Буря, поднятая в ванне велосипедным насосом, пустила ко дну его эскадру. Тараканы, выпущенные из папиросной коробки, опрокинули его кавалерию, пробиравшуюся по спинке дивана в обход моего левого фланга. Однорукий генерал не пережил своего Аустерлица. Он умер от разрыва сердца на моей детской кровати. Мама вынула из его заледеневшей руки оловянного есаула, командовавшего казачьей сотней, дрогнувшей перед тараканами. С тех пор я возненавидел войну. Мне ненавистна винтовка, вне зависимости от того, чья рука ее сжимает. Людоеду я отдам предпочтение перед офицером. Людоед, по крайней мере, не обучался в академии, как приготовить

бифштексы из человеческого филея. У Жоффра, Гинденбурга и Брусилова нет даже и этого оправдания. Несколько дюжин ведьм, сожженных на костре, вызывают в нас чувство снисходительного превосходства и покровительственной иронии над столетиями, закованными в рыцарские доспехи. А сами мы с деловым видом всаживаем штык в живот живого человека. Дикари! Если проповедь «не убий» все еще слишком культурна для нашего варварского мозга, пусть бы он, на худой конец, разжевал эгоистическое «не убий меня!»

Я терпеть не могу музыку. В детстве, когда при мне начинали играть на рояле, я брал отца за палец и говорил:

— Папа, уйдем отсюда. Здесь шумят.

Моя нелюбовь к музыке сделала меня революционером. Лет двадцать тому назад я в царский день сидел в ученической ложе нижегородского театра. Перед поднятием занавеса оркестр заиграл «Боже, царя храни». Мотивы и китайцы были для меня на одно лицо. Когда театр, как один человек, встал, я, пожирая глазами программу с фамилиями любимых актеров, остался сидеть на своем стуле. Гимн проиграли трижды. Трижды я ничего не видел и не слышал. А в антракте жандармский полковник с ватными усами распекал двенадцатилетнего ротозея.

— Революция, молодой человек, — это свинство. А на вас мундир дворянского института. Позор!

Жандарм сообщил о моем преступлении директору нашего благонравного заведения. Я получил 36 часов карцера и прекрасный выговор в актовом зале, обрамленном императорскими портретами. 300 институтцев были выстроены в торжественные колонны. 600 глаз смотрели на меня с завистью. Было бы мудро после этого не вообразить себя героем, мучеником за идею. Яд вошел в кровь.

В карцере я написал свое первое стихотворение. Жандарм был моей музой. Когда я показал стихотворение отцу, он нашел в каждой строчке по орфографической ошибке. Поэтических достоинств он не нашел. Это меня немножко огорчило.

Во время предсмертной агонии моей матери я играл в футбол. Я был капитаном команды и центр-форвардом. Матч я выиграл, а безоблачность детства проиграл. Его голубизна для меня осталась навсегда подернутой дымком, который ест глаза до слез.

После смерти матери мы перебрались из Нижнего Новгорода в Пензу.

Лето 1914 года я плавал юнгой на учебной шхуне. В Копенгагене, в матросском кабачке, я случайно не получил сифилиса. Моя возлюбленная чуть было не уговорила меня в память

грехопадения вытатуировать над сердцем профиль ее живота. Увы, даже золотистая хризантема во вкусе Уайльда не делала его прекрасным.

В день объявления войны наша трехпарусная лохань болталась между Стокгольмом и Ганге. Добродушная судьба посадила на русскую мину не нас, а какой-то чересчур торопливый пароходик. За четверть часа до гибели он наспех отсалютовал нашему Андреевскому флагу.

Мы возвращались в Россию через Финляндию. Перепуганные курортные дамы, галлюцинирующие немецкими десантами, дрались из-за мест в поезде, как уличные мальчишки. А баронесса Дорн укусила графиню Горсткинину в зад. Графиня в номере Северной гостиницы в Петербурге показывала мне свои прокусанные панталоны. Это самое яркое воспоминание от моего первого светского романа и патриотизма русской аристократии.

В 1916 году я кончил гимназию. Мне предстояла высокая честь с винтовкой в руках защищать дорогое отечество. На прощальной пирушке я обронил:

— Лучше всю жизнь быть трусом, чем один раз убитым.

И благополучно окопался в тыловом учреждении. Моему афоризму повезло: оброненный в отдельном кабинете пензенского кафе-шантана, он уже через несколько недель, потеряв автора, стал народной мудростью. Он имел хождение до последних дней войны по всей Великой Российской империи. Из чувства национального ханжества москали, к сожалению, проносили его с еврейским акцентом.

В 1918 году чешские батальоны уходили из большевистской Москвы в Сибирь. Красный пензенский гарнизон, послушный приказу наркомвоенна, предложил разоружиться очередным эшелонам. В ответ чехи штурмовали город. На крыше нашего дома стоял большевистский пулемет. Его ощупывали шрапнелями. Красногвардеец-пулеметчик попросил у меня табачку. Я принес ему на крышу коробку папирос. Отец крикнул из окна:

— Анатолий, иди в дом!

Я ответил:

— Папа, здесь весело.

Тогда он влез на крышу и сказал:

— Если не уйдешь, я сяду на эту трубу и буду сидеть.

Я пожал плечами:

— Сиди.

Он сел и закрыл глаза руками. А через несколько минут я уже вносил его в комнату на руках. Пуля попала в пах. Я плохо

знал анатомию. Мне казалось, что рана не смертельна. Отца я любил бесконечно. Позади у меня — детство, подернутое дымком, и черная юность.

В том же году я сдал в набор первую книжечку лирических стихов. Она называлась «Гардероб сердца». Типографские рабочие, зачитав рукопись на общем собрании, вынесли постановление: 1) стихи не набирать; 2) рукопись сжечь. Выяснилось, что я писал о любви, по их мнению, чересчур грубо. Это было в дни, когда волна красного террора поднялась до своей предельной высоты.

Несколькими неделями позже в московской газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина». Одна из глав кончалась следующим четверостишием:

Граждане, меняйте белье исподнее
Ваших душ!
Магдалина, я тоже сегодня
Приду к тебе в чистых подштанниках

Моя чистоплотность привела критиков в бешенство. Тогда меня это несколько удивило. Я был очень зелен. О литературе у меня были превратные понятия.

У Аполлона физиономия парикмахера. У Венеры скверная фигура. Богиню не приняли бы манекеном ни в один приличный *maison*. Я понял, что вечного искусства не существует. Потому что нет вечных вкусов. Гете так же надоедает, как рубленые котлеты. Спор между академией и молодыми — это спор февраля с мартом. Победителем всегда будет апрель. Да здравствует же весна! Когда я был пузырем, я считал своим долгом помогать ей в битвах. По целым дням я раскалывал лед на лужицах и ручейках. Мне казалось, что я приближаю цветенье. Критики поступают еще более наивно — они дуют из всех своих тщедушных легких на весеннюю капель в надежде ее заморозить. Глупцы!

В 1919 году я с Сергеем Есениным возглавил группу крайних поэтов. На нашем знамени было начертано: «ОБРАЗ». Мы опубликовывали манифест за манифестом. Один левее другого. Во времена французской революции Анархасису Клоотсу пришлось РАЗУМ одеть в хорошенькую актрису, а ее раздеть донага. Тогда только он понравился. Чтобы заставить читать свои поэмы в годы, когда в любом декрете было больше романтизма, чем в Шиллере, мы были вынуждены вместо бумаги пользоваться седыми стенами древних монастырей и соборов, а вместо наборной машины — малярной кистью. Если бы не

вмешательство милиции, московских «сорока сороков» хватило бы мне для полного собрания сочинений.

Мы давали лучшим улицам и площадям столицы свои имена. Для этого, расставив дозоры, работали ночи напропалую, меня эмалированные дощечки. Знаменитая Петровка неделю пробыла улицей Анатолия Мариенгофа. Почтение дворников было завоевано.

Однажды мы объявили всеобщую мобилизацию. Наши приказы, расклеенные по столбам и заборам, были копированы с афиш военного комиссариата. Когда зеленолицые обыватели в сопровождении плачущих жен собрались в указанном месте, мы оповестили, что «всеобщая мобилизация» объявлена в защиту новых форм поэзии и живописи. Как это ни странно, нас не побили.

К тридцати годам стихами я объелся. Для того чтобы работать над прозой, необходимо было обуржуазиться. И я женился на актрисе. К удивлению, это не помогло. Тогда я завел сына. Когда меня снова потянет на стихи, придется обзавестись велосипедом или любовницей. Поэзия не занятие для порядочного человека.

Лев Николаевич Толстой написал первый русский бульварный роман («Анна Каренина»), Достоевский — образцовый уголовный роман («Преступление и наказание»). Это общеизвестно. Мне не хотелось учиться ни у бульварного, ни у уголовного писателя. А лучше их не писал никто в мире. Что было делать? Не был ли я вынужден взять себе в учителя — сплетню. Если хорошенько подумать, так поступали многие и до меня. Но об этом они деликатно помалкивали. Например — месье Флобер. Какую развел сплетню про «Мадам Бовари»! Я обожаю кумушек, перебирающих косточки своим ближним. Литература тоже перебирает косточки своим ближним. Только менее талантливо.

Форме я учусь у анекдота. Я мечтаю быть таким же скрупулезным на слова и точным на эпитет. Столь же совершенным по композиции. Простым по интриге. Неожиданным. Наконец, не менее веселым, сальным, соленым, документальным, трагическим, сентиментальным. Только пошляки боятся сентиментальности. А мещане — граммофона. Если к тому же мои книги будут равны по долговечности хорошему анекдоту и расходиться не меньшими тиражами, я смогу спать спокойно.

Рафаэль не написал ни Коперника, ни Галилея (своих современников). Из потаскух он делал мадонн, из цирюльников — святых, из площадных сорванцов — херувимов. Но искусство не прощает лжи. Рафаэль жестоко наказан. Его

мадонны украшают конфетные коробки, святые — туалетное мыло, а херувимы служат марками для патентованных презервативов. Я пишу с живых людей — живых людей. Они занимают у меня в романах тем же делом, что и в жизни. Я даже не меняю им фамилии, если они не очень сердятся.

До сих пор я еще не выбрал себе родины. В Нижнем Новгороде любят Бетховена. В Москве обязательно выходить из трамвая через переднюю площадку. На Кавказе слишком эффектные горы. В Берлине делают суп из кирпичиков «Магги». В Париже я боюсь стать импотентом. Венцы чашечку кофе запивают семью стаканами холодной воды. Это действует мне на нервы. Варшава — оперетка. А в Нью-Йорке и в рязанской деревне я еще не побывал.

Моя философия — поменьше философии. Как-никак, а из древнегреческого возраста мы выросли. Сократ сморкался в кулак.

Верую — в касторку.

Анатолий Мариенгоф

1930 год 1 апрель Ленинград

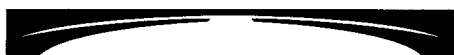
P.S. Пожалуйста, немедленно подтвердите получение письма. Кстати, много любопытного в моем «Бритом»

С уважением и приветом,

А. М.

*Ленинград, ул. Марата, д. 47, кв. 30
(заказным)*

СТИХИ



ВИТРИНА СЕРДЦА (1918)

* * *

Сказка, присказка, былъ,
Небыль.
Не знаю. Неугомонные
Тильтиль и Митиль —
Ищем любовь: «Там, там — вон
На верхушках осин, сосен!»
А она, небось,
Красноперая
Давным-давно улетела в озера
Далекого неба.

1918

* * *

Тело свесили с крыш
В багряной мошкаре арлекина,
Сердце расклеили на столбах
Кусками афиш.
И душу, с ценою в рублях,
Выставили в витринах.

1917

* * *

Ивану Старцеву

Из сердца в ладонях
Несу любовь.
Ее возьми —
Как голову Иоканана,
Как голову Олоферна...

Она мне, как революции — новь,
Как нож гильотины —
Марату,
Как Еве — змий.
Она мне, как правоверному —
Стих
Корана,
Как, за Распятого,
Иуде — осины
Сук...
Всего кладу себя на огонь
Уст твоих,
На лилии рук.

1916

Апрель

Полдень, мягкий, как Л.
Улица, коричневая, как сарт.
Сегодня апрель,
А вчера еще был март.
Апрель! Вынул из карманов руки
И правую на набалдашнике
Тросточки приспособил.
Апрель! Сегодня даже собачники
Любуются, как около суки
Увивается рыжий кобель.

* * *

Кровоточи,
Капай
Кровавой слюной,
Нежность. Сердца серебряной купол
Магов суровой чернью...
Как бы, как бы в ночи
Глупому
Мне украсть
У любви блестящую запонку...

За что уксус и острые тернии?
Разве страсть
Библия, чтоб ее молитвенно на аналой
Класть.

* * *

Пятнышко, как от раздавленной клюквы.
Тише. Не хлопайте дверью. Человек... —
Простенькие четыре буквы:
— умер.

* * *

Опять же: — Что Истина?..
Душу прищемили, как псу хвост дверью,
И вот, как зверь,
Не могу боль выстонать.

1918

Эпитафия

Прими меня, почившего в бозе,
Дай — мир Твой хваленный!..
Я — как капусты кочан,
Оставивший вдруг огород,
На котором возрос;
Я — как пугливый зверь,
Покинувший сень дубравы;
Я — как овечий
Хвост, —
Но все же:
За ласки прекрасных жен,
Недоступные мне теперь;
За вино, что не будет течь
Боле в мой рот;
За сыр козий,
Отнятый у меня не по праву;
За погост с черной землей

Вместо цветущего сада
Мне данный — Боже,
Требую я награды:
Дай мне хваленный мир Твой.

* * *

Милостыню жалости мне в нищете,
Затертый один грошик...
Безжалостное копьё
Измены брошено...
Галл, видите, галл на щите,
Видите, как над падалью уже — воробье.

1917

* * *

И опять на ресницах индевел
У проходящих вечерний блуд,
И опять на мое распластанное тело
Город наступил, как верблюд,
И опять небо синело,
Как эмалированное блюдо.

1917

* * *

Милая, нежности ты моей
Побудь сегодня
Козлом отпущения!

* * *

Куда вы?
— К новому новая в нови новое чая...
Не верю.
Променять нельзя, не истаяв
В тоске о потере.
Сердце, как белая стая
За кораблем чаек...
— Боже, избави меня от лукавого!

1918

* * *

Ночь, как слеза, вытекла из огромного глаза
И на крыши сползла по ресницам.
Встала печаль, как Лазарь,
И побежала на улицы рыдать и виниться.
Кидалась на шею — и все шарахались
И кричали: безумная!
И в барабанные перепонки воплями страха
Били, как в звенящие бубны.

1917

* * *

Приду. Протяну ладони.
Скажу:
— Люби. Возьми. Твой. Единый...
У тебя глаза, как на иконе
У Магдалины,
А сердце холодное, книжное
И лживое, как шут...
Скорей, скорее: «Нет, не люби!» — кинь,
Как булыжник.
Аминь.

1918

Рюрику Ивневу

Когда день, как у больного мокрота,
И только на полотнах футуристов лазурь,
С Вами хорошо, Рюрик,
Говорить о маленьких поэтовых заботах.
С Вами вообще хорошо и просто.
Вы так — на свои стихи похожи, —
Входите в сердце нежной поступью,
Словно во время действия в ложу.

1918, ноябрь

ИЗ АЛЬМАНАХА «ЯВЬ» (1919)

* * *

Кровью плюем зазорно
Богу в юродивый взор.
Вот на красном черным:
— Массовый террор.

Метлами ветру будет
Говядину чью подместь.
В этой черепов груди
Наша красная месть.

По тысяче голов сразу
С плахи к пречистой тайне.
Боженька, сам Ты за пазухой
Выносил Каина,

Сам попригрел периной
Мужицкий топор, —
Молимся Тебе матерщиной
За рабьих годов позор.

1918

* * *

Дикие кочевые
Орды Азии
Выплеснули огонь из кадок!
Отомщена казнь Разина
И Пугачева
Бороды выдранный клок.

Копытами
Прокопытен
Столетиями стылый
Земли затылок
И ангельское небо, как чулок
С продранной пяткой,
Вынуто из прачешного корыта
Совершенно чистеньким.

1917

Октябрь

Покорность топчем сыновью,
Взяли вот и в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрав.

Вам не нравится, что хохочем кровью,
Не перестирываем стиранные миллион раз тряпки,
Что вдруг осмели
Оглушительное тьявкнуть — тья!

Да-с, спинной позвоночник,
Как телеграфный столб прям,
Не у меня — у всех
Горбатых века, россиян.

Кто на земле нас теперь звонче?..
Говорите — Бедлам,
Ни столбов верстовых, ни вех, —
К дьяволу! На паперти великолепен наш красный канкан.

Что — не верите, — вот оравы,
Табуны туч по приказу людскому
И небо, как бабий салоп,
И ни одной солнца реснички...
Опять Иисус на кресте, а Варавву
Под руки и по Тверскому...
Кто оборвет, кто? — скифских коней галоп?
Поющие марсельезы смычки?

К тебе, смерти зев,
Простираю длани,
К тебе на закляние
Из хлевов
Табуны гоню.
Слышишь косы
И костей хруст?
Слышишь пожаров рев?
Живот давлю гадий;
Тысячелетьями прелый
Огню
Предаю навоз;
Земли потрясаю
Тело;
Взрывами гроз
Разорванных уст
К пощаде
Звериный глушу зов.

1918

России

Чаяния
Твои изрыгают недра,
А ты под нож
Подставляешь живот с отчаяния...

Еще зачатья
Будут на красном ложе,
Еще роды...

Твои щедро
Тело богатства
Разделить надо во имя братства...

Скоро
К сосцам твоим присосутся,
Как братья,

Новые своры
Народов...

Еще не одна революция
Нянчиться будет в твоей зыбке...

Пламени море
С твоих кровель
Кинется зверем
На небоскребов
Ржавые спины...

Из твоего чрева,
Из твоего ада,
Пьяному кровью
Миру вынут
Новую дочь,
Новую Еву...

Ах,
Первая, Россия, ты
Вчерашнюю
Сдобу
Истории
С высоты башни
Анафеме предала...

Мах
У какого косца при косьбе больше?

Разве не ты
Побежденная
Победительницей с поля
Бежала брани?

О, доколе же
Россия, доколе,
Пламенем ослепленные
Не увидят, что недра твои изрыгают чаяния?

1918

Днесь

Отчаяние

Бьется пусть, как об лед лещ;
Пусть в печалях земли сугулятся плечи.

Что днесь

Вопль любви, раздавленной танками?..

Головы человечьи,

Как мешочки

Фунтиков так по десять,

Разгрузчик барж,

Сотнями лови, на!

Кровь, кровь, кровь в миру хлещет,

Как вода в бане

Из перевернутой разом лоханки,

Как из опрокинутой виначерпием

На пиру вина

Бочки.

Воины...

Жертвы...

Мертвые...

Нам ли повадно

Траурный трубить марш,

Упокойные

Ставить свечи,

Гнусавить похоронные песни,

Истечь

В надгробных рыданиях?

Нам — кричащим:

Тресни,

Как мусорный ящик,

Надвое земли череп.

Нам — губами жадно

Припадающим к дымящейся ране, —

Понявшим истинно небывалую в мире трагедию.

Что убиенные!..

Мимо идем мы, мимо —

Красной пылая медью,

Близятся стены

Нового Иерусалима.

1918

* * *

Я пришел к тебе, древнее вече,
Темный люд разбудил медным гудом,
Бросил зов, как собакам печень,
Во имя красного чуда.

Назови же меня посадником,
Дай право казнить и миловать,
Иль других не владею ладней
Словом, мечом и вилами.

Застонет народ чистый,
От суда моего правого —
С вами вместе пойдем на приступ
Московии златоглавой.

Затопим боярьей кровью
Погреба с добром и подвалы,
Ушкуйничать* поплывем на низовья
И Волги и к гребням Урала.

Я и сам из темного люда,
Аль не сажень косая — плечи?
Я зову колокольным гудом
За собой тебя, древнее вече.

* * *

Я из помойки солнце ладонями выгреб,
Лунные пейсы седые обрезал у Бога и камилавку
С черепа мудрого сдернул.
О как, земля, бесконечно я рад
Тебе принести все это в дар!..
Я не цыган-конокрад
В таборе,
Гордый конем уведенным.
Я, как игрок, высшую ставку

* Ушкуйник — член вооруженной дружины, занимающийся разбоем (прим. ред.).

А вы все еще вопите: погибли!
Все еще расточаете хныки!
Глупые головы,
Разве вчерашнее не раздавлено, как голубь,
Автомобилем,
Бешено выпрыгнувшим из гаража?!

* * *

Багровый мятежа палец тычет
В карту
Обоих полушарий:
— Здесь!.. Здесь!.. Здесь!..
В каждой дыре смерть венником
Шарит:
— Эй! к стенке, вы, там, все — пленники...
И земля словно мясника фартук
В человечесьей крови, как в бычьей...
— Христос Воскрес!

* * *

Василию Каменскому

Эй! Берегитесь — во все концы
С пожарища алые головы...
Кони! Кони! Колокольчики, бубенцы,
По ухабам, ухабам, ухабам дровни.

Кто там кучер? Не надо кучера!
Какая узда и какие вожжи!..
Только вольность волью сердце навьючила,
Только рытвинами и бездорожьем.

Удаль? — Удаль. — Да еще забубенная,
Да еще соколиная, а не воронья!
Бубенцы, колокольчики, бубенчите ж, червонные!
Эй вы, дьяволы!.. Кони! Кони!

Ивану Старцеву

Даже грязными, как торговок
Подолы,
Люди, люблю вас.
Что нам мучительно нездоровым
Теперь,
Чистота глаз
Савонаролы,
Изжога
Благочестия
И лести,
Давида псалмы,
Когда от Бога
Отрезаны мы,
Как купоны от серии.

* * *

Твердь, твердь за вихры зыбим,
Святость хлещем свистящей нагайкой
И хилое тело Христа на дыбе
Вздыбливаем в Чрезвычайке.

Что же, что же, прощай нам, грешным,
Спасай, как на Голгофе разбойника, —
Кровь Твою, кровь бешено
Выплескиваем, как воду из рукомойника.

Кричу: «Мария, Мария, кого вынашивала! —
Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..»
Зато теперь: на распеленутой земле нашей
Только Я — человек горд.

1918

КОНДИТЕРСКАЯ СОЛНЦ (1919)

1

Утро облаков паруса
Месяца голову русую
В лучей головни.
Город языками улиц в неба тарелку,
А я в блюдах зрачков ненависти ланцет
Всем поголовно.
— Как воздуху, человеческого мяса полтора фунта!
В восстаний венце,
С факелом бунта,
С двенадцати на двенадцать на часах справедливости
стрелки.

2

Как земля солнца вокруг,
Земли вокруг разрушений ядра.
Ко всему нулевой итог,
В дышлах революционных вьюг
Земле пожаров экваторы.
Земля по орбите в пожаров пальто
Никакой жалости, никакой любви.
Как сахар в ступке
Детские косточки смертей грузовик, —
Туберкулезного харк — трупики.

3

Смерд.
Смертию смерть, смерть смертию.
На души галоши, в галошах по крови земли, —

Этих бурь ломовая лошадь
По ухабам червонной зари кули.
Перед зорями смерть патриархом.
Смерд,
Смертию смерть, смерть смертию.
— Ана-а-а-а-рхия!

4

Никогда за ее ресниц полог,
Зрочки, как в синюю высь голубки.
С злобою Окаянного Святополка
Города крови кубки
Залпом.
Воплей залп
Неба живот в дрожь.
По крышам, как по доске кегельбана
Туда и сюда пожаров ядро.
Панихиды в соборах, как дробь барабанная.

5

Никогда поцелуй ночь на грудей канделябры,
И пальцы в кружевах юбки,
Как в бурьяне
Грабли.
Площади до капельки крови кубки.
Клыками артиллерия
Улиц артерии,
Говядину человечью в куски.
Миряне,
Это — в небо копытами грозно конь русский.

6

Из Москвы в Берлин, в Будапешт, в Рим
Мясорубку.
В Африке крылья зари,
В Америке пламени юбка,

Азия, как жонглер шариками, огнем...
С каждым днем
Все железней, все тверже
Горбылевые наши выи,
Революции огненный стержень,
На котором и я и вы.

7

Месяц в высь дискобол,
И туда же электричества дротики,
Ручные гранаты о мостовые,
Как истеричка затылком о пол.
Пятилетней до крови ротик,
Сына завтра на вы я,
Как любовницу дочь на ложе.
Шрапнели в брюхо земли
И кишки по торцам, как вожжи,
Этих бурь ломовая лошадь
По ухабам червонной зари кули.

8

Человек. Красивый, какой красивый —
— месиво!
Танки кости, как апрель льдинки.
Досыта человеческой говядины псы...
С запахом самки
Крови парной крынки.
Горами души бицепсы.
Гаубицы
Стаканы в простыни облаков голубицами,
А солнце земле улыбки на щеках ямками.

9

И еще смерть губами города торс —
Так октября утро торцы,
И еще перед ней миряне колени

И в епархии:

— Мно-о-о-огая ле-е-ета!

Это

Поэту ведь только поэма анархия

И поэмы — пожаров нимбы,

А им бы:

Мир на земле и в человецех благоволение.

10

О какой там поэты мухе,

Когда в музеях

Любовь под рубрикой —

Пора старух парики,

В пепел — веков наследство!

Из кирпичных волос огненным гребнем порхая...

Так, так земля — канкан на ланцете с факелом бунта

В венце восхитительных бедствий.

Как воздух человеческого мяса полтора фунта!

— Ана-а-а-архия!..

МАГДАЛИНА (1919)

С любовью Сергею Есенину

Глава первая

1

Бьют зеленые льдины
Дни о гранитные набережные,
А я говорю: любовь прячь, Магдалина,
Бережно.
Сегодня, когда ржут
Разрывы, и визжа над городом шрапнели
Вертятся каруселями,
Убивая и рая,
И голубую вожжу у кучера вырывают смертей
кони —
Жители с подоконников
Уносят герани,
И слякотно: сохрани мои копеечки жизни Бог!..
А я говорю: прячь, Магдалина, любовь до весны, как
проститутка «катеньку» за чулок.

2

Магдалина,
Я тоже люблю весну.
Знаешь, когда разбивая, как склянки,
Тинькает
Солнце льдинками.
А нынче мохнатые облака паутиной
Над сучьями труб виснут,

И ветер в улицах кувыркается обезьянкой,
И кутают
Туманы пространства в тулупы, в шубы, —
Еще я хочу, Магдалина,
Уюта
Никогда не мятых мужчиной
Твоих кружевных юбок.

3

О ком? Ни о ком.
Ах, сметены, сметены
Метлами ветра в кучи, в груды,
Скатаны в ком —
Облака.
Не надо, не надо нам выжатого из сосцов луны
Молока.
Слушай, ухом к груди,
Как хрипло водопроводами город дышит...
Как же любить тебя, Магдалина, в нем мне?
Нет, ничего не хочу и не буду помнить...
Поэт. Разве?.. Как все, как эти —
Асфальтовых змей выкидыш.
Дай же, дай, холодных белых рук твоих, Магдалина,
плети.

4

Стихами, кропя ли
Улицы, буду служить молебны.
Смотри, Магдалина,
Нелюбы
Опять распяли
Поэта в зеркальных озерах витрин...
Только губы, твои, Магдалина, губы,
Только глаза небные,
Только волос золотые рогожи
Сделают воском

Железо крестных гвоздей.
Магдалина, я тоже ведь, тоже
Недоносок
Проклятьями утрамбованных площадей.

5

Помню, вдруг, выбежали глаза ребенка
Из дома душевнобольных
И заметались в бензинной
Копоти.
Увидел. — Имя, имя твое? — Магдалина...
Кажется, где-то барабанные перепонки
Слышали. Даже, быть может, в стальных
Колокольных звонах,
Может быть, в реве трубы Иерихонской
Или у ранней обедни...
Тише! Словами не топайте
Топотом эскадрона. —
Не я, Магдалина, а ветер копытами конскими
В ставни любви последней.

6

Соломоновой разве любовью любить бы хотел?
Разве достойна тебя поэма даже в сто крат
Прекрасней, чем «Песня Песней»?
Ей у ступней
Твоих ползать на животе
И этим быть гордой.
Разве твое не прекраснее тело, чем сад
Широкобедный
Вишневый в цвету?
Ради единой
Слезы твоей, Магдалина,
Покорный, как ломовая лошадь
Кнуту,
Внес на Голгофу я крест бы, как сладкую ношу.

В проломленный льдинами
 Борт
 Души — любви пламень...
 Как же мне, Магдалина, портновским аршином
 Вымеривать страданиями огаженные тротуары?
 Каким абортom,
 Растрланное твоими глазами,
 Сердце спасти? Старая
 Песенка!.. Опять про весну
 Панели захлюпали снегом, разъеденным солью...
 Магдалина, слыхала — Четвертым
 Анатолию
 Предложили воссесть одесную,
 А он, влюбленный здесь, на земле, в Магдалину:
 «Не желаю!» гордо.

В кубок
 Поэмы для тебя соберу, Магдалина
 Стихов брызги.
 Может быть, будут взвизгивать
 Губы:
 — Смеее-й-ся, па-яяц;
 Может быть, в солнце кулаком — бац.
 А вы, там — каждый собачьей шерсти блоха.
 Ползайте, собирайте осколки
 Разбитой клизмы...
 Каким, каким метеором, Магдалина,
 Пронеслись мы
 Над землей голодным воющим волком...
 Разве можно о любви, как Иисусик, вздыхать?

Что? Как?
 Молчите! Коленом, коленом
 Пружины
 Ее живота — Глаза — тук! так!

В багет, в потолок, о стены,
Наружу...
«Магдалина!»
А-а-а-х!.. — Шмыг
Крик
Под наволочку. А губы! Губы!
Это. Нет. Что Вы — уголок подушки
Прикушенный. Чушь!
А тело? Это?.. Это ведь — спущенных юбок
Лужи.

10

Можно ли помнить о всякой вине,
Магдалина?
О нас же с тобой не напишут в Завете,
Нашим скрижалям не выстроят Скинию!
Раскаяние свернется улиткой
Уныния
В каменной сердца раковине.
Твои, Магдалина,
Глаза ведь
На коврах только выткать!
Магдалина, мы в городе — кровь, как из водопровода,
Совесьть усовершенствованнее канализации.
Нам ли, нам ли с тобой спастись
Когда корчится похоть, как женщина в родах.

11

Опять трехдюймовки хохотали до коликов,
Опять артиллерия заграбастывала кварталы в охапку,
И в небе дымки кувыркались красноглазыми
кроликами. —
Эй, купола, снимайте же шапки,
Довольно по тучам кресты
Волочить, как слюни!
На папертях голоикрым канканом
Май вертокружит с Июнем,

Революция с революцией. Магдалина,
Я тоже пьяный,
Я тоже прыгал через костры
И шальный
В огненном казакине
Танцевал лезгинку с кинжалом.

12

Граждане, душ
Меняйте белье исподнее!
Магдалина, я также сегодня
Приду к тебе в чистых подштаниках.
Что? — кажется смешной трансформация?
Чушь!
Поэт, Магдалина, с паяцем
Двоюродные братья — тому и другому философия
С прочим —
— мятные пряники!
Пожалуйста, покороче:
Любовь и губы.
Ах, еще я хочу уюта твоих кружевных юбок.

13

Что это, это —
Красных чернил лужа ведь?
Магдалина, Магдалина, почему же на кружеве?
Кричи, Магдалина!
Нет,
Лжешь! Пружины,
Как тогда, живота коленом.
Молчишь?.. Молчишь?! Я выскребу слова с языка.
А руки,
Руки белее выжатого из сосцов луны молока.
Кричи, Магдалина! Я буду сейчас по черепу стучать
Поленом..
Ха-ха. Это он, он в солнце кулаком — бац;
— Смеее-й-ся, пая-яц...

Дни горбы

Книга II

1

Вадиму Шершеневичу

Дни горбы по ступенькам
Из погребов тысяча девятьсот восемнадцатого...
Сейчас — на хрусткий крахмал улиц солнце кашне бы,
А тут: звенькают
Вьюги
Ветрами, как в бубен, небо
И тучи струги
На зори, а зори красные лисьи
Хвосты в сугробы...
Где-то там — у памяти в святцах —
Магдалина.
В зеленые льдины
Выси
Тоски хобот.

2

Больно, больно под конским крупом
Любви ранам.
Еще и еще в костеле
Сердца: Ave Maria!..
«Отдайте! Отдайте!» — как в рупор
С баллончика балагана.
Какой же глупенький, Анатолий, —
Им бы совдепы,
А не твоей любви автомобильные фонари.
Уйди, спрячься, как паровоз в депо —
Там чини отчаяния оси, дней буфера...
В холоде мартовского утра бронза осени,
Октябрьских туч веера.

Смотрите, смотрите: носище влево,
 Котелок на штиблете,
 Галоша на лысине...
 Будете, будете о поэте
 Плакать, как об Эдеме Ева!
 Зачем мне Вашего неба абажур теперь,
 Звезд луковицы,
 Когда в душе голубой выси нет?
 Доктор, в голове, как в вертепе!
 Остановите! Мозг не может слученною сукой виться!
 Выньте безумия каучуковые челюсти,
 Со лба снимите ремни экваторов, —
 Я ведь имею честь
 Лечиться у знаменитого психиатора.

День утренниками
 Напудренный.
 Суставами лед — хруст!
 И —
 — Зеленый в зеленой зыбке...
 Припадая к трости, асфальт чеканить.
 Здравствуйте! Здравствуйте! У вас в прорубях
 Глаз золотые рыбки,
 А у меня, видите ли, сердца скворечник пуст...
 Опять и опять любовь о любви,
 Соломея об Иоканане,
 Опять и опять
 В воспоминанья белого голубя
 Стихами о ней страницы кропя.

День печалей свезет ли воз?
 Ах, вчера снова два глаза — два кобеля на луну выли...
 Откуда, чья эта трогательная заботливость —

Анатолию лилии,
Из лилий лиру,
Лилии рук.
Да, да, конечно, — напомнить: на красной трапеции
В зеленом трико
Весна.
Раньше бы: вон, к черту рама, в улицу крик — О-о-о!
А нынче у окна —
(О ком? Ни о ком)
По струнам смычком
И даже: скрипке и струнам не стало петься.

6

Нет, тоски не выпадут зубы...
Лилии, лилии... «Будем знакомы».
О ком? Ни о ком.
Так себе...
И тоже — уют кружевных юбок.
Знаете, на солнце хорошо кляксу бы,
Туч осени сентября октября
И ветер — зори плясать красными ляжками,
Подолы задрав...
В апреле обряд
Желтого траура у одра
Земли.
Простите как выброшенные пригоршней волны
на пляж камни,
На тело души воспоминанья легли.

7

Вы со мной —
Так с ребенком колясочку катит мать
Нежно.
А в пальцах пальцы, как любовницы злое письмо сомну,
А у меня в зрачках крошечная
Тьма.

Все Магдалина и привычно мысль около
Дней колокол
Тихое помню не заглушит...
Выкатили глаза голыши
И только: там-сям
Снега грязные бельма...
Во имя ее, Магдалина, возьми! Отдамся!
Будем, будем крыльям губ вихрить апрель мы.

8

В поцелуев тугие мотки
Ненависти штопальную спицу, —
Душу,
Душу раздирают, как матку
Жеребец кобылице...
Подолы кровя кухарки
Петухом с отрубленной головою биться
Буду буду убийца —
Удушу,
Как мокроту глаза выхаркивая!
Ты это ты, последняя
Выжала сердце, как губку —
Словно пальто в передней
Губы на юбке.

9

До свиданья.
Говорите: «он был» о поэте.
Другой вашими пусть поцелуями будет увит, а не я,
Другому несите вашей любви Ниццу.
Смотрите: зубочисткой в кирпичных зубах
Ковыряется солнце в городе.
А я — «динь» — первый; «динь-динь» — второй;
«динь-динь-динь» — третий,
И двинется
Поезд, шевеля буферами, как крупом,
К зеленой звезде семафора —

Это моего сердца клубит и орет труба,
Это моего сердца ищут колеса труппа
Юноши,
Для него растланных губ таю нож.

10

Юрик, Юрик,
В глазах олень у тебя, загнанный гончими,
С ветвями в рогах лазури...
Юрик губами молитвенно локончики.
К родинке.
Как к плащнице.
Кожи замшу,
Как просфору.
Даруй, даруй
Солнце живота твоего! Смородинками
Сосцов пьяниться!..
Новым молюсь глазам, шут.
Магдалина, верности выбит щит.
Душу кладу под новой любви глыбищу.

11

И снова толпы вихрявили
Улиц проборы
И снова, как камень пращой:
Туда, головой! В жижу!.. Смотрите
Открытие:
У каждого отдушины глаз, нос, вроде глетчера, уши, как
котловины, и рот, которым какие-то песни ухали
Вправе ли —
Частная собственность: чемоданчик сердца и еще
Какая-то рухлядь.
А я — безумия гроздь,
А я — через заборы
Всех совестей и рубаху души
Не разорвал о гвозди.

Улица на цыпочки — высосала, высосала
Из сосцов луны молоко, а Вы
Говорите: утренниками
Напудренная.
Музыку! Музыку! Дом кэк уок
С каланчой...
Что это, — выклянчиваю:
Сохрани мне копеечки здравого смысла
Бог!..
Доктор доктор оковы
Со лба экваторов,
Выньте безумия каучуковые челюсти,
Я ведь имею честь
Лечиться у знаменитого психиатра...

РАЗВРАТНИЧАЮ С ВДОХНОВЕНИЕМ (1920)

1

Друзья и вороги,
Исповедуйте веру иную,
Веруйте в благовест моего вранья.

Как мертвую тушу лошадиную,
Поэтов насаживаю на рога
Своего вдохновенья.

Стаей вороньей,
Тучей
Кружит над павшими бойца слава.

Только крылья о звезды звенят
И ухаает,
Материков вздымая черное брюхо, —
— уллюлю!

А скромный биограф уже стучит
Молотом воспоминаний по металлу слов,
Венец кует победителю.

2

В вазах белков вянут синие лилии,
Осыпаются листья век,
Под шагами ласк грустно шурша.

Переломил стан девий
И вылилась
Зажатая в бедрах чаша.

Рот мой розовый, как вымя,
Осушил последнюю влагу.
Глупая, не задушила петлей ног!..

Вчера — как свеча
белая и нагая
И я наг,
А сегодня не помню твоего имени.

Люди, слушайте клятву, что речет язык:
Отныне и вовеки не склоню над женщиной
мудрого лба
Ибо:
Эта самая скучная из всех прочитанных мною книг.

3

Настежь рта гардероб
И язык,
Как красное платье.

Кому, кому серебро
Моей пепелящей плоти,
Кому глаза страдальные, как язвы?..

Тело закутайте саваном тишины,
Поставь, луна, погребальные свечи,
А вы —
Чернорабочие молвы
Словами сочными, как вишня,
Зачните сказ:

«В некотором царстве, некотором государстве
жил человек,
Точил он серебряные лясы,
Имя ему при рождении дали»...

И т. д.

Город — асфальтовый колокол —
 О чем люто
 В ночи гудишь?

Тебе стихи, белей, чем молоко,
 Мои мужские груди
 Льют...

Толп вал
 Пощади, во имя Новейшего Завета,
 Меня развратничающего с вдохновеньем.

Веруйте: сокровенного сокровенней
 Девятью девять месяцев зарю в животе
 Мариенгоф вынашивал.

А когда рожал, раздирая стены криком,
 И уже младенец теплое темя высунул,
 Тут же за пологом грешила поэзия со стариком
 Брюсовым.

Точит пурга
 Снежный клюв
 О железную спину Петербурга.

(Кажется или не кажется?)
 Корчится, как живая,
 Спина мертвеца...

Голову
 В тишину закинув,
 Именем не называть!..

Зверя устанут челюсти,
 Птицы костями набьют зобы,
 А иноземные гости

Будут на папертях трупы жечь
Мне ли любовь блюсти,
Каменной вазой быть?..

Каждая уроненная слеза океана глубже.

6

Не мечут за врагом в погоню
Мои упрямо стянутые луки
Скул

Стрелу
Монгольской яри,
И гребень в волосах не бег коней

По желтому
Песку
Татарии.

Ах, почему
Суров и так тяжеловесен
Сегодня шаг ветров

И барабанных перепонок струны,
Как в бурю омут,
И песен

Звук уныл и ломан метр.

7

Над белой, белой, как яйцо, луной
Наседка кудахчет — облако
Или вьюга?

Недруги,
Пощадите голову — это мудрое веретено,
Что прядет такую прекрасную пряжу стихов.

Каждый проулок — логовище.
Стальными клыками бряцает
Густая, как шерсть медведя, толпа воинов.

И вся Русь разбойно
В четыре пальца
Свищет.

Удаль, удаль
Не заколдовали тебя веков ворожеи!..
Где же я, с кем буду,

Положу себя на ладони чьи?

8

Город к городу каменным задом,
Хвостами окраин
Окраины.

Любуйтесь, граждане, величественнейшей случкой!
Гиганты, безумия хлебнувши яд,
Языками фонарей зализывают раны.

Молюся о них молитвой такой:
(Вздывая руки
Тяжолые, как якоря):

«Социалистический боже, даруй
Счастливейшее им потомство
Сынов, внуков и правнуков.

В черные зубы фабрик гаванскую сигару,
Ладони пригородных мостовых
В асфальтовые перчатки втисни
И еще тысячу т. п. маленьких радостей».

9

Камень Вавилонской башни
Усеяли
Твои зерна

Скифии вчерашней
Поля.
Черна ладонь твоего сеятеля.

Нет серпов
Для этого восхода,
Жнеца нет.

Гранитной тропой
На цепи, что в железной руке,
Невская бежит вода.

Волн металлическое бряцание,
Валов ржание
Поет миру о новой каторге.

Солнце, вода и ветер, вы сегодня почетные
каторжане.

10

Счастье, обыкновенное, как весна,
Неужели все еще мало
Тебе человеческой пищи.

Виснут, все длиннее виснут
Над голубыми щеками далее
Черные уши кладбищ.

Кончено. Все кончено.
Степная тишь в городе.
Долинное безмолвие движется по проспектам.

Рыдайте, матери. Розовая говядина
Ваших сыновей печется на солнечной
Сковороде.

Один иду. Великих идей на плечах котомка,
Заря в животе
И во лбу семь пядей.

Ужасно тоскливо последнему Величеству на
белом свете!

Как к кувшину в горячий полдень,
 Ко мне приди, и молодой и старый,
 Студеные кусать сосцы.

Наполню
 Новыми дарами
 Мешочки дряблые скопцов,

Из целомудрого ковша
 Серебряного семя
 Каплю.

Касаньями
 Сурово опалю
 Уста наивно возалкавшие,

И, наконец, под хриплый петли лай,
 Потайные слепые двери
 Откроет тело.

О как легко, как сладостно нести мне
 материнские вериги!..

Не правда ли, забавно,
 Что первый младенческий крик мой
 Прозвенел в Н. Новгороде на Лыковой Дамбе.

Случилось это в 1897 году в ночь
 Под Ивана Купала,
 Как раз —

Когда зацветает
 Папоротник
 В бесовской яме.

С восьми лет
Стал я точить
Серебряные ляды.

Отсюда и все беды.
Имя мне при рождении дали
Ну — и т. д.

И проч. проч.

СТИХАМИ ЧВАНСТВУЮ (1920)

* * *

Сергею Есенину

На каторгу пусть приведет нас дружба,
Закованная в цепи песни.
О день серебряный,
Наполни века жбан,
За край переплесни.

Меня всосут водопроводов рты
Колодезы рязанских сел — тебя
Когда откроются ворота
Наших книг,
Певуче петли ритмов проскрипят.

И будет два пути для поколений:
Как табуны пройдут покорно строфы
По золотым следам Мариенгофа,
И там, где оседлав, как жеребенка, месяц,
Со свистом проскакал Есенин.

Март 1920

Сентябрь

1

Есть сладостная боль — не утоливши
Жажды,
Вдруг
Выронить из рук

Любимых глаз ковши.
В трепещущее горло
Лунный штык —
Прольется кипяток, вольется лед и тишь.

2

Быстрее, разум-конь, быстрее!
Любви горячее пространство
Подковы
Звонкие распашут,
Нежнейших слов сомнут ковыль...
Мне нравится стихами чванствовать
И в чрево девушки смотреть,
Как в чашу.

3

Рассветной крови муть
Стекает с облаков — посеребрённых ложек.
Не позову и не приду на ложе
И ни к кому.
Ее ресницы — струны лютни,
Их немота странна,
И кровь еще мутней,
Сочат сосцы, как золотые краны.

4

Не понимать родную речь,
Идти и недвижимым быть,
Читать слова и быть незрячим...
Белков синеющая степь,
И снова радужные нимбы
Над степью выжженной горят!
И снова польхает перстень
На узком пальце фонаря.

5

Тяжелый таз
Осенних звезд
Не каждому дано перенести.
В какую глубину меня низвел
Звенящий стих
Ресниц.
Протряс сентябрь — сумрачный возница
По колеям свой желтый тарантас.

6

Как в трупы, в желтые поля
Вонзает молния копье,
Кинжал и меч, стрелу и нож, клинок.
И сумерки, как пес,
Зари кровавый рот
Оскаля,
Ложатся спозаранок
У каменных ботинок городов.

7

Под осень отцветают реки,
Роняя на песок
И на осоку
Зеленых струй листы.
В карманах
Розовых туманов
Чуть слышен ветра крик
И воробьиный свист.

8

И хорошо, что кровь
Не бьет, как в колокол,
В мой лоб
Железным языком страстей.

Тяжелой тишиной накрой,
Вбей в тело лунный кол,
Чтобы оно могло
Спокойно чистоту растить.

9

Не так ли
Лес
Перед бедой
Запахивает полы
Широкого пальто.
Открою у ладони синий желоб —
Прольется кипяток,
Вольется лед.

Май 1920

Руки галстуком

1

Обвяжите, скорей обвяжите, вокруг шеи
Белые руки галстуком,
А сумерки на воротнички подоконников
Клали подбородки грязные и обрюзгшие,
И на иконе неба
Луна шевелила золотым ухом.

2

Глаза влюбленных умеют
На тишине вышивать
Узоры немых бесед,
А безумие
Нелюбимых поднимается тишины выше,
Выше голубых ладоней поднебесья.

3

Прикажет, и лягу проспектом у ног,
 И руки серебряными панелями
 Опущу ниц —
 Руно
 Молчания хорошо собирать в кельи
 Зрачков сетью ресниц.

4

Губами жевать красную ветвь
 Губ. Глазами синевы дерн
 Глаз. Из сапога ночи выдернул
 Рассвет
 Желтую ногу
 И опустил в утренних облаков гуд.

5

Не было вас — и не были дня, не было сумерек,
 Не горбился вечер
 И не качалась ночь.
 Сквозь окно
 На улицы, разговаривающие шумом рек,
 Выплыл глазами опавшими, как свечи.

6

К пристаням безумия и вчера и сегодня
 Мы ли бросали галок ленты
 И опускали сходни.
 Сейчас, сейчас же,
 Извлеките квадратный корень из коэффициента
 Встречи около чужого № в гостинице
 для приезжающих.

Вечер — швейцар
 В голубой ливрее — подавал Петербургу
 Огненное пальто зари.
 Почему у одних глаза швыряются
 Звездной пургой,
 А у других из ворот век не орут даже,
 как автомобильные фонари.

И снова голые локти
 Этого, этого и того дома
 В октябре зябли,
 И снова октябрь полировал льдом
 Асфальтов серые ногти,
 И снова уплывали часы, как корабли.

Не было вас, и все-таки
 Стал день, вытекли сумерки,
 Сгорбился вечер и закачалась ночь —
 Потому что: время перебирало четки,
 Дымилось весной,
 И солнце белую мякоть снега грызло золотой
 киркой.

Никнуть кривыми
 Губами клоуна
 К лицу белее, чем сливки.
 Спутанной гривой
 Волновой любви разлив
 Топит маяками зажженные луны.

Ах, проройте же
 Зубами на теле траншеи
 И обвяжите
 Вкруг
 Шеи
 Галстуком белые руки.

1919

Кувшины памяти

1

По бульжью встреч себя колесить
 Каждую рану, зализывая после —
 Так по снегу влачат окровавленный след
 Искушенные свинцом лоси.
 В раковинах ушей говор — лай
 Бегущих по пятам дней свор.
 Это последняя мне розовых губ петля!
 Кто же вынет холодный труп,
 Чьими горестными взглядами буду обмыт,
 Когда поставит золотые столбы
 На перекрестках новое утро.

2

Синими струями пролилась тишина.
 Под черепом не провисают плеч стропила,
 Память опрокинула высокие кувшины
 И, словно руки омыл Пилат,
 Итти и снимать шляпу
 Перед девушкой, фонарем и лошадыю,
 Спрашивать у встречных самый короткий путь.
 Куда?
 Никуда.
 Просто: у меня пути нет —
 Его смысл весенний дождь.
 А в зрачках окровавленный след стынет!

Чернильными слезами окапал
 Раскрывшиеся ладони белого листа.
 Был ли он, звездный бал,
 Когда вихрились золотые стаи
 И волочили кружевные шлейфы
 Облака по синему паркету.
 Такою же поступью вошли вы
 В поэтову комнату.
 По черной пене строк
 Лебедями проплыли руки.
 Поэмы — чаемый остров —
 На твой берег так не вступали другие.

Синюю струю тишины пью.
 Тело нести легко.
 В гавани слуха плывут издалека
 Корабли шорохов нежной поступи.
 И не кажется при встрече,
 Что девушка на фонарь похожа,
 Шляпу не снимаю перед лошадью
 И трамвайному звонку не перечу.
 Не любимая есть, а друг.
 Льдины его ладоней белое пламя сжимают лба
 Когда ставит на перекрестках золотые столбы
 Новое утро.

1920

Встреча

Сергею Есенину

Какой земли, какой страны я чадо,
 Какого племени мятежный сын.
 Пусть солнце выплеснет

Багряный керосин,
Пусть обмотает радугами плеснь,
Не встанет прошлое над чадом.

Запомнил плоть, не знаю крови русло,
Где колыбель
И чье носило чрево.
На Русь, в веках лежащую огромной глыбой,
Как листья, упадут слова
С чужого дерева.

Но есть любовь, и этот легкий дым
Не разорвет когтистая пурга.
Пусть вышиты глаза узором иноземным,
Я пыли не сотру на обуви другой.

2

В тяжелые зрачки, как в кувшины,
Я зачерпнул и каторгу,
И стужу.
Колесами и звонкой матерщиной
Лихач рвет тряпки луж,
А кони буйство в гривах берегут.
Поэма, песнь, строфа ли
Легла
Червонным золотом луны
На стекла,
На асфальт
И на узор чугунный.
А разве та,
Чьи губы страстный крик полосовал,
Не будет гребнем моего стиха до самого рассвета
Расчесывать каштановые волоса.

3

По черным ступеням дней,
По черным ступеням толп
(Поэт или клоун?) иду на руках.

У меня тоски нет.
Только звенеть, только хлопать
Тарелками лун: дзин-бах!

А синий
Колпак
С бубенцами звезд бах-дзин!
А солнце на животе,
А тихое помешательство рядом на четырех лапах:
«Отчего воете?»

Кость и тело с себя не снять —
Не уйти из родной конюшни,
И влачится кандалами песня
По черным ступеням дней.

4

Город, мира каменная корона.
От зубца к зубцу с окраины и до окраины
Себя радугой над тобой гну.
В уши собираю, как в урны,
В Вавилоне чаемый
Гуд.
Шумы песен в ведрах
На грузовиках катим боль —
Кто этот мудрый отрок
Бежит от меня в поле?

Кличу:
«Гони сюда коров, овец и стада бычьи,
На тонких плечах нам неси вязанки
Зари,
Для нас сбереги в ладонях журавлиный крик
Осеннего спозаранка».

5

Отсюда: горбясь на лапах асфальт полз —
На спине: Собор Исаакия — хлеб хозяйский.
И еще — Колокольня Ивана — рукоятью
поднятый меч.

Отсюда: ржаное поле —
«Здравствуй! Миллиарды золотых языков
Веков трубы эту протрубят встречу»,
Насмерть
Разбиться голубой чашей звездной оргии,
Вытечь вину зари на белоснежную скатерть:
Сегодня вместе
Тесто стиха месить
Анатолию и Сергею.

Март 1920

ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА «ЭТО ЛЮБОВЬ» (1919–1921)

* * *

Ты — лед, ты — солнце, ты — вода,
С тобой всегда и никогда.
Ты — лес, равнина, ты — моря.
Ты — жар, ты — холод января.
Ты — мошка, ты — планета наша.
Я в душу женщины смотрю, как в чашу.
С тобой позорно дни влачу,
С тобой в бессмертие лечу.

1919

* * *

Идешь.
Как первый луч, тебя встречаю.
Поют, как девушки, ступени.
Я голову — крылом балтийской чайки —
Тебе кладу на острые колени.

1919

* * *

Прикажет — и лягу проспектом у ног,
Вытяну руки панелями.
Только бы целыми днями,
Неделями
Собирать молчания руно,
Никакого отчаяния!

Это и есть любовь —
Собирать с тобой
Золотое молчание.

1919

* * *

Не было вас
И не было сумерек,
Не вздымал вечер.
Я вышел на улицу,
Разговаривающую шумом рек.
Глаза, как оплывшие свечи,
Ветер!
Нет, на Кузнецком я вас не встретил.
Только блудниц.
Я,
Как птичница
Без птиц.
Нет человека на свете
Грустней Мариенгофа,
Пришлось одному есть яичницу
И пить кофе.

1919

* * *

Темная ночь на земле.
Как машинистка, луна
Сокращена.
Нет, это я ослеп!
Кривыми губами клоуна
Целую лицо, белое, как молоко.
Это она перепудрилась.
Это понять легко,
Случай не единичный,
Любовь бывает слепа и трагична.

1919

* * *

Как хорошо, что кровь
Не бьет в мой лоб,
Как в колокол,
Тяжелым языком страстей!..
Ты — около.
Хочу спокойно чистоту растить.

1920

* * *

Дышу, как родиной, тобой.
Нашествие.
Чреда кровавых дней.
В России ржание коней —
Поджарых, длинных, иностранных.
Я выйду в бой
Со словом «Анна!..»
Дышу, как родиной, тобой.

1921

ТУЧЕЛЕТ (1921)

* * *

Утихни, друг.
Прохладен чай в стакане.
Осыпалась заря, как августовский тополь.
Сегодня гребень в волосах —
Что распоясанные кони,
А завтра седина — что снеговая пыль.

Безлюбье и любовь истлели в очаге.
Лети по ветру, стихотворный пепел!
Я голову крылом балтийской чайки
На острые колени положу тебе.

На дне зрачков спокойствие и мудрость.
Так якоря лежат в оглохших водоемах.
Прохладный чай
(И золотой, как мы)
Качает в облаках октябрьское утро.

Ноябрь 1920

Застольная беседа

1

Клубящимся вином стаканы им наполни,
А мне налей прозрачной тишины.
На розовых губах не загорится пышно
Безумия горчайшая полынь.

Стеклянным бубенцом
Далеких дней
Звени застольная беседа,
Тумань блеск Пушкинских годов.
Великолепный был Лоренцо
Великолепный Мариенгоф!..

Ах, увяданья тяжкий плен
И пена
Времени
Седа,
Как волосы семидесятилетней.
Лосевая доха
Убережет ли плоть
От поцелуя лдяных губ
Забвенья...
Что впереди?
Покорно стынуть на книжной полке
Будущего стихолюба
В тисненном медью
Переплете...
Во имя чье — на голубом огне стихов
Сгораем мы.
Под утро тост и в честь богемы —
Оду,
А в чем вино — то мелкие осколки
(чтоб старое не вспоминать нам больше) —
Германская железная рука в 15 год
Так разбивала в Польше
Сибирские стрелковые полки.

2

Над голубым простором глаз
Мой лоб, как белая скала.
Какой теплыню дышит
Водяная мгла,
О, как зовет на золотое дно.
Но мудрость (от всех напастей верный щит),
Врожденная мне мудрость подсказала:
— Иди за дружбой и огни любовь!

А на улицах холодно.
По улицам шлепает вьюга
И фонари-бродяги.
Из рваной стеклянной обуви
Голые пятки.
Окна, не харкайте желтой кровью!
Черный платок ночи скорее к белым губам
Рам.
Как хрипло, как страшно стонут
Тронутые
Туберкулезом
Дымоходные трубы.
Тебе — умирающий город — моя слеза.

3

В крови погасло золотое празднество,
Ни одной зажженной свечи нет?
Качаются ладони —
Они,
Как круглые чаши весов —
Любви и безлюбья мера.

Будь трижды и трижды проклят
Час моего венчания
С бессмертьем!

4

И числа, и места, и лица перепутал
А с языка все каплет терпкий вздор.
Мозг дрогнет
Словно русский хутор,
Затерянный среди лебяжьих крыл.
А ветер крутит,
Крутит,
Крутит,
Вылизывая ледяные плечи —
И редким гребнем не расчешешь
Сегодня снеговую пыль.

— на Млечный путь
Сворачивай, ездок,
Других по округ
Дорог нет.

5

Не туча — вороньи перья
Черным огнем твердь пламят,
Знаете ли почему? Потому что: октябрь сразил
Смертями каркающую птицу.

Где ты, Великая Российская империя,
Что жадными губами сосала Европу и Азию,
Как два белых покорных вымени?..

Из ветрового лука пущенная стрела
Распростерла
Прекрасную хищницу.

Неужели не грустно вам?
Я не знаю — кто вы, откуда, чьи?..
Это люди другие, новые —
Они не любили ее величье.
Нет, не приложу ума,
Как воедино сольются
Вытекшие пространства.

Смиренно на Запад побрело с сумой
Русское столбовое дворянство.

Многая лета,
Многая лета,
Многая лета
Здравствовать тебе — Революция.

Январь 1921

Тучелет

Иннаф

1

Из черного ведра сентябрь льет
Туманов тяжесть
И тяжесть вод.
Ах, тучелета
Вечен звон
О неба жечь.

2

Язык
Не вяжет в стих
Серебряное лыко,
Ломается перо — поэта верный посох.
Приди и боль разуй. Уйду босой.
Приди, чтоб увести.

3

Благодарю за слепоту.
Любви игольчатая ветвь,
Ты выхлестнула голубые яблоки.
Сладка мне темь закрытых зябко век,
Незрячие глаза легки.
Я за тобой иду.

4

Рука младенческая радости
Спокойно крестит
Белый лоб.
Дай в веру верить.
То, что приплыло,
Теряет всяческую меру.

Слепые ноги

Арсению Аврамову

1

Человеческих темных страд
В щелях век неживые белки —
Порубленных дней кора
И золотые опилки.

Кто однажды сказал «пощади»,
Тот не знает победы железной.
Желтизною осенних щетин
Человечья шкура облезла.

Что зрачков устремленных тазы?!
(Слезной ряби не видеть пристань) —
Если надо учить азы
Самых первых звериных истин.

2

Жилистые улиц шеи
Желтые руки обвили закатов,
А безумные, как глаза Ницше,
Говорили, что надо идти назад.

А те, кто безумней вдвое
(Безумней психиатрической лечебницы)
Приветствовали волчий вой
И воздвигали гробницы.

Мне над кем же — над теми ль, над этими
Рассыпать горстями душу,
Или колпак надеть
Колеблющихся воздуший.

3

К вам, кто умеет бегать
Ветром в трепещущих ковылях,
По завернутым в газеты снега
Площадям иду себя вылить.

Какое имя — Россия,
Другое ли,
Все равно — только тем, кто несет погромные колья
Стихов серебряные росы.

4

Дней колодезная глубина,
Нам ли серые глаза струй черпать —
Кровь сентябрьская рябина,
Ведро человеческий череп.

Тот, кто направил дул згу
В испепеленные жаждой рты,
Знал, что только к последнему визгу
Склоняется мирт.

5

Не было часов мокрей,
Мокротою красней, чем щебень, —
Острогом заломленный набекрень
Месяц забыл о небе.

Вожжой не переломить хребты
Кореннику и шарахнувшимся пристяжкам —
Вдавленный пуп крестя
Нищие ждут лепты.

Опустится звезд жезл
Землю насквозь продырявить,
Прижечь раскаленным железом
Рваную рану яви.

6

Возлюбленную злобу настезь
И в улицы душ прекрасного зверя —
Крестами убийств крестят вас те же,
Кто кликал раньше с другого берега...

Говорю: идите во имя меня
Под это благословенье!
Ирод — нет лучше имени
А я ваш Ирод, славяне.

7

Желтые якоря
Заря на горбатых асфальтов дно,
Медленно с окраин ночь —
— дребезжащий черный фиакр.

На круглом голубом столе
Звездных карт рассыпанная колода
Льдяны пальцы от холода
Одних и тех же столетий.

Я знаю, увясть и мне
Все на той же земной гряде
И глазами маяков огромных
Только в себя глядеть.

8

Зеленых облаков стоячие пруды
И в них с луны опавший желтый лист.
Объять хочу — и далеко и близь
Немыслимой рукой наваленные груды.

Хочу белком коснуться острия,
Пусть вытечет из глаз голубизна слепая,
Хочу не полыхать на пламени костра я
И тысячи кормить единым песни хлебом...

Задумавший с планеты перебег
Не умерщвляет мозг, как пламень плоти инок —
Скорей прорвать молчания плотины
И затопить пророчеством земли отвесный берег.

В раскрытую рану какую,
 Неверия трепещущие персты
 Сегодня Страстной Монастырь
 Из горла выдавлю, завтра кухмистерскую.

И все оправдания ради
 Широкого благословенья —
 Кого же еще родить
 Черному чреву деревень?..

Песчаных холмов татарские скулы,
 Долин зеленые лбы —
 Железо-литейным гулом
 Эту трупную тишь разбил бы.

Не моя за цыганским скарбом —
 Верность плетется — собачья,
 Только тоска раба
 По безоблачью...

А когда, выбившиеся из колен
 Другую ищут слепые ноги
 Знаю: поют калики
 Тем же голосом о том же Боге.

Май 1919

Фонтаны седины

Лучами выпитый колодезь
 Эта грудь.
 Не припадай!
 Ведром любви слезы не вычерпать.

Сто первый колодой
На ногах,
Несу прохладу,
Несу снега.
И медленно зеленая тропа
Под поступью тяжелой леденеет.

2

Зрачки, как два котла,
Уроненные в голубой огонь.
Пускай вскипит
В них этих губ
Тягучая
Мольба,
Чтоб вознести и холодно и подло
Над ними скипетр
Торжественного лба
Я мог.
Не так ли ставят белый крест над ямой?

3

Как выжигают электрические дыни
Равнины толп,
(Лишь невредим —
Один —
Скала),
Так тишиной раскрытые глаза
Сжигают дни
И выпивают ночи словно лужи.
Я на престол
Бескровных зорь
Бескровные ладони возложу.

4

Любовь постичь мне как?
К ней приплыву на смертном корабле.
А здесь не суждено любимой косу плесть
Из золотых мочал,

Чтоб после пролилась она
Из судорожных ладоней тяжело.
Как ночь снега
Блистающих цилиндр увенчал
Высокий лоб,
Твой знак приемлю,
Чопорная седина.

5

Тяжелым яблоком
Свисает стих —
Сегодня он впервые солнценосно вызрел, —
И празднует поэт
Свой августовский Спас.
Прости,
Волос горячий пепел!
Зачесанный сурово локон,
Спадешь ты на чело фонтаном седины —
То будет час,
Когда перешагну за середину.

6

Не вздыбить время,
Не взнуздать.
Седок, ты раб коня,
Ты врос в седло, седок.
Напрасно режут брюхо стремяна
И в круп впивается ремень.
Как пес
Ведет слепца, меня ведет звезда
К забытым именам.
И славы тупится копьё,
Впиваясь в ржавую кольчугу суток.

7

Вчера
Под взвизги пьяного галопа,
Сквозь обручи безумных строф,

И с верою пророчествовал о нелепом.
Сегодня мертв.
И слепо
Над ведрами вчерашних слез
Подъемлю скипетр
Торжественного лба...
Каким норд-остом унесло
Мой парусник на мертвый остров!

8

Что губы девственниц?
— Полынь и лебеда.
Перо?
— Потухший факел.
А синь в глазах?
— На крыльях лебеда
Синь уплыла из глаз...
Не плещут крыльями испуганно ресницы,
Не горбит страх
Прямую бровь —
Прости-прощай, мой августовский Спас!

9

Рассыпал дни
Сквозь пальцы
Звонкой дробью.
Их соберет другой пригоршнями
Воспоминаний.
Тогда родится сказ.
И будет он — благоуханней
Дыни...
О, сладостна тоска,
Когда из сердца бьют
Фонтаны
Седины.

Сентябрь 1920

Анатолеград

1

Каменный кот давил мышей,
Разве у мышей тоже на веках кружева?
Девушки, кладите стебельные шеи
Под асфальтовые подошвы.

Город, любовью к тебе гнию,
Твое ненавидя зачатъе.
Какая величественная скиния
Пророческого косноязычья!..

...Завянут мыслей алые уголья,
Уйдет душа из костяной одежды.
В тучевых качающихся плоскогорьях
Не мычит человеческое безнадее.

2

Последний уроняю пепел
От жажды выкуренной боли.
Чье имя в песнопениях капелл?
В сиянии и золоте не свой ли вижу лик?

Не эти ль пальцы, выточенный мел
Чертили в небесах священное бескрестье.
А им казался лебедь белый
И в взмахах крыл пасхальный благовест.

Битюг пропрет ли дум мешки —
Шатался круп, хрипели ноздри,
Замерзшей крови в теле камешки,
Приму покорно смерти постриг.

3

Убивец, довольно скуфью нести —
От креста на брюхе кровоточащие сургучи!
Посмотрите, человеческие внутренности
У ветра на мерзлых сучьях.

Составят ли грозный перечень
Болтающихся гвоздичкой у смерти в петлице?..
Разве это солнце — это вывалившаяся печень,
Бешеные псы зубами вцепиться силятся.

Причащаюся крови и тела революции,
Буря поет, молний одев стихарь.
Никакими птицами не выключются
Мертвые глаза стихов.

4

То берег, то нет берега.
Плывет земля с обрубленными канатами,
Только от страха у человека глаза теперь,
Как большие пустые комнаты.

С масляной ветвью нет голубя.
У Анатолеграда камнями тонут материнские вздохи
И сутки, хвостами ночей клубя,
Знают лишь лунные ледоходы.

Почему же по облачным шпалам
Все ползут и ползут к нему человеческие муравейники?
Говорю: в каждом дереве грозой разодранном пополам,
Во всяком вывороченном камне — откровение.

5

Безумья пес, безумья лапу дай,
О дай умалишенья тихое.
Какая золотая падаль
Мои во времени гниющие стихи.

Когда обгложет кость голодное наследье
И выкатит белки, отравленное ядом
Другое знание в облачной ладье
К вам приплывет из Анатолеграда.

А эти — идущие никуда, а ниоткуда,
Только ступнями целовать асфальты,
Разве удастся им из кармана пальто
Первой встречной тоску отдать.

А женщина, что на стальной оси
Вращает глазами, как синие глобусы,
Разве в ночи сумасшедше не голосит
Перед улыбающимся с креста Иисусом.

Всеми ими любви не растоптан пепел,
Сладчайшая боль не выкурена до ваты.
Вижу — какое благолепие —
Повесили лик мой над детской кроваткой.

По глыбам тиши вечеров
Обвился слух лозой,
Морщин страдальные полозья
По луку мудрого чела.

Из небосвода выпит воздух
И нечем чашу вновь наполнить,
Копыта падающих звезд
Из сини выбивают молнии.

Кто говорит: быть кораблю на дне,
По борту крысы ряд за рядом?
Слепые, зрите — ястребы огней
Уже плывут из Анатолеграда.

Октябрь 1919

РАЗОЧАРОВАНИЕ (1922)

Друзья

1

Улица дохнула вином
И болью.
Чумная или пьяная?
По ней ли она шатается?
Девушка, кому несешь в дар
Татарские
Кувшины
Узких грудей?

Чьи
Плечи-фонтаны
Белые струи
Рук
На них прольют?
Кос золотая цепь,
А голова словно мертвый жемчуг.

Писал: не склоню над женщиной мудрого лба.
И вдруг — через ритмические ухабы
По черному тракту строк
Любовь мчу.

Разве угадаешь?
Дни —
Как песок.
(Так, кажется, говорил Заратустра.)

Город, я верный посох
В твоей асфальтовой ладони.

Друзья, друзья,
Простите мне измену эту.

Развеял над площадью апрель
Голубые стяги
И безумием вычеканил
Минуту.

А вечером —
Оттуда, из Замоскворечья
Привезут розовые кони
Зари
Другое небо.

Оно будет
В черном фраке.
Когда фрак улыбнется,
Высверкнет золотая челюсть
И эта челюсть зловеще
Отразится во всяком непроглядном колодце
Зрачка
И еще
В реке,
Которая — то ползет на карачках,
То прыгает качелью
На железных канатах мостов.

Именно в этот час,
Я, по всей вероятности,
Вспомню
Про утреннее путешествие
За коротким счастьем
На Буян-Остров

И захохочу.
Потому что: завтра
Подень опять развеет голубые бездымчатые
Стяги
И безумием вычеканит минуту.

По черному тракту
Строк
Любовь мчу.

3

Встретились.
Пургу,
А не взоры горстью метнули глаза ваши.

Повисла пурга:
Серьгой
В ушах,
Браслетами на руках,
Кандалами у щиколоток,
Ожерельем на шее.

Донести ли
Телу
Железа, золота и жемчуга столько?
С тяжестью этой идти по тротуарам как?

В молитве (которой молился самому себе)
Сегодня не могу вознести ладони,
А еще вчера взлетали они,
Как белые лебеди.

В блистательной карете головы
По черному тракту
Строк
Вас мчу.

4

Все с пестрыми ручьями
Протечет
И судеб карандаш
Точь-в-точь
Повторит
Орнамент встреч.

Так повторяется вчерашний снег,
Так ландыш
И в метре
Песню песнь.
Быть может, через год
(А будто
Было то
Давным-давно,
Неведомо когда)
За дружеской вечерней болтовней
Без грусти вспомню приключенье.

Вадим, Сергей
И легкие приятельницы возле
На стеклах льдяные ковры
Мятущегося января
(нам нравится персидский их узор),
В стаканах золотой апрель.

А в рюмках юльский зной.
Все хорошо. Лишь ветер злей и злей
Бьет локтем в переплеты рам
Шутливый прерывая разговор,
И кажется — один он верен той,
О ком разговорил
Развязно
Седой насмешник ямб.

.....
Опять вино
И нескончаемая лента
Немеркнущих стихов.

Есенин с навыком степного пастуха
Пасет столетья звонкой хворостиной.

Чуть опаляя кровь и мозг,
Жонглирует словами Шершеневич
И чудится, что меркнут канделябровые свечи,
Когда взвивается ракетой парадокс.

Не глаз мерцание, а старой русской гривны:
В них Грозного Ивана грусть
И схимнической плоти буйство
(не тридцать им, а триста лет), —
Стихи глаголет
Ивнев,
Как псалмы,
Псалмы поет, как богохульства...
Но кто красивой крупной птицей, вдруг, метнулся
От кресла и до люстр:
Под Мариенгофом черным вымпелом
На северный безгласный полюс
Флот образов
Сурово держит курс.
И чопорен и строг словесный экипаж.

Мы знаем — любострастно внуки скажут:
В то время лиры пели,
Как гроза.

Март 1921

Разочарование

Есенину

1

Как черный дождь
Стекает ночь с звезды.
По водосточным жолобам стекает
И пенится на тротуарах.

В такую темь:
С невест снимаются одежды
Вплоть до серебряного костяка.

В такую темь:
Мечом
Сечет
Фонарь
С прохожих головы и кости у метели.

В такую темь:
Раннее
Разочарование
Хрустальным бокалом зрачка
О зрачок
Чокается.

2

«Что слава?»
— Арабской крови жеребец:
В копытах ветер.
Хвост и грива коршуновы крылья.
Умей, ловец,
Крутую шею опоясать ременным ожерельем.
Любимую так опоясываешь ты — жемчужным.

Всему есть свой черед
(Я думаю, его установило солнце),
И опытный ловец
В конце концов
Приводит на аркане
В конюшню
Ветрокопытого коня.

Не потому, что беспорядочная грусть
Раскинулась случайным бивуаком,
Я говорю, что ловля скакуна —
Пустая и ненужная забава.
Так скажет всякий, кто вел опасную игру:
Из костяного кувшина
Рассудок разливая по стаканам,
Чтобы пьянее пенилось вино...

Уже не ранит сердце недруг
Стрелой тупой.
Не согревает стынущие руки
Давнишней дружбы розовый очаг,
Товарищам, по любознательной охоте,
Я уступаю
Легкую добычу.

Холодная страна с холодным серым небом,
Что говорит чужая песнь тебе?

О, я не льщу себя приятным упованием,
Что нежной дочерью
Беречь ты станешь
Память обо мне.

Пусть золотые буквы имени
Осыпятся сентябрьской листвою,
Пусть ветряной метлой
Их разметет жестокое потомство.

В сереброносном промысле спокойно вечереет
Такая узкая нерусская рука...

А может быть, — не за горой прощанье
И сумрачный привет
Привычной тишине
Промашут выцветшими серыми платками
Спокойные глаза.
Не мать, но родина, — ужели бросишь вслед мне
Камень.

Ах, с каждым днем растут колонны
Прозрачных выпуклых висков
И все редеет и белеет незавивающийся плющ
Волос.
О том же
Гробе золотом
Из золотых песков
Стареющему кораблю
Вещает
Серебряными всплесками волна...

Зачем же знать кокотке и лакею,
Что тот худой высокий иностранец
И днем и ночью в фрачной паре.

(Он говорит на ломаном английском языке
И вечно греется
Абсентом и сигарой.)
Зачем же знать лакею, наконец,
Что этот гость:
Великий русский стихотворец...

4

Еще
Два неизменных собеседника
Широкоплечий ветер и звезда
Немыми разговорами томят
Меня...

А осень
На груды груды громоздя
Заваливает облаками мозг
И голубую площадь
Неба.

Не так ли дворники
Широкими
Лопатами
Сгребают
По утрам снега.

5

Как говорит про лютые морозы
И лютые метели
Необычайных встреч...

Суровый разум
На плечи накинуд крылатую шинель...
Старинный друг — седой бобер —
Тебе ли
Меня не уберечь...

И в желтый лист и в желтый плод,
Как в жалобно поющих канареек
Холодной дробью
Стреляет августовский дождь.

Кто зарится еще
Из замерзающей реки
Моей утихшей плоти
Любовно зачерпнуть блистающее серебро,
Пусть девственные чаши разобьет...

6

Итак, отныне:
Карандашами острыми ресниц
Чертить не буду
Овал
Лица,
И узкой шеи стебель,
И плеч углы.
Зеленый лоб рабочего стола,
Я в верности
Тебе
Клянусь.
Клянусь:
Лишь в хриплый голос
Острого пера влюбляться
И тусклые глаза чернильниц
Целовать.

Август 1921

ПОСЛЕ ГРОЗЫ (1922–1923)

* * *

Не много есть у вольности друзей.
Друзья веселые
У купли и продажи.
На головы нам время сыплет соль,
Не зрелая любовь
Нас в крепкий узел вяжет.

Уже чуть слышны песен голоса.
Так звонкая коса
Навряд ли слышит
Вздых предсмертный луга.
Нас оправдают голубые небеса:
Мы были вольности и родине верны
И только неверны подругам.

Уйдем — останется стихов тетрадь,
В ней мы судьбу воспели нашу.
Счастливый был удел:
В дому — всегда пустая чаша
И чаша сердца вечно через край.

<Ноябрь> 1922

* * *

Наш стол сегодня бедностью накрыт:
Едим — увядшей славы горькие плоды,
Пьем — лести жидкий чай, не обжигая рот.
Не нашим именем волнуются народы,
Не наши песни улица поет.

Ночь закрывает стекла черной ставней,
Мы утешаемся злословьем.
Тот говорит, что в мире все не вечно,
А этот замышляет мечь.
Однообразное повествованье:
У побежденных отнимают меч,
У полоненных — честь,
У нас — высокое призванье.

Я говорю: не стоит сожалеть,
Мы обменяли медь
На золото.
Чужую песнь пусть улица поет,
Не нашим именем волнуются народы!
Что юность, слава и почет?
В стакане комнатной воды
Шипенье кислоты и соды.

<Декабрь> 1922

* * *

Не нам построить жизнь
С суровостью прямолинейной,
Не таковы сердца у наших дев,
Друзья не таковы!
Пока мы молоды — нам чужды люди Рейна
С презреньем к праздности, к нелепице,
К мечте.

Когда ж придет конец
(А он придет, увы!),
Старушка ель в декабрьском чепце
Нас встретит у погоста
Поклоном белой головы.

Мы не завидуем тому, кто здесь повелевает;
Народы клятвам не верны,
Как не верны цари народам,
Судьба степей — быть многодымным городом.
А городов судьба —
Стать золотошерстой степью.

Зачем же строить жизнь по чертежу,
Как дом.
Крестьянская изба
И та тяжеловесна!
Вот почему до полдня я лежу
И до утра сижу над песней.

<Сентябрь> 1922

* * *

Я не хочу, чтобы печалились и сожалели.
Законы времени законов человеческих тяжелей.
Как ни противься, ни упорствуй, —
В огне годов любовь горит, что хворост,
И туркестанской шалью
Сентябрь вяжет головы аллеи.

Вчера еще:
Пыль кирпичика оскабливала сталь со щек,

Сегодня (неутешна весть!):
Блистающую бритву посеребрила известь.

О сверстники мои!
Бунтовщики!
Друзья!
Мне ль видеть вас в покорном равнодушии?
Печальна осень на Руси:
Здесь клен топорщит багровеющие уши,
Там хлопает осина в желтые ладоши.

Неповоротливо смотрю.
Неповоротливое сердце
Дурные вести холодно приемлет
Мой друг сейчас у иноземцев
Пьет рейнское вино.
А может быть, обоим нам уже присуждено
Занять черед среди иных гостей,
Равно желанных матери-земле.

1922

* * *

Мы сладостные чтим привычки,
О старушонке музе толк ведем,
Вспоминаем деда Аполлона
И говорим:
О величавой лире.
Легко поджечь — народа сердце —
шведской спичкой
И трудно разойтись нам раньше, чем свеча
Растает в золоте зари.
Вначале жизнь легка,
И бездна — мельче чайной чашки.
Увы, один закон для зверя
И
Для человека:
Я стану в песнях хром
И к нежной ласке глух,
Путь до кафе покажется мне беспредельным.
(Скажите, милые друзья:
Есть богадельня для пророков?)
Кричи, звезда,
Кричи, мой золотой петух,
Что тихий вечер на пороге.

1922

* * *

Друзья (как быть?), не любят стихотворцев ныне.
Ах, не высок ли песен слог?
Не высоко ль чело?
Мы в городе нашли свою пустыню,
Питье, настоящее на поляни,
И в хлебе буден пепел и песок,
Не много дней, а будто бы республика не та,
Она ли
Золотопенным пенилась бесчинством!
О други, нам земля отказывает в материнстве,
Пусть будем мы в своей стране чужими.
Делить досуги с ними мудрено, —
Они целуют в губы нелюбимых,
Они без песен пьют вино.

Не говорите ж стихотворцам горьких слов,
В пустыне жизнь что легкий дым,
Но хлеб черствее, чем камня.
Мы сами предадим
Торжественному запустению
Любимые сады стихов.

<Октябрь> 1922

* * *

Взгляд человеческий короток и мал.
Смотрю в начало — вижу колыбель,
А впереди:
Не глядя вижу дроги.
Для размышления устроить бы привал,
Когда перевалю за полдороги.

Была любовь и молодая дружба.
Прошли — и ладно,
Пусть прошло.
Лишь ротозей и мямля тужит,
Не наше это ремесло.

О жизнь, ты словно пруд заросший.
С ружьем иду.
Тут притаилась дичь,
Ведь счастье бьем мы пулею хорошей,
Умеем метким выстрелом настичь.

Бывает все:
Бывает жалкий промах.
Придешь домой поникнуть головой.
Кому беда такая незнакома,
Кто не бранился по ночам с судьбой?

Пусть нынче нет моим стихам ответа.
(Что значит камень, вложенный в пращу?)
Но все ж:
Нет сладостней звезды поэта,
На этой дури дух свой испущу.

1923

Мы катим жизнь,
 Как дети обруч тонкий,
 Того гляди —
 На камушке споткнувшись, упадет.
 О счастье!
 О любовь!
 О слава! — мелкая речонка,
 Тебя переходят вброд
 Каким-нибудь четверостишьем звонким.
 Для суетных умов здесь много праздной пищи,
 Что вор и что поэт? —
 Случайный в мире гость.
 Ведь и в мое последнее жилище
 Вобьет
 (Насвистывая плясовую)
 Тамбовский мужичонка нищий
 Железный гвоздь.
 Вот почему не надо жить иначе,
 Сама пойдет дорожка вкривь и вкось.
 Любите!
 Убивайте!
 Плачьте!
 (Неверную — что курицу зарезать.)
 Подругу в жизни раз найдешь,
 А друга и того, пожалуй, реже.
 Катись же, песнь.
 В стакане пенья, пена.
 У истины второе имя — ложь.
 Все так же за сердце хватает нас измена
 И ревность втискивает в руку нож.

1925—<1923>

Поэма без шляпы

1

Ворона, ворон, ворон и ворона
(Нам кажется:
Ночное небо хлопьями упало,
Упало снегом черным),
Ворона, ворон, ворон и ворона
Покрыли крыши всех домов
И все
Серебряные вазы куполов.

С тех пор, как вытекли из глаз
Апрельские гремучие ручьи,
Глаза не видят в небе голубого.
Где легкость та, с которой
Бежало юное перо
По неизведанной дороге —
На узенькой стальной ноге
Блистая
Лакированная туфля.

Что ждет нас по пути?
Кого-то келья и скуфья,
Кого-то славы жалкая перина,
Кого-то тяжкое отдохновенье
С публичной девкой и в вине.

Любовь нальет, как в розовые крынки,
Любимой в груди
Страсть и молоко,
А время белыми губами
Шутя
И то и то осушит.
Другое солнце в декабре, чем в мае,
Иные звезды, иные облака.
Зима!
Зима!
Метелей визг
И визг в виске мигрени,
На площадях и в сердце снегу по колени.

Текут, звенят серебряными родниками
 Поэта безалаберные дни —
 Не так ли
 По широким русским трактам,
 Как будто бы совсем еще недавно,
 Горланила
 (Расплескивая буйство и вино),
 Песнь ямщика,
 Горланили:
 Ямщицких троек бубенцы.
 Ах, не успели оглянуться,
 Потухла песнь, а кони стали немые.

Что смерть?
 Беда ли,
 Помощь ли в беде?
 Когда вольется в жилы ледяная медь
 И упадут два белых месяца в зрачки,
 Крылами рассечет
 Пугливый лебедь
 Покой и стынь
 И ребер жолтые кусты.
 Его не остановишь и не спросишь.
 Он словно парус при тутом норд-осте:
 Единый миг,
 А точки нет уже вдали.
 Вот точно так
 Утихла Русь.
 Волнение народа опочило.
 А лишь вчера
 Стояли на юру.

Должно быть, потому и запеклись
 Горячечной слюной чернила
 На остром языке пера
 И снеговой нехоженой поляной
 Лежит бумага на столе.
 Как ни ищи — не разглядишь следов

Легчайшего оленя:
Волнение народа опочило,
И рядом опочило вдохновенье...

Я видел, как скатилась синяя слеза
С ресниц стеклянного фонаря,
Как плакал водосточный желоб
(О, неутешное железо!)
А после распускались около
Большие ледяные ландыши.

3

Прозрачной улицы.
На улицах ясней.
Над улицей:
Туманной млечная межа.
Не помяни нас лихом, революция.
Тебя встречали мы, как умели, песней.
Тебя любили кровью
Той, что течет от дедов и отцов.
С поэм
Траурные шляпы
Провожаем.

Зима!
Зима!
Вороний карк,
Метелей визг
И визг в виске мигрени,
На площадях и в сердце снегу по колени.

Поэта безалаберные дни,
Вас, кажется, осталось ныне
Меньше впереди,
Чем листьев на сентябрьской осине.

1922
Тифлис

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ (1922–1925)

* * *

Не раз судьбу пытали мы вопросом:
Тебе ли,
Мне,
На плачущих руках,
Прославленный любимый прах
Нести придется до погоста.

И, вдаль отодвигая сроки,
Казалось:
В увяданье, на покой
Когда-нибудь мы с сердцем легким
Уйдем с тобой.

Рядили так
И никогда бы
Я не поверил темным снам.
Но жизнь, Сережа, гаже бабы,
Что шляется в ночи по хахалям.

На бабу плеть.
По морде сапогом.
А что на жизнь? — какая есть расправа?
Ты в рожу ей плевал стихом
И мстишь теперь ей
Долговечной славой.

Кто по шагам узнает лесть?
Ах, в ночь декабрьскую не она ли
Пришла к тебе
И, обещая утолить печали,
Веревку укрепила на трубе.

Потом:
Чтоб утвердить решенье,
Тебе она сказала в смех,
Что где-то будет продолженье
Земных свиданий и утех.

Сергун чудесный! Клен мой златолистый!
Там червь,
Там гибель,
Тленья там.
Как мог поверить ты корыстным
Ее речам!

Наш краток путь под ветром синевы.
Зачем же делать жизнь еще короче?
А кто хотел
У дома отчего
Лист уронить отцветшей головы?

Но знают девы,
И друзья,
И стены:
Поэтов ветрены слова.
И вот:
Ты холоднее, чем Нева,
Декабрьским окованная пленом.

Что мать? что милая? что друг?
(Мне совестно ревмя реветь в стихах.)
России плачущие руки
Несут прославленный твой прах.

30 декабря 1925

* * *

И нас сотрут, как золотую пыль.
И каменной покроют тишиной.
Как Пушкин с Дельвигом дружили,
Так дружим мы теперь с тобой.

Семья поэтов чтит обычай:
Связует времена стихом.
Любовь нам согревает печи,
И нежность освещает дом.

Простая вера и простые чувства:
Страх перед смертью,
К петуху зарезанному жалость.
Безумие и безрассудство
Мы носим как шикарный галстук.

А жизнь творим — как песнь, как стих.
Тот хорошо, а этот плохо.
Один
Спесиво цедит ром,
Другой
Пьет жиденькое пиво
С кусочком воблы и горохом.

1923

* * *

Какая тяжесть!
Тяжесть!
Тяжесть!
Как будто в головы
Разлука наливает медь
Тебе и мне.
О, эти головы.
О, черная и золотая.
В тот вечер ветренное небо
И над тобой,
И надо мной
Подобно ворону летало.

Надолго ли?
О, нет.
По мостовым, как дикие степные кони,
Проскачет рыжая вода.
Еще быстрее и легкокрыльней
Бегут по кручам дни.

Лишь самый лучший всадник
Ни разу не ослабит повода.

Но все же страшно:
Всякое бывало.
Меняли друга на подругу.
Сжимали недруга в объятьях.
Случалось, что поэт
Из громкой стихотворной славы
Шил женщине сверкающее платье...

А вдруг —
По возвращеньи
В твоей руке моя захладевает
И оборвется встречный поцелуй!
Так обрывает на гитаре
Хмельной цыган струну.

Здесь все неведомо:
Такой народ,
Такая сторона.

<Середина> 1922

Воспоминания

Немало чувств остыло и тревог,
Немало в море тонет кораблей.
В дни разбежавшихся дорог
Мы усумнились в ревности друзей.

Что жизнь?
Суровое течение
Широких, непреклонных рек.
Ни мужество, ни страсть, ни вдохновенье
Не остановят хладный бег.

Плохая муза желчь и месть
(Поэзии сварливые соседки).
Воспоминаний праздник редкий
Себе устраиваю здесь.

.....

Однажды (шел в исход февраль)
Лохматая пурга крутила девять дней.
Ни улиц,
Ни дорог,
Ни площадей.
Была:
Пустынный снежный холм Москва.
Но солнце выплеснуло розовую крынку,
И в древнем граде не найти
Одной затерянной снежинки.
Пусть суетная скажет мне молва,
Что и любовь не такова.
А дружба?
Чудаки, кто верят,
Клянутся за бутылками вина.
Пустое!
Золотой монетой лицемерья
Со всеми рассчитается она.
Сказать ли мне о том, что миновало,
Что обратилось
В пепел,
В прах,
О днях,
Когда
Форсили мы
Вдвоем в одних штанах
(Ах, жизнь воспоминаньями мила).
Подумайте:
При градусе тепла
Нам было как в печи
Под ветхим одеялом.
Тогда мне был Есенин верным другом,
Молва сплетала наши имена.
Но что душа?

Ее, как поле,
Рвут
Железным зубом плуга
И в рану черную бросают семена.

Я слышал, в землях Бессарабии
Не то, что во Твери:
Сам-семь или сам-пять.
Там колос словно пузо бабье,
Когда двойню под сердцем носит мать.
Вот и поэта сравниваю с пашней.
Любовь — сам-пятьдесят,
А ненависть — трещите закрома!
И тычет в яд перо
Твой нежный друг вчерашний,
И мечет языком грома...

.....

Дышу —
И легкие мне серебрит зола.
Гляжу —
И будто не на что глядеть на этом свете.
Зачем, упрямая ты память, завела
Меня в глухие переулки эти.

.....

У древних был
Крылатый конь Пегас.
Чуть что —
И мчит их к юни пылкой.
Какая ж, впрямь, жизнь зрящая у нас —
Тащись под облака
На хроменькой кобылке.

Дни милые!
Тогда и я, ей-богу, был хороший.
Твой голос в прошлом мне
Что из-за речки звон.
Вот шляпу рдяную уже напялил клен,
Вот липа шлепает обветренной калошей.

Я у окна.
Сентябрь.
Темь.

Не ты ли под окном
Стоишь, мой нежный друг, желтеющей березкой?..
Давно ли — спрашиваю — песней и вином
Встречали ранний день
На тихом Богословском?

.....

«Садись же!
Вот стакан.
Гони из сердца стужу.
А вот:
Печеная картошка вся в золе...»
И вновь
Мы разделили с ним
Тепло и ужин,
Беседы соль и дружбы хлеб.

.....

Немало чувств остыло и тревог,
Немало в море тонет кораблей.
Измены — девам,
Верность — для друзей.
Таков последний был у нас зарок.

1925

ШУТОЧНЫЕ (1923–1925)

* * *

Пора, друзья, остепениться.
Ведь каждому из нас
Уже под тридцать лет.
У каждого стихов на тысячу страниц
(«Собрание полное» в три тома),
Вкруг глаз рассыпались морщинки,
А самовара в доме
Нет.

Вчера платили сердцу дань,
Теперь тащи оброк уму.
Есть позавидовать чему:
Черт побери, от пирога благоуханен пар как!
Квартирку хорошо бы в комнат пять
И толстую кухарку.

Вот трезвые мечты
И трезвые досуги!
Снимай-ка с квинты нос,
О мой непьющий гений!
Оставив шалости пера
И дурость нежную воображенья,
Давайте жен искать, друзья.
А вам пора
Искать мужей, прелестные подруги.

1923

Что за семья без самовара,
 Без бабушки
 И — жизни корабля — под парусом
 качающейся колыбели.

У нас презренный дар
 (Презренные ремесла есть).
 Вот почему
 У стихотворцев ядовитые губы:
 Мы в люльке нянчим честолюбье,
 У нас в дому
 Сияет тульской медью спесь.

Когда-нибудь пошлю все это к черту.
 Блестя крахмалом, лаком и в глазу стеклом,
 Я буду говорить о том:
 Что вдохновенья ищут не в стихах,
 А у цыган от «Яра»,
 Что Пушкина отдал бы за рейнвейн
 И Гейне
 За гаванскую сигару.

Все чепуха:
 Воображенья золотые горы
 И низкой яви чорный день.

Смешным стихом баклуши бью
 (Какая сладостная пытка!).
 Любовь тонка,
 Как шелковая нитка,
 Пугливостью подобна воробью.

Бойтся сквозняков,
 Огня
 И мокроты
 (Сиди, как идиот, и нежность стереги.)

Враги! враги!
Крутом враждебный мир:
Родня,
Кастрюли,
Кошка
И клистир.

Ах, милая, не верь поэту.
Чуть что — он соберет пожитки:
Два словаря, одну манжетку,
Мечты
И томные печали,
А ты
Вздыхай, тоскуй
И
Поминай как звали.
О жизнь — набитый пустяками чемодан!
Любовь (вся на один манер,
Все в тех же перепевах),
Ты никогда не канешь в Лету.
Когда-нибудь я напишу роман
О легких девах
и поэтах.

<Февраль> 1924

* * *

Ах, милый плут!
Ах, дорогой сынишка!
Ты продолжаешь славный род,
Как солнышко любовь печет.
Но что это?
Мой юный друг
Уже разинул рот.
(Прощай, стихи,
И вдохновенью крышка!)
Сейчас каналья заорет.

<Март> 1924

* * *

Как встарь — в подвальном кабачке
невзрачном

(Соорудив бутылочный редут),
О музах,
О судьбе,
О славе врут,
О похождениях с девами судачат
России знаменитые поэты.

Что им
Народов громкие удачи
И черни низкая любовь!
Презрительную вскинув бровь
(Какие ж
Умилительные морды!)
Ночному небу вызов гордый
Бросают славные поэты.

Бледнел трусливый рок,
Когда
Обглоданная кость котлеты
С надменностью летела в потолок...

Что мир без песен и вина?
Кто кроме их бессмертен нынче?
Воображенья пышет дар.
Полтинник строчка гонорар
И судомойка в Беатриче
За полчаса обращена.
Кабак невзрачный
Слава!
Девы!
О годы суетные, где вы?
Попойка — времени метла
(И старец молод за пирушкой).
А там
Холодная заря
Уже на город пролила
Пивные золотые кружки.

<Февраль> 1924

А ну вас, братцы, к черту в зубы,
Не почитаю старину.
До дней последних юность будет любя
Со всею прытью к дружбе и вину.

Кто из певцов не ночевал в канаве,
О славе не мечтал в обнимку с фонарем!
Живем без мудрости лукавой,
Влюбившись по уши, поем.

Горят сердца, когда родному краю
Железо шлет суровый враг.
Поэтам вольность молодая
Дороже всех житейских благ.

1925

* * *

И ты, птенец, мое творенье,
Любимый том в собранье сочинений,
Гони, вали
Веселым писком музу,
Из рукописей делай корабли.
Катая на закорках карапуза,
Я говорю:
Спасибо за птенца
Тебе,
Подруга-аист,
Я от него — от пузыря — понабираюсь
Великой мудрости земли.

1925

ПАРИЖСКИЕ СТИХИ (1924–1925)

Анне Никритиной

Кто разберет — черт ногу сломит
В смешной поэтовой душе.

: : :

Что Родина?
Воспоминаний дым.
Без радости вернусь.
Ушел не сожалея.
Кажись:
Пустое слово — Русь,
А все же с ним
Мне на земле жилось теплее.

Теперь же, право, все едино:
Париж, тамбовское село.
Эх, наплевать, в какую яму лечь.
Везде заря распустит хвост павлиний,
Везде тепло,
Где есть любовь, поэзия и печь.

Болтают:
Берегись! Славянская тоска
Замучает тебя, мол, в сновиденьях.
Такие чудачки:
Им будто худо в Рейне
На спинке плыть, посвистывая в облака.

Но в том беда:
Вдруг стихотворным даром
Ты обнищаешь, домик мой.

Венчают славою коварной
Писанья глупости святой.

Вот и брожу в столицах чужеземных,
Собачусь с древнею тоской
И спорю (чуть не с березовым поленом),
Что и луна такая ж над Москвой.

Что Родина?
Воспоминаний дым.
Кажись:
Пустое слово — Русь,
А все же с ним
Мне теплее.
Да, я ушел не сожалея,
Но знаю: со слезой вернусь.

1925

* * *

Столб полосатый, всадник, камень
И пограничная межа.
На сердце руку положа,
Скажу:
Я матюгал тогда Германию
И все чужбинные края.

Приятель, дева, комнатушка —
Вот все,
Что позади осталось.
Ах, мы заложим черту душу
За эту сладостную малость.

«Что Русь!» (смеялись, належке
Садясь в вагон красноперинный)
«Плевал я в бороду твою!»
А на Монмартре в кабаке
Заказываю
С огурцом ботвинью.

Вот дурали! Вот непоседы!
Мальчишье сердце,
Синий глаз.
Без толку шляемся по свету,
Собачьей верностью томясь.

1924, Париж

* * *

Степи, звезды и воды —
Вот ведь она какая!
Ни за что ни про что
Ей душу отдал
И тело по Европе таскаю.

Скоро заговорю по-собачьи.
Жру
Омаров и крабов.
Я по тебе не плачу,
Как вологодская баба.

На Монмартре светлые ночи,
Губы у девчонок в крови.
Иноземной последней сволочи
Поют цыгане
Песни твои.

Птицы, звезды и степи,
Желтые зори.
И трава.
Тридцать три переедешь моря,
А в сердце
Пепел
И маленькая Москва.

1924, Париж

* * *

Опять безжизненное поле,
Безжизненная вдаль тропа.
Верст шесть осталось
(Не боле)
До пограничного столба.

Такой ли представлялась встреча?
Какие грустные края!
И огненные (ах!) противоречья
Любовь и ненависть таят.

Где сердце?
В суете ль проклятой?
(Неужто ж я такая дрянь.)
Мила ли
Пенза толстопятая
И косопузая Рязань?..

А вот
И столб,
И пограничный домик,
И всадник в шлеме на меже.
Кто разберет?
Черт ногу сломит
В смешной поэтовой душе.

1924

* * *

Куда бы разумом холодным ни ушли,
На тройках времени куда бы ни умчались
(О, сколько есть погибельных дорог),
Не пересохнет древний тот исток
Сомнений,
Радостей,
Печалей.

Коней и ворогов не ловим на арканы,
К полярным льдам медведь и лось бежал.
Но если сбудется предчувствие обмана,
И я заговорю
На языке ножа.

О, варварский, о, дикий хмель!
Как древле, покупаем бабу
И умыкаем деву так же.
Бежим
За тридевять земель,
Чтоб совершить любовную покражу.

С французским сифилисом северную кровь
Мешают россы
В кабаках Монмартра.
Москва! Россия! Ветхий кров!
Там девы рассыпают косы,
Как листья августовский сад.

От радостей, сомнений и скорбей
Нам не избавить наши души.
Осенний день,
Осенний чад,
Осенний ветер у тополей
(Как дед у озорных мальчат)
Сердито треплет золотые уши.

1924

ПОЭМА ЧЕТЫРЕХ ГЛАВ (1925)

I

У желтых рек

Ну, скряга! Ну, судьба!
Здорово, ведьма, — старая меняла!
Пришла:
Так черт с тобой, дурная благодать.
Россия хнычет ли, что имя потеряла,
Чего страшиться махонькое потерять.

Друзья мои, наш краток век.
Короче века,
Горести и беды.
Я вас собрал у желтых чужеземных рек,
Чтоб пролилось вино
И разлилась беседа.

Ах, край далекий.
Вислоухий месяц.
С тобою врозь
Не бабе в шею дать.
Без родины,
Без имени,
Без песни —
Ну, говори:
Завыть? залаять? застонать?

Пустое, ведьма! дар высокий
Не пиво в кружке (чтобы расплескать),
Не девка (чтоб менять кровать),
Не медный грош (чтоб спер воришка).

Покуда
Видишь,
Слышишь,
Дышишь,
Покуда сердце трепетает,
Покуда тело носят ноги,
Во мне, со мною дар высокий.

...«Высокий дар? Какая прелесть!»

И тут:

Халтуры метр

Презрительно отвесил челюсть.

Потом

Сквозь зубы, трубку, через дым,

Промямлил веско:

«Бестолковый!..

Его поэзия не дойная корова,

Он ей не выжимает вымя,

Не дергает за розовые сиськи,

Глубокие не наполняют миски

Звенящим жолтым молоком».

— Но я не дойницей родился, а певцом.

А тот с кудластой черной головой?

Был некогда отмечен, как избранник,

Но днями с песней разлучен.

Мне горестно смотреть на жалкие писанья,

На то,

Как с каждым днем

Нищает он душой

(Свою ли гибель видел в сновиденьях?)

И вот теперь

Трясущейся рукой

Каракули выводит вдохновенья.

Почто — скажи поэт тень —

Ты нынче точишь злость на круглом камне

И косишь зависть, как траву,

И кормишь ложью низкую молву?

Запомнились проклятые слова мне:

«Пусть степь рычит,
Пусть лает птица,
Он родины своей стыдится,
Он чужеземные воспел столицы,
Чужого неба синеву
И древнюю презрел Москву».

— Я твой, Россия.
В славе ль ты, в позоре.
Я тень люблю, что падает на милое лицо.
Но голос мой ты не услышишь в хоре
Подобострастников, льстецов.
Пусть лижут руки псы
За плошку жирной пищи,
Перед другими золото расточай.
Гони меня, сожги мое жилище,
Я не скажу:
Вольнолюбивый край.
Всяк знает:
Бешеный поток
Дубы ломает, как солому.
Что я?
Не золотоуст и не пророк,
Но чуден человеческий дар
Любить и ненавидеть по-земному.
Все в этом.
Только зверь и Бог
Не ведают простейшей тайны.
Так в жизни серебром дорог
Идем на огонек случайный.
Но кто же — спрашиваю — кто ж
С хулой предстанет пред народом?
Не те ль,
Кто в сердце носят ложь
И чей язык — лишь жало с медом?
О, племя древнее, ты страж
Блюдешь Европы день суровый.
Теперь уйдешь?
Теперь предашь
Кочевнику и зверолову?

Прочь жолтый!
Прочь от нас восток!
Пустынь дыханье,
Мерзлой хвой.
Молниеносною стрелой
Века летели
Для того ли,
Чтоб вновь уйти:
В снега, в песок.
Я твой, Россия.
Плавятся ли зори,
Смыкает ночь ли черное кольцо.
Но голос мой ты не услышишь в хоре
Подобострастников, льстецов.

II Встреча

Сегодня день считать утраты.
Воспоминание ползет, как черненький жук.
Сейчас я
За бутылку
С пламенем проклятым
Вам об одной утрате расскажу.

Недавняя она.
Я временем ее еще не выжег.
Не нахлебалась память яда.
Два месяца назад
На рю де-Сен
В Париже
Встретил друга, — имени не надо.

Ах, сладостней не помню встречи,
Такого радования не видал.
Казалось,
Что вернулись издалече
Из Нижнего
С Варварки

Институтские года.
О, юность! юность!
Сон мой сладкий,
Друзья и деву,
Высь легка.
А дни лупили так,
Что лишь сверкали пятки
У юных дней издалека.

Как сжалось сердце!
Легкая пора:
И пышны замыслы,
И речь вольнолюбива.
Но время,
Что налетчик, что пират:
В дому найдет,
В открытом море,
В городе шумливом.

Мы копим нежность
(Пряча в сундуки)
Воспоминания...
(В брюхатые комоды)
Дрянь! барахло!
А если бы
Громиле отдал —
Скапутился б
От грусти, от тоски...

За словом слово.
(В памяти есть щели.)
Валит сквозь щелочки тепло.
Куда ты нас, воспоминанье, завело?..
— На маленькое рю-Кало.
Добро!
Тут славно кормят у гасконца.
А ну, хозяин, нам графинчик солнца!
И вот
Мы в кабачке засели.

Темнело небо.
Медленный язык
Волок слова без сил.
Он догадался раньше, чем спросил.
И сенский ветер в кость проник.
И вместо солнца
В кровь вошла простуда,
В живот —
С кусками ростбифа — беда.
«Скажи мне, Анатолий, ты оттуда?»
— Да.

Он отвернул глаза.
Ушла душа.
Ногтем сухарь кроша,
Стал говорить.
Не мне,
А так,
С самим собой.
Два месяца стоит уже в ушах
Собачий, жалкий, злобный этот вой:
«Паршивый пес.
Блохастая порода.
Рычу от зависти.
Сгораю от стыда.
Быть сыном этого народа —
Такая несчастливая звезда.
Москва! Москва! картузный город
Ревет под песню,
Плачет в плач.
А у Кремля на Лобном Месте
Четвертый век стоит палач.
Счастливый дар, свободный дар
Негодовать и возмущаться.
Ее
Золотой Перун не помогал,
Не помогали святцы
И не поможет бородатый Карл.
Спина холопья,
Рабья шея,

В ярме и упряжи вола
Своя судьба жестокая мила
И всех милее Аракчеев.
Так что ж:
Проклясть?
И от Руси отречься?
Коль спросят — кто? — потупить очи.
Я плавил на нее картечь
И бранью вспоминал извозщицей.
Потом поход.
Я шел в строю
Железных иноземных армий.
Я родину отдал свою
На поруганье западным татарам!
Любовь, любовь она бывает всякая,
На ненависть похожая подчас.
Ну, что же делать, коль родили нас
Под этим глупым Зодиаком».

Он поднял глаз, отяжеленный злобой.
Я опустил — отяжеленный думой.
И кабачок веселого гасконца
Стал утрюмым,
И стойка с яствами
Мне показалась гробом.
Он продолжал:
«Глупец, глупец, почто свою судьбу
Ты с варварским связал народом.
Ведь и тебя, как Петербург,
Поглотят бешеные воды.
И пред тобой, смешная голова,
Как ненасытная Нева,
Разверзнет пасть, кровав и зол,
Из чингизханских орд монгол.
Беги, поэт.
Спасайся бегством.
Где топи — пробирайся вплавь.
Воспоминанья юности и детства
На желтых пастбищах оставь.
Пусть тощая пожрет корова



Дом в Нижнем Новгороде, где А. Мариенгоф провел детство.
Большая Покровская 10 В, первый подъезд, третий этаж



Борис Мариенгоф с сыном Анатолием.
Нижний Новгород, ок. 1903 г.



А. Мариенгоф
с отцом и матерью.
Нижний Новгород,
май 1899 г.



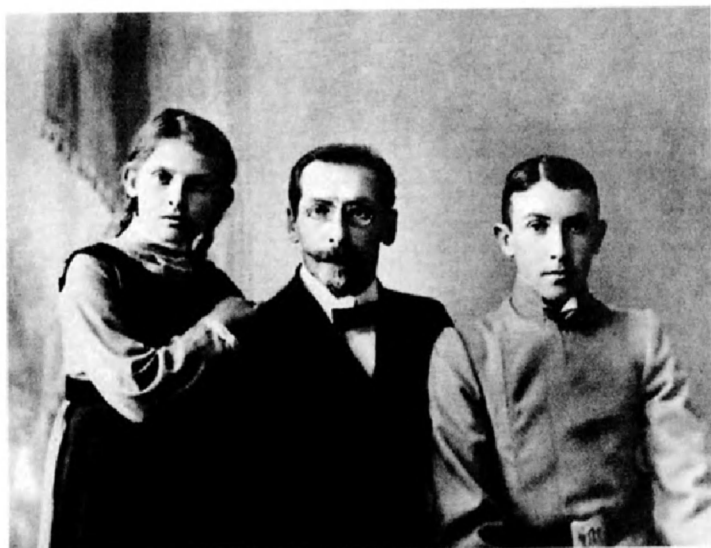
А. Мариенгоф.
Нижний Новгород,
ок. 1901 г.
Фотограф А. Карелин



А. Мариенгоф — ученик Дворянского института.
Нижний Новгород. Фотограф М. Н. Гагаев



А. Мариенгоф с отцом, матерью и сестрой.
Нижний Новгород, 25 марта 1907 г.



А. Мариенгоф с отцом и сестрой.
Пенза, сентябрь—октябрь 1913 г.



А. Мариенгоф (второй слева) с товарищами

1915 г. 7 января



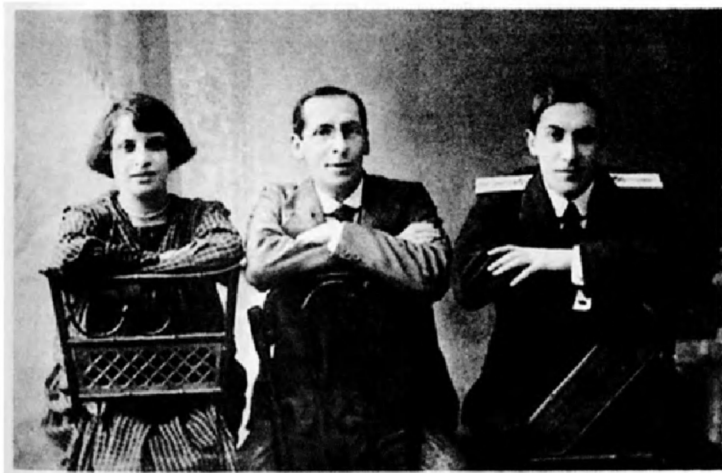
Ваняша
Старцев

Ульянчик
Колобов

Антончик
Мариенгоф.

И. Старцев, Г. Колобов и А. Мариенгоф

А. Мариенгоф с сестрой и отцом. Пенза

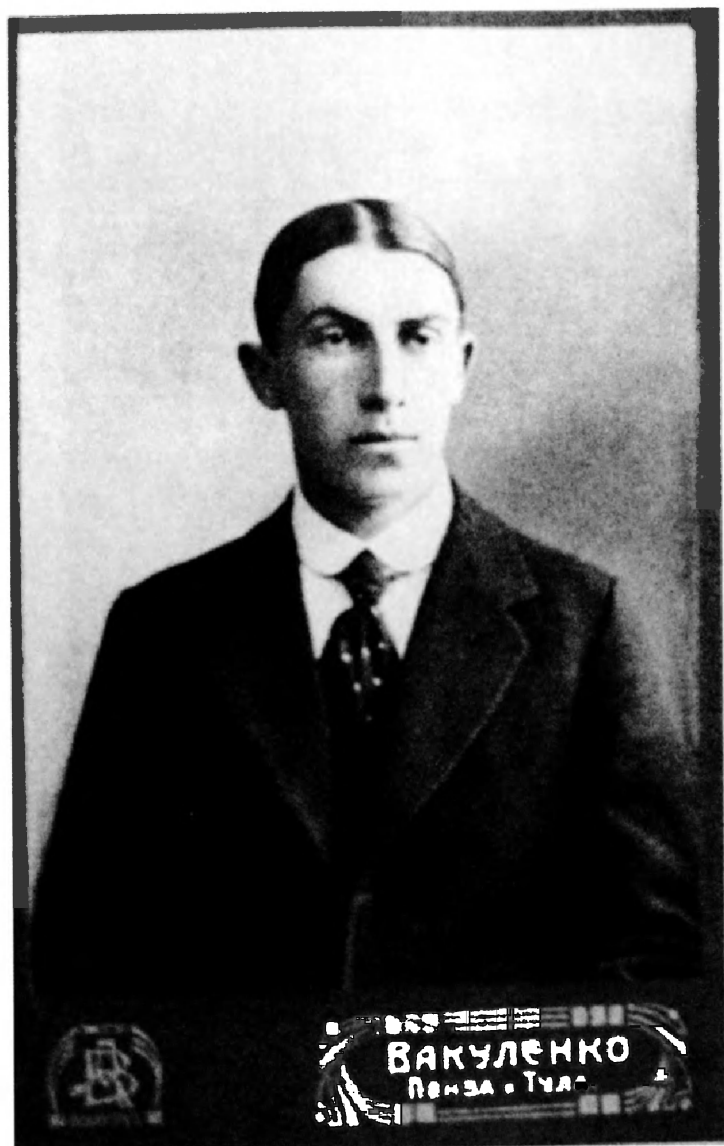




Заведение И. П. Вакуленко, где фотографировался
А. Мариенгоф. Пенза



Земгусар 1916 – 1917 гг.



Карточка для посылки в университет.
Фотограф Вакуленко

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФЪ.

ВИТРИНА ≡≡≡
≡≡≡ СЕРДЦА.

СТИХИ.

≡≡

1918 г.

Обложка первой книги А. Мариенгофа



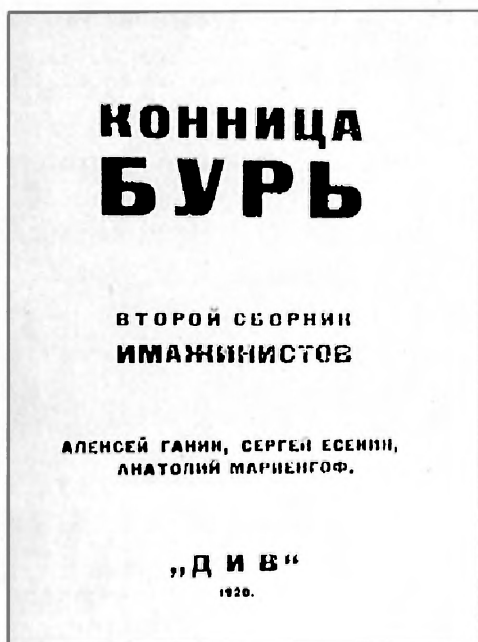
Галина Владимировна Серг. Есенин Ровик Изнев.
Василий Камелский А. Мариенбо, А. Селенин
Б. Пастерик, К. Срекин, С. Сивский, И. Старцев,
Владим Шершеневич.

по рис. Лентча

Обложка альманаха «Явь»



Коллективный
сборник С. Есенина,
А. Мариенгофа,
В. Шершневича
«Золотой кипяток».
Москва, изд-во
«Имажинисты», 1921 г.



Второй сборник
имажинистов
«Конница бурь».
Москва, изд-во
«ДИВ», 1920 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОЭТОВ
 БОЛЬШ. ДУМЫ. ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
 В ЧЕТВЕРГ, 3^Ю АПРЕЛЯ,
 ВЫСТАВКА СТИХОВ И КАРТИН
ИМАЖИНИСТОВ
 В. ШЕРШЕНЕВИЧ С. ЕСЕНИН
 А. МАРИЕНГОФ Г. ЯКУЛОВ
 ДЕМОНСТРАЦИЯ КАРТИН
 СТИХИ И КАРТИНЫ ПОЭТОВ И РАБОТЫ ИМАЖИНИСТОВ
С. ЕСЕНИН
А. МАРИЕНГОФ
В. ШЕРШЕНЕВИЧ
С Л О В О П Р Я
 НАЧАЛО В 7 ЧАСОВ 7 МЕСЯЦА ВЕСЕЛА
 С П О С Т А В Л Е Н И Е

Афиши имажинистов

СТОИ.Ю
ПЕГАСА
 Т В Е Р С К А Я 31
 14 ПОСЛЕ ВЕЧЕР ЛИРИ
 КИ ИМАЖИНИ-
 С Т И
ЕСЕНИН
 15 СРЕДА
 КРУЧЕНЬХ
 18 ПЯТНИЦА
Н.ЭРДИАН
 19 СУББОТА
СЕРИОЗЫ
 ОКУСИКОВЕ
 НАЧАЛО ВЫСТУПЛЕНИИ
 В 11 Ч. 30... ВЕЧ.
 В ОДИН ИЗБИУЛ
 ОДИН ШИНСЕ АЛЬНИКОВ
 АССОЦИАЦИЯ БОЛЬШО-
 ДУМЦЕВ ВСТУПИЛЕ
 ПЕГАСА ОРГАНИЗУЕТ
ГИТТИНГ
ИСКУССТВ
 В ДВАХ ВЫЯСНЕНИЯ
 ПОСЛЕДНИХ СЛОВАХ
 ГОЛОСОВА И
 ЕЩЕ СЛОВА



С. Есенин и А. Мариенгоф



С. Есенин и А. Мариенгоф. Москва, 1921 г.

Твое пророческое слово,
Не вложишь пламени стиха
В завшивевшего пастуха.
О чем печалиться?
Погост
Отыщешь в чужеземных странах,
И дева с сентябрем волос
С такой же легкостью обманет.
Друзья?
Найдутся.
Истина стара:
Где ухо слышит звон металла,
Где пенятся веселые бокалы,
Немало этого добра.
И вот — ты зритель.
Наблюдай
За варварами черствым оком —
Как с исступленностью пророка
Европу учит дикий край.
Европа, старая пройдоха, что ей
Ваш горклый запах тьмы.
От большевистской ли чумы
Пройдохе каменной подохнуть!
Мне часто мнится:
Лишь воображеньем
Любил снега и пашен пепел.
Одних приковывают цепью,
Других береза легкой тенью.
Но малым рекам к морю течь.
И пальцы тянет к небу ива.
И стихотворцев дух строптивый
Чужая укрощает речь».

Остановился.
Трудно дышит грудь.
В земле бы тлеть опавшим листьям,
Но гонит вихорь желтый труп.
Здесь вчуже будет камень грызть,
Чулок вязать и сети плести.
Плодится, как свинья, корысть
И разъедает душу лести.

— Пичужка в коршуновой стае,
Кому твой воробьиный гнев?
Стремглав бежит пугливый заяц,
Когда в пустыне бродит лев.
Чернь царственная, ты не внемлешь
Холодным доводам ума.
Тогда Христос,
Теперь
Московская чума
Очистит черной язвой землю.

Легко уселись, тяжело поднялись.
Как цирковой жонглер, уже играл Париж
Вечерними огнями.
Гасконец просопел.
Дверь кабачка протявкала за нами.
Стаканы вслед издали злобный визг.
Он вверх пошел по улочке, я вниз.
Друзья, братва,
Вас спрашиваю —
Отвечайте с сметкой:
У кабачка
Тогда
Четыре лакированных штиблета разошлись
Или России две судьбы?
Две русские души,
Или четыре кожаных подметки?..

III

Стекланный шар

Что было — сплыло.
Эх, тоска,
Не щипать тобой в скитаньях!
Вот, други, вам:
Бутыль на рыло,
Рука
И сиг копченый на прощанье.

Печалитесь?
И я печалюсь.
Как пламя в печке,
В проводах есть грусть.
Беда,
Кто взбудоражен синеокой далью
Из-за ее
Я с вами расстаюсь.

Не говори мне, друг, что это расставанье
Лишь тень от проводов иных.
Я уйду
В соленые просторы океана,
А не в долины смертной тишины.

Ты грустен:
Нероссийский дуб,
Нерусский седобровый ворон
За изгородь печального забора
Проводят стихотворца труп.

Тебе мерещится:
Мне с жизнью распроститься
Не на высоком волжском берегу —
У желтых чужеземных рек.
Ах, милый друг,
Не все ль равно,
Какое дерево,
Стеклянный шар
Иль птица
Переживет мой век.

И вот:
По-пушкински
Завидую
Я дубу, милый друг.
Тебе завидую, суровый ворон.
О, почему я не ношу зеленую корону
И не закован в толстую древесную кору?

IV

Прощальный круг

Смотри, смотри, как расфуфырилась заря
У наших дев на юбках меньше кружев!
Тот сукин сын,
Кому
В носу
Поковырять,
Одно и то ж,
Что распроститься с дружбой.

А вот и солнце
(Как вареный краб),
Хмельное хлебало,
Чего не лезешь в пузо?
Эх, милые,
Легко ль сказать:
Соседку юности — болтушку музу
Поэт меняет на корабль.

Тут, хошь не хошь,
Смахнешь слезу!
(Кого обманешь грохотом сморканья!)
А море ляжки бьет о камень,
Ворочаясь, как баба на возу.

Ты ждешь меня?
Приду, небось.
Ты мне всех краше, синяя подруга.
За утром — полдень
Голубая пасть
Уже рыгает раскаленным углем.

Но круг прощальный так же тесен.
Стаканов звонок хоровод.
А ну —
Матросскую!
Пусть солнышко и песня
Нас по квартирам разведет.

«С кем крутил? с порядочной?
С курвой обнимися.
Жизнь моя загадочная,
Будто месяц в высях.

Отдал черту душу я,
Но не отдал волю,
Не возьмешь на пушку ты
Меня черной бровью».

Заткнись, браток! заткнись, ну!
Мне очень больно.
Вот как больно.
Нехитрой песенкой застойной
Ты в сердце
Будто нож воткнул...

О, жизнь единственная.
Жаль, что их не две.
Вторую юность прожил бы иначе,
Но упадет душа,
Как сломанная ветвь,
И даже пес цепной
Слезой собачьей не оплачет.

Без лишних слов тебе покаюсь, брат.
Сочувствие друзей
Нам то же,
Что коню
Ременная подпруга.
Я дрянь,
Я не любил своих щенят,
Что рыжекосая таскала мне подруга.

Был до погоста путь далек.
Не примерял в раздумьях саван.
По-человечески любить!
Всегда простое невдомек.
Другие видел сны воображением тщеславным.

Не потому ль душа, что сломанная ветвь.
Я сердцем слушаю прохладу.
Валяй, браток.
Затягивай свою руладу.
Струна гитарная, хлещи меня на смерть.

«Что лежишь, как барыня?
Не сопишь, не млеешь,
Как звезда Полярная,
Далека Расея.

Где вы, тятка с маменькой,
На погосте, что ли?
Стало сердце каменным
От тоски, от боли».

Все про Расею!
Ах, стервец,
Вина не лил —
В стакане ж прибыль.
Слезой пополнился стакан.
Пустое, брат.
Ведь на железной рыбе
Раз плюнуть
Переплыть Великий Океан.

И снова:
Месяц,
Степь,
Столица деревень — Москва.
Вразвалку жизнь.
И смерть придет вразвалку.
На нежных дев походят деревья,
У толстозадых баб
Глаза похожи на фиалки.

Исчезни ж, Русь!
Скачурься! смойся! сгинь!
С тобой
Губительной не жажду встречи

Ни во хмелю,
Ни в легких снах.
Пусть океан
Ворочается в жолтых берегах.
Пусть камня финского приподнятые плечи,
Пусть ветер, соль
И синь.

1925, Берлин

ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА
«АННЕ НИКРИТИНОЙ» (1926–1939)

Романс

Листья стекают в августе
Пеною легких вин.
Милая,
Милая,
Милая,
Ты мне скажи, пожалуйста,
Я у тебя один?

Ветер луну молодую
Вывез на серых конях.
Милая,
Милая,
Милая,
Ты никого не целуешь,
Кроме меня?

Небо, как черная птица
Станет к заре золотой.
Милая,
Милая,
Милая,
Я не хочу делиться
Счастьем своим и тобой!

* * *

Жалею я, что письма не хранил
От ласковых подруг
И преданных друзей.
Как были б утешительны они
В суровой тишине моей.

Мне говорил бы много всякий почерк,
Бумаги цвет
И шепоток листа.
Чем жизни путешествие короче,
Вокзальная милее суета.

На станциях стоим
Две-три минуты,
По расписанью и судьбе.
Я, вместе с письмами, как будто
И сердце разорвал себе.

Москва

Эпиграмма

При чем тут левый фронт и фланг,
Куда, Владим Владимыч, прете?
На правый, дылда, встань!
На правый встань, болван!
Да не в поэзии, а в роте.

* * *

Был у Вадима?.. Рюрика?..
У Эрдмана на Генеральной?
Иль у кого еще окрест?
Мне по душе твой шелестящий голос
И желтизна редяющих кудрей,
Голубоватых глаз нерезкий холод,
Суждений вдумчивость,
Размеренность речей.

Попробуем вместе суетную славу —
Пути проезжие пылят!
Ты знаешь цену нежности лукавой,
И дружеству,
И вечных клятв.

Еще ты знаешь —
Та грознее туча,
Что прячет в складки молнии кинжал,
И всех возлюбленных та лучше,
Которую еще не целовал.

* * *

Вот каверзы судьбы!
Насмешливый подвох!
Мы стали к девам хладнодушны.
Развесив в небе золотые уши,
Луна не слышит наш любовный вздох.

Пиры походят больше на обеды,
И зрелость, соблюдая чин,
Не песнь; но вялые беседы,
В стаканы льет
Струею теплых вин.

А там, где б ярость
Расхлесталась вьюгой —
Рябь иронических губ
Берет жену
У нежного единственного друга
И крепко руку жмет врагу.

* * *

И не заметишь,
Не заметишь
В кипении разброда и тревог,
Как через каменный порог
Перешагнет десяток третий.

Добро пожаловать!
Добро!
Повторим день неповторимый,
Но, чур, не сыпать серебро
На волосы моей любимой.

Мне нипочем — стареть, сесть,
Стихом уверенным
О юности рассказывать.
Так величавей делаются вязы,
Когда их одевает
Август
В медь.

Но милая — ей юность дорога.
Мне счастья больше нет,
Как милую беречь и радовать.
Твоя пусть не осмелится рука
Снять с милой юности наряды.

А я готов.
Пожаловать добро!
Я не страшусь тебя нимало.
Сыпь на меня пригоршней серебро,
Но чтоб на милую снежинки не попало.

1927

* * *

Как будто я в степном уезде,
Но только странно говорят,
Да среброкрылей чуть созвездья,
И краснокрылей чуть заря.

Отсюда до Мадрида ближе,
Чем в старый Новгород и Псков.
Играет ветер гривой рыжей
Коней — песков.

У нас земля — остывший пепел,
Да и сердца похолодней,
Но так же плачут ночью степи,
Как сосны желтых Пиреней.

И так же с меднотелым баском
Играем в рюхи на меже,
А после песнями и пляской
Рассказываем о душе.

И вот я сердцем холодею:
Трястись куда? Бежать куда?
Когда в косматых Пиренеях
Из Пензы милая звезда.

Capbreton, 1927

* * *

Что хорошо бы, вдруг оторопел,
Как возчик тот, оторопевший,
Полюбоваться увяданьем дев,
Брюшком приятельским и плешью.

Друзья считают:
Тридцать семь.
А мне все двадцать! двадцать! двадцать!
Такие сны не каждый день,
А лишь по воскресеньям снятся.

* * *

Ну брат,
Нелегкая в Воронеж занесла.
Спроси — «какая статья?» —
Руками разведу.

Любовь смешная села у весла,
А дружба, значит, за рулем.
И вот —
Глазея на звезду,
Плывем.

Не ты, мой друг, Америку открыл:
С приятелями в меру мил,
Чуть больше меры
К первой юбке.
Предпочитаешь
Кресло — душегубке,
«Герцоговину Флору» — трубке.

Жизнь шутка тонкая,
Узнай, поди-ка на,
Ее туманные концы.
Тут тополя, что огурцы,
Кладбищенская улиц тишина...
Где боль найдешь?
Где счастье обронишь?
Мне даже, знаешь, нравится Воронеж.

Хожу, как по луне,
Знакомых ни души.
Ишь, слава наша какова!
Трамвайчик крохотный шуршит,
На дворике зеленая трава
И деревянные клозетики,
Где с музами беседуют поэтики.

А, может быть (кому пишу! кому!)
Веселое припомнишь ремесло,
Посадишь юность за весло,
А дружбу, значит, на корму...
Где боль найдешь?
Где жизнь свою обронишь?

А ну-ка, брат,
Вали ко мне в Воронеж.

1928

Шуточное

Ты старый сердцеед, Кавказ!
А мы, поэты, будто девы.
К тебе от Пушкина у нас
Любви и нежности напевы.

И даже, клявшись в неприступность,
Мы неприступность не храним
И прижимаем губы
К усам щетинистым твоим.

Пусть наш разгневанный супруг
Метелями ревнует север.
Милей легкосердечной деве
Горячий черноморский друг.

И, возвратившись в край равнинный
На ложе белое снегов,
О нашей нежности взаимной
Напишем несколько стихов.

Сочи, 1926

* * *

Мы любим меньше,
Плачем реже.
У девок дремлем на груди.
Серебряное побережье
В конце веселого пути.

Но жаловаться мы не станем,
Юнцов сюда же приведут —
На это черное свиданье,
Под эту белую звезду.

Когда все песни перепеты
И пересказаны слова, —
Наполнит сердце новым светом
Вечеровая синева.

Увидим мы
Ясней и дале,
Что не видали в те года,
О чем еще не рассказали —
Не рассказали никогда.

1927, Cote d'Argent

* * *

И вы совсем уже не те,
Поэтов легкие подруги.
Где наша юность с вами?
Где?
Одни и те ж
Серебряные вьюги
Запорошили,
Боже мой!
Нас этой грустной сединой.

1926, Пушкино

* * *

В теле любовь, как вьюга.
Кровь,
Огонь
И зола.
Самого нежного друга
Ты у меня отняла.

Все, дорогая, прощаю.
Все наперед простил.
Чтоб до конца и без краю
Был тебе ласков и мил.

Пламень,
Пепел
И вьюга.
В диких сугробах путь.
Только вот нежного друга
Мне никогда не вернуть.

1926

Шуточное

Я шел, ворча, к черте неумолимой.
Казалось — прожит день мой золотой.
Вдруг:
Ливнем солнце.
— Дуня, где ж пальто?
— Ах, в сундуке...
— Как в сундуке?
И в миг
Под инеем я нафталинным.
Смотрю в окно,
А в голове,
В ушах,
В зрачках
Веселый звон.
Готов вздыхать «о Шиллере, о славе».
Ну что за превосходный драп портной поставил!
Как знаменито выдумал фасон!
Который год ношу,
И все износа нет,
Не отцвела серебряная искра.
Уж если драп какой-то
Терпит столько лет,
Неужто молодость улепетнет так быстро?
Улепетнула, друг,
Улепетнула!
Взгляни-ка вот сюда —
Ведь локоток протерт.
Весна — веселым обманула гулом,
Голубизной — распахнутый простор.

ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА «СТИХИ О ЛЮБВИ» (1934–1939)

* * *

В 0.30 отходит курьерский.
Сказала ты:
— Приеду на вокзал.
Но дождь, холодный дождь хлестал
По поезду
И по надежде дерзкий.
Я был, как помню, сам не свой
Средь суетной толпы вокзальной.
Когда ж прощался с встречей прощальной,
Явилась ты
С зонтом над головой.

О, как мне нравится, кто не послушен
Надменности слепых страстей.
А сам!
А сам целую руки ей,
Красивой, лживой и бездушной.

Безумцы верят женщинам
И сну.
— Спасибо, что пришла. Я тронут.
И мы ходили по перрону,
Друг к другу трепетно прильнув.
Да!
В те минуты мы особенно нежны
И женщина нам кажется мучительно красивой,
Когда душе предчувствия ясны
Неотвратимого разрыва.

1939

Внезапный ужас буржуа

Вот мысль несчастная! Она мне не являлась отроду.
Не надо мне ее, не надобно, не надо...
Хожу полжизни с этой дамой под руку,
И даже сплю я с этой дамой рядом,
И ссорюсь, и мирюсь, и вместе утоляю голод,
Имею сына от нее, кончающего школу,
И дочь с развратными глазами, —
И ничего не знаю в этой даме.

1939

* * *

Вот и нашей любви капут.
Не она ли была безмерной?
Я сказал:
— Что ж, так все живут.
Ты сказала:
— Не все, наверно.
Рядом,
Тут,
За стеной,
За окном
Шум весенний
И жизни топот.
Счастье можно, конечно, подштопать,
Только будет ли счастьем оно?

Как же быть-то?
Расстаться что ли?
Ну ударь!
Закричи!
Что-нибудь разбей.
Ты моя до физической боли,
До мозга моих костей.

Будь же проклята поздняя страсть,
На закате смертельная встреча.
Как уйти,
Если ты меня часть,
Без тебя мне дышать нечем.

Ты рука моя,
И нога одна,
И неверной души две трети.
Ты не слушаешь,
Ты холодна,
Нет тебя холодней на свете.

1939

* * *

Все хорошо, что человечно,
Вот почему, друг дорогой,
Ты мне простишь,
Простишь, конечно,
На миг потерянный покой.

Мою мгновенную измену,
Пятно на совести моей,
Все это так обыкновенно
Средь сутолоки обыкновенных дней.

Терять с беспечностью дурацкой,
Быть может, счастье жизни всей,
Потом не плакать,
А смеяться
В кругу немолодых друзей.

И я тебе простил бы верно...
Нет,
Не прощу, друг дорогой,
В несправедливости безмерной
И дикой гордости мужской.

1939

* * *

Где тут беда?! Это полбеда,
Знаю: утетишься скоро.
Это, как буря в стакане воды, —
Наша ревнивая ссора.

Кроме любви — для тебя, для нас
Что-то еще есть в мире.
Мир, дорогая, в несколько раз
Комнаты нашей шире.

Если расстанемся, то без вражды,
Только глаза сощуря,
Это же буря в стакане воды —
Наша любовная буря.

1939

* * *

Есть в природе буря и гнев,
Бушующие отлично.
Хорошо тем, кто, раз согрев,
Не хотят зеленеть вторично.

Юность, юность, изволь, скажи:
Ты в душе моей отсияла?
Ну, а если на целую жизнь
Нам одной только юности мало?

1937

* * *

Живу то ненавидя,
То любя,
То полон веры,
То сомненья, —
Мне кажется, что ты мое творенье,
Мне кажется, я выдумал тебя.

Будь справедлива!
Ложью не греси.
Тебе что здесь принадлежит по праву?
Одна прекрасная оправа
Низколетающей души.

Ну чем, ну чем ты так горда:
Ногами длинными?
И пальцами худыми?
Что голова, как в сером дыме?
И круглыми глазами цвета льда?

А падать, жертвовать, страдать тебе дано?
Дай за соломинку схватиться, утопая.
Как стало вокруг тебя темно,
Когда созрела страсть слепая.

* * *

И ты такая же,
И ты.
Боюсь подумать
И сказать.
Какие чистые черты!
Какие ясные глаза!

Как черный узел развязать?
Я не сумею,
Не смогу,
И эти губы тоже лгут,
И эти тоже лгут глаза.

Уж ты поведай мне,
Открой.
Большое ль счастье принесло
Тобой содеянное зло,
Боль, причиненная тобой?

Но только не смотри назад —
Не оставляют тени след.
Но почему же счастья нет
В твоих безжалостных глазах?

1939

* * *

Казалось,
Что взяла свое усталость,
Что взяла, говорим и говорим.
Казалось,
Слов уж больше не осталось,
А мы все говорим и говорим.

И не осталось слез,
Чтобы заплакать,
И крика,
Чтобы закричать, —
Спасительна молчания печать, —
А мы все говорим и говорим.

И нет на мир надежды самой робкой,
И папирос в истерзанных коробках,
И на разрыв мучительной отваги,
В кофейнике и капли черной влаги.
Все кончилось!
А мы говорим.

.....

Едва покинет нежность взоры,
И душу сумасбродка-страсть,
Они приходят в дом
И забирают власть —
Опустошающие разговоры.

* * *

Как Пушкин, осени я рад,
Есть в ней туманные надежды,
Когда шуршащие одежды
Примеривает Летний сад.

И ты какая-то другая —
Лиричней,
Строже
И умней,
Чуть-чуть как будто золотая
Под сенью золотых ветвей.

1939

* * *

Как холодно,
Как неудобно
С хозяйкой чванной и скупой,
Когда рассеянной рукой
Стакан неполный подают нам.

А жизнь?
Ее я так же понимаю —
Струя широкая, сверкай!
Когда наполнишь нас до края,
Переливайся через край.

1934

* * *

Не умеем мы
(И слава Богу),
Не умеем жить легко,
Потому что чувствуем глубоко,
Потому что видим далеко.

Это дар и это наказание,
Это наша русская стезя,
Кто родился в Пензе и Рязани,
Падают,
Бредут,
Но не скользят.
И не будем,
Мы не будем жить иначе,
Вероятно, многие века.
Ведь у нас мужчины плачут,
Женщины работают в ЧК.

1939

* * *

Нет, не легко ее найти,
Она нежна,
Она сурова,
Она не камень на пути,
Не лошадиная подкова.

Но если ты ее найдешь,
Но если ты ее поднимешь,
Путь жизни будет так хорош,
День — золотым,
А вечер — синим.

Мы знаем, что добро,
Что зло,
И многое другое знаем.
Ведь наше время протекло
Весельем,
Кровью
И слезами.

И вот,
Совсем не поучая,
Но горьким опытом делясь,
Хочу понять за чашкой чая
Любовь и страсть.

Кто смеет их разъединить!
На двух крылах летает птица,
И плахой будет тем кровать,
Кто не любя в нее ложится.

* * *

Ну что ж, сентябрь мой, захаживай,
Захаживай на огонек.
Чем потчевать?
Беседой легкою,
Могу стихами даже,
Вино,
Чаек.

Я с юностью был в славных отношениях,
Приятелем желаю быть с тобой.
Поговорим о страсти
И о вдохновенье,
И о политике, мой золотой.

Мне по душе твой шелестящий голос
И желтизна редеющих кудрей,
Голубоватых глаз нерезкий холод,
Суждений вдумчивость,
Размеренность речей.

Посплетничаем о любимцах славы,
Хоть сплетничать и не велят.
Ты знаешь цену нежности лукавой,
Застольной дружбе
И любовных клятв.

Ты говоришь,
Что жизнь — прекрасный случай,
А мир иной —
Слова, слова, слова;
Что всех возлюбленных та лучше,
Которую еще не целовал.

Ну, значит, жду.
Захаживай, мой золотой.
Есть к чаю у меня
Клубничное варенье.
Я с юностью был в чудных отношеньях,
Приателем желаю быть с тобой.

М<осква>

27 сентября 1939 года

Сижу как будто на иголках,
Душа как будто не на месте,
И разговариваю колко,
И жду «Последние известья»,

Ты смотришь в темное окно.
Нас связывает нитка,
Волос.
А были — существо одно,
Оно печально расколось.

И падает рука с колена.
Куда?
Наверно, в безнадежность.
Я не могу жить страстью нежной,
Когда качает ветер стены.

И сердце,
Женщина смешная,
Не принесешь сегодня в дар.
Все наши мысли занимает
Географическая карта.

* * *

Сказал в дверях:
— Ну вот, война.
И закурил.
И лег на сердце камень.
Ты отвечала:
— Да... она
Идет и между нами.
И это было так по-женски —
Ответ твой
И твои слова.
Над городом плыл месяц деревенский,
За ним плыла ночная синева.

Плыл облак рыбиной библейской
В серебряной пучине звезд,
Плыл мужественный марш красноармейский
Через Литейный мост.

Плыла Нева,
Без дрожи и без плеска,
И Запад плыл... но к берегам каким?
И в суете своей житейской
Мы смешивали малое с большим.

* * *

Ты мучаешь меня невероятно,
Ты для меня, как кошка, непонятна:
Глупа, горда или упряма,

Зеленоглазая, с хвостом пушистым, дама?
Нет, древний скульптор лучше понимал
Характер кошки, сердце и породу,
Когда ее, как некий символ, клал
В ноги у статуи свободы.

* * *

Ты ходишь медленней
И смотришь пристальней.
И в настроении таком,
Как будто наш похолодевший дом
Стал для обоих тихой пристанью.

Но это все —
Воображенья плод,
Как никогда живем страстями,
Хотя целуешь только в лоб
Меня ты сжатыми устами.

1939

* * *

Хотел бы я в серебряные годы
Старинной дружбою согреться
И умереть в хорошую погоду
За шахматами
От разрыва сердца.
И чтобы женщины
С пучочками фиалок,
По улицам,
Бульварам,
Переулками
Шли за моим веселым катафалком
Под ручку,
Будто на прогулке.
И чтобы многочисленные внуки,
В час окончательный разлуки,
Шумели, словно сад ветвями,
Своими молодыми языками.

1939

* * *

Что лучше — знать или не знать,
Жить утешительным обманом,
Считать: какая белизна!
Где проклято и окаянно;

Или, сорвав лукавую повязку,
Измену встретить глаз на глаз,
Потом стонать, зубами лязгать
И люто ненавидеть вас, —
Что лучше?
Это в тыщу раз.

1939

* * *

Сергею Александровичу Сорокину

Что-то дождик в Ленинграде.
Хорошо купить бы зонтик.
Друг Сорокин, дружбы ради,
Сердце песней урезоньте.

Я люблю гитару вашу,
У нее душа большая,
Ни о чем меня не спрашивает,
Только очень утешает.

Роковые ближе сроки,
А живу все между прочим.
Дружбы ради, друг Сорокин,
Спойте мне
Про голубые очи.

* * *

Это был урок, урок суровый,
И сейчас еще нам не до смеха.
Хорошо бы в сентябре уехать,
Если будем живы и здоровы.

К тишине березовой, напевной,
Под крыло соломенного крова,
Мы поедем обязательно в деревню,
Если будем живы и здоровы.

Просыпаться с озером и птицей.
Что за час, когда идут коровы!
И любовь из пепла возродится,
Если будем живы и здоровы.

* * *

Я им в глаза смотрю с испугом,
А плюнуть можешь? Не могу.
Они берут жену у друга
И крепко руку жмут врагу.

Мы знаем числа, время, меры
И птиц полет,
И моря глубину,
Но знаем ли мы душу лицемера
Иль скорлупу его одну?

Он наш,
Он наш,
Он человеческого ряда,
И так же спит,
И ходит так.
Когда он был бы из собак,
Он не выдержал бы взгляда.

* * *

Я не люблю сердца пустые,
Пленительнее молодых пиров
Седые свадьбы золотые
И нежность верных стариков.

Целуя ветреные губы,
Пускают по ветру любовь.
Была у хитрых однолюбов
Водою не разбавленная кровь.

Я стал насмешливым и вздорным.
И кофею пью слишком много.
Под сорок. Зрелость нам дорогу
Перебегает кошкой черной.

Ты, милая, красива очень,
Ты юностью красива глуповатой.
Какой-нибудь безлунной ночью
От ревности я стану бесноватым.

Не надо клясться, милая, не надо:
Я знаю все,
Как этот тополь желтый:
Когда язык неопытный солжет твой,
Глаза заговорят правдивою прохладой.

И все поняв, познав и обнаружив,
Что сделаю,
Что сделаю тогда я?
О если б мог в сердечной стуже
Сказать тебе:
— Прощайте, дорогая.

Но этого не будет, не бывает,
И, право, не большое преступленье —
Когда скажу:
— Останься, дорогая,
И обниму твои колени.

1939

ИЗ ЦИКЛА «СОВРЕМЕННЫЕ РОМАНСЫ» (1924–1938)

Варенька - Варварушка

В небе месяц старенький,
Сколько ему лет?
Варя — Варя — Варенька,
Краше тебя нет!
Жить нам надо парочкой,
А душой — одной,
Варенька-Варварочка,
Друг сердечный мой!
Звезды словно камушки —
Яхонт и алмаз,
Варенька-Варварушка
Полюбила нас.

1938

Мой парнишка

(шуточная)

Я читала в старой книжке,
Как любил гусар лихой.
Куда лучше мой парнишка,
Мой парнишка — вот герой!
А гусар — не для примера!
Он был лодырь хоть куда,
Никаких у кавалера
Показателей труда.
А парнишка мой со взлетом!
«Норма?..» — «Втрое!..» — Наших знай.

Приходи к доске почета —
Имя милого читай.
Не в обиду старой книжке:
«Ох, отстал гусар лихой!»
Куда лучше мой парнишка,
Мой парнишка — вот герой!

1938

Звенигорская гармошка

Посиди со мной немножко.
Я молчу. И сад молчит.
Звенигорская гармошка
За меня поговорит.
(И гармонь говорит)

В жизни нам с тобой дорожка
Километров тыщ на пять.
Звенигорская гармошка
О том хочет рассказать.
(И гармонь рассказывает)

Жизнь прожить совсем не просто.
С милым другом горя нет!
У гармошки звенигорской
Попроси сейчас совет.
(И гармонь дает совет)

Ты спроси ее: «Хорош ли?..»
Не на год — на тридцать лет!
Звенигорская гармошка
Говорит...
(Гармонь звенит, заливаясь)
Вот тебе ответ.

1938

* * *

Изрядно ли у вольности друзей
Мы Русь не пустим в распродажу.
Белеет голова.
Белей!
Белей!
Любовь и дружба в узел вяжут.

Для нас был свят устав жены.
Друг у друга
Мы дев не отбивали.
Коль дали слово мы —
Ему верны,
Но...
Не всегда верны подругам.

Уйдем —
Останется стихов тетрадь.
В ней мы судьбу воспели нашу.
В дому была пустая чаша,
А чаша сердца —
Вечно через край.

1924

СТИХИ 1917–1939 ГОДОВ

* * *

Слыхано ль было, чтоб ковальщик
Рельсовых шару земному браслет
Дымил важно так махоркой,
Как офицер шпорами звякал?

Спрашиваете, — а дальше?
А дальше пляшущих сотни лет,
Во все двери торкнемся
И никто не скажет: выкуси на-ка.

Мы! мы! мы всюду
У самой рампы, на авансцене,
Не тихие лирики,
А пламенные паяцы.

Ветошь, всю ветошь в грудь
И, как Савонарола, под песнопенья
Огню!.. Что нам! кого бояться,
Когда стали мирами крохотных душ мирики.

1918

* * *

Скоро новые будут роды
И к сосцам России
Присосутся, как братья,
Новые рати
Голоштаных
Народов.
Пламени волны хлынут

С ревом коровы
На небоскребов горбатые спины,
Вижу,
Предвижу:
Живут семьей единой
Этой планеты
Работники и поэты.

1918

* * *

Разве прилично, глупая,
В наш век фабричной трубы,
Подагры и плечи,
Когда чувства, как старые девы, скупы, —
Целоваться так бешено
И, как лошадь, вставать на дыбы.

1918

Революционный лом

В каждом взгляде,
Как на эфесе шпаги,
Темляк,
Город полосует,
Как в корыте, в небе
Краснущие простыни.
Ныне:
Солнце съедобно,
Как оладьи,
Ныне:
Земля шатается пьяная,
Будто
Залпом выхлестала коньяк
Из огненной фляги,
Никогда не было,
Чтобы:
Всякая пядь
— Красная площадь.

Всякая пядь
— Место Лобное.
Знаете,
Еще вчера заплясали трепак,
(Да еще как круто:
С притопом)
Сапожки из сафьяна
В Скоропадии.
Знаете,
Сегодня в Германии, Австрии и Болгарии
(А завтра в Италии
И Испании)
Человечки от радости, как сенсация
И даже — еще горланей!..
Нет, не смешно и не странно,
Что заскорузлые, старые
Женщины и мужчины
Незнакомые
И вдруг
Стали
Друг
Другу на шею бросаться.
— Это
Лапит не Иван Иванович
Ивана Ивановича,
А волю.
Это
Льдины
Ледовитого Океана
У Северного Полюса
Расколоты огненным, как ракеты,
Революции ломом.

* * *

Небу, небу я сделаю выкидыш
И выжму из сосцов Луны молоко —
А город сквозь каменные клыки дышит,
Застланный простынью облаков.

Только ветер в вывесках по-кобыльи фыркает,
Только в зрачки ложится печаль, как в гроб.
Какие, какие приват-доценты в пробирках
Выносили Божеской злости микроб?

Словно так надо — лижут, лижут
Проститутки телами тротуаров проборы,
И рвет шофер изнасилованным мотором
Мостовых вонючую жижу.

Ах, не хочу я такого города.
Дай алкоголь мне твоих цветов, Ницца!
Еще час — и души станут зелеными, как любовница
После аборта.

* * *

Витканными страстью ночами
Душа, словно скатерть, сальнится, —
Выложена красными кирпичами
Моей чистоты усыпальница.

Вытоптаны печалью любимой
Змеющиеся вокруг тропинки, —
Каблуками поцелуев дробим мы
Нежности льдинки.

* * *

Руки царя Ирода,
Нежные, как женщина на заре,
Почему вы, почему не нашли выродка,
Родившегося в Назарете?

Матери, рыдающие над теми,
Чьи холодны были тельца,
Вы тогда, тогда уже в Вифлееме
Возненавидели будущего рабовладельца...

Ведь недаром же крестные муки
Разделил Он с двумя разбойниками!..
Ирода нежные руки
Вам простили крохотные покойники.

Январь 1919

* * *

Разве раннее Русь не перла
На дворянские скопом вотчины?
Разве хрипом казачьего горла
Целый край не бывал всклокочен?

Не одним лишь холопам плети
На задах высекали раны —
Величало Петро Третьим
Полстраны мужика Емельяна...

Как ни мажь Москву — всю не выбелишь.
Кровь, что ржавь и бояр, и холопья, —
Кто ж теперь заскулит о погибели
В засмердевшей нашей Европе?

1919

* * *

Возьми мою душу, как паникадило,
Возьми и расплескивай голубой фимиам.
А улицы пахнут цветочным мылом
И кровью, липнущей к каблукам.

Кто это сваливал вчера в нас-то
Пламени глыбы ударами кирк? —
Небо — в красном трико гимнаста,
А город — обезумевший цирк.

Ладонями в двери! Кулаками! Но в чьи?
Каждая была ведь на американский замок.
Бесстыден, как любовница в лифчике,
Выживший из ума рок.

Кучки оборвышей. Казачья сотня.
Неужели у каждого сухарь в груди?
Всякий задворок, всякую подворотню
Ладаном души моей окади.

1919

* * *

Словно навозные кучи кабан,
Разворачивает души отчаяние —
И как не лопнули перепонки барабанные
У земли от визга стальных гортаней?!

Смотрите, смотрите: одни горбатые,
Шестнадцатилетние безобразней старух, —
Только шрапнели кувыркаются акробатами
Под треск космических оплеух.

Какие юродивые накликали миру
Ширококрылых когтистых вьюг?
Разве можно сегодня спокойно галопировать
Даже на выдрессированной кобыле по кругу?!

Ах, не привыкнуть к жужжанию пуль
(Уху верста, а не мили и ярды).
Какой же, какой цирюльник
Обреет пожарами рыжие бакенбарды?

Неужели только глаза ребенка
Увижу в доме душевнобольных?
И как не лопнули барабанные перепонки
У земли от визга гортаней стальных?!

1919

* * *

Гнусавый вечер — старый дьяк,
Поет октябрьские службы.
Созвездий жолотые гроздья
Свисают в городские лужи.

Пью жадными глотками дни,
Соленые мочой и кровью.
Не по цветам путь, не по гравию —
По трупам в звездный виноградник...

Пастух ли приведет стада?
За стадом ли придет пастух?
В дни молневого листопада
Юродивый над Русью дух.

Марш революций

Конь революций буйно вскачь
Верст миллионы в пространствах рвы,
Каждый волос хвоста и гривы —
Знамя восстаний, бунта кумач.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Плечи в плечи Север и Юг,
Свяжем души в один моток,
Буйно пляшет на стягах заря;
Плечи в плечи Запад и Восток,
Брюхо шпорам режь ездок.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Плечи в плечи Север и Юг,
Западу подал Восток знак,
Плечи в плечи, за рядом ряд,
Ровен и грозен шеренг шаг,
Старому на шею петлей кушак.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Плечи в плечи Север и Юг,
Вражьему стану свинца плевков,
Ярче костров сердца горят,
Плечи в плечи Запад и Восток,
Бурю воеет каждый гудок.

Громами перекликается копыт стук,
В тучах перецеловываются губы снарядов.

Конь революций буйно вскачь,
Верст миллионы в пространствах рвы,
Каждый волос хвоста и гривы
Знамя восстаний, бунта кумач.

Памяти отца

Острым холодным прорежу килем
Тяжелую волну соленых дней —
Все равно, друзья ли, враги ли
Лягут вспухшими трупами на желтом дне.

Я не оплачу слезой полынной
Пулями зацелованного отца —
Пусть ржавая кровью волна хлынет
И в ней годовалый брат захлебнется.

И даже стихов серебряную чешую
Я окрашу в багряный цвет, —
А когда все зарыдают, спокойно на пробор расчешу
Холеные волосы на своей всезнающей голове.

1919

* * *

Как пилами пополам бревна
Последней любви плоть, —
Не хочу революции бескровной
Всаживать штык в тряпло.

Пожаров обнаженные десна,
Пепел по ветру — лафа!
Тысячелетья крушу, как Давид Голиафа,
Камушком молниеносным.

Веду в рукавицах ежовых
Времени вперед мотоцикл,
А город гаубицами изжеван
И, как выбитые зубы, торцы.

1918

* * *

Когда осенний пламень вспенивает лес,
Его не потушить
Сентябрьским дождем
(В воде пылает
Красная и золотая
Шелуха.)
Когда душа запылывает,
Пылают кости в теле
И кровь вскипает в нем.

О, дни сумятицы и суматохи
(Жить в эти дни —
Такое счастье и такая честь.)
Мы были молоды и безрассудны,
Мы называли страстью — похоть
И гневом — месть.

Ах, непривычен для очей
Холодный лик тишающей страны
(Нам кажется: мы,
Мы чужды ей,
Мы ей враждебны.)
Прощай, дух ветра и богемы.
Тупыми языками красных кирпичей
Зализывает город раны,
Вставляя щегольской монокль
В пустые веки рам.

И вот: как бы нетопленная печь,
Мое обложенное изразцами тело.
(Должно быть,
Не вскипает кровь и кость не полыхает,
Когда недвижима душа.
Должно быть,
Тогда в небо
Дышит
Дыханьем
Ледяного погребца...)

Уже:
Любовной грусти вороха
Завьюживают
Зрелые сердца
(У нас еще
Они немолчно тараторят,
А кое у кого —
Остужены и немые) —
Любовной грусти вороха,
Когда воспоминаем мы
О днях сумятицы и суматохи.

Ветра марш

Вытряс ветер
Стекла и стены,
Вытер синюю мглу из глаз.
 (Стали глаза у девушек —
 Что серебряные рубли;
 У веселых юношей —
 Что серебряные полтинники.)
Маленькие люди сметены
С земли,
У больших людей
Только щеки заветрены.

А там —
По дорогам,
По рельсам,

По рекам
К нам:
Вприпрыжку пыль,
Ползком туман.
 (Шеренга дней — солдатский строй:
 Кто крепче —
 В омут вниз башкой,
 Кто слабже — в водочный стакан.)

Ветер, не шаркай шваброй
О стены и стекла!
Молотом по городу,
Чтоб охал и екал.
Стены и стекла
В желтые степи!
Молотом ветер
Железным,
Чтоб:
Камень в щебень,
Пополам в лоб.

1923

Ночное кафе

К тебе: ад города, веселый и золотозвездный,
Безумный остров, стиснутый озерами зеркал,
К твоим берегам
Меня
(Ежевечерне)
Приносит улица. (О черная безводная река!)
В тот час, когда смыкает вежды чернь,
Мой теплый труп,
Ты оживаешь в бездне.

Подошла. Взяла под локоток.
Непрезентабельный рок!
Вместо лица — носовой платок.
Вместо рта — дыра в пятачок.
«Звернем, пророк!»

А на улице собачий холод,
Один одноглазый фонарь на целую версту,
Ветер
И ночь.
Вот он! Вот он: шибели берег!..
Может быть, все это:
Сон мне,
Отвратительный сон.
— Двери! Двери!
Войдем
И премудрость возьмем.

Тут лица — мел, глаза — слюда,
Со стен огонь стекает липкий.
Кто в дверь вошел,
Того хватает
Стул
И стол,
Стакан дорогу пересекает.
(Отдайся в руки! Никогда
Тебе уж не уйти отсюда),
Тут лица — мел, глаза — слюда,
В бутылках кровь. Меж ребер:
Мясо и вода,
А воздух в сновиденьях зыбких,
Тут стихотворцы увядают,
И воют по-румынски скрипки.

«Что прикажете?»
— Кто вы такой?
«Мы-с: человек».
— Что это значит?
«Человек, по-нашему, официант».
— Очень мудрый ответ, трансцендентальный,
Поэтому:
Будьте добры, котлетку марешаль.

О бархатный! О мягкий гроб!
Пурпуровая простыня дивана.
(О дыба сердца! Мозга! Кожи!)

Пред тобой:
Доска и камень, сладостное ложе.
Пустынный жребий легок был пророкам.

Мой теплый труп
Глодает дым гаваны
И смотрит в пустоту моноклем.
У осени: волоса медь
А небо осени:
Словно огромный черный глаз,
Из которого падают слезы.

Ах, какие бывают легкие смерти!
Лучше всего убийцам:
Их
В степи на ветру
Берут и вешают
Поближе к солнцу и птицам.

Воткнула в меня зеленый зрачок,
Вместо лица — носовой платок.
Вместо рта — дыра в пяточок,
Ты мой, пророк!
Рот разорвал в улыбку,
Два глаза, как вскрытые вены.
— Сгинь! Провались!
Или я полезу на стены.
«Поправьте монокль, денди!»

«Молодой человек — глиста за скрипкой —
Почему вы не воете на своем инструменте?»

Нет ничего этого мира страшней
(Бежал от него и не убежал).
Кофейный зал.
Торжественный церемониал:
«От имени котов и блядей,
Единственных почитателей пророков,
Разрешите сказать надгробное слово
В три этажа...»

А на улице:
Ветер,
Ночь,
Революция
И один одноглазый фонарь на целую версту.
Вонзила зеленый зрачок:
«Выпей один глоток!»
Вместо лица — носовой платок,
Вместо рта — дыра в пятачок:
«На дне стакана смерть, пророк».
У осени: волоса медь.
А небо осени:
Словно огромный черный глаз,
Из которого падают слезы.

Январь 1924

* * *

Торгуют нынче золотым товаром
(Чтоб эти песни вечно пели) —
Про бабушку за самоваром
И крикуна за шкапом в колыбели.
О, бог ты мой,
Чертовски рад —
Женат!
Зарегистрировались в ЗАГСе!
Теперь:
Официально, милая, ласкайся.

1924

* * *

Ох, струсил, ох, дрожу — отмстит мне Русь,
Когда вернусь!
Неужто правда — стихотворным даром
Ты обнищаешь, домик мой?
Венчают славою коварной
Писанья глупости святой,

И зашагает дурь надменно,
Как адмирал по кораблю,
Клянусь: минутную измену
Стихом усердным замолю.

1924

Отъезд и возвращение

— Ну, до свиданья!..
Я, как во сне, был.
Склоняем головы.
Вот черная.
Вот золотая.
Над нами пасмурное небо
Подобно ворону летает.
— Надолго ли?..
— О, нет!..
— А, может, «да»?..
— Проскачут дни, как вешняя вода,
И снова встретимся.
— Конечно, на платформе,
Целуясь досыта по православной форме?
.....
Дни проскакали, будто кони.
Ты к нам вернулся в голубом вагоне.
— Сережа!..
— Анатоль!..
Чужое слово. Голос чужоват:
— Я счастлив, милый... Я ужасно рад...
С чего же вдруг — в руке рука захладила
И оборвался поцелуй?
— Шофер!
Мы на Пречистинке,
И поднимаю чашу я устало.
«Пируй, пируй. Невесело пируй,
Когда уж оборвался дружбы поцелуй».

1924

С. Есенину

Друзья мои, наш дар высокий
 Не пиво в кружке,
 Чтобы расплескать;
 Не девка,
 Чтоб менять кровать;
 Не медный грош,
 Чтоб спер воришка.
 Покуда видим,
 Слышим,
 Дышим,
 Покуда сердцу трепетать,
 Покуда тело носят ноги,
 Он в нас, он с нами, дар высокий.

1925

Меценату

Ты миф,
 Ты сон,
 Ты тень
 Воспоминаний безрассудных.
 Не верю так же собственным глазам,
 Как если бы
 Среди улиц многолюдных
 Мне встретился гиппопотам.

Ты выхолен и кругл.
 И с ленью русских бар,
 Что обретались в переулочках Арбата.
 Ну, словом:
 Самый чистокровный экземпляр
 Из замечательной породы меценатов.

Таращатся глаза
 На мирный сон и сень.
 Не грохотали разве грозы...

Целехоньким цела
Фарфоровая дребедень
И рябоватая карельская береза.

А впрочем:
Наплевать.
Мне вкусен твой обед,
Приятно тонкое твое суждение...
Я шуточное посвящу тебе,
Мой странный друг, стихотворенье.

1926

: * :

— Прощай!..
И стала ты тиха,
Как в поле камень.
Померкла, как звезда
Перед рассветными лучами.
Ресницами не повела ни разу
И пропускала мимо фразы,
Как громыхающие поезда.

— Стой, стой! Вернись!.. Сказал тебе не то...
Ты улыбнулась и сняла пальто.

И поднял я ковши любимых глаз.
О господи, поймешь ли нас?

1935

* * *

Его пожрала эта страсть,
Он будет ночью счастье красть,
Бояться шороха, как птица,
Лгать, красться, трепетать, таиться,
Он потерял над сердцем власть,
Его пожрала эта страсть.

1939

Шляпа

(из полушуточной поэмы)

Любимая, как хороша ты!

У наших ног скамья горбатая.

Садись.

Я постелю тебе пиджак.

Уж этот благодатный мрак

Вкруг нас воздвигнул свои стены,

Уж набухают кровью вены,

И наверху померкло золото,

И кто-то мелкий из пернатых

Флейтистом нашим быть согласен,

И ты молчишь,

И я безгласен.

Садись...

Иними, пожалуйста, шляпу,

она мешает целоваться...

Итак, нам, милая, с тобой

Горбатый корень стал скамьей,

Возлюбленных скамьей чудесной.

Что это?

Клен?

Иль дуб?

Иль вяз?

Сидит любимая, облокотясь

На непонятный ствол древесный...

А с шляпой дело будет как?

Хоть сели мы довольно низко,

Но близко, дорогая, близко,

С тобою близко до небес нам.

Которые, как всем известно,

Лишь для возлюбленных сияют,

Возлюбленных благословляют,

Благословляют только нас,

Для наших существуют глаз...

Дорогая, сними шляпу.

Свидетель мой, чертовски мхастый,
Я все же думаю, что вяз ты...

Вот видишь, я укололся о шпильку.

Ах, деревянный брат мой по планете,
Как нам чудесно жить на свете —
Тебе шуметь в ночи ветвями,
Мне пересохшими губами
Мою возлюбленную пить...

Черт поberi эту проклятую шляпу!

Любовь, ты что —
Природа?
Или над природой?
Таинственное продолженье рода?
Иль пир греха?
И блеск стиха?
Конец?
Начало?
Смерть?
Рожденье?
Иль только плод воображенья?

Надень, дорогая, шляпу.

1939

Эпиграмма

Толстовых род, знать, Аполлону люб.
Их на Олимпе лес. Счастливая судьбина!
В лесу том Лев — могучий дуб,
А ты — могучая дубина.

<1932–1933>

ПОЭМЫ ВОЙНЫ (1942)

Памяти Кирилла Мариенгофа

Лобзов

1

Должно быть, ветер лез из кожи,
Чтоб эти наместы сугробы.
Они на белых псов похожи,
На печь,
На гроб,
На крышку гроба.
Один двурог,
Другой,
Как рыба,
С чудовищною головой.
И волосы
Сугробов
Встали
Дыбом,
Сверкая мертвой сединой.

2

Так было в разворот зимы,
Так под селом Кузьминским было,
Где нынче жили не Кузьмы,
Где суп варили из кобылы,
Где средь куриного помета
Не бабья песня,
Не гармонь,

Но совести нечистой вонь
И стрекотанье пулемета,
И стон,
И хрип,
И бред,
У Фрица,
Кромсает
Руки,
Ноги,
Нож,
И разъярившаяся вошь
Над Фрицем
Ночь и день глумится.

3

Без крыши дом,
Без счастья жизнь,
А смерть, как служба,
Смерть,
Как дело.
Из человека делать тело
Должны
Рыгающие блиндажи.

Должны!
Должны!
Вот долг без долга,
Дом без крыши
Вот эти души без души.
И рыжий Фриц
Стал братом волка,
Бифштексом для тифозной вши.

4

Метели русской прыть лиха,
Благословляем эту прыть.
Мы в валенцах,
На нас меха.

Как будем с волком говорить?
Изучим вой,
Изучим рык,
Изучим волчий их язык
И объяснимся налегке
На этом волчьем языке,
Как будто наш он,
Будто свой
И этот рык,
И этот вой.

Но говоря искусно,
С толком,
Сей речью, страшной для ушей,
Так говоря
По-волчьи
С волком,
Мы душу сохраним в душе.

5

Атака.
Вьюга.
Командир
Покинул с честью
Этот мир.

Он строг,
Он бел,
Он бездыхан,
Наш юный старший лейтенант.

Из сжатых губ
Крик воли звонче,
Метелью крик не замело.
Жизнь кончена,
Но бой не кончен, —
Не наше,
Их еще село.

Пруссак в селе великоросском,
В Кузьминском не Кузьма,
А Фриц!
И сердце наше
Стало жестким,
Льдом ненависти серебрится.

Атака.
Вьюга.
Командир
Покинул с честью
Этот мир.

И вот
Средь белых рыб
И снежных псов,
Что ветром намело вокруг,
Команду
Принял
Политрук.
— Бог в помощь,
Политрук Лобзов!

6

С минутой
Каждой
Рос
Мороз,
Снег по колена
И по грудь.
Быть может, замерзает ртуть?
Быть может, птица не летит?
Быть может, в бой нам не итти?

Но это не сказал никто
И не подумал ни один, —
Мечь подвела в сердцах итог,
И это был
Итог
Мужчин.

Не золотистым был закат,
 Вечеровое небо —
 Не зеленым.
 В селе пруссак.
 На пруссака
 Ползут
 По снегу
 Балахоны.

Чтоб эти намести сугробы,
 Мы знаем:
 Ветер лез из кожи.
 Одни на снежных рыб похожи,
 Другие схожи с крышкой гроба,
 А третьи —
 Вроде белых псов.
 Вот мимо этих
 Полз
 Лобзов.

Он впереди
 139
 Самых смелых.
 Прижавши автоматы к телу,
 Бровями раздвигая снег,
 139 человек
 За ним
 Ползло.

138.
 37.
 34.
 Так:
 130.
 Да,
 Могут Фрицы,
 Знают Фрицы
 Проклятой смерти ремесло.

Их сердце шерстью заросло.
В нем воля зверя,
Долг волков,
Закон когтей,
Закон клыков.

129.

28.

126.

125!

Отечество Лобзова просит
Живых в атаку поднимать.

Поднять бы рыб,
Поднять бы псов,
Все эти снежные сугробы
И даже эту крышку гроба
Поднять
Сейчас
Готов
Лобзов,
А поднял только
Всех бойцов —
120
В белых балахонах —
На огнедышащих драконов.

8

Но русских русское село
Встречало
Хлебосольством
Прусским.
И от мороза нету спуска,
И ветра дьявольское помело

Мело бы!
А не то ведь хлещет.
Бывают же такие вещи,

Что и глаза —
Одна буза,
Хоть есть,
Хоть нет.
На кой их ляд,
Когда дорога наугад?

Лобзов:
— Ура!
Бойцы:
— Ура!
Но криком
Фрицев
Не спугнуть.
— Ах, так-растак!
В снегу
Дыра,
И политрук
В дыре
По грудь.

9

Атака — это что?
Поток.
Страшна
Упрямостью
Стремленья.
Тут каждое мгновенье впрок,
Чертовски дорого мгновенье.
И вот,
Среди мгновений тех,
Как Фрицу радость,
Фрицу смех,
Лобзов
Почти наполовину
Влез
В снеговую пуховину.

А русских русское село
Встречало
Хлебосольством прусским.
И никакого тебе спуска,
И ветра
Хлещущее
Помело!

Минута?
Меньше,
А не боле.
Сильнее силы
Сила воли,
И
Политрук Лобзов
На воле.

Судьба!
Она лишь на чуток добрей.
Он здесь,
А валенцы —
В дыре.

И крепче крепкого мороз,
Ртуть стынет,
В ветре купорос,
А командир атаки —
Бос.

10

Всяк слышал с детства
Краем уха:
Нет гордости
Для матери
Сильней,
Чем гордость за любимых сыновей.

О родина,
О мать,
Священная старуха

Широкочреслая Россия,
Какие сыновья,
Какие,
Орлы какие у тебя!

Когда б в миру таких ребят
Другие страны нарожали,
Перед германцем не дрожали б
Европы древней города
И к власти
Не пришла
Беда.

11

Стоял мороз
Во весь свой рост,
А этот рост был великанский,
Российский,
Северославянский:
Не ототрешься скриплым снегом
И не согреешься от бега
И даже водкой с красным перцем,
И даже
Жарким
Даром
Сердца.
Стоял мороз
Во весь свой рост,
А командир атаки —
Бос.

Атака —
Воля
И стремленье.
Цена
Бесценна
У мгновенья.
Одно мгновенье потерять —

И эту маленькую рать,
И эту горсточку бойцов,
Щепотку
Этих
Храбрецов
(Она страны моей краса)
Подкосит
Прусская коса.
И носом в снег,
И сердцем ниц,
И над Кузьмою
Будет
Фриц.

Стоит мороз
Во весь свой рост.
Лобзов:
— Ура!
Бойцы:
— Ура!
А валенцами
Подавись, дыра!

12

Сугробы будто после пьянки, —
Их волосы седые
Дыбом.
Ползут по снегу
Снега глыбы,
Горбы
И псы,
И псы,
И рыбы,
А политрук
В одних портянках,
Подстегивая крепким матом,
Пощелкивая автоматом,
Без промаха
(Должно со зла),

Уж на окраине села!
Уже Кузьма в селе Кузьминском.
А Фриц?
Кто носом в снег,
Кто сердцем ниц,
Как подобает побежденным,
Как полагается плененным.

— И руки вверх поднять должны! —
Так говорит
Закон
Войны.

13

Всяк слышал с детства
Краем уха:
Нет гордости
Для матери
Сильней,
Чем гордость за любимых сыновей.

О родина,
О мать,
Священная старуха,
Широкочреслая Россия,
Какие сыновья,
Какие,
Орлы какие у тебя!

Но песенники
Песнями
Скорбят.

Он пал — Лобзов.
Поэму эту
Медным лаем
Не заглушат орудья смерти.

Он пал герой.

Мы с вами головы склоняем,
Бойцы
Подносят
Руку к козырьку.

Он пал — Лобзов.
Легенды
Имя
Сберегут.

Он пал герой,

Глаза его холодным сном уснули.
Он был сражен
Не прусской пулей,
Он скошен белой был косой,
Он был косой мороза скошен,
А не штыком
Заколот
Боша.

То было в разворот зимы,
В стране,
Загадочнее
Сфинкса.
И вновь
Кузьмы
В селе Кузьминском,
И день в труде,
И вечер тих,
Свой хлеб едят
В домах своих,
В своих постелях
Ночью спят,
И все
По-русски
Говорят.
И клен,
И месяц,
И гармонь...

А совести нечистой вонь
Куда,
Куда далече
За село
Войной
И ветром
Унесло!

Киров, 1942

Зоя-Таня

— Не плачь, родная
Вернусь героем или умру
Героем

Зоя Космодемьянская

1

Опять сегодня,
Как вчера,
Мы говорим
О девушке московской,
И плетутся
Наши вечера
Вдоль тишины
Походкой
Стариковской.

И легкий пар
Не первый
Серебрится
Над жидким
Некитайским чаем,
И не смежаются ресницы,
Зарю
Февральскую
Встречая.

Дыханье времени!
Оно
Сегодня,
Как печи дыханье:
Одним
Сгореть
Присуждено,
И закалить
Других
Необычайно.
Каким
Увидим
Мир мы
После?
А может быть,
Не мы
Увидим!
Смешно
На грозы
Быть в обиде.
Жизнь существует
Не для гроз ли?

Не будем же
Смотреть
Так гневно
Мы из окна
На этот свет.
В нем ничего прекрасней нет
Прекрасной красоты душевной.
Когда бы
Этой красотой
Отмечен был
Один из ста!
Но право,
Счет у нас иной,
В природе
Русской
Эта красота.

Коптилку тушим.
Как подарок,
Нам эти северные зори.
Я говорю:
— На Жанну Д`Арк,
Не правда ли,
Похожа Зоя?

Путь не асфальтов,
Путь не гладок,
И тем
Дороже
Поколенья!
Слова из Зоиных тетрадок
Я вспоминаю
С удивленьем:
Все в человеке
Быть
Должно
Прекрасно:
Мысли и одежды,
Его лицо,
Его душа,
Его далекие надежды,
К которым
Юноши
Спешат.

Так думал Чехов.
И она,
На красоту обречена,
Сестра,
Подруга
С красотой,
Не понимала
Жизнь
Иной.

О юноши!
О поколение бури!
Военной бури поколение!
Про вас сказала Ибаррури:
Смерть
Стоя
Лучше
Жизни
На коленях.

4

Передо мной еще страница:
Тут две души
С орлиным взлетом,
Тут довелось соединиться
Бетховену
С Вольфгангом Гете.

Вот песня их,
Вот песнь ее.
— Пусть Ньюша нам, друзья, поет.

«Гремят барабан, и флейты звучат,
Мой милый ведет за собою отряд,
Копье поднимает, полком управляет,
Ах, грудь вся горит и кровь вся кипит!»

Вот песня их,
Вот песнь ее.
— Пусть Ньюша до конца поет.

«Ах, если бы латы и шлем мне достать,
Я стала б отчизну свою защищать...
Уж враг отступает пред нашим полком,
Какое блаженство быть храбрым бойцом!»

Вот песнь ее,
Вот песня их.
Следов коснулся
Робкий стих.

Зима —
Не старина ли это?
Какой торжественный парад!
Дома,
Как белые кареты,
На плечах —
Снега эполеты,
Дымов недвижны кивера;
Все тополя
И клены
В латах,
И латы
Их
Из серебра;
Все сосны белые —
Крылаты,
Все окна —
В снеговых коврах.

Таким представился нам Киров,
Как в письмах пишут:
Областной.
Среди встревоженного мира
Он горд был
Русской тишиной.

Но в этой гордой тишине
Не тишина
Теперь
Таилась:
Здесь танк,
Здесь конь
Здесь всадник на коне,
Здесь нерв войны —
Клокочущий вокзал.
Здесь победительная сила
Кующих броню,
Плавящих металл.

Мы —
 Это мир громадный
 В мире.
 Иди
 На нас,
 Кто хочет смерти.
 Одно преддверие Сибири
 Окиньте,
 Взвесьте-ка,
 Измерьте.

Мороз —
 Он косит
 (Меч разящий!),
 Испепеляет,
 Как пожар,
 Но толчеей
 Животворящей
 Не оскудел еще базар.

Вот сани.
 Выпряжена лошадь,
 Пленительная смесь веков:
 Любуюсь я на мужиков,
 Меняющих
 Сметану
 На калоши.
 А молоко?
 Его здесь рубят,
 Его здесь колют топором.
 Тот парень в допотопной шубе
 С Толстым и Энгельсом знаком.

Но год суров,
 Военный год.
 Нашествие!
 Сыны в окопе.
 У нас

Есть
Медь.
У нас
Есть
Мед,
И хлеб,
И соль,
И честь,
И боль,
И матери,
Что сало топят
И плачут
В тишине ночей,
Но в час грохочущего грома
Не говорят:
— Останься дома, —
Любимой дочери своей.

7

Тогда
На подмосковных дачах
Германец был,
И жизни злато
За честь
Тогда
Служило
Платой.
Платя,
Не брали
Медью
Сдачи.

Тогда
За трусости крупицу
Отец
Спокойно б
Сына
Проклял,

Тогда
Советскую столицу
Пруссак
Разглядывал
В бинокль.

Тогда
В девической головке
Созрела мысль
Героем стать.

И у трамвайной остановки
Простилась тихо
С дочкой
Мать.

8

Чай разливаю.
Эти зори
Нам, ленинградцам,
Кировский подарок.
— Хотела бы лепить я Зою, —
Сказала Лебедева Сарра.

Опять в руках
Газетное фото.
— И вот такую
Потеряли в схватке!
Мороз туманною фатой
Всех граждан
Приукрасил в Вятке.

Так Киров старики зовут,
Так прозывался скромный город,
Где улицы бегут под гору
Иль в гору
Медленно идут.

— Ах, Зоя!.. —
Загрустил актер.
— Вздыхай, вздыхай,
Мой друг любезный!
Нам режет душу
Нож железный —
Судьбы жестокий приговор.

9

Вот ночь.
Вот небо темно-синее.
Вот недвижимые снега.
Вот фронта
Огненная линия.
И вот
Отряд
В тылу
Врага.

Враг где-то тут.
Минута тянется.
Давно ль
Играла
Зоя
В куклы?
Был ярок,
Говорят,
Румянец
У девушки на щеках смуглых.
Ушанка.
Куртка меховая.
Смешные ватные штаны.
Наряд бойца, наряд войны.
Ты в нем прекрасна, дорогая!
Все это то, о чем ты пела:
Ты в латах,
Ты с мечом,

Ты в шлеме.
Твою мечту
Будущее время
Сегодня превратило в дело.

10

И потянулась дней гряда.
Есть в бинтах будни,
Будни славы.
Рвет Зоя
Вражеские провода,

А думает:
Не подвиг,
Но забава.

Закалка стали
В юной воле.
То не впервые.
Это
Было!
Над нами
Древнее светило,
Подлунный мир
Изрядно стар,
Он в повтореньях:
Жанна Д'Арк
Училась в 201-й школе,
Была,
Конечно,
В комсомоле,
Не кончила 10-й класс, —
Надела шлем,
За меч взялась.

Пускай судьба их не одна:
Она к француженке щедрей.
Но та же

Мне
Душа
Видна,
И те же
Тернии
На ней.

11

Мороз, морозь!
Не попадешь впросак.
Пусть побелеет
В воздухе
Ворона.
В Московской области,
Как сказано,
Пруссак,
В Петрищеве,
В селе
Верейского района.

Кругом снега,
Кругом леса,
Деревья выточены,
Как из мела;
Из цинка будто небеса,
В которых
Новый Чкалов
И Гастелло.
Их посылает строгая Москва.
Она не спит ночей.
Не знает
Сна
Нарком:
Фашист на подступах.
В Петрищеве —
Полк 332,
Фон Рюдерер
Командует
Полком.

В колхозных избах
На скамьях,
За пологом
Из грубого ситца
Лежат они —
Немытые,
Во вшах;
Их жеребцы и кобылицы
В конюшне ржут
(Не обуял ли страх?),
Висят уздечки на гвоздях,
Копыта полные овса.
Кругом снега,
Кругом леса.
И вдруг —
Как с неба
Цинкового
Гром:
Конюшня пламенем объята,
Конюшня языками злата
Пылает с четырех сторон.

Пылают избы.
Мечется пруссак.
Кобыла тут, там офицер.
Закутавшись в облезлый сак,
Орет
На пламя
Рюдерер.

И пламя никнет.
Черт возьми,
Измена, значит, нам зимы?
У немцев, значит, с ветром лад?
Цел штаб,
Боеприпасов склад,
Два
Проклятых
Объекта
Целы,

Стоят
Два проклятых объекта!
И —
Следующей ночью
Некто
На снеге распластался белом.

Ползет.
Крадется.
Вот у склада.
Здесь ветер.
Снеговая пыль.
В руке горячего бутыл.
Еще бы мин...
Мгновенье надо!
Одно мгновенье!
Нет его.
Сграбастал Зою часовой,
Медведем навалился тяжким,
Мохнатой грудью,
Жирной ляжкой,
Бьет кулаком,
Локтем,
Ногой.
Борьба.
Осилил часовой.

12

И вновь сегодня,
Как вчера,
Мы говорим
О девушке московской.

На улице
Зимы парад.
Заря на небе —
Алым всплеском.
Махорка.
Печка без огня.
Чадят забытые поленья.

В стаканах чай,
Который бы
Без сожаленья
На рюмку водки променял.
— Кто Зоин вел допрос?
— Фон Рюдерер.
— Не человек,
А волк.

— Она,
Как в венчике была.
Был венчик из пунцовых роз, —
Сказал бы
Александр Блок.

Сидим.
Глотаем чай.
Молчим.
Вот век!
В Петрищиве
Как на Голгофе,
Было:
У стражи
Зоя
Пить просила
И немец
Дал ей
Керосин.
Так уксус пил
Марии сын.

Нам за сорок.
Жизнь — трудный опыт.
— Возмездие на свете есть?
— Спасать
От гибели
Европу
России,
Значит,
Снова честь?

— Уж это так заведено, —
Сказал поэт,
Глядя в окно.

А я к жене:
— Мы голодны, мой друг.
— Несу!
И нам несут
Благоуханный лук.
Его
Мы гордо
«Фруктом»
Величаем
И, как обычно,
Запиваем чаем.

Потом пытаемся шутить,
Чтоб скрыть
И скорбь,
И вздох,
И боль.
(Философ Эйх
Был острослов-мужчина.)
Но в шутках,
Кажется,
Не столь
Приметна
Соль,
Она
Сегодня
Горькая,
Как хина.

13

Ночь.
Тьма.
И тьма
Как будто
Дышит
Злом.

Германцев провезли на дровнях
Смердят их трупы.
Подполковник
Сидит в избе
За струганным столом.
На нем лежат:
Бутыль
И Зоин револьвер,
А Зоя —
У окна
Босая
И в рубашке.

Монокль
Вставил
Рюдерер.
Разглядывает,
Улыбнулся,
Спрашивает:
— Как вас зовут?
И отвечает Зоя:
— Таней!
Так
Началась
Та ночь
Голгофских испытаний.

Так началась.
Конца
Как будто
Мукам
Нет,
Но есть
У них
Свое начало.

Вопрос.
Вопрос —
Какой ответ?
Все тот же,

Все один:
Молчаньем
Зоя
Немцу
Отвечала,
Презреньем гордым
И немым.

И в свистопляске
Извивалась плеть:
Цедил
Бесстрастно
Подполковник:
— Встаньте!
И щупленький
Фашистский
Лейтенантик,
Забившись
Как котенок,
В клеть,
Зажавши уши,
Стиснув кулаки,
Рыдал от человеческой тоски.

А через стенку,
Там,
Где при свечах,
Как без свечей,
Темно,
Был только в сердце свет
У Зои-Тани,
Был только светел пот страданий,
Который падал
Каплей тяжелой
Со лба
На девственное полотно
Ее
Разодранной
Рубашки.

И света
Круг
Еще
Возник
Над головой,
Над этой милой,
Стриженной,
Курчавой.
Был этот свет
Рождающейся славы:
Суетной,
Земной.

Все
На земле
Должно
Прекрасным
Быть.
Прекрасна юность!
Жизнь!
Но родина прекрасней!
И Зоя
За нее
Готова
И согласна
По каплям
Кровь
Свою
Пролить.

14

Который час?
Он тот,
Когда
Устала
Плеть
От свистопляски.

Заснул
На кулаках
Размякший офицерик.

Явилось
Солнце
В медной каске.

Был кликнут
Часовой.

А подполковник
Удаился,
Хлопнув дверью,
Вкушать
Заслуженный покой.

Потом
Водили
Зою
Голой
По морозу.
И там,
Где оставляла
Девушка
Следы,
Казалось,
Осыпалась роза,
Пунцовые
На снег
Роняя
Лепесты.

15

Скорбь,
Как стена.
Со всех сторон
Стоит
Гранитная
Громадина!

Там были два столба,
И перекладина,
И ящики
От макарон.
На них
Взошла
Назвавшись «Таней».
Вот
Это
Быль,
Которая
Былиной
Станет.

Спокойны темные глаза.
На шее
У нее
Висит
Бутыль,
А на груди
Смолою
Надпись:
«Партизан».

Вокруг народ.
Его согнали
Плеть
И страх.
Все больше бабы, —
В армии мужчины.
Не смеют плакать
Те,
Кто в кожухах,
Рыдать не смеют
Русские овчины.

Бежали б валенцы,
Но гитлеровцы
На конях.
Платки

Пуховые
Глаза б
Закрыли,
Но Рюдерер
На вороной кобыле
И плеть —
Хозяйка,
А хозяин —
Страх.

Пора кончать.
И Рюдерер
Покончить
Рад:
Пора
Ему
Глотать
Вечерний кофе.
Но у барона Шталь
Прекрасный аппарат,
И с ним барон
Шныряет
По Голгофе.

— Скорей,
Барон,
Снимайте же.
Барон!
Но гер фотограф
Упоен,
Он у эстетики
В плену:
— Какая восхитительная сцена!
А Зое
И минута
Драгоценна, —
Горчайшая из всех ее минут.

Что слово?
Тот же меч разящий.

В нем
Воли
Сталь
Закалена.
И, встав на макаронный ящик,
Спокойно
Говорит
Она:
— Друзья,
Не страшно умереть,
Когда идешь
За честь
На смерть,
Когда идешь
За свой
Народ, —
И смертный шаг наш —
Шаг
Вперед!

— Снимайте, черт возьми, барон!
Но гер фотограф
Упоен.

А меч
Разит,
Словесный
Меч:
— Наш долг,
Друзья,
Их бить,
Их жечь,
Их жечь,
Их бить,
Травить
И резать,

Для них
У нас
В груди —

Железо!..
— Снимайте, чорт вас побери!
— Сейчас,
Сию минуту...
Раз,
Два,
Три!

Овчины плачут.
Слово
Не разит.
Фотограф говорит:
— Мерси!

Кому сказал?

Не той ли
Он сказал,
Которая не слышит,
Которая бессмертна,
Хоть не дышит?

16

Еще
Одна
Заря
В окне.
Я говорю:
— Чье сердце благородней!
Махорка —
Роскошь этих дней,
Но не пируем
Ею
Мы
Сегодня.
Увял серебряный дымок,
Нешумный спор
Вложил

В ножны
Клинок.
(О, старый дуэлянт —
Интеллигентский спор!)
Сухарный чай
Продрог в стакане.
И горе
В нашем
Дружественном стане
Раскинуло
Свой траурный шатер.

— Ну,
По домам!..
И Сарра
Встала.
Идет
Походкою
Второй Екатерины.
Оделся Эйх.
Как похудел
Наш ленинградец,
Как устал!
Недаром,
Видно,
Променял
Соль острословия
На хину.

Поэт
Припомнил
Что-то
Про паек,
Задула Ньюша огонек,
Сказав,
Что будет день хороший.
Актер
Забыл
Свои калоши,
Я —
Счастье,

Небо,
Высоту,
Но каждый
Взял
С собой
Мечту,
Которую назвали
Зойей-Таней,
Чтоб с нею
В жизнь
Итти
Без горьких расставаний.
Киров 1942.

Денис Давыдов

Тебе — певцу! Тебе — герою!

Пушкин

Вы по веку своему
Проскакали по-гусарски
А летели в кутерьму
В век тот
С карты государства.
Были бури.
Бурям — бури!
Закусила удила.
Вы, при вашем-то алюре,
Не махнули из седла.
Русский первый партизан
В зипуне поверх мундира,
Славен пенный ваш стакан,
Только где ж ему до лиры!

Вот так лира!
Мало-мало.
Позавидуешь, ей-ей,
Этой лире генерала
Легкоконных усачей.

«Стукнем чашу с чашей дружно,
Нынче пить еще досужно.
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.
Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, поблднеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастье оробеем,
Если мы когда дадим
Левый блок на фланкировке,
Или лошадь осадим,
Или миленькой плутовке
Даром сердце отдадим».

Что за лира!
Что за струны!
Вы и с белой головой
Были в песнях так же юны,
Как при сшибке боевой.

Ваша песня,
Ваша рубка,
Ваша сабля,
Ваша трубка,
Ваша пуншевая чаша, —
Что милей нам?
Что нам краше?
Разве только сердце ваше
Да еще гусарский дух!
Вихри дули — не потух.
Беды всяческие были,
Но они вас не скрутили.
Эполетные чинуши
Не заклысили в штабах,
Царедворческие души
Не зашаркали в дворцах.

Вы — при Марсе,
Вы — для муз,

Вы — птенец Багратиона.
У Давыдова француз
Сколько раз просил пардона!

Но Давыдов — он Давыдов!
Он Васильевич Денис!
И, досад своих не выдав,
Стал рубить
От шапки вниз —
С кивера и до седла.
Вот гусарские дела!

Вы сказали:
— Други, братцы,
Русь поганит супостат.
Ну-тка, Клим,
А ну, Мишутка,
За него б всем миром взяться,
Чтобы жизни был не рад.

Ваше слово пало в души.
На Руси сочтешь ли храбрых?
— Ну-тка, Клим,
А ну, Мишутка,
Императора — за жабры!
И тряхнем его, как грушу,
Чтобы жизни был не рад
Бонапарте-супостат.

Велики великороссы:
В деле — вилы,
В деле — косы,
С кольями и с топором.
Помяни-ка нас добром!

Честь — гусарскому мундиру!
Топору и сабле — честь!
Эстафетам, фуражирам
Было так:
Ни стать ни сесть.

Ведь в тылах Давыдов рыщет
Так, как рыщем мы сегодня.
Вот уж пленных — тыщи, тыщи
И зарубленных — не сотни.

А потом дымятся трубки,
А потом гуляют чаши.
Ваши сшибки, ваши рубки,
Ваше сердце — сердце наше.
Русский век
Всегда таков:
Был — Давыдов,
Есть — Белов.

1942

ПЯТЬ БАЛЛАД (1942)

* * *

История!
Ты сегодня стоишь рядом,
Рядом с нами,
Касаясь плечом.
Ты вдохновляешь нас на баллады,
Ты говоришь нам писать о чем.

Тебе послушны
Кисть и перо,
Рука бойца
И движенье колонны
Ты —
В каждой строчке Информбюро,
В каждом приказе Комитета Обороны.

Ты сказала:
Из памяти нашей
И седого времени седая волна
Никогда не смоеет
Величественные имена
Мужественных и бесстрашных.

Капитан Гастелло

Поле,
Дорога,
Роща,
Утренняя прохлада.
По дороге,

Грея на солнце железные спины,
Ползет
Железное стадо:
Цистерны и автомашины.

Час —
Розов,
Неба купол
Высок и тих,
Не разговаривает даже роща.
Вдруг
Из-за нее
Взмыл
Сереброкрылый бомбардировщик.
Чей?
Наш.
А чье стадо?
Их.

Офицер германский,
Рыжеусый и рыжебородый,
Сразу понял:
Еще секунда
И —
Будьте здоровы!

Выставив в небо стальные рыла
Вражеские зенитки
Заухали
В сереброкрылого.

Поле.
Столетняя роща.
Утренняя прохлада.
Вокруг бомбардировщика
Жужжат снаряды.
Рыжебровый нервничает.
Понервничает тут!
Раздавил печенье.
Рассыпал табак...
Что?

Что он сказал?

— Зер гут...

Да,

Снаряд попал

В бензиновый бак.

Бомбардировщик вспыхнул.

В синем небе факел горящий.

Не торопитесь радоваться,

Господа рыжебровые!

С вами воюем серьезно,

По-настоящему,

В ненависти суровой.

Мужество,

Доблесть,

К смерти призьенье

Рдеют на русском знамени.

Гляди,

Родина,

Сын твой

Во имя твое

Превратился

В язык пламени!

У Гастелло была минута

В распоряженьи

Для парашюта,

Но капитану не надо минут —

Пусть пылает и парашют.

Поле.

Дорога.

Столетняя роща.

Все железное стадо тут.

Куда,

Куда летит

Пылающий бомбардировщик?

Блеют машины,

Мычат

И ржут.

И вот
В самую кучу
В стадо
В железное,
На коров бензиновых,
Закованных в латы
Падает
С неба
Факел крылатый.
Падает с неба
Вниз головой
Пылающий русский герой.

.....

Шестое июля.
Газета «Правда».
Тут
Сообщение вечернее,
Тут
О мужественных и смелых
Ясно и коротко:
Десятки германских
Машин и цистерн
Взорвались вместе
С самолетом Гастелло.

*6 июля 1941 года
Ленинград*

Три товарища

Было упорным это сражение.
Откатился сражения
Грохот и рев.
Наши выбирались
Из вражеского окружения.
Лес.
Болота.
Ров.
Тьма, хоть выколи глаз.

Черт-те знает, который час!
Под тучу
Черносинюю
Месяц залез разиня.
— Эй,
Золотощекий!
Просим очень,
Сделай такую милость,
Выплывай на подмогу,
Освещай
Помаленьку
Дорогу.
Видишь ли,
Понимаешь ли,
Тут
К частям своим
Через болото,
Кустарник,
Лес,
Ров
Пробираются наши:
Стефанцев,
Изгурский
И Комаров.

Редкие звезды.
Одинокое облачко.
Лесная тропинка
Вьется веревочкой.
Раскинули сосны
Колючие лапы.
Взялся за ум
И месяц-растяпа:
Усевшись на лысину
Покладистой ели,
Освещает тропинку он
Еле-еле.
— Вот и ладно,
Светлей и не надо, —
Сказал Изгурский, —
Шагаем не для променада.

— Двурогий наш,
Не из ихней шайки, —
Сказал Комаров,
Проходя по лужайке.
— Тссс, товарищи!
Никак палатка?!
И впрямь:
То там,
То здесь
Лужайка в заплатках.

Решили прислушаться,
За пнями прилечь.
Прислушались.
Слышат —
Германская речь.

А месяц чуть светит.
Работа тонкая!
— Глянь-ка, ребята,
Кажись, хатенка.
— Эге...
Припрятана...
Ветвями мохната...
Должно не простая,
А важная хата.

Народ российский
На сметку не слаб;
Изгурский сказал:
— Похоже на штаб.

Стефанцев к окошку:
— Знатная банда!
Тихо, друзья,
Комаров,
Командуй!
— Есть, политрук!

— Свя-я-язками по мохнатой!
И в цель

Полетели
Ручные гранаты.

Сосны столетней
На две повыше
Взлетела избушки
Корявая крыша
И многое прочее
К чертям собачьим:
Стол,
Табуретка,
Графин с водой,
Два лейтенанта
И в рыжих бачках
Полковник штабной.

— Все в порядке, —
Сказал Комаров, —
Не подвели гранатки.
И кинулся в штаб
Без лишних слов.
Изгурский,
Конечно,
Сквозь пламя
И дым
В штаб германский
Следом за ним.
У каждого в сердце:
Я сердце отдам
За мать,
За Россию,
Чудеснейшую из стран.

И вот,
Оба в штабе.
— Э-э-х-ма,
Пан
Или пропал,
Пропал
Или пан!..

Туда.
Сюда.
Глянь-ка, приятель,
Вот это да!
Вот это так чемодан!

Действительно:
Жив-живехонек,
Желтый,
Кожаный,
А в нем,
Бумаги
Аккуратно уложены.

— Ого,
Братцы,
Стоит заняться:
Бумажки-то не простые —
Оперативные
И тактические,
Нацарапали,
Дьяволы,
В изрядном количестве.

Вдруг
У штаба,
У развороченной хаты,
Дышит
Машина
Чернобрюхатая.

— Так,
Подспели.
Что ж,
Не сдадимся дешево.
В правой — наган.
В левой — чемодан.
Настроение подходящее.
Самочувствие хорошее,
А в машине-то
У руля —

Стефанцев!
Вот леший.
И
Кричит:
— Стояла,
Голубушка,
Под навесом,
Сади-и-ись,
Которые пешие, —
Стреляют, бесы!..
Ноги в машине,
В ногах чемодан.
— Ну,
Ауфидерзеен вам!
Все.
Запомним же строчку
Из трех слов:
Стефанцев, Изгурский и Комаров.

Два германца

— Садитесь, солдат.
Иметь разговор
Хотел бы
Германец с германцем, —
Сказал генерал
Фон Гебельфор,
Моноклем сверкнувши
На Франца.

Солдату
Глазами
Следует есть
Пробор генерала
И рыжие баки.
— Ответьте мне, Франц,
Великая ль честь
Быть фюреру
Верной собакой?

— Так точно, —
Ответ был, —
Великая честь
Быть фюреру
Верной собакой.
И стал он
Глазами солдатскими есть
Пробор
И рыжие баки.

— Я знал,
Что солдат
Ответит мне так.
Ответить иначе он мог ли?!
И фон Гебельфор,
Дородный пруссак,
Сверкнул
На солдата
Моноклем.
— Ступайте, германец, —
Сказал генерал
По-дружески
Длинному Францу.
И этой же ночью,
Как пса,
Приковал
К орудью
Германец германца.

— Вот так-то
Храбрее он будет стократ,
Не дрогнет
При русской атаке...
Солдат он,
Германец.
Он счастлив и рад
Быть фюреру верной собакой.

На цепь посадил...
Сажай, генерал,
Сажай, Гебельфор,

Моноклем сверкая
На Францев.
С тобой
У них будет
Свой разговор,
У этих цепных германцев.

А нынче:
— Огонь!
И в нас он —
В тебя,
В него
И в меня
Послушно и яро стреляет
Он фюреру служит,
Железом звеня,
И шею
Ошейник сжимает.
— Стреляй, сукин сын!
— Стреляй, сучий брат!
— Служи до собачьей медали!

На цепь
Не сажали б
Тебя,
Солдат,
Когда б
Человеком считали.

Отто Оппель

1

37-й,
38-й,
39-й,
40-й,
41-й трагический год.
По Европе,

По древней Европе
Шагает
Унтер-офицер
Класса господ
Отто Оппель.

2

Фюрер сказал:
— Народы должны
Испытать дрожь,
Свободные люди —
Это
Проказа.
И Оппель шагает.
Сапог его топчет
Пшеницу
И рожь,
Дух человека
И разум.

Фюрер сказал:
— Нужны господам
Вечные услуги
И — рабы!
Рабы, рабы, рабы,
И Оппель шагает
По городам,
Рушит их,
Топчет
И множит гробы.
Гробы, гробы, гробы.

3

Фюрер сказал:
— Земли славян
Нужны господам.
Не отдают —

Истребляй славян!
И Оппель шагает,
Дрожите, славяне!
Шаг чугуnen,
Взгляд оловянен,

Шагает,
Шагает —
И
Дошагался.
Он дошагался
В Восточной Европе:
Советским
Славянам
Здесь
В плен
Попался —
Фюрера унтер
Отто Оппель.

4

Допрос:
— Шагая пять лет
По древней Европе,
Что думали вы,
Солдат Отто Оппель?
— Вопрос непонятен, —
Ответ был угрюмый, —
Солдат германский
Не может думать.

— А что вы несли
На своем штыке?
Во имя чего
Ваши пули свистели?
— Людей чтоб колоть,
У нас штык в руке,
А пулей дырявить, —
Вот фюрера цели.

Да, новый порядок
В мозгах у германца.
Проверим теперь
Содержание ранца.

— Откройте! —
Открыл он.

— Каков молодец!
Не зря прошагал:
Вот двенадцать колец.
Часов восемь пар...
Не зря прогремели
Фашистские грозы.
— Солидные часики,
Золото,
Мозер.

— А что там еще?
— Три чаши церковных.
О, гитлеров рыцарь,
Тевтон чистокровный!

Ну,
Ясно:
Есть новый порядок
У этих германцев —
В пустых головах он
И в полных ранцах.

5

37-й,
38-й,
39-й,
40-й,
41-й,
Довольно!
Довольно!

По горло
Мы сыты
Тобой, Отто Оппель.
Терпенье,
Страданье
И боль
Через край.
Моли на коленях,
На брюхе взывай, —
Пощада не ждет тебя
В древней Европе.

Партизанский разведчик

— Глядишь ты куда,
Партизанский разведчик?
— На небо!
Глядит он небо,
Где тихо,
Где птицы,
Где русский наш вечер
Зажег свои старые русские свечи.

Тогда офицер фон Лилиенхоф,
Высокий,
Плечистый,
С лицом истукана,
Небрежно разбил
Опорожненный штоф
О голову
Юноши-партизана.

— Ну-с, как тебя звать,
Партизанский разведчик?
Молчит партизан
И смотрит туда,
Где тихо,
Где птицы,
Где русские свечи.

Тогда офицер фон Лилиенхоф
(Он скуп был по-светски
На золото слов)
Встал,
Вставил сигару
В брезгливый рот
И молча ударил
Ногой в живот.

— Где жалкий ваш лагерь,
Любезный разведчик?
Разведчик молчит.
— Смотри у меня!
— Смотрю.
И смотрит на небо,
Где русский наш вечер,
Явившись на смену
Потухшего дня,
Зажег свои старые русские свечи.

Тогда офицер фон Лилиенхоф
(Он был знаменит по ломанью подков)
Снимает мундир
И спокойно,
Без жара
Бьет юношу в челюсть
Боксерским ударом.

Разведчик упал.
Лежит.
Над ним —
Тишина.
Синева
И простор.
— Теперь,
Может быть,
Мы начнем разговор?
Молчит партизан.
Тогда
Сквозь зубы

Команда короткая:
— Танк!

Охнула,
Ахнула,
Дрогнула чаща —
Это
Ползет танк.
Куда?
На лежащего.

А Лилиенхоф играет моноклею:
— Стоп!
И глаз побелел,
И усики взмокли.
— Где лагерь, мальчишка?
Где чертов ваш лагерь? —
Молчит.
А танк
Огендышит
От юноши
В шаг.

— Ты умер?
— Нет, жив, —
Отвечает разведчик
И смотрит туда,
Где птицы,
Где тихо,
Где русские свечи.

— Так вот, мой любезный,
Ответ твой каков!
Прекрасно... —
И Лилиенхоф
Вторую дает команду:
— Привязывай дьявола
За ноги
К танку!
Привязан.

— Ну, как,
Еще не вернулся
К тебе
Дар речи?
Ни слова.
Молчит партизанский разведчик.

— Считаю себя, значит,
Мальчишка,
Пропалим.
И ринулся танк.
Он ринулся в чащу,
В непроходимую древнюю чащу,
Он ринулся в чащу,
За собой волоча
Того,
Кто умеет геройски молчать.

Так юноша умер,
Сын гордой эпохи.
— Как юноши имя?
— Александр Самохин.

ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА «ПОСЛЕ ЭТОГО» (1940–1955)

4-го марта сорокового года Кира
сделал то же, что Есенин, его крест-
ный

(из книги)

Могут ли мои стихи после этого
быть веселыми?

(из той же книги)

* * *

Собратья! Собратья! Собратья!
Не смею молчать и соврать я.

* * *

Друг мой, живу, как во сне.
Не разговаривай строго.
Вот бы поверить мне
В этого глупого бога!

* * *

Я мертв и жив. В душе чума.
О, Господи, сойду с ума!

* * *

Мы с тобою потеряли бога,
И у нас холодная душа.
Ну, давай собирайся не спеша
В самую далекую дорогу.

* * *

Нет, жизнь не улица. Чтоб перейти ее,
Чтоб перейти в высокое небытие,
Куда зовет нас смертная природа,
Искать не надо перехода,
Он сам тебя властительно найдет
Трагический твой переход.

* * *

На скотобойне бык ревет.
Мы, друг мой, — нет!
Мы мужественный скот.

* * *

С тобою, нежная подруга
И верный друг,
Как цирковые лошади по кругу,
Мы проскакали жизни круг.

* * *

Жизнь пробежав с горы на лыжах,
Нехитрый понял я закон:
Чем ближе человек к животному, чем ближе, —
Тем и счастливей, бедный, он.

* * *

Ну вот, дочитываю жизни книгу.
Всего осталось несколько страниц.
Что за толкучка дней, событий, лиц!
А под конец:
На, выкуси-ка фигу!

* * *

Теряешь совесть: Что ж теряй...
Как век войны. Как этот негодяй.

* * *

Последнее:
Я ставлю душу.
Ну!
Тасуй-ка и сдавай,
Насмешливый партнер.
Так:
Потяну.
Еще.
Еще одну.
Благодарю.
Довольно.
Перебор.
Чорт побери, какое невезенье!
Я рву и комкаю крапленые листы.
Вот так играло и продулось ты,
Мое шизофреническое поколение.

* * *

Верны неверности, как другу.
Сжились с распутством, как с женой.
А что же дальше за печальным крутом,
Скажи мне,
Век злосчастный мой.

* * *

Конец, мой друг. Тебя спустили в яму.
Спасибо. Вырыта на ять.
Я — мертв. И не смею сраму.
Мне под землей легко дышать.

* * *

Судьба, я знаю, ты примерно зла.
Твоя рука не жалуется, а косит.
На «пан или пропал» сыграем-ка в «козла».
Сыграем, баба, в кости.
Но только честно! Впрочем, я не знаю!
На свете бабы честные бывают?

* * *

Пути, распутья, перепутья...
Ветрище жизни шутки шутит.
Как жалкой пылью мною крутит.
Он в бедный ум мой заключен —
Веселый ветер похорон.

* * *

И я умру по всей вероятности.
Чушь! В жизни бывают и покрупней
неприятности.

* * *

Где кухня горя?
Сверху, снизу иль откуда
Приносят мне дымящееся блюдо?

* * *

Вокруг себя я зло искал.
Вдруг заглянул на дно зеркал.
И увидал его в себе.
И в морду дал своей судьбе.

* * *

Разруха, мой милый, разруха!
Душа переехала в брюхо.
Чтоб нежиться в сале и жире
На этой на новой квартире.

* * *

Мир в затемненье. Черное в окне.
И жизнь моя напоминает мне
Обед, что получаю по талону.
Из милости дарованный обед.
К нему, признаюсь, вкуса нет.

* * *

— Эй, человек, это ты звучишь гордо?
И — в морду! в морду! в морду!

* * *

Мой век мне кажется смешным немножко,
Когда кончается бомбежка.

* * *

От свиста этого меча
Потух
Мой дух,
Как в сквозняке свеча.
Осталось стеариновое тело.
Ему ни до чего нет дела.

Войне

Давайте так условимся, мадам:
Свою вам жизнь, извольте, я отдам.
Но руку — нет! Простите, не подам.

Пусть нас рассудит время и потомство.
С убийцами я не веду знакомство.

* * *

Когда война легла,
Как мгла;
Когда легла на век мой тенью,
И я пришел к высокому презренью.

* * *

«Эй, человек!..»
И человек летит со счетом.
И человеку платит этот век
С широкой щедростью из пулемета.

* * *

— И в этот мрак —
Живи!
Живи, дурак.

* * *

А ну — со смертью будем храбры!
Ведь все равно возьмет за жабры.

* * *

Разверзлась хлябь сомнительных веков.
Припал.
Гляжу.
Меня бросает в дрожь:
Горилла лязгает костяшками клыков.
О, как же я на пращура похож!

* * *

Тропинка ль, берег, подойду к окну ли,
Лежу, стою...
Вот, милая, и протолкнули
Мы жизнь свою.

* * *

«Понять — простить...» Но я не внемлю.
Бог не дал мне тишайших сил.
Я понял все и не простил
Мою запятнанную землю.

Так не простил бы я жену,
Мне изменившую однажды,
Так не прощаю я войну
С ее неукротимой жаждой.

Поэту в славе

Ну, что — сбываются мечты?..
Сверкаешь? Ну, сверкай.
А мне сверкать тоска.
Знакомо все. Сверкал, как ты.
Как пятка из дырявого носка.

* * *

Я в городе. А как в лесу.
И вечный страх в себе несу.
— Дружи!
Какой же, к черту, смысл и толк?
Я думал — друг. А это волк.
— Люби!
И вот, хриплю среди ночи я:
В моих объятиях змея.

* * *

Когда уж поздно молодеть,
Захочешь танцевать и петь,
И в теплый вечер, под луну,
Притащишь к деде на свиданье
Свою смешную седину,
Свое смешное увяданье.

* * *

Скажут: жили при закате,
Среди бела дня — впотьмах
И фланелевых штанах.
И стихи, ослы, читали,
Приходя от рифмы в раж,
И с девчонкой посещали
Распохабный «Эрмитаж».

* * *

Вы думаете, я вас любил?.. Никогда.
Лгал?.. Все мы чуть-чуть трусливы.
Это не ваша — моя беда...
Вы-то ведь были счастливой.

* * *

Наплевать мне, что вы красавица.
Дело, друг мой, не только в роже.
В этот век говорят: «Он мне нравится».
А сказать: «Я люблю!» — вы не можете.

* * *

Вот эти горькие слова:
Живут писатели в гостинице «Москва»,
Окружены официантской службой,
Любовью без любви и дружбою без дружбы.
А чтоб витать под облаками,
Закусывают водку балыками.

* * *

В глазах синева чистоты.
И вот... вы кругом хороши!
Они же — слепые кроты
В потемках вашей души.

* * *

Послушайте, господин чудака,
Иже еси на небеси,
Ведь это сотворили вы бардак?..
Мерси!

СТИХИ 1940–1962 ГОДОВ

* * *

Вот и у вас глаза, как темные сливы,
И легкие волосы — дым от костра,
Все как будто дано, чтобы стать счастливой,
А ведь вы несчастливой звезды сестра.

Для кого ж, не пойму, счастье странное это?
На какой это улице его выдают?
Не за душу,
Не за сердце,
Не за песни поэта,
Не за ласковых рук материнский уют.

1941

Есенину

Что ни говорите,
А на самом деле
Человеку надо
Помирать в постели.

Тело не обидится.
Кончился — и в сторону.
Ну, а мне не хочется,
Чтоб клевали вороны.

Нам с тобою место,
Друг мой, на погосте,
Под зеленым холмиком
Чтоб лежали кости.

Тут же и скамейка,
Клен. И солнце позднее,
Вдруг придут влюбленные,
Чтоб любить серьезнее.

* * *

Если б тот, кто землю создал,
Подобрей немного был,
Человек бы пел о звездах,
А не по небу палил.

Если...
Если б...
К черту «если!»
Мир такой, а не иной.
Матерщину вместо песни
Получай на адрес свой.

* * *

Жили долго, знаем мало.
А, быть может, в самый раз.
Друг мой, счастье убежало,
Легконогое, от нас.

* * *

И поднял руки: вот, мишень я,
Твоя мишень, неумный рок.
Мне дырка в сердце — утешенье.
Спускай курок.

1940

К жизни

В шизофреническом бреду
Какую гнусную беду
В запасе держишь для меня еще ты?
Я с пистолетным выстрелом сведу
С тобою мстительные счеты.

1941

К природе

Ты существуешь, благостью кичась,
А мы уходим с горечью проклятья.
На миг рожденья, миг зачатья
И глупой жизни длинный час.

Тебя и я назвал бы: мать...
Но лишь с хорошим русским добавленьем,
За то, что ты с одним сплошным мученьем
Сумела человека обвенчать.

1941

* * *

Когда не воскресают чувства
И бездыханна алчущая страсть,
Тогда, мой друг, и там смертельно пусто,
Где яблоку на землю не упасть.

Коле Глазкову

— Выпьем водки!
— Лучше чаю.
Я давно уж примечаю,
Что от чаю
Не скучаю.
После ж водки — грусть такая!..
— Выпьем, Коля, лучше чаю.

<1943>

Лирическому поэту

Ты песенки свирельные играй,
О нежной страсти сочиняй стихи.
И я, дружище, рад бы в рай,
Да не пускают темные грехи.

* * *

Нам нравятся вот именно такие:
Со строгим ликом,
С глазами схимницы святой,
И чтобы грешницей была великой,
И в Дантов ад взяла меня с собой.

* * *

О, друг мой, жизнь моя не та,
Быть человеком очень нелегко.
Мне нравится,
Как ласточки летают,
И синей вечности мне нравится покой.
Но жаль расстаться с шумною душой,
Которая почти что отшумела,
Чтоб получить летающее тело,
Конечно, с птичьей головой.

* * *

О, жизнь моя, ты так поспешна!
А там, у станции далекой,
Мы улыбнемся неутешно
На человеческие сроки.

«Приехали?»
«О, да. Уже».
Как быстрота невероятна!
И даже мне чуть-чуть не по душе,
Что не купить билет обратный.

1944

* * *

О, сверстники, как это благородно!..
Как красиво!
Как к лицу! —
Все ваши головы
Давно уж в мыльной пене.
А у меня нет мудрого терпенья
Спокойным шагом подойти к концу.

О себе

Тут все размеренно и строго.
«К чертям собачьим!.. Бунт!..»
Ну, побунтуй немного,
Расколоти у жизни чашки.

А кончил, как и все, в смирительной рубашке.

1941

* * *

Он благостен, тот путь без возвращенья.
Нет, милая, не надо — слез не лей!
Ведь я останусь легкой тенью
В глубокой памяти твоей.

* * *

Рождение из ничего,
Дни сумрачного века моего,
Деритесь, сволочи, как львы:
— Иду на вы.

Романс Нины (Мещанский)

Я твоя девочка,
Я твоя крошка,
Любишь ли, милый,
Крошку немножко?

Милый, мой милый,
Светик в окошке,
По лунной дорожке
С тобою вдвоем
К счастью, мой милый,
Вдвоем уплывем.

По лунной дорожке,
По лунной дорожке,

С тобою вдвоем,
Вдвоем уплывем.

Тонкие ручки,
Резвые ножки,
Любишь их, милый,
Множко?.. Немножко?..

Милый, мой милый,
Резвые ножки
По горной дорожке,
Где маки цветут,
К счастью, мой милый,
С тобой убегут.

Смерть (I)

День,
Ночь
Точь-в-точь.

Сколько их:
Тысяча... три... пять?

Если б уметь рыдать,
Если б поменьше любви!
Тырываешь сердца?
— Разорви.

1940

Смерть (II)

Если прижимаешь к сердцу тень,
Если стал бесплотным милый облик,
Ночь бела, бессонная, как день;
Черен день, который солнцем облит.

1940

* * *

Спросите,
И скажет вам каждый,
Серебряный и умудренный,
Что сердце непременно подскажет:
«Больше не будешь влюбленным;

Друг мой, последнее это,
Это к тебе не вернется.
Как маленькая монета
С черного колодца».

1941

Судьба

Напала ты из-за угла.
В руке был нож,
Был мутный глаз.
Сообщниками:
Март и мгла
И ночи третий час.
И я упал,
И кровь лила...
О если б вся до капли пролилась!

1940

* * *

Счастье, друг мой, не в квартире,
Не в штиблетах,
Не в рубашках.
Если было б счастье в мире,
Можно жить и в меблерашках.

Если б зависть в дружбе тесной
Не восхитила победу,
Можно, плохо пообедав,
Чувствовать себя чудесно

И пьянеть бы очень мило
Без убийственного коньяка,
Если милая рука
По рукам бы не ходила.

* * *

Там место не открытое,
Над белой вазой клен.
Душа моя зарыта там,
Где сын мой погребен.

Все кончено.
Отказано
Волненью горьких лет:
Ведь я лежу под вазою,
Гуляя по земле.

* * *

Теряй, что хочешь.
Все теряй.
Жену и славу,
Юность и друзей,
Теряй любовь,
Теряй детей,
Но совесть...
Нет!
Прошу тебя,
Молю тебя,
Ее не потеряй...

* * *

Тогда мне было двадцать пять
И грустный возраст ощущался далью.
Вот Киев,
И опять
Машина подвезла к «Континенталю»:
И тот же номер,
Маленький балкон
Повис над садом ресторана.

И я завидую судьбе знакомого каштана,
Почти совсем не изменился он.
Нет, нет!
Он стал выше,
Я — потише,
Богаче он болтливою листвою,
Беднее я стихами и душой.

1940

* * *

Ты ведь жизни моей подруга,
Спим в одной неширокой кровати.
А что знаем мы друг про друга?
О душе что я знаю твоей?
Она в длинном застегнутом платье
С рукавами до тонких кистей.

* * *

Ты скажи мне, дорогая,
Синевою чистых глаз:
Значит — счастье убегает,
Легконогое, от нас?
Значит — что же — я с тобою
Говорю в последний раз?
Значит, я — дурак — без боя
Отдаю тебя сейчас?

* * *

Ты смотришь в окна, городская птица,
А как живут в других домах:
Смеются?
Плачут?
Ненавидят?
Лгут?
Что лунными ночами снится?
Что от мигрени принимают?

Все верные мужья и жены изменяют?
А судят по-соседски строго?
Поэтов любят?
А счастливых много?

1940

* * *

Цинична зрелость — возраст мой.
И как же ей не быть циничной.
Когда — владычествует деспотично
Слепое тело над душой.

Поняла

(Шуточное)

Отойдя в тишину и в зарю,
Голову положив на колени ей,
Потеряв представление времени,
Говорю:
«Нет ничего лучше любви!»
«Милый, да...
Только страшно забеременеть».

Старому Эйху

(Шуточное)

Ты говоришь:
— Мечтаю я о нем не очень.
И вдруг:
Как рыбка —
Хвать свой орденочек!

Не смейся, Эйх, над карасем,
Себя, как в зеркале, увидишь в нем.

Там

Кстати ли, не кстати ли,
Только вспомнил я:
Здесь мои приятели,
Там мои друзья.

Тут какие речи?
Скучные, ей-богу!
Для желанной встречи
Соберусь в дорогу.

Там и выпить гоже.
Там вино, как пламень.
— Золотой Сережа,
Угости стихами.

Память не уснула,
Не опали листья,
Там и Жорж Якулов
При бессмертной кисти.

Речь картечи мечет.
Брызжут солнцем краски.
Что за человек
Пикассо кавказский!

А в военный вечер,
В буревую пору
Прибыл Шершеневич
Для горячих споров.

Профиль древних римлян.
Яд сарказма в тосте.
Слышу я Вадима:
Зазывает в гости.

Где уж им до холода?
Пьют ведром искристым.
Это ж наша молодость —
Все имажинисты.

Там и мой кируха.
Мой Кируха с вами.
Но об этом глухо:
Это страшный камень.

Кто здесь стон услышит?
Смерть не переспоришь.
Где успел, малыш ты,
Нахлебаться горя?

Ведь совсем зелененький.
А таланту было!
Ну а в здешнем звоне
К черту все постыло.

Может быть, им вспомнится
Наша дружба тесная,
Наша юность дерзкая
И дорога крестная.

Вот как мне сегодня
Вспомнился твой голос
И, скажу по правде,
Сердце расколосось.

Понял твою лиру,
Тронул твои струны,
Моего далекого,
Моего Сегуна.

Та ль повадка стройная?
Так ли я? Похоже ли?
Ах, какие струны
Были у Сережи!

В вашу честь, хорошие,
(Не было чудесней!)
На мотив Сережи я
Складываю песни.

Будет все, как было.
Лира золотая!
За столом вам
Сам и прочитаю.

1940-е

* * *

Я понимаю:
Время такое.
Счастье пошло на убыль.
Даже вот эта юная парочка
Тут,
На скамейке,
Возле левкоев,
Разве целуются?
Нет,
Выдает по карточке
Сердце свое и губы.

Что?

Как дьявол нынче зла.
— Молчишь?
Снег сбрасывают с крыш.
Весна пришла.

— Что? Влюбилась в кого-то кобла?
— Да.

1959

* * *

В пути. Еще в пути. Опять в пути.
Идти, идти, идти.
Что значит жить?
Быть может, это значит пережить?

И пережить уметь?
Найти и потерять. И потерять уметь.
С улыбкой о беде рассказывать,
Так величавей делаются вязы,
Когда сентябрь их одевает в медь.

<1961>

ПОЭТ И ЖЕНЩИНЫ (1958)

* * *

У меня никогда не было архива и не было в домашней библиотечке моих книг. Ну, две-три, причем совершенно случайных, а не любимых. Друзья и добрые знакомые разводили руками — одни с удивлением, другие возмущаясь: «Даже собственных книг не имеет!» И стали, от случая к случаю, преподносить мне мои «уники». Изредка они появлялись в букинистических лавках. Как-то одна добрая душа принесла «Стихами чванствую». Разумеется, с дарственной надписью. Привожу ее: «Обычно поэты дарят свои книжки читателям. На сей раз наоборот — читатель преподносит книжку поэту с пожеланием всяческих успехов».

На досуге я перечитал книжицу, изданную в 1920 году. Стихи мне не понравились. Но почти в каждом попадались, на мой взгляд, две-три хорошие строчки. Стало жаль, чтобы они затерялись в куче словесного мусора. И вот, тщательно отделив их от чепухи, я вокруг каждой «жемчужинки» (важно сказано!) написал новые стихотворные строчки, учтя при этом свой некоторый опыт, драматический и в прозе.

Вспомнилось также, что когда-то я говорил: «Заниматься писанием стихов, более или менее настоящих, можно и должно только в наивном возрасте, т. е. до двадцати пяти и после шестидесяти». Сейчас наступил, к сожалению, мой второй «наивный возраст» — после шестидесяти.

Так появился этот цикл — почти новый. Я назвал его «Поэт и женщины».

Прочь, ведьма!

Дай простонать, проскрежетать:
К чему бы мне влезать в кровать,
Влезать в кровать,
Как к черту в печь?
Не понимать родную речь,
Читать поэзию незрячим,
Быть ледяным или горячим,
Сгорать и жечь?

— Ты мой любовник.

— Нет! И нет!..

Тебя я рву, как твой портрет.

— Но ведь глаза горят, как нимбы.

Ты мой любовник.

— К черту!..

Им бы

Я не мечтал, не жаждал быть...

Тонуть и плыть,

Тонуть и плыть.

— Уйди... Ляг на диван... Прочь!

Ты мне сестра.

Нет, лучше дочь.

— Врешь, миленький.

— Прочь, ведьма! Прочь!

1920—1958

Не ясно

Мой город спит, как пес.

Набегавшись, утих.

Пишу:

«О, страстью вздыбленные перси!..»

Хороший стих.

Погасла поздняя заря,
«О, страстью вздыбленные перси!..»
Паршивый стих.
Перед окном два фонаря —
Два пальца.
А на них рубиновые перстни.
Пишу:
«Они сосцы твоей груди...»
Хороший стих.
— О, мой поэт!..
— Уйди.

От вождельня хорошея,
Она
Руками,
Словно полотенцем,
Мне обмотала шею.
— Нет, не люблю тебя. Уйди.

Слова. Слова. Слова

Слова, слова, слова распашут
Любви горячее пространство...
Мне нравится стихами чванствовать
И в душу женщины смотреть, как в чашу.
— Дай руки.
— На.
— О, как они тихи!
— Их целомудрие ты любишь?
— Нет, грехи.

1920–1958

Подальше надо жить

Хотел бы чистоту растить.
Но кровь — тяжелым языком страстей —
Как в колокол
Бьет в лоб.

— С чего б?..
— Живешь ты, ведьма, около.
Через площадку.
Но целовать тебя до рвоты гадко.

Подальше надо жить,
Чтоб чистоту растить.

1920—1958

Это уж слишком

— Розовая, божественная моя,
Обтекаемая...

— Повтори, милый! —
Лепетала она,
Лучами лучась.

— Повтори, плутишка...
Но пробыть с ней больше получаса —
Это уже слишком.

1920—1958

Выстрел

— Садись. Кури. Есть разговор.
— Ну?..
— Кто нашей любви вор,
Кто вор нашей любви?
У кого руки в крови?..

И я посмотрел на кровать.

— В кого стрелять?
Говори, зараза!..

Она улыбнулась.

И я выстрелил в сердце себе.
Но промазал.

1923—1958

Наглец

Вы голову несли, как вымпел.
Загадочны,
Как незнакомое чуть освещенное окно.
А тот наглец
С усмешкою вас выпил,
Как за обедом легкое вино.

1920—1958

Идиотка

*«Заря, как сабельная рана.
А сумерки, как серый пес,
В нее суют свой мокрый нос».*
Сравнение не кажется мне странным.

— Хи-хи...
— Ты что?
— Дурацкие стихи...

Кошмар! И это существо
Считал я божеством.

Гнев стал, как дом.
Еще возрос.
Вожжа попала мне под хвост.
— Вон, идиотка! Вон!..
И шлепанцы ей полетели вслед.

О, мой разгневанный поэт,
С собою ту клади в кровать,
Что может и стихи, и прозу понимать.

Она в ванне.
Потом на диване.
Я творю:

*«Из черного сапога ночи
Рассвет вытащил розовую ногу».*
— Нравится? Это прелюд,
— Хи-хи...
О, я ее пристрелю!
Пристрелю, ей-богу!

1920—1958

Надела шляпу и пальто

Сказал мне друг:
— Я выронил из рук
Любимых глаз ковши,
Не утоливши
Жажды...
— Я тоже выроню. Изволь.
Есть в этом сладостная боль.

Она сидела тихая, что камень.
Померкнув, как звезда
Перед рассветными лучами.
Ресницами не шелохнув ни разу.
И пропускала мимо фразы,
Как громыхающие поезда.
Потом надела шляпу и пальто.
— Вернись!.. Вернись!.. Сказал тебе не то!

И поднял я ковши любимых глаз.
«О, господи, поймешь ли нас?»

1920—1958

Привезли вечер серые кони

Сел на подоконник.
Привезли вечер серые кони.
И вечер прогуливался по узкой панели.

А в сквере
Городские ели
Синели.

Я взял со стола перо и листы,
Раскрывшиеся, как ладони.
Это хорошо,
Что привезли вечер кони —
Значит скоро придешь и ты
И рассыпешь волос октябрьские кусты.

Милая,
Ты перекистью мыла их.

Вбежала.
Неожиданная, как рок.
И сняла фетровые боты.
И пальцы проплыли по пене строк.

— Сядь.
Помолчи.
Ты мне мешаешь работать.

Она сказала:
— Дурак!
И ушла,
Как из кастрюли вскипевшее молоко.
Ушла.
Да.
Далеко-далеко.
Может быть, навсегда.
Но остался кто-то.
Где?
В сердце.
Кто?
Мрак.

Ну конечно — «дурак!»

1920—1958

Не открывай глаза

Осенних звезд блестящий стих
Хочу в свой дом перенести.
— Вплети их, милая, в косицы.
— Любимый, мне за тридцать.

Октябрь мой давно потряс
По колеям свой желтый тарантас.

Закрыв глаза, она поцеловала.
— О, милая, мне мало...
Валяюсь распростертым.
— Еще!
— Не открывай глаза. Не надо глаз.
И я восстал из мертвых.
Любовь, ты воскрешаешь нас.

1923—1958

А когда в январе вернулась...

Ушла.
Ушла вдаль ты.
Покинула дом.
И асфальты
В июле
Покрылись льдом.

Ушла.
Ушла ты.
Прямая,
Злая,
Будто закованная в латы.

А когда в январе вернулась,
Лисьей сверкая шубой,
Во всех водосточных трубах
Расцвели серебряные цветы.
Это потому, что вернулась ты.

1920—1958

ИЗ РУКОПИСНОГО СБОРНИКА
«СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ» (1918–1962)

Из раздела «Явь»

* * *

Очень рад. Очень!
Как телеграфный столб прям
Спинной позвоночник
У всех
Столетиями горбатых россиян.
Кто нас теперь звонче?
Ни столбов верстовых, ни вех.
А вы: «Бедлам!»
К сатане! К чертям!
Вы — хлам.

1918

* * *

В красной баньке поддадим жару!
Ковальщик
Рельс-браслет
Этому шару
Махоркой дымит так
Как офицер шпорами звякал
— А дальше?
— Катитесь саночками под горку!
У нас дальше
Сотни веселых лет
И не скажете:
«Выкуси ну-ка!»
Времячко-то свое офицерик отзвякал.

1918

Из цикла «Шуточные»

* * *

Нет, жизнь не легкий чемодан.
Любовь, ты никогда не канешь в Лету,
Когда-нибудь я напишу роман
О девах и поэтах.

1924

СТИХИ ИЗ РАЗНЫХ АРХИВОВ

Пивоварову С. Ф.

Опять пируем мы у Сени,
Справляя день его рожденья.
И говорим, наполнив чаши:
«Ах, было б лучше без сомненья,
Рождались чтоб у нас почаще
Такие Сени!»

1950-е

* * *

В моей стране
Как будто я приемыш,
У славы —
Нелюбимый сын.
О, время, я боюсь, что сразу
Поседеют волосы,
Одним лишь глазом загляну
В твои пустые водоемы.
В тот час:
Пошлю проклятье на мою страну.

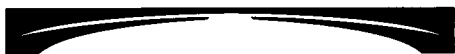
Любимая, не утешай! не надо!
Я знаю —
Хмель побед
И горечь неудач,
Я закален в соревнованиях.
Над песнями уже стряслась беда.
Ты видишь —
Я не плачу,
Не трепещу на плахе палача.

Когда потухнет в небе
Розовый фонарь
И загорится черный
(Читатель, понимай:
Погас июньский день,
Идет июньский вечер)
Тогда запылывает
На столе свеча,
А на свече запылывают
Вороха
Отдохновений стихотворных.

Теперь я знаю сам,
Что не заплачу.
Сограждане, что мне в любви
И ненависти вашей.
Пусть не шипит в кабацких чашах
Сладостная пена обманчивой хвалы,
Пусть мой народ —
Большие злые дети —
Благословляет имя палача;
Увидите,
Как белые перчатки
Я на отчаянье
В последний миг надену.

В стране моей
Как будто я приемыш
И нелюбимый сын у славы
Гляжу, судьба, в твои пустые водоемы
И чувствую:
Седеет голова.

ДРАМЫ



ЗАГОВОР ДУРАКОВ

Трагедия

ДЕЙСТВУЮТ:

Анна Ивановна.

Герцог Бирон.

Граф Остерман, кабинет-министр иностранных дел.

Миних, фельдмаршал.

Ушаков, правитель канцелярии тайных розыскных дел.

Князь Черкасский.

В. К. Третьяковский.

Первый дурак.

Второй дурак.

Третий дурак.

Четвертый дурак.

Пятый дурак.

Шестой дурак.

Первая дура.

Вторая дура.

Третья дура.

Свита, гвардейцы, кавалергарды, карлы, карлицы, негры,
попугаи, таксы и пр.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Дворцовая зала. Гроб. В гробу лошадь.

1 - й дурак

Веселые похороны! Замечательно веселые похороны!

Ручаюсь, что ни одна человеческая рожа не видела

В гробу такое огромное мертвое тело,

Такого величественного покойника.

2 - й дурак

Смотрите, словно черные крылья воронов
Эти черные ленты венков.

3 - й дурак

Любезные дураки, давайте надписи читать.
Сокрушается кто, о чем и как.

1 - я дура

Ах, это была не лошадь, а узконогая мечта.

4 - й дурак

И вдруг сдохла...

5 - й дурак

Дохлая мечта!..

6 - й дурак

Вы слышите, оказывается, мечты тоже околевают.

2 - я дура

Она скончалась у императрицы Анны на руках.

3 - я дура

Императрица сняла гипсовую маску
С ее прекрасной лошадиной головы.

1 - я дура

И благоуханнейшим бальзамом
Сама
Натерла мертвое лошадиное мясо.

2 - й дурак

Будут потомки говорить: ну и дела творились
Во времена оны.

3 - й дурак

Внимание, дурацкая камарилья!
Читаю надпись на ленте венка Бирона:

Хлыст и свинец человечьему стаду —
Розы и привилегии дворянские
Конскому классу.

1 - й дурак

Не мысль, а громада.

4 - й дурак

Только в Муромском лесу
Возрастают такие дубы.

5 - й дурак

Лжете, коллега, Бирон — дерево Курляндское.

2 - й дурак

Как стрелы в колчан,
Как меч в ножны,
Язык за зубы.

6 - й дурак

И я советую, почтеннейшие дураки,
До времени помолчать,
Небось не ахти как хочется виселицу в жены.

Три дуры
(вместе)

Кук-каррекукук-каррекукук-карреку.

Три дурака

Кудах-кудах-кудах-ах.

3 - й дурак

Живо, хвосты по швам,
Брюхом и полушариями не шевелиться,
Читаю вам
Надпись на венке императрицы:
Было радостней мне восседать на седле,
Когда нежно качал твой тугой хребет,

Чем на троне,
Который на Русской земле
Нерушимо стоит девятый год.

4 - й дурак

Мне думается, что за звездным пологом
В голубой стране
Из орбиты от ужаса вылезает глаз у Петра,
Как синий медведь
Из ледяной берлоги.

5 - й дурак

Разве не достойнейшая государыня несет скипетр,
Полный народными слезами, тяжелыми, как олово.

1 - я дура

Гляньте, какая огромная упала звезда!

1 - й дурак

Потому и огромная, что не звезда, а Петрово
Матерное слово.

6 - й дурак

Сегодня языки, как красные тряпки треплются,
А завтра спины и ягодицы
Под кнутами будут визжать.

5 - й дурак

К сожалению, так на земле водится:
Сначала кровью плачет революция,
Потом революционная вожжа
До крови стегает жирные бока.

1 - й дурак

Хорошо говорит собака,
Но пророчу, что лучше скажет через сотни лет
Мариенгоф в «Яви».

2 - я дура

Откуда такие точные сведения?

1 - й дурак

Получены с последней потусторонней почтой.

3 - я дура

Я бы тоже вымолвила кое-что,
Но очень не хочется околеть.

Три дуры
(вместе)

Ау-ау-ау-ау-уууу!

Три дурака

Тяф, тяф, тяф, тяф, аф!

Дуры и дураки

Тсс... тсс... ссс. он!.. он!.. он!.. он!..

Входит ТрEDIAковский.

1 - й дурак

Вот тот, кто стихами пьянствует,
Чья лира поет, как гром.

2 - й дурак

Приветствуем нижайшими реверансами
Тебя, наездник дикого Пегаса.

ТрEDIAковский

Друзья,
Я чрезвычайно счастлив видеть вас.

3 - я дура

Как ты хорош сегодня, ТрEDIAковский,
Твои глаза горят
Червонным золотом зажженных папиросок.

ТрEDIAковский

Я только что от сладостной работы, —
Ковал серебряную цепь великолепной оды, —

На пламени мечты расплавленные звенья
Тяжелым молотом завязывало вдохновенье.

5 - й дурак

А вот я бы,
Ей-богу, не променял тугое пузо
Своей босоногой дворовой бабы
На сухопарый живот солнценосной Музы.

1 - я дура

Медам, скорей зажмите уши.
А вы, милые мальчики,
Лучше не говорите таких неприличных вещей,
Иначе мы тут же повиснем у вас на шеях.

Т р е д и а к о в с к и й

Утишьте страсти. Умерьте пыл.
Сегодня день надгробных возрыданий.
Хороним мы прекраснейшую из кобыл —
Любимицу великой государыни.

3 - й дурак

Интересно: если протянет ноги
Гениальный российский стихотворец,
Что будет твориться при дворе.
Будет ли роз и тюльпанов
У гроба так много,
Столь тонким полотном смертельное выстлано ложе
И столь глубокий траур
У Анны,
У ея фрейлин и вельмож,
У дураков и дур.

Т р е д и а к о в с к и й

Не с царской же лошадейю
Соперничать
Тому, кто вечное постиг.
О, судьба, острей точи
Железные мечи

Всенародной неблагодарности
И золотые тернии
На венце славы.

4 - й дурак

Таким словам,
Такому смирению позавидует монах.

5 - й дурак

Если у поэзии пламя грошовой свечи, —
Лучше идти века и века впотьмах;
Если народ — стриженное стадо овец,
Пусть погонщиком будет Бирон.

2 - й дурак

Говорю тебе: будь нем, как
Рыба.

5 - й дурак

Вы правы, дурак. Ибо:
Мы все только верноподданные трона,
На котором сидит дородная немка.

4 - й дурак

Вы помните, когда Верховного и Тайного Совета Кондиции
Подписывала императрица,
Когда Голицын с Долгоруким
Над троном
Чертили ястребиные круги,
Готовясь раскромсать корону,
Как златоперого бессильного цыпленка, —
Нашептывал вам мудро я и тайно:
Точите, граждане, республиканского оружия клинки —
Самодержавие,
Как беззащитный Авель,
Ждет справедливого удара Каина.

1 - я дура

Тебе ведь никто не перечил.
Ну и точил бы, и точил бы, и точил бы.

2 - я дура

Очень люблю слушать дурацкие речи.

4 - й дурак

Легче с петлей сорвать
Кованные медью дворцовые двери,
Чем открыть дубовые лбы.

3 - я дура

Слов у него сущая прорва:
Говорит, и говорит, и говорит, и говорит...

Т р е д и а к о в с к и й

Я только рифм и метра опытный фельдмаршал.
Я лишь бумажные равнины чернильной кровью орошал.

3 - й дурак

Поэт всегда на поле брани.

Т р е д и а к о в с к и й

Перо — не меч. Хотя острее бритвы, но не рубит.
Звенит, как сталь, а ворога не ранит.

5 - й дурак

И звонче,
И громче
Военных труб
Должно петь сердце стихотворца.

1 - я дура

А как вы думаете, у стен во дворце
Есть уши или нет ушей?

Т р е д и а к о в с к и й

Лишь инсургентские войска тонического стихосложенья
Умею мудро двигать я на силлабические римские полки.

3 - я дура

Говорят, и говорят, и говорят, без всякого толку.

2 - я дура

Я слыхала, что нашим дуракам веревочные ошейники
Приготовили в награду за острые речи.

1 - я дура

И поделом. Не устраивай в государевых покоях
Новгородское Вече.

4 - й дурак

У одних язык в гортани, как в колоколе:
Будто медь плачет — такая от слова жуть,
У других не поймешь — тряпка ли мокрая, войлок ли;
Говорят, а кажется, что пятки лижут.

1 - я дура

Не ругайся, милый, сама знаю, что дрянь я.

2 - й дурак

Тсссссс... Государыня.

4 - й дурак

Напоследок порадуется пусть:
Дураками, как черным пушистым ковром, пол выстлан.

5 - й дурак

Важно ступает, а глаза качаются,
Как полные ведра на коромысле:
Так и плещется —
В одном похоть, а в другом глупость.

Дураки расстилаются.
Появляется Анна, свита.

Остерман

Посмотрите, сколь великолепен веноч императрицы,
Каждая белая роза, как пышная слеза,
Того и гляди в печали упадет с зеленых ресниц.

Князь Черкасский

А хризантемы фаворита.

Каждый цветок — сама скорбь, развеявшая седые волосы.

А н н а

Приступим к молитве.

Дуры и дураки, печальную панихиду возголосите.

ПАНИХИДА

Служат два дурака и хор из дураков и дур.

1 - й дурак

Помолимся скопом, скопом

Тому, кто лошажки души лопает;

Помолимся зачатой без семени лошажьей матери

Об оставлении согрешений и о блаженной памяти.

Да простится усопшей всякое брыкание и фыркание

Вольное и невольное;

Да не опалит ее небесного гнева пламень

И присно и ныне.

И во веки веков, аминь.

Да вознесется душа ее к страшному престолу,

Престолу славы,

Галопом;

Да уготовится ей на небеси покойное стойло

И сладкие травы.

Х о р

Помолимся лошажьему богу скопом.

2 - й дурак

Воистину мятется на земле всяк:

Одному тяжелая кладь и горький знак,

Другому приятный овес

И резвится он задравши яко трубу хвост,

И токмо забудется суета всяческая

По вселении во гроб,

Идеже тогда вкупе рысак и кляча.

Х о р

Помолимся лошажьему богу скопом.

1 - й дурак

Помолимся о причтении усопшей в недре, —
Где пасется благочестивый скот,
Где свят, свят, свят всякий мерин, кобыла и жеребец.
Прими же усопшию в лоно свое, лошалюбец,
Яко же ты воскресни и живот.
Молимся и тебе лошажья мати,
Прости усопшей вольные и невольные
Фырканья и брыканья.
Услыши нас творящих надгробное возрыдание
И сотвори: вечную память.

Х о р

Вечная память.

Вынос тела.

Занавес.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Поминальное пиршество

4 - й дурак

Государыня, я не видел лучшего всадника, чем ты.
Но все же спросить тебя кое о чем позволишь?

А н н а

Спрашивай.

4 - й дурак

Почему не остановишь ты грозным «тпру»
Бревенчатые копыта
Деревень и сел, скачущих из России в Польшу?

А н н а

Мой конь — Российская Империя.
Его рысь и галоп

Послушен царской узде, мундштукам,
Шпорам и плети,
А ты о дворянских лошадях говоришь, остолоп.

Кн. Черкасский

Государыня, как вы прощаете дураку
Крамольные речи эти?

3-й дурак

Если на языки дуракам наложить колодки,
Милостивые вельможи будут плакать от жалости,
А не ржать
От шутливой щекотки.

5-й дурак

Кандальные песни каторжан
Тогда ползли бы как змеи из наших глоток,
А не веселые арии
В честь государыни
И ваших светлостей,
Ея величества гостей.

Бирон

Ах, черные попоны, что свисают с лошадиных плеч,
Траурный креп, в который конюшня успела облечься,
Пустое
Стойло,
Где еще хранятся следы
Ее копыт, закованных в золотые латы, —
Живописует все о бремени беды —
Все говорит о тяжести утраты.

3-й дурак

Каждому известна нежность сердца,
Что бьется под панцирем
Бирона графа Империи Германской —
От малейшего пустяка оно дрожит, как струна
Испанской гитары.
Рассказывали нам,

Что во время поездки по Курляндии, вместо
Испорченных мостовин
Граф приказал положить сенаторов,
Чтобы было мягче ступать коням.

Б и р о н

А вот и хлыста — щелк.
За слишком высокое обо мне
Мнение,
И осведомленность точную чересчур.

(Бьет дурака.)

4 - й д у р а к

Мнение
О его светлости не подлежит изменению.
И я на всех перекрестках кричал и еще
Кричу:
— Ей вы, таковские дети,
Мудрые и глупые,
Тот, кто порот и кто не порот
(Если и такие паче чаяния имеются тут),
Кто смеет не верить в графскую доброту,
Если каждый лошажий выхоленный круп
Тому живой свидетель.

1 - й д у р а к

Граф Миних,
А тебе не требуются талантливые помощники
Бить турок?
По правде сказать, мне
Ужасно надоело звенеть шутовским кокошником
И каждое утро
Рожу штукатурить.

М и н и х

Расскажи нам,
Чем приумножишь ты императорские силы,
Подвиги мыслишь совершить какие.

1 - й дурак

Перво-наперво, папуся,
Я примусь
За укрепление Москвы.
Для этого немедленно взорву храм
Блаженного Василия.
Совсем как ты. Помнишь, когда при укреплении Киева
Золотые ворота Великого Князя Ярослава
Швыркнул в воздух?

5 - й дурак

У дурака на плечах фельдмаршальская голова.

3 - й дурак

Клянусь, велика несправедливость будет,
Если за то серебряную звезду
Тебе не пришьют к груди.

Миних

И все же: ничтожна награда была б,
Но милостива государыня на земле
И милосерден на небесах Бог;
Справедливость сегодня же опрокидывает на тебя
Свой заздравный кубок,
И вино славы проливается на дурацкий лоб.

Миних обливает дурака вином.

1 - й дурак

Вот так же возлюбленный любимую орошает
И любимая становится матерью.
Девять месяцев бережет она во чреве тяжкую,
Но сладостную ношу.
Когда вызреет семя,
Розовыми ростками протянутся к свету
Ручонки дитяти, —
Тебе, Миних, возлюбленный мой, я признателен весьма,
Славы плоть ты выплеснул на мою глупую башку.
А разве голова
Не похожа на чрево
И в костяном животе своем

Она
Не вынашивает
Тяжелое слово...
Хотите ли, фельдмаршал, не хотите ли
(Волю Господа не преломит воля ничья) —
Отныне вы стали родителем
Моих будущих дурацких речей.

5 - й дурак

Когда плоть голодна —
Страшнее волка
В берлогах кроватей зубами она
Щелкает.
Ей-богу, своими ушами от перин и одеял слышал,
Что любовь один крик знает: мяса и жира.
Всякие нами браки
Видены и перевидены:
Провожали Педрилу с козой за брачный полог,
А потом пьянствовали на крестинах.
В Ледяном доме справляли свадьбу
Русского князя
С калмыцким чучелом,
Но чтобы фельдмаршал Миних
Стал родителем словесных детей дурака,
Мы не —
Слыхали еще о такой оказии.
Вашей графской светлости,
И вашему дурацкому ничтожеству
За гениальную выдумку бью челом.

А н н а

Мне нравится эта затея.
Итак:
Я хочу чтобы —
За сегодняшним пиршеством нашим дуры и дураки
Выбирали себе женихов и невест
Из высокопоставленных особ.
Приказываю: не церемониться в комплиментах;
Смело изливаться в любовной лирике.
Дорогие гости, за веселую потеху осушим кубки.

1 - я дура

Музыку!

Бирон

Ваше величество, шутовское помянутое
Превратится в словесную рубку.

Анна

Вам ли бояться, герцог,
Кривых сабель дурацких языков.

Бирон

Государыня, у меня
И у кабинет-министров
Очень чувствительные сердца.

2 - й дурак

Люблю подобные бракосочетания.
Слава мужу. Слава жене.
Словно со щитом щит
Встречаются два живота.
Губы к губам так же нежно льнут,
Как к мечу меч
Во время сражения.

2 - я дура

Объявляется во всеуслышание.
Сегодня:
Вино — сват,
А красноречие —
Сводня.

1 - я дура

Государыня,
Тебя хочет спросить об одной малости ничтожная раба.

Анна

Не бойся, дура, точи ляды.

1 - я дура

За слишком горячую любовь
Не будет ли
Ушаков,
Правитель Тайной Канцелярии,
Нас таскать
В опочивальню,
Где кровать — дыба,
Подушка — колесо,
Где обнимаются с петлей,
А целуются с розгой.

А н н а

Устанавливаю и скрепляю рескриптом монаршим
На сегодняшнее поминальное пиршество наше:
Свободу слова, совести
И вероисповеданий.

4 - й дурак

Отмени, государыня,
Будет невероятно трудно с первым утренним звоном
Петушиных арий
Сказать: «до свидания».
Нет хуже: «прости!»
Дарованным вольностям.

3 - й дурак

(к 1-й дуре и к 1-му дураку)

По приказу ея императорского величества
Тебя, дура, выбираю в сваты!

1 - я дура

Поверь голубчик, уж я-то
Косточки невесты языком переберу
За совесть, а не за страх.

А н н а

Предложением сердца и руки
Кому оказываешь великую честь.

3 - й дурак

Аппетиты у меня, государыня,
Шире и глубже поповских карманов.
Зарюсь, не больше, ни меньше, как на кабинет министра
Иностранных дел, графа Остермана.

А н н а

Выпьем, дорогие гости, за счастливый исход
Дурацкого сватовства.

О с т е р м а н (Кн. Черкасскому)

Знаете, князь, еще не началась потеха,
А уж в горло не лезут императорские яства.

О с т е р м а н

Я молвил о том, что чрезвычайно
По нраву
Мне пришлось затеянная
Государыней игра.

К н я з ь Ч е р к а с с к и й

Еще говорил граф,
Что никогда не казались ему столь вкусными
Царские кушанья,
И столь приятным царское вино.

1 - я дура

Знаешь ли, прекрасная невеста, какое счастье ждет тебя.
Чур, под строжайшим секретом:
Твой жених владеет несметными сокровищами:
В груди у дурака
Зарыт красный ящик,
Доверху набитый червонцами человеколюбия
Вот здесь — в костяном чердаке
Хранятся древние свитки, пергамент и папирус
Змеиной мудрости.
Его глаза проникают в самые дебри леса

Самой непроходимой души,
Туда, куда не забраться даже самому Ушакову,
Правителю Тайной Канцелярии Розыскных дел
Со своей дыбой и колесом.

4 - й дурак

А до меня дошли слухи, что девица Остерман —
бесприданница.
Что 30 тысяч славянских штыков на берегах Рейна
И гром копыт русской конницы,
Заставивший польский сейм
Избрать угодного нам короля, —
Все это не больше, чем маскарадная чепуха.
Я не знаю, быть может, болтают зря,
И девица Остерман храбрее льва.
Передаю, что слышал. Мне говорили: будто арабские
скакуны
Персидского шаха
И кривая сабля
Турецкого визиря
Не раз заставляли втихомолку всплакнуть
Возлюбленную дурака.

К н . Черкасский

Государыня, в железную силу твоей державы
Смеют не верить
Дураки и дуры.

Бирон

Государыня, они издеваются
Над могуществом великой страны.

Остерман

Слушайте, сват и сваха: сама Небесная Империя
Впервые шлет послов своих в Санкт-Петербург,
Сыны Восходящего Солнца — остроскулые китайцы
Несут дары к подножию Российского трона.

Входит Ушаков.

Ушаков

Ваше императорское величество, имя под приговором
поставь.

Анна

Не хитер ты на выдумки, Ушаков:
Этого четвертовать, того четвертовать,
А ты бы кого —
Ну, частей на восемь разделил что ли,
А экземпляр редкостный можно и на сто.

Ушаков

Твоя, государыня, воля:
Пиши сто под первым,
Восемь под вторым.

1-я дура

Поди потом собирай
Частички,
Когда воскреснешь из мертвых.

2-я дура

Только бы воскреснуть, а на косточки начихать.

3-я дура

Ушаков,
Я слыхала, что императрица Анна
Жалует тебе звание:
— Первого поставщика дур
Ада и рая.

Анна смеется. Подписывает приговор.

Ушаков уходит.

Анна

Я видела: за поминальным пиром
Пытался каждый облегчить
Мою печаль
О погребенном друге.

Граф Остерман, фельдмаршал Миних и Бирон
Меня от черной мысли защищали
Кинжалом острой речи.
Когда подкрадывалось осторожным зверем
Воспоминанье —
Капканы шуток расставляли дураки
И хищник гиб.
Лишь ты один, придворный наш пиита,
Как в рот воды набрал.

Т р е д и а к о в с к и й

Ах, государыня, сквозь ребра
В грудь,
Как вор, закрадывалось медленное вдохновенье.
Густое алое вино,
Оно по каплям, как скупец, вливалось
В коралловый
Стакан.
Но вот, сейчас, трепещущее сердце
Полно до золотых краев.
Позволь же выплеснуть к твоим стопам,
Императрица Анна,
Огонь вдохновенной оды.

А н н а

Твои стихи — всегда
Приятны были нам.

Т р е д и а к о в с к и й

Звени, звени хрустальный алыт стаканов —
То льет восторг покорная держава,
Тебя — сияющей короной увенчанную
Поет на флейте радостная слава.
Не блеском скипетра и митры и порфиры
Сиять в веках правленью Анны.
Поет за доброту тебя серебряная лира,
Поют за разум бубны и тимпаны.
Лишь мудрым рулевым ты встала у кормила —
Средь волн бестрепетно поплыл корабль России.
Несчастную страну счастливо воскормили

Твои, царица, розовые перси.
Сосцы своих грудей, тяжелых молоком и салом,
Ты вкладывала трем младенцам в нежный рот.
О, государыня, тебя сосали
Пехота, кавалерия и флот...
Другой любви, иных зачатий пришла весна потом
И вот — вторично оценилась сука.
Не ты ли греешь теплым животом
Политику, искусство и науку.
Сильна твоя держава.
Широко, как врата, раздвинуты у монархини ноги,
На двух материках ступни стоят,
России царственную тогу
Покорно лижет Балтика и Каспий.

А н н а

Иди сюда, безумный стихотворец, и мзду
Достойную
За оду получиай.

(Дает пощечину.)

Т р е д и а к о в с к и й

О государыня, я благодарность заслужил иную.

Б и р о н

Глупец, благодари своей судьбы звезду,
Что дело обошлось без палача.

Занавес.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

Ложа заговорщиков.

1 - й дурак

Гнев государыни, что августовский ветер,
Который опрокидывает пасмурное небо,
Как черное тяжелое ведро.

2 - й дурак

Себе на голову.
На голову себе.

3 - й дурак

Не мелкий дождь, а ливень отомщенья.

4 - й дурак

Пусть костяную глыбу царственного черепа
Он смое с белого утеса шеи.

Т р е д и а к о в с к и й

Царица — опытный стрелок.
Охотничью дробь
Она без промаха вонзает в сердце зверя.
Царица метко бьет тетеревов,
Царица метко бьет оленя,
Но разум — разум человеческий
Не по земле бежит на четырех копытах,
Не вьет гнезда в болотах и на деревьях.
Пусть монархиня попытает
Искусным выстрелом задуть хотя одну свечу
На чорном канделябре неба.
Я трижды верую, что огонь вдохновенья
Не погасить позорной оплеухой.

3 - й дурак

Умей понять разноязычье Вавилона:
И деревянный шепот хат,
И медный зык суровых колоколен,
И каменную хрипоту казарм.

Т р е д и а к о в с к и й

Я слышу скрип ярма,
Я вижу слезный дождь копеек и грошей,
Что падает на жестяное дно тарелок
Под песни странников,
Сбирающих на церковь.

6 - й дурак

Пусть брызнет кровь
Из обезглавленной прозрачной шеи Анны.

1 - й дурак

Поставим мы на лобном месте
Сей восхитительный фонтан.

2 - й дурак

Солдаты, бедняки, крестьяне —
Как черная метель
Народной мести
Над белыми Московскими стенами.

Т р е д и а к о в с к и й

Я мститель.
Но меч из ножен выну не ради угнетенной черни.
Что мне в раскрепощении рабов.
Еще вчера живая грудь —
Сейчас подобно костяному гробу
Обтянутому кожей, как золотой парчой —
В ней оскорбление (не холодный труп,
А естество горячее).
Пятивершковыми гвоздями заколочено.

3 - й дурак

Так не годится, вождь.
Для ворога:
Кольчуга, щит и шлем.
Перед друзьями ж обнажают грудь и сердце.

4 - й дурак

Мы все бы знать хотели:
Почему
Хватаешь зверя ты за острые рога.

5 - й дурак

Не рассердись.
Не любопытства ради тебя мы ловим неводом вопроса.

Когда б открылся ты, вдвойне влюбленные
Пошли бы мы и к алтарю, и к плахе.

6 - й дурак

Мы в страхе:
Пред нами вновь пылает образ
Разноязыкого столпотворенья в Вавилоне.

Т р е д и а к о в с к и й

Приходит осень. Жесткой лапищей
Коричневые косы туч суровый ветер рвет.
Средь облачных могил нечеловечьего кладбища
Созвездья как кресты, луна — червонный купол склепа.
Любовь в гробу.
Так возрыдай же кровью
И вознеси свой труп на тот погост, поэт.
Так учит нас с издетства вдохновенье,
Такую песнь поет нам муза, качая колыбель.
О, Муза. Муза.
Единственная мать, кормилица и повитуха...
Растет дитя. Запоминает розовое ухо,
Как вешние лучи звенят,
Как радостно играет
Март
На дудочках капелей...
Года идут, как льдины в половодье.
Поэта полноводный разум
Крутые топит берега.
Чтоб сочной зеленью луга
Одеть,
Чтоб напоить дубы, и клены, и березы...
Как дерево взамен девичьей кожи
Сурово одевает бронь коры —
Так тело юноши оделось в мускулы и мясо
Мужа.
И вот: тяжелое гусиное перо
Подъемлетя, как легкий скипетр...
Народы — как песок:
Их заливают воды бедствий.
Страдания — горячий ветер,

Их носит по пустыням на двух горбах.
Лишь Музы сын не в табуне: он сам пасет и ветры, и моря.
Нам горький плач полей и пашен внятен,
Когда по ним проносятся смерчи,
Вздымая мглу собачьими хвостами.
Давным-давно при Грозном государе
Так рыскала опричина
Голодной волчьей стаей
По нищенской Руси на бешеных конях...
Нависли горы снежными бровями.
Сосны, кедры, ели,
Как непролазные ресницы.
И все ж: сквозь эту темь поэт провидит мысль,
Которую лучит зеленый взгляд земли...
Какое дело мне, когда ревмя ревут
Крестьяне,
Когда дворовых девок порют на конюшнях.

1 - й дурак

О, мне понятна мысль твоя:
Пунцовым пламенем свечи
Расцвел румянец оплеухи
Не на щеке Василя Кирилловича,
А на лице стихии.

Т р е д и а к о в с к и й

Как человек я оскорбление принял бы тихо,
Невидимо для всех лишь прорыдал бы в подушек пух,
Но тот позор зовет к цареубийству.

2 - й дурак

Коль слышал ты в младенческую пору,
Как вешняя капель на дудочках играла,
Сейчас не можешь быть к страданью глух,
Когда оно стучит по человекам, как по дубам топор.

4 - й дурак

Воя я: еврей из Португалии.
Бежал от иезуитских лап.
И что же:

Попал прямехонько из полымя в огонь...
Когда озлить хотят цепного пса —
Хозяин рубит хвост ему и уши,
Империи хозяйка отрезала мне бороду и пейсы,
Одежду прадедов сняла,
Чтоб осчастливить шутовскою тогой
И золотым крестом неверного жида.

3 - й дурак

Хотя не долгов счет
Годов,
Что протекли на родине,
Но все же:
Их память — в сердце берегу я —
Так золото скупец в подвалах бережет
В моей стране снега и льды медведя толще, —
А медведь
Белее снега и белее льдов.
Из самоедской низкой юрты
В одном мешке с щенками
Меня привез боярин в Петербург.

2 - й дурак

Простолюдин, прохожий на проспекте
По цвету кожи
Каждому вам брат.
Скажите: думает ли кто,
Что есть душа и может быть
Она белей
Лебяжьих крыл
И черномазого урода негра.

5 - й дурак

Мной забеременела мать на княжеском пуховике,
А родила под розгою на псарне.

6 - й дурак

Я сын венецианской черни.
Предсмертный крик Российской Государыни
Пусть сотрясет палаццо дождей.

1 - й дурак

Твой меч за мертвое — наш меч за человека.

2 - й дурак

Российский двор за все и вся
Заплатит дорогой ценой.

Дураки одновременно

Да здоровствует дурацкий интернационал
Во веки и отныне.

4 - й дурак

Содружество поэта с дураками в столетиях грядущих —
Славься.

Третьяковский

Когда замыслил Петр Первый
Воздвигь Российский флот —
Славянского могущества опору, —
Он царский снял кафтан и на голландских верфях
Учился трудному искусству — молота
И топора.
Вожди и братья,
Ваш замысел тяжелыше во сто крат.
Сучкастые кривые дерева и человеки одно и то ж.
Уверены ли вы, что ваша мудрость
Народ построит как корабль.
Из бревен выстругает доски гладкие, как костра.
Из сосен вытешет трепещущее мачты.

Дураки

Мы веруем. Мы веруем. Мы верим.

6 - й дурак

Нас шесть и каждый, что гранита глыба.

4 - й дурак

При этой твердости телес
При этой квадратуре лба
Ужели не воздвигнем крепость
Юродивой мечты.

Т р е д и а к о в с к и й

По духу братья, по мудрости — вожди.
В знак отвержения гордыни снимите верхние одежды.
Плащ мастера и пеструю хламиду,
Сложите здесь у ног моих мечи.
Чтоб хищная беда,
Предательство и зло
Не заклевали заговор.
Свершим обряд святого посвященья
И души свяжем, как гордиевым узлом.

3 - й д у р а к

Мы костяные пчелы. Россия — улей.
Храни, поэт, сладчайший мед — дань мудрости
И дань
Труда.

Т р е д и а к о в с к и й

Вождь молота и плуга, вождь глобуса, вождь циркуля,
Меча, секиры и креста, —
Приказываю вам языцы вынуть изо рта,
Как стрелы из колчана.

(Дураки высовывают языки.)

Жестоким именем стихии, безгрешным именем народа
Кладу: печать молчания.

Тредиаковский прикладывает печать молчания, потом берет с
жертвенника молот и возносит его над головой 4-го дурака.

Вождь молота и плуга, за мною повторяй
Слова ненарушимой клятвы:
— Клянусь быть верным сыном заговора...

4 - й д у р а к

Клянусь быть верным сыном заговора.

Т р е д и а к о в с к и й

...И жизнь, и совесть, и отвагу
Бесслезно предаю в цареубийственные руки.

4 - й дурак

И жизнь, и совесть, и отвагу
Бесслезно предаю в цареубийственные руки.

Т р е д и а к о в с к и й

...Пусть сгложет сердце тьма,
Пусть сей же миг проломит молот темя,
Коль изменю хоть помыслом
Иль словом
Революции.

4 - й дурак

...Пусть сгложет сердце тьма,
Пусть сей же миг проломит молот темя,
Коль изменю хоть помыслом
Иль словом
Революции.

Т р е д и а к о в с к и й

(приставляя острие меча у груди 1-го дурака)

Клянись!

1 - й дурак

Клянусь в слепой и черной ненависти
К Империи
И трону,
Клянусь быть верным сыном заговора,
И жизнь, и совесть, и отвагу...

При последних словах голос 1-й дуры.

Откройте двери, двери, двери.
Будь проклята судьба, что сделала меня вороной,
Каркающей
Вести
Роковые.

(Входит.)

1 - й дурак

Пусть, как паршивую овцу
Заколет меч

Меня,
Когда хоть помыслом
Иль словом
Восстанью изменю.

1 - я дура

Смерть мерзавцу.
Смерть доносчику.

(Толкает первого дурака на меч.)

Не взвизгнув сдохла мерзкая собака.

Т р е д и а к о в с к и й

Спокойствие, вожди.
Ведь наше тело не желтый июльский колос,
Чтоб пагубная весть,
Как ураганный дождь,
Его сломать могла.

4 - й дурак

Метлой сгребает ветер облака
И чингисхановой татарией
Над Русью виснет туча —
Пламя неудачи
Лишь крепче закалит седую сталь карающих ножей.

1 - я дура

Мой полюбовник Ванька-Каин выкрал донос
Из тайной канцелярии.
Дело рук вот этой умытой кровью роби.
Читай...

2 - я дура

Несчастье! Несчастье! Несчастье!

(Вбегает.)

Т р е д и а к о в с к и й

Не голоси. Мы все готовы —
К смерти.

2 - я дура

Юродивую Анастасию, что веще говорила на папертях
О смене солнца, народ к дворцу сзывая на девятое,
Сграбастали пострелы Ушакова...
Сейчас они у Спасских проклятых ворот
Говядину с хребта и оголенный зад уже грызут
Беззубым ртом
То батоги, то кнут.

Т р е д и а к о в с к и й

Народа память почести воздаст
Великомученице Анастасии.
Чернильною слезой ее оплачет
Мое перо.
Но в этот час —
Пустую жалость
Выгоним из сердца прочь.
У каждого из заговорщиков над головой висит
Секира палача.
Твердая рука немедля отвести должна удар.
Иначе хрустнет кость
Тутого позвонка.

3 - я дура (вбегая)

Спасайтесь, граждане.
Спешите унести
Отсюда
Свои серебряные кости
И теплую говядину.
К республиканскому гнезду
Летят два коршуна —
Бирон и Ушаков...
Сейчас на площади неиствует толпа:
Двух карлиц смяли графские кобылы.
Чтоб выиграть несколько минут,
Чтоб вас предупредить успела я —
Под тяжкие копыта
Перекрестясь легли святые дуры.

Дураки и дуры стремительно разбегаются
Несколько секунд Третьяковский один
Потом снова по одному, по двое появляются дураки и дуры

2 - й дурак

Мы в западне.

3 - й дурак

В ловушке мы.

6 - й дурак

Всему и всем конец.

Третьяковский

Спокойнее, друзья. Спокойнее, спокойней.
Умели бунтовать, умеете ж встретить смерть
Насмешливо и гордо,
Как подобает то сынам богемы.

5 - й дурак

Безумие на что-либо надеяться.

4 - й дурак

Хоть раза в три будь меньше и проворней мыши,
Отсюда все равно не вылезешь.
У каждой щели словно кот сидит кавалергард
Или гвардеец.

2 - й дурак

Проклятье дьяволу.

3 - й дурак

Что говорить:
Искусные ловцы, умелая облава.

4 - й дурак

Судьба всегда умна и справедлива —
Красавице
Она

На
Шею
Вешает
Брильянтовое ожерелье
А взбунтовавшимся рабам — ременные арканы.

6 - й дурак

Под царские светлые очи
Анны
Нас приведут, держа сурово под уздцы...

1 - й дурак

...а может быть под жабры...

6 - й дурак

...не кучера, а палачи.

5 - й дурак

Должно быть, такое же бывает самочувствие
У пойманного степного жеребца:
Копыта распирает гром,
Гриву и хвост гнев пенит,
А ноздри напичканы пламенем.

2 - я дура

Чтоб убедиться в обмане:
Советую высморкаться.

Третьяковский

Говорю вам:
Довольно точить ляды —
Слушайте и повинуйтесь:
Рабочая и мощная рука
Властительного рока
Сурово повернула удачи колесо:
Не более как час тому назад
На страшные весы
Мы череп Анны
Бросили.
Мы взвешивали головы Бирона, Миниха и Остермана.

Увы.
Дурацкую мечту поэта
Перетянула золотая
Литая чаша
Империи...
Как вылезает змей из чешуи,
Уйдем и мы без слез из праздничных одежд.
С плеч долой пурпуровые мантии
Вождей.
Тяжелый меч пусть не прильнет к бедру.
Расстанемся с кинжалом и пистолетом...
Позвольте, други,
Приветствовать Василию Кирилловичу Тредьяковскому —
Ее величества императрицы Анны — стихотворцу,
Придворных дураков-комедиантов.
Вот эти два стола заменят нам подмости...
Кровь и сажа — прекрасный грим...
Сюда плащи... чудеснейшая декорация...
Ты Арлекин... ты Панталоне... Коломбина...
Доктор... Дапертутто...
Здесь... тут и тут...
Великолепнейшие мизансцены...
Импровизируем комедию —
Хотя бы... ну — ПОЮЩИЙ
И ТАНЦУЮЩИЙ ЖИВОТ.

(Дуры и дураки входят в роли.)

Теперь нам некого и нечего бояться.
Ловчие императрицы взамен свирепого медведя
Найдут в берлоге домашний мирный скот.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

Опочивальня Анны Иоанновны. В глубине постель, на которой будто бы больная императрица.

4 - й дурак

Государыне очень не можетя,
Государыня очень нездорова.

Лечили немецкие доктора
Индийскими кореньями и китайской травой,
А государыне все не легчает.
Любезные дураки и дуры,
Его светлостью обер-камергером
Всяческие обещаны нам награды,
Если каким-нибудь дурацким манером
Сделаем так, что станет государыне лучше...
Жи-во-о-о. Становись для чехарды,
Такие — сякие — чертовы чучелы.

(Играют в чехаргу.)

Д у р ы
(хором)

Прыгай дьявол, прыгай бес
От земли и до небес,
Бабки-ведьмы рыжий пес,
Прячь в карман рога и хвост.
Прыгай леший, прыгай черт
Через голову и горб.

1 - я дура

Если встретишь по дороге
Таракана или муху,
Раздави дурацким брюхом, —
Если встретишь мышшь иль крысу,
Придави башкою лысой.

(хором)

Прыгай дьявол, прыгай черт
Через голову и горб.

2 - я дура

Если на пол по несчастью
Сядешь самой задней частью,
Ку-куррекуй на полу
Ерундячую хвалу,
Славославье задней туши
Ку-куррекай по-петушьи.

(хором)

Прыгай дьявол, прыгай бес
От земли и до небес
Бабки-ведьмы рыжий пес,
Прячь в карман рога и хвост.

4 - я дура

Но не вздумай, не взмечтай
С высоты пятиаршинной
Землю рыть горбатым носом,
Обративши нос в поднос,
Или в форму пятачка,
Будешь выглядеть свининой,
Хуже нет свинячьей славы.

(хором)

Прыгай леший, прыгай дьявол
Через голову и горб,
Прыгай дьявол, прыгай черт.

2 - я дура

Милые дурачки,
Довольно чехардою заниматься.
Как вы там ни старайся,
А таксикки государыни
Даром, что криволапые все,
А куда занятнее вас в прыжках и кувыркании.
Милые дурачки,
Давайте играть в петушков и курочек.

2 - й дурак

Я негритянский петух,
А добиваюсь сердца испанской курицы.
Кто желает, дамы моей оспаривая благосклонность,
В поединке бездушном
Искусством бойца помериться.

2 - й дурак

Довожу до вашего сведения, что в курицу эту
С давних пор я нежно влюблен.

Господин негритосский петух,
С радостью принимаю вызов ваш петушиный.

5 - й дурак

Курица рябенькая, горбатенькая
Самая, что ни на есть, моя законная супруга.
Который год сидим вместе
В одном курятнике,
На одном нашесте, —
Никто, как я, законный отец
Ее желтопузых цыпляток.

6 - й дурак

Довольно птичье общество морочить.
Заявляю честно и просто,
Я интимный друг вашего курятника.

5 - й дурак

Что? Это правда? Ты — мне — законному мужу
Изменяла, проклятая,
С вертихвостом
С вертопрахом этим.
К оружию!

6 - й дурак

Видно, очень захотелось повариться во щак
Старому петуху.
Ну, что же собирай перья и потроха.

2 - я дура

Ду-ду! Ду-ду! Ду-ду!
Дураки, зачинайте петушиное побоище.

Дуры
(хором)

Пикой — клюв, хвост — трубой,
Петухи вступили в бой.
Даме сердца рыцарь верен,

Не жалеет пух и перья.
Честь спасая петуха,
Не жалеет потроха.
Пикой — клюв, хвост — трубой,
Петухи вступили в бой.
Птичья страсть горяча,
Льется кровь в три ручья.
Колют сверху, снизу, сбоку,
Льется кровь в три потока,
Славься! славься! славься, Анна,
Льется кровь в три фонтана.

5 - й дурак

Рана, смертельная, рана!

(Пагает на спину.)

О доблестный победитель,
Услыши мольбу, что шепчут бледные губы
Сраженного врага:
Наступи каблуком на петушиное пузо,
А если любишь турецкую музыку,
Бей по нему как по барабану —
Это же, право, занятие гораздо более веселое,
Чем всаживать прямо в пуп
Победоносную шпагу.

3 - й дурак

Я тоже сражен.
О, победитель, вложи свой меч
В ножны.
Что тебе в смерти
Ничтожного дурака императрицы Анны,
Когда его живот
Также обладает всеми достоинствами
Турецкого барабана.
Отчего бы
И не попробовать извлечь
Из инструмента оною
Мелодию нежного менуэта
В честь обер-камергера Бирона.

2 - й дурак

Любезный дурак, как тебе нравится затея эта?

6 - й дурак

Я никогда не жаждал смерти и крови.

2 - й дурак

Итак, побежденные, мы принимаем ваши условия.

Садятся верхом на дураков и на их животах играют менуэт.
Дуры танцуют.

4 - й дурак
(у окна с 1-й душой)

Смотри: течет, течет
Бурливая толпа народа
Из мрачных рукавов, и улиц, и проулков.

1 - я дура

Как пастухи стада,
Пригнали их пророческой клюкой
Сюда
Юродивые и кликуши наши.

4 - й дурак

Мне кажется, что прогибается спина моста
Под тяжестью многоголовой ноши.

1 - я дура

Так травы облаков
И вилами и граблями ветров
В единый стог
Сбирает буря.
4-й дурак
Когда ладони черные, вдруг, возлагает
Грозовая туча
На голубое темя небосвода —
Ползут оттуда и отсюда
К широкой гавани

Рыбацкие суда...
Предупреди вождей, что близок час.
Спокойно брошу железный якорь я
В багряный омут сердца
Императрицы Анны.

1 - я дура

Дай Господи удачу!

4 - й дурак

Необычайное спокойствие и тишина
Сегодня во дворце.
Я осмотрел посты и караулы.
Как всегда: кавалергарды и гвардейцы.
Растягивая в дурацкую гримасу скулы,
Я с ними заговаривал о их любви и преданности
Трону
И короне —
И вот всегда насторожившиеся уши
В ответ впивались с жадностью и наслаждением.
Баранью, мозговую кость
Голодный пес смакует меньше.
Почти что все,
Как дождевые бочки в сентябре,
Стоят полным-полнехоньки:
Желчью.

1 - я дура

Ненавистью,
Недовольством.
Ты думаешь, что нож меж ребер...

4 - й дурак

Сдохнет —
И ни единая слеза...

1 - я дура

Молчи!

4 - й дурак

Иди скажи.
Что это шутотрагическое представление
Последнее.
Пусть твердо помнят мизансцены
И всякий жест,
И всякое размеренное па
Танцующего над головой ножа, —
А завтра — заседание в сенате,
Дела в коллегиях...
Ступай.

Вдруг — три гула от трех ружейных залпов.

4 - й дурак

В них... по народу... О, Господи, три раза...

3 - й дурак (побегая)

Черт побори,
Как будто бы не вовремя открыла занавес
Какая-то невидимая черная рука.

4 - й дурак

О, этот крик!

3 - й дурак

Так не ревет коровье стадо, застигнутое бурей...

4 - й дурак

Глуши грозу, гроза!

4-й дурак делает знак дурам и дуракам — должно совершиться убийство Анны Иоанновны, но в тот момент, когда два дурака подбегают к постели императрицы, вместо нее из-под одеяла выскакивает Ушаков: на голове парик, под женской рубашкой кольчуга. Ушаков в воздух стреляет из пистолета. Сейчас же выскакивают из шкапов, из-под кровати и диванов гвардейские офицеры.

Ушаков

Царевубийц хватать живьем!
Живьем их брать!

Гвардейцы, вы отвечаете
За кости их и мясо...
Что вздумали проклятые рабы —
Священной царской кровью
Ножи омыть.

2-й дурак
(вскакивая на подоконник)

Братья! братья!
Сюда!
Пламя ярого восстания
Рвет
Императорские стены...

5-й дурак

Что мы — мы только хворост и солома.
Раздувшееся брюхо пожарища
Хочет пищи...
Сюда, на помощь!

Ушаков

Заткнуть им пасти,
Пасти волчьи
Их заткнуть...
Ту сволочь
Выстегают всласть
Свинцовыми кнутами
Преображенцы.
А с этими хочу иметь особый разговор в застенке.
Пусть переженятся:
Колеса с дурами, а дураки на дыбах.
О, это будет замечательная свадьба.

Дураки и дуры сопротивляются, — ранят несколько гвардейцев.
5-й дурак выбрасывается из окна. 4-й — закалывается, все остальные, в
конце концов, связанными сваливаются гвардейцами в одну кучу.

На кабанов, козуй, волков, оленей
Охотится ее величество в лесах своей Империи.
Случается, что не слезает
По 36 часов с коней

Ни государыня, ни ловчие, ни свита —
Зато в Европе нет монарха,
Которым самолично было бы убито
Такое множество зверей.
Так вот, любезные, я — Ушаков,
Правитель тайной канцелярии,
Тоже ловчий
Ее величества императрицы Анны.
Двуногих хищников выслеживают и загоняют
Мои борзые лягаши
И понтера.
Не 36 часов, а 36 ночей и дней,
Выслеживая вас, я не сходил с коня.
Случалось так, что лапу или хвост
Защелкивал капкан,
Но — острыми зубами железные клещи
Перегрызли вы
И по добру-здорову уносили ноги.
Однажды мой собачий нюх и соколиные глаза
Нашупали берлогу.
Думалось, к желанному концу вот-вот приходит травля.
Ан — нет:
Конец оказывался — в небе журавлем.
Меня
И обер-камергера вы соизволили тогда
Комедией потешить очень.
Что говорить, двуногая лисица
Перехитрила замечательно
Собак и ловчего.
Зато теперь...
Идите, капитан, просить императрицу
Принять добычу.

Конец трагедии

Закончена 4 августа 1921 год

ШУТ БАЛАКИРЕВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Петр Великий.

Балакирев Иван Алексеевич, его шут.

Жена Балакирева.

Карякин Михайло Григорьевич, светлейший князь,
министр.

Княгиня Марья, его жена.

Лиза, дочь князя, падчерица княгини.

Щербавый Борис Семенович, генерал-фискал.

Васильев Яков Николаевич, рядовой фискал, друг
Балакирева.

Шестопап Федот Абрамович, граф.

Принц Карлус.

Корчмарка.

Репка, гостинодворский сиделец.

Лекарь.

Покупательница.

Паж.

Офицер гвардейский.

Прокурор.

Голландский шкипер.

Первый вельможа.

Второй вельможа.

Драгуны.

Гвардейские солдаты.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Сцена первая

Корчма. Воеет метель. Свет бьет в слюдяные окна.

Корчмарка
(огна)

Скорее, сударь. Курочка готова.

Входит Щербавый

Щербавый
Ну, и метель... А где же курица?

Корчмарка
В дороге, сударь мой,
От печки ко столу.

Входит Паж.

Паж
Сельдей! Сыров! Тушеных каплунов! Пулярок
разварных!
Гусей с груздями! Утку с фаршем!
Тетерек! Глухарей! Фазанов!
Из рябчиков котлет! Цыплят с лимонами!
Орехов! Сладостей! Венгерского! Рейнвейну!
Все горницы! Подушки! Одеяла!
Да канители меньше.

Щербавый
Светлейший...

Корчмарка
Князь Карякин сам.

Паж
С княгиней...

Щербавый
А княжна?..

Паж

Из санок вылезают.

Корчмарка

Князь жалует со всем своим двором?

Паж

Семейно скачут. Я — четвертый.

Щербавый

Здоровье, паж.

Паж

Почтенье наше генерал-фискалу.

Входят Карякин, княгиня Марья и Лиза.

Карякин

Эй, Марья, нос мне разотри,
Не гладь, не щекоти, княгиня,
А три,
Три рукавицей, Марья.

Щербавый

Светлейшему семейству мой поклон.

Карякин
(жене)

У, размазня!

Щербавый

Светлейшему...

Карякин

У, Фекла! У, тетеха!

Лиза

Еще не поперхнулись, фатер?

Карякин

Молчать!

Лиза

Хочу и говорю.

Щербавый

Позволь, светлейший, постараться мне.

Карякин

(отталкивает жену)

Эй, Лизхен, три.

Лиза

Я прыгаю сама.

Карякин

Поколочу.

Лиза

Кого-нибудь.

Карякин

Тебя.

Лиза

Не нынче и не завтра...

Пойдемте, мутер.

Корчмарка ставит на стол блюдо.

Карякин

Не дочь, а черт.

Лиза

Вся в батюшку.

Карякин

В меня.

Княгиня Марья, Лиза и корчмарка уходят.

Щ е р б а в ы й
(потчуя)

Отведай, не побрезгуй, князь.

К а р я к и н

Чего же брезговать-то мне.
Средь кур, небось, фискалов нет.

Щ е р б а в ы й

Не обижай, Михайло Григорич.

К а р я к и н

Ведь я тебя насквозь, Щербавый, вижу.
Ты вроде как стеклянный для меня.

Щ е р б а в ы й

Я рад тому, светлейший.

К а р я к и н

Чему ж ты рад?

Щ е р б а в ы й

Что взору твоему открыта
Моя безмерная любовь.

К а р я к и н

Нет у меня охоты слушать.

Щ е р б а в ы й

Дозволь просить...

К а р я к и н

Нет, не позволю, к черту!

Щ е р б а в ы й

В который раз прошу,
Нижайше, со слезою, —
Отдай мне в жены дочку, князь.

К а р я к и н

А дулю в жены хочешь?
Вот на ее! Бери! Целуйся с ней,
Шепчи ей на ушко:
«Ах, дулечка, красавица, цветочек».
И деток с ней плоди,
Фискальчиков,
От дули, от нее.

Щ е р б а в ы й

От дочери твоей, светлейший,
Мечтаю деток я иметь.

К а р я к и н

Эй, Лизхен! Лизавета! Дочь!

Входят Лиза и корчмарка.

Л и з а

Что, батюшка, проголодались?

К а р я к и н

Нет, дочка, я по горло сыт,
Сыт, дочка, наглостью его.

Л и з а

Запейте чем-нибудь. Такой обед ничтожный.

К а р я к и н

Тебя он сватал, дочка, здесь.

Л и з а

Пусть сватает презрение мое.

К а р я к и н

Детей, сказал, плодить ему ты будешь.

Л и з а

Да, буду, собираюсь.

Карякин

Что?

Лиза

Но не ему.

Карякин

Кому?

Кому, негодная?

Лиза

Пока еще сама не знаю.

Карякин

Не врешь ли?

Лиза

Не умею.

Карякин

Ну, Лиза, я тебе секрет открою.

Лиза

Какой?

Карякин

Кому детей рожать ты будешь.

Лиза

Вы, фатер, знаете?

Карякин

Так верно, словно мне брюхатеть.

Лиза

Ну, в добрый час.

Карякин

Что, Лизка? Что?

Л и з а

Уж лучше б, фатер, знали вы,
Как строить Ладожский канал.
А то на вас серчает государь.

К а р я к и н

Сгинь, провались!

Л и з а

Не выйдет: я не ведьма.

К а р я к и н

Так вот тебе: за принца Карлуса
Идешь ты замуж этим годом,
К нам извещение есть через послов:
Он едет в Петербург.

Л и з а

Приедет и уедет,
Коль мне по нраву не придется.

Входит В а с и л ь е в, волоча убитого волка.

В а с и л ь е в

Нижайше кланяюсь. *(Кланяется Лизе.)*
Светлейшему. *(Кланяется)*
И господину генерал-фискалу. *(Кланяется.)*

Л и з а

Как смели застрелить собаку?
Вот изверг! Батюшка, как он посмел?

Васильев раскрывает мертвую пасть волка.

К а р я к и н

Волк это, Лизхен... Да какой матерый.

Щ е р б а в ы й

Ты, Яков, где его?..

В а с и л ь е в

Сажень за пятьдесят от этого жилья.

Л и з а

Вы метко бьете, сударь мой.

В а с и л ь е в

Какая ж меткость тут, княжна?
Шага на два пустил и прямо в глаз, —
Дите не промахнется.

Л и з а

А если б зверь вам горло перегрыз?

В а с и л ь е в

Четвероногий зверь, княжна, не страшен.

Л и з а

А зверь еще какой бывает?

В а с и л ь е в

Двуногий.
Тот позубастей будет.

К а р я к и н

Да с кем язык ты чешешь, Лиза?

Л и з а

А с кем хочу, с кем интересно.

В а с и л ь е в

Двуногая порода...

К а р я к и н

Не бывает.

В а с и л ь е в

Бывает, князь, и любит города:
Санкт-Петербург, Москву, Архангельск,
И те, что близ границ стоят.
Великая пожива зверю там —
У провиантских и казенных дел.

К а р я к и н

Фискал! Еще фискал! Еще ноздря!
Ну, развелось. Не продохнуть...
Кому, кому потребны эти дармоеды?

В а с и л ь е в

Когда Россия — дочь Петра,
Нужны мы батюшке и дочке.

К а р я к и н

Эй, хлебало заткни!..
Дочь, в горницу!

Л и з а

Дорогу знаю.

К а р я к и н

К черту на рога.

(Уходит.)

Л и з а

Как, сударь, звать вас?

В а с и л ь е в

Яковом, княжна.

Л и з а

Есть просьба у меня.

В а с и л ь е в

Когда ко мне она, —
Не просьба то, а приказанье.

Л и з а

Мне зверя подарите, сударь.
Из шкуры повелю ковер я сделать,
Его я под ноги себе
В своей опочивальне положу.

В а с и л ь е в

Ковер из соболей сибирских
Там будет слишком груб и жесток.

(Передаёт волка.)

Л и з а

А этот будет мягок мне.

(Уходит.)

К о р ч м а р к а

Позвольте...

В а с и л ь е в

На.

К о р ч м а р к а

Ох, князя бы светлейшего не встретить.

(Уходит.)

Щ е р б а в ы й

Садись, Васильев.
Потчуйся вином.

В а с и л ь е в

Премного вам.

Щербавый

Какая девушка!
А?.. Яков?..
Чистый пламень.
Огонь.

(Показывает на грудь.)

Здесь батюшкино сердце.
А язычок, —
У мутер был такой же язычок.

Васильев

Княгиня Марья Федосевна...

Щербавый

То мачеха.
А мутер у княжны
Голландская была —
Дочь шкипера простого.

Чокаются, пьют.

С чем скачешь, Яков, в Петербург?
Проведал что?

Васильев

Казенный интерес похищен.

Щербавый

Где?

Васильев

В таможенной избе.
Большая партия военного сырья
Прошла через границу
С ничтожной пошлиною, с воровской.

Щербавый

Какой ей процент был?

В а с и л ь е в

Где пять, где шесть,
А надо б тридцать восемь.

Щ е р б а в ы й

В избе бурмистром кто?

В а с и л ь е в

Григорий Быстряков.

Щ е р б а в ы й

А чей товар?

В а с и л ь е в

По имени?

Щ е р б а в ы й

Хотя б.

В а с и л ь е в

Алтыновский,
Купец-то из гостиной сотни.

Щ е р б а в ы й

Возьмем его.

В а с и л ь е в

Он в Амстердам уехал.

Щ е р б а в ы й

Так, так.

(Пьют.)

Бурмиистра заарканим.

В а с и л ь е в

Арканить вепря можно, генерал,
А вот угря с лягушкой — мудрено.

Щербавый

Э, вздор, любезный, чепуха.

Васильев

Уцепишься, а кто-то по руке...
А кто ударил — не поймешь, не видишь.
Но ясно мне по крепости удара —
Есть у воров охрана. Есть!
Вельможа многосильный.

Щербавый

Изменников царь гладит топором.

Входит Карякин.

Корчмарка

Шут царский прискакал.

Васильев

Балакирев! Ванюша!

Щербавый

А он тебе знаком?

Васильев

Друзья старинные.
Мы инженерству вместе обучались.
И в день один по слову государя
Отчалили от берегов родимых,
Чтобы в голландских водах якорь бросить.
Старинные друзья! Он обменял
Искусство циркуля на шутовство,
А я вот — на фискальство.
Старинные друзья.

Входят Балакирев и драгун.

Карякин

Балакирева вьюгой примело.

Б а л а к и р е в

Почтение! Почтение! Почтение!
В поле пурга крутит, а государь скачет.
Белая быстра, а государь проворней.
Дурак снега боится, злодеи — царя,
А царь — тараканов.
Им в одной корчме не бывать,
Одних щей не хлебать,
Одним кренделем не закусывать.

К а р я к и н

Далече ль государь?

Б а л а к и р е в

От сердца твоего, Михайло, далече...
Ищи, драгун, тараканов.
У тебя в деле все здешние щели,
А у меня юбки, кофты,
Салопы да сарафанчики-распаханчики.
Пошли, поехали, принялись.
Эх, корчмарочка моя, повернись,
Покрутись, покудахчи, повизжи.

(Обнимает ее. Корчмарка визжит.)

Поросеночком! Поросеночком!

К о р ч м а р к а

Ну, сущий бес... Защекотал, упарил.

В а с и л ь е в

Здорово, Ваня.

Б а л а к и р е в

Яша! Друг!..

(Целуются.)

В а с и л ь е в

Вот встреча-то!

Б а л а к и р е в

Счастливей быть не может на планете.

(Отходят.)

К а р я к и н
(драгуну тихо)

Коль таракана где найдешь,
Суй в рот его
И жуй,
И жри,
Глотай,
Чтоб тараканов не было.
Слышал? Иначе царь, не отдохнувши,
Поскачет дале.

Драгун, Корчмарка и Щербавый уходят

В а с и л ь е в

Ну, как живешь?

Б а л а к и р е в

Гляди, мой друг, гляди.

(Показывает на волосы.)

В а с и л ь е в

Нет, не хочу сединам ранним верить.

Б а л а к и р е в

А этому?

(Показывает на морщины.)

В а с и л ь е в

Умеют и морщинки врать.
А все ж вернулся б, Ваня, к инженерству.

Б а л а к и р е в

Нет друг сердечный, нет.

В а с и л ь е в

Неужто в низком званьи дурака
Так жить до старости и будешь?

Б а л а к и р е в

Ах, Яша, часто, очень часто
В высоком званьи низость ходит,
Высокое ж...
Ну, как там Гамлет говорит:
Душа где может поместиться?

В а с и л ь е в

А, помню, помню — в скорлупе ореха.

Б а л а к и р е в

Вот, вот.

К а р я к и н

Эй, шут!..

Б а л а к и р е в

Эй, князь!..

К а р я к и н

Небось, умаялся, дурак?

Б а л а к и р е в

Умаялся не я, а правда.

К а р я к и н

Вот табурет, присядь.

Б а л а к и р е в

А правде места нет.

К а р я к и н

Поговорим.

Балакирев

А правда все молчит.

Карякин

Уймись, Балакирев.

Балакирев

Унялся.

Карякин

Садись тогда и слушай.

Балакирев

Ну, рыбка, пой.

Васильев уходит.

Карякин

Карякинской вот этой шпагой
Царь Питер сердце проколол
У армии Двенадцатого Карла;
Китом балтийских бурных вод
Был шведский адмирал фон Нуммерс,
А я его в лягушку обратил.

Балакирев

Давнишние дела,
Уж мохом поросли.

Карякин

История не мохом порастает,
А лаврами, сим древом славы.

Балакирев

Пусть им!
Оно еще здоровше, это древо.
А дальше что?

Карякин

Я старине ленивой самолично
Стриг бороды.
А в страшный час, когда
Вся темь кромешная земли
Стрелецким бунтом поднялась,
Чтоб факелы Петровы погасить,
Я, взяв топор, стал головы сшибать.
Их два десятка на моем счету.
Ты слушаешь?

Балакирев

На колокольне звон.

Карякин

Когда ж отечество и царь
Великими в великом мире стали,
Мейнфринд послал меня канал копать.
«Ну, Мишка, — говорит, — теперь
Природу божью совершенствуй». —
«Добро, — в ответ я, — можно и природу,
К деянью смелому Михайло привычен».
И, засучивши рукава, как говорится,
С карякинским задором принялся
За дело это
По наказу государя,
А коли обвалился дикий камень
Да шлюзные ворота сорвало,
Повинен в том не я, а небеса:
Они наслали ветр свирепый
И бешеные волны на канал. Они!
А тут еще,
Возрадуясь несчастьем на канале,
Гнилая зависть зашипела:
«Светлейший вор...
Карякин разграбитель».
Слыхал, Иван?

Балакирев

Как соловьи поют.

К а р я к и н

Великий вот и осерчал,
В мой дом дорогу позабыл
И дверь свою передо мной захлопнул...
Ты знаешь, я не скуп благодареньем.

Б а л а к и р е в

Куплю кошель.

К а р я к и н

Купи мешок,
Его звенящим золотом наполню.

Б а л а к и р е в

А подлость я какую должен сделать?

К а р я к и н

Какая ж подлость, Алексеич,
Печного таракана раздавить?
А может, и давить-то не придется,
Когда искать не шибко будешь.

Б а л а к и р е в

Ага!

К а р я к и н

Откроюся тебе: во как
Нужна мне встреча с государем!..
Ведь он серчать-то на меня
Умеет только издалеча.
А как увидит нос рябой,
Шрам сабельный да шрам от пули,
Да встанет четверть века перед ним
Во весь громадный рост всех дел своих,
Всех служб отечеству
И дружбы молодой,
Состарившейся в подвигах и славе, —
Тут царь и помягчает сердцем.

Балакирев

Ага!

Карякин

Ну, посоли засыпать смрадный ров,
Что вырыт завистью тысячерукой...
Окажешь тем мне знатную услугу.

Входят Лиза, Щербавый, Васильев, Корчмарка и
драгун.

Корчмарка

Докладывай, драгун.

Драгун

Вдоль-поперек излазил всю корчму,
А тараканов нет.

Балакирев

Хозяйке честь.

Карякин

К царю, дурак.
Стремглав! Стрелой!
Не то ответишь глупой головой.

Балакирев

Несусь, скачу, лечу.
Э-э-й, саночки к крыльцу!..
А между этих половиц,
Служивый увалень, глядел?

(Ищет.)

Корчмарка

Небось, и тут не сыщешь усача.

Балакирев

Небось... Уж где... С чего б?.. Почто?

(К публике.)

А в кармане у дурака найдется.

(Незаметно вынимает таракана.)

Мои тараканы охраняют государя
От плутов и злодеев лучше всяких гвардейцев.

(Драгуну.)

Разиня! Пентюх!
Губошлеп! А это что?

Драгун

А это... таракан.

Корчмарка

Врет негодяй!

Васильев

Нет, вправду таракан.

Щербавый

Да, таракан.

Лиза

Ишь ты, какой усач спесивый.

Входит княгиня Марья.

Княгиня Марья

Где, Лиза, офицер красивый?

Балакирев

Вот, бабушка.
Тебя целует в шейку.
Положи его с собой в постельку.

Княгиня Марья

А-а-а-а!

Карякин

Ну, шут, я не таков,
Чтобы прощать обиду.
Зови теперь попов
К себе на панихиду.

Балакирев

Скачу, светлейший князь, за ними...
До свидания! До свидания! До свидания!
Нам с Петром Алексеичем усач не компания.
Ведьма в трубе, таракан в избе,
Царь в поле, дурак на воле...
Пошли, драгун, в салазки садиться.

Балакирев и драгун уходят

Карякин

А в следующих, шут, санях
Твой повезут вонючий прах.

Сцена вторая

Грот в Летнем саду. В отдалении музыка. Разносчики за сценой кричат
«Пироги медовые, пироги подовые, пироги с курятиной и со всякой
всячиной», «Сайка, сайка, сладкая сайка, бери, торгуй, покупай-ка»,
«С пылу, с жару, алтын за пару...».

Голоса разносчиков стихают.

Входят Васильев и Балакирев.

Васильев

(показывает записку)

Тут сказано, чтоб в гроте ожидал.
Записке, Ваня, этой верю,
А счастьем своему поверить не могу.

Балакирев

Умнее, право, горестям не верить.

Васильев

И то.

Б а л а к и р е в

Щербавый говорил...

В а с и л ь е в

Что говорил Щербавый?

Б а л а к и р е в

Что будто есть движенье в деле,
Ну, в том, в таможенном злодействе.

В а с и л ь е в

Вчера бурмистр взят под стражу.

Б а л а к и р е в

Повыше вздернуть бы его,
Тогда и стража не нужна.

В а с и л ь е в

Вот это самый лучший способ —
Язык связать плуту навеки.

Б а л а к и р е в

Да, там, на небесах, не поболтаешь.

В а с и л ь е в

А за спиной бурмистра и купца
Большая птица схоронилась, —
Фазан, скажу тебе, фазан!

Б а л а к и р е в

Ну, Яша, коли где неладно будет,
У прокурора иль в сенате...

В а с и л ь е в

Скачу к тебе.

Б а л а к и р е в

Пришпоривай коня...
Погодка-то, погода какова!

В а с и л ь е в

Да, словно на заказ погода,
Чтоб праздновать виктории Петра.

Б а л а к и р е в

Сподвижников его не разумею.
Плечом к плечу пахали вместе Русь,
Пахали трудно, потом обливаясь,
А как поспела жатва, так они
Пришли на поле не жнецами,
А жадным табуном —
Посев полезный уничтожить.
Ну

Как понять Гагарина,
Хозяина Сибири, избравшего себе
Позорную кончину?
Сенаторов Волконского, Апухтина,
Отведавших публичного кнута?
А Корсаков, а Нестеров,
Первейший из фискалов?

В а с и л ь е в

Он умер тяжело.

Б а л а к и р е в

Но не тяжеле, чем его злодейства.

Входит Л и з а.

Л и з а

Ты, Яков, не один?

Б а л а к и р е в

У нас два тела, а душа одна.

Л и з а

А сколько ног?

Б а л а к и р е в

Четыре.

Л и з а

Шагай, дружок, на двух.

В а с и л ь е в

Попросим лучше встать на караул.

Л и з а

Любовь украсть нельзя.

В а с и л ь е в

Увидеть, Лиза, могут.

Л и з а

Увидят и ослепнут:

Так ярко светит наше счастье.

Б а л а к и р е в

Придется встать спиной,
А то без глаз останусь.

В а с и л ь е в

Принц Карлус что?
Сидел с тобой он, Лиза, рядом.

Л и з а

А я была далече от него.

В а с и л ь е в

Далече... Ты...

Л и з а

Душой и сердцем, милый Яков,
Была все время я с тобой.

В а с и л ь е в

Что Карлус говорил?

Л и з а

Не помню, право... не припомню...

В а с и л ь е в

За болтовней он так к тебе склонялся,
Что до волос касался ухом.

Л и з а

Склонялся?.. Он?..
А я не замечала.

В а с и л ь е в

Пусть я на виселицу попаду,
Но проучу его.
Ох, проучу!
Не быть сему.
Угодно мне самой
Урок ему полезный преподать.
Любимая...

Л и з а

Любимый мой...

Целуются

Б а л а к и р е в

Ух, словно мне послышалось что-то.

Л и з а

Послышалось?.. А что?

В а с и л ь е в

Шаги?

Б а л а к и р е в

Да нет, как будто звук другой.

Л и з а

Слова?

Целуются

Б а л а к и р е в

В словах есть смысл,
А тут не различаю.

Л и з а

Когда о поцелуях речь, то в них
Гораздо больше смысла, чем в словах.

Целуются.

В а с и л ь е в

Я словно поднялся на небо от земли.

Б а л а к и р е в

А я попал на сковородку.
П-ш-ш-ш-ш-ш... п-ш-ш-ш-ш...

Л и з а

Ты что шипишь?

Б а л а к и р е в

Поджариваюсь я.

Л и з а

Того гляди обуглишься, Лексеич.

Б а л а к и р е в

Сюда идут...
Ох, тонконогий принц!

Л и з а

Прощай до вторника, любимый.

В а с и л ь е в

Ты остаешься, Лиза?

Л и з а

Да.

В а с и л ь е в

С ним, Лиза? С Карлусом?

Л и з а

Да, с принцем.

В а с и л ь е в

Я объяснение хотел бы получить.

Л и з а

Ты не получишь, Яша, ничего.

Прощай.

«Прощай!» — сказала я.

В а с и л ь е в

Тогда и я сказал «прощай!».

Л и з а

Счастливый путь.

(Садится на скамью.)

В а с и л ь е в

Счастливо оставаться.

Идем, Балакирев.

Б а л а к и р е в

А я уже шагаю...

(Тихо.)

До деревца сего,

А тут присяду на пенек.

В а с и л ь е в

Прошу тебя, пойдем.

Балакирев

Счастливый, Яша, путь.

(Сажится.)

Ступай, ступай.

Коль сел дурак, так, стало, не зазря:

Имею я свое соображенье.

Васильев уходит, появляется принц Карлус.

Принц Карлус

Вы здесь, прекрасная Елизавет?..

Лиза

И вы как будто здесь, мой принц.

Принц Карлус

Я вас, княжна, ищу, ищу, ищу.

Какой громадный сад!

Лиза

Нет, маленький, раз вы меня нашли.

Принц Карлус

Я вас нашел бы на Луне, на Марсе.

Лиза

А я бы в хижине вас потеряла.

Принц Карлус

О, то была бы тяжелая потеря!

Лиза

Не думаю.

Принц Карлус

Вы потеряли бы, княжна,

Наследника двух маленьких корон.

Л и з а

Все маленькое не по вкусу мне.

П р и н ц К а р л у с

Но мне еще британский лев сродни:
Мы королеве английской, княжна,
Доводимся кузенком.

Л и з а

А сколько у нее еще кузенов?

П р и н ц К а р л у с

Ответить нелегко.

Л и з а

А счесть?

П р и н ц К а р л у с

Еще трудней.

Л и з а

Тогда оставим этот разговор:
Он повернулся, принц, не в вашу пользу.
Моим единственным
Единственный лишь будет,
А вы...

П р и н ц К а р л у с

А я?..

Л и з а

Как только что сказали сами,
Вы из числа со многими нулями.

П р и н ц К а р л у с

Сегодня — да.

Л и з а

А что же завтра будет?

П р и н ц К а р л у с

Я инструмент политики, княжна.

Б а л а к и р е в

(тихо)

Выбалтывай, выбалтывай, мой принц,
Глупцам язык на это и дарован.

Л и з а

Какой политики?

П р и н ц К а р л у с

Высокой.

Л и з а

Неужели!

П р и н ц К а р л у с

Вы своего светлейшего отца
Должны бы знать, прекрасная княжна.

Л и з а

Чуть-чуть как будто с ним знакома.

П р и н ц К а р л у с

Он в замыслах своих велик, он магнус.
Я повторяю только слово в слово,
Что говорил о нем мой дядюшка,
Лорд Нельсон, английский министр.

Л и з а

Велик в России только Петр Великий.

П р и н ц К а р л у с

Сегодня — он.

Л и з а

Что вы сказать хотите?

П р и н ц К а р л у с

То, что сказал.
И больше ничего.

Л и з а

Но я...

П р и н ц К а р л у с

Вот листья падают с ветвей
К прелестным, нежным вашим ножкам.
О, как бы я хотел, княжна,
Быть легким листиком дубовым!

Л и з а

А я топчу упавшие листья.

П р и н ц К а р л у с опускается на колени.

Как вы посмели, дерзкий принц,
Коснуться башмаков моих?

П р и н ц К а р л у с

Вы душу мне любовью пронзили,
Пронзите ж грудь железным острием.
Страсть — или смерть.
Вот шпага, вот.

Л и з а

Давайте.

П р и н ц К а р л у с

Что?

Л и з а

Да шпагу.

Принц Карлус

Для чего?

Лиза

Чтоб вас пронзить, согласно предложенью.

Принц Карлус

Вы, вероятно, шутите, княжна?

Лиза

Какие шутки с дерзким кавалером!
Давайте шпагу, принц.

Принц Карлус

Она отточена.

Лиза

Тупую не возьму.
Я родилась в шатре военном,
А знамя поколоченного шведа
Мне было первою пеленкой.

Принц Карлус

О Боже мой!

Лиза

Молитесь, принц, молитесь.

(Вырывает шпагу.)

Принц бегает вокруг статуи. Лиза его преследует.

Принц Карлус

На помощь!.. Кто-нибудь!.. Спасите!..

Входят Карякин, Первый вельможа, Второй вельможа,
княгиня Марья и паж.

Карякин

Что? Кто? Кого здесь убивают?

Принц Карлус

Меня!.. Меня!.. Меня!

Карякин

Ка-ак! Принца?..

Гостя моего?..

И будущего зятя?..

Лиза

Нет, оскорбителя семейной чести.

(Наступает на принца.)

Княгиня Марья

Ах-ах!

Карякин

Стой, Лизавета...

Шпагу дай.

Лиза

А кто мне, фатер, честь вернет?

Принц Карлус

Я только башмачка княжны

Мизинчиком едва коснулся.

Лиза

Ах, вот как!.. Этого вам мало?..

Принц Карлус

Я проклиною ту минуту.

Лиза

Свою бы дерзость лучше проклинали.

Принц прячется за Карякина.

К а р я к и н

Ну, Лизхен, продырявь отца.

Л и з а

Такого не хочу конца.

(Бросает шпагу.)

Б а л а к и р е в

(появляясь из-за дерева)

Возьмите, храбрый рыцарь, вашу вилку.

(Подает принцу шпагу.)

Сцена третья

Зал в доме Карякина. Роскошь Версаля. Во всю сцену гобелен, изображающий Полтавскую битву: рядом с Петром — Карякин, разящий шведов. Входят Карякин и Шестопап.

К а р я к и н

Танцуй-ка, друг

Федот Абрамыч,

Танцуй, граф Шестопап!

Танцуй, из тайной канцелярии полковник,

Танцуй, мой кумпаньен.

Ш е с т о п а л

С чего бы, князь?

К а р я к и н

С царем у нас пошло на замирение:

Быть обещал сегодня у меня.

Ш е с т о п а л

И пасхи нет, а день пасхальный.

Давай-ка лобызаться будем.

Целуются.

А как с бурмистром, князь?
Я сон свой потерял и к пирогам охоту.
Фискалы-дьяволы язык ему развяжут.

К а р я к и н

Бурмистр был и нет его —
Корова языком слизнула.

Ш е с т о п а л

Всевышний милосерд.

К а р я к и н

Ему, Федот, свечу пудову ставь,
А мне венгерского бочонок.

Ш е с т о п а л

За упокой бурмистровой души.

К а р я к и н

Вчера из Амстердама получил
Эпистолу с секретным человеком:
Алтынов продал наш товар
С великой пользой.

Ш е с т о п а л

Бог послал.

К а р я к и н

Теряет Англия спокойство.
Все не по вкусу, не по нраву ей:
Балтийские порты, исканье руд,
Заводы, фабрики...

Ш е с т о п а л

Бельмо в глазу!

К а р я к и н

Для наших дел такое беспокойство —
Как шпоры для горячего коня:
Вмиг цены поднялися на дыбы.

Шесто п а л

Молитвой нашей, милостью Господней.

За сценой голос Балакирева: «Э-э-э, почтеннейший, драгоценнейший, князь светлейший, друг милейший, прикатило, привалило, приехало твое счастье».

К а р я к и н

Пожаловать изволил Государь.

(Кричит.)

Скорее, Марья, кубок золотой.

(Пагает на колени, лбом в пол.)

Входит княгиня Марья с золотым кубком на подносе. Вслед за ней прокурор, вельможи — Первый и Второй; потом появляется Балакирев на недлинных ходулях. Подставляет руку Карякину, тот припадает к ней

К а р я к и н

(поднимая голову)

Тьфу, шут!

Б а л а к и р е в

Тут как тут.

Приглашай меня, Григорич, почаще,

Целуй ручку послаще.

(Берет с подноса кубок, выпивает.)

К н я г и н я М а р ь я

Ох, вылакал!

Ох, жеребец бесхвостый!

Столетнее ж оно, версальских погребов.

Б а л а к и р е в

Н-да... ничего себе...

Ну, нацеди еще.

К н я г и н я М а р ь я

Вот я тебе сейчас по шее нацежу.

(Бьет подносом.)

К а р я к и н

А государь...

Б а л а к и р е в

Вот вопрос — ветер в нос!
Скачет это царь к тебе по проспекту,
А навстречу ему матрос.

К а р я к и н

Ну?..

Б а л а к и р е в

Ну и говорит:
«Сильной бомбардир, большой капитан,
Твоему служивому сынок дан.
Не побрезгуй, царь, матросским домком,
Пожалуй сынка капитанским шлепком».

К а р я к и н

И царь к матросу поскакал?

Б а л а к и р е в

К чести своей и славе,
Дважды себя просить не заставил.

Ш е с т о п а л

И там...?

Б а л а к и р е в

Царь и матрос сидят друг против дружки,
Цедят пивцо из кружки,
Из чарки анисовую,
Щи и кашу уписывают, —
Пища хоть и простая,
Да родная, русская.
А еще такая оказия —
Оба за словом в сундук не лазают:
Крют-карбор, сель-карбор,
Боцман-карбор, и пошел разговор!

Княгиня Марья
А к нам когда ж придет Государь?

Балакирев
Когда-нибудь, прелестница моя.

Шестопал
Уж верно шут матроса научил
Зазвать царя.

Карякин
Все каверзы шута.

Балакирев
(поднимая над головой лист бумаги)
Указ, указ собственноручный!
Я сделан кесарем.
(Вынимает из кармана скипетр, надевает на голову корону.)

Карякин
Заврался шут.

Балакирев
Читай.
(Дает указ.)

Карякин
Взгляни-ка, прокурор любезный.

Прокурор
Да, точно, кесарь он.

Балакирев
Слышал?

Прокурор

Над всеми мухами —
Он в кесари поставлен.
Их миловать он волен и казнить.

Княгиня Марья

Дурак, дурак, пустая голова,
Да много ль мушек после покрова?

Балакирев

Не хочешь ли, княгиня, угоститься?
Отменный табачок.

Подносит табакерку к самому носу княгини Марьи, крышка
отщелкивается, вылетают мухи.

Княгиня Марья

А-а-а-а!.. Мухи клятые!..

Балакирев

Прошу не лаять подданных моих.

Княгиня Марья

Теперь все мебели нам засидят,
Все гобелены запаскудят.

Балакирев

Вон с гобеленов, мухи.

(Гоняется с хлопущей за мухами.)

Княгиня Марья

Ой, батеньки! Ой, душегуб!
Разбойник! Ножищами по креслам, канапям.

Балакирев

Не ворохнись, красавица.

Княгиня Марья

Чего?

Балакирев

На длинный нос твой муха села.

Княгиня Марья

Беды в том вовсе нет большой:

Ведь нос мой не парчою крыт.

Балакирев

Поймал!

(Хватает за нос княгиню.)

Поймал дурищу я!.. Крылатую дурищу!

Княгиня Марья

А-а-а-а!

Балакирев

(Шестоалу)

Окаменей.

Шестоал

Ты это мне, дурак?

Балакирев

Тебе, тебе, Федот Абрамыч!

Одна из подданных моих

Тебя седалищем своим избрала.

Шестоал

Чего?

Балакирев

Молчи, седалище!

Шесто пал

О Господи!.. О Боже!

Балакирев

Куда ползешь?

(Лезет Шестопалу за пазуху.)

Здесь нет ее!.. Тут нету, нет!

Балакирев вытаскивает бороду.

Все

Ах, борода!

Балакирев

(Прокурору тихо)

Слуга его о ней шепнул мне.

Княгиня Марья

Она! Она!..

Ну прямо как живая.

Карякин

Она, проклятая, гнедая.

Княгиня Марья

Конфузия!..

Прокурор

И пребольшая.

Карякин

Я сам ее своей рукой обрезаю.
Прилипчив граф к трухлявой старине.

Балакирев приставляет бороду Шестопалу к подбородку.

Княгиня Марья

Ну, четверть века с плеч долой —
Опять Федота вижу с бородой.

Первый вельможа
(тихо)

Таскать с собой волосья возле сердца —
Игра опасная по нашим временам.

Второй вельможа
Я б спрятал в сундуке.

Первый вельможа
А я под половицей.

Балакирев
Ох, бесы двухкопытые,
Рогатые, хвостатые,
У графа рожа бритая,
А сердце бородатое.

*(С торжественными шутовскими ужимками
возвращает бороду Шестопалу.)*

Княгиня Марья
Зачем, Федот, ты бороду хранил?

Шестопал
Хотел, чтоб в гроб со мною положили,
А на небе Микеле показать.
Ведь в рай-то голомордых не пускают.

Балакирев подходит к Карякину.

Балакирев
Теперь пришел и твой черед.
Что, пьявка, кровушки народной нажралась?

Карякин
Да ты в себе ли, шут безмозглый?

Балакирев
Раздулось пузо пузырем.
Ой, скоро лопнешь.
Лопнешь! Лопнешь!

Карякин

Твое, дурак, нахальство прежде лопнет.

Балакирев

Вот только сделать что с тобой, не знаю...

Карякин

Беда! Беда! Шут царский обезумел.

Балакирев

Не плюнуть ли?

Карякин

Ну-ну.

Балакирев

Не-е! Жалко мне на гадину плевка.
Казню.

Карякин

Чего?

Балакирев

Эй, слушайте меня!
Вот расхищает кто
Казенный интерес,
Кто пожирает у солдат — хлеба,
У ребятишек малых — молочко,
В больницах — кисели,
В госпиталях — целительные мази...

Княгиня Марья

Ох, худо мне...

Балакирев

Давно уж дьявол по тебе тоскует
И приговора кесарева ждет.

Карякин

Мушиный кесарь ты!..
Мушиный!

Балакирев

Смерть гадине — вот приговор мой.

(Бьет Карякина по голове хлопущкой.)

Карякин

Ух-ух...

Княгиня Марья

Ох, князинька...

Ох, светик ненаглядный...

Карякин

Да как посмел ты, шут, поднять
Презреннейшую руку на меня?

Балакирев

Так я же ее на муху поднял.
Я муху лаял.
Понимаешь?

Карякин

Какую муху? Что за муху?..

Балакирев

Что у тебя на лысине сидела.

Карякин

Молись, дурак.

(Поднимает губинку.)

Балакирев

Я в церковь побежал.

Балакирев убегает. Карякин вслед за ним. Шестопал
подходит к двери, смотрит

Шесто пал

Увертлив до чего.

Прокурор

Кому охота в пекло!

Первый вельможа

Подмял шута.

Шесто пал

Спаси его Господь.

Второй вельможа

Колотит с размышленьем.

Первый вельможа

По брюху все, чтоб кости не ломать.

Шесто пал

Седьмой разок... восьмой... девятый.

Первый вельможа

Притих дурак.

Второй вельможа

На дюжине остановился князь.

Шесто пал

Я б с половины дух свой испустил.

Входит Карякин, кладет дубинку на стол.

Карякин

Теперь с шутом я квит.

Шесто пал

Гляди-ка, встал дурак.

Первый вельможа

Идет шатаясь.

Карякин
(тихо Шестоалу)

С таким расчетом бил шута,
Чтоб до дому кой-как доплелся
И околел на собственной постели.

Второй вельможа

Упал дурак.

Шестоал

Ползет, как жаба.

Вползает Балакирев, кряхтит, стонет. На авансцене распахивает
камзол На животе — подушка

Балакирев

Ох, смерть моя близка!

Шестоал

Все, что цветет и дышит в божьем мире,
Помрет когда-нибудь.

Балакирев

Но мы с Григоричем
Всех ближе к воротам погоста.

Княгиня Марья

Да прикуси язык дурацкий свой,
С чего бы это князю помирать?

Балакирев

С горячности, княгинюшка, своей.

(Тихо читает.)

«Всех нарушителей указа
Ждет шельмование и смерть».

Княгиня Марья

Ты шутишь все...

Балакирев

А царь, княгинюшка,
Шутить не больно любит с теми,
Кому указ его — понюшка табачка.

Шестопал
(на ухо Карякину)

Послушай, князь, подмасли дурака.
Хоть дело и пустое вовсе,
А может рассердить царя.

Карякин

И то.

(К Балакиреву.)

Ты, Алексеич, это верно молвил:
Горяч я больно, ох, горяч.

Балакирев

Когда издохнешь, станешь попрохладней.

Карякин

Давай на мир, дурак.

Балакирев

С тем к умнику ступай.

Карякин

Ему и молвлю я.

Балакирев

Когда ругаешься, в словах богаче.

Карякин

От слов прибытку нет.

Балакирев

От глупых — мало.

Карякин
(кричит)

Паж, принеси соболью шубу нам.

Княгиня Марья
Плешивую!

Карякин
Нет, с моего плеча.
Из золотых камчатских соболей.

Паж уходит.

Княгиня Марья
Побойся Господа ты, князь,
Цены же нету ей, той шубе.

Карякин
Боюсь одного, княгиня:
Иван Алексеичу не угодить.

Паж возвращается с шубой.

Носи счастливенько лет сто,
Не поминая злом меня.

(Шестопалу.)

Трепать ее недолго подлецу.

Балакирев
(надевает шубу)
Ну как, хорош?

Княгиня Марья
Ох, окривею!.. Ох, помру!..

П а ж
(докладывает)

Его высочество принц Карлус.
Входит принц.

П р и н ц К а р л у с
Бонжур... бонжур... бонжур... бонжур.
Какую шубу вижу на шуте!

Б а л а к и р е в
Не правда ль, принц, мех королей?

П р и н ц К а р л у с
Охотно б я купил такую шубу.

Б а л а к и р е в
А я бы продал по своей цене.

П р и н ц К а р л у с
Тебе она досталась как?

Б а л а к и р е в
За пустяки, мой принц великодушный.

П р и н ц К а р л у с
Тогда с тобой готов на сделку я.

Б а л а к и р е в
Быть может, принц примерить пожелает.

П р и н ц К а р л у с
Примерим.

(Надевает.)

Прекрасно подошла.
Какая же цена?

Балакирев
(берет губинку)

А вот какая, принц.

(Замахивается.)

Я дюжинкугорячих получил.

Все

На принца!..

Шесто пал

Боже правый!..

Принц Карлус
(кричит)

Удары зверские!..

Балакирев

О принц, вы чересчур спешите.

Принц Карлус

Предезостный ответ.

(Сбрасывает шубу.)

Я расторгаю эту сделку.

(Уходит.)

Все следуют за ним, кроме Балакирева.

Балакирев
(огин)

Вот и вернулись соболя.

(Надевает шубу.)

О, если б так же юность возвращалась,
С ее наивной верой в прочность клятв,
Присяг...

А шубка добрая...

И в проймах будто не тесна...

Да, жизнь,

Ты тоже очень ловкий шут:

Переряжаться тоже ты умеешь

И рожи лживые гораздо строить;
Распутство очи поднимает к небу,
Предательство целует крест присяги,
С осанкой благородства ходит подлость,
А зависть говорит медовым языком...

(Вынимает из кармана шубы письмо.)

Письмо... Голландская бумага...
Из города какого?.. Амстердам...
Что ж, им письмо, а шуба нам.

(Кладет письмо на стол и направляется к дверям.)

Из Амстер-дама... Амстер-дама...

(Бежит обратно, берет письмо.)

На подпись только... подпись погляжу...

(Читает.)

«Твой всепокорнейший слуга Алтынов».
Карякину! Светлейшему!
Сподвижнику Петра!..
Купчина-вор — презренный кумпаньен...
Грабеж отечества и гнусная измена!
У сатаны сегодня пир отменный.
Злодейские листы, они мне пальцы жгут...
Преступство подлое как на ладони тут.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена первая

Комната в доме Карякина.
В тяжелой золотой раме портрет Петра во весь рост в натуральную
величину. Княгиня Марья ищет пропавшее письмо.

Входит Карякин.

Карякин

Карманы, мать, карманы все
Вывертывай, к чертям, наружу
У всех штанов моих, кафтанов
И шлафроков.

Княгиня Марья
Уж вывернула я.

Карякин
Чего там есть? Чего, Мария?

Княгиня Марья
Чего там только нет, скажи,
Вон глянь, какая куча дряни.

Карякин
Письмо! Письмо!
Голландское письмо!
Эпистола из Амстердама, Маша!

Княгиня Марья
Цидулки есть от девок...

Карякин
Им проклятье!

Княгиня Марья
И я молю: заразу б на срамниц.

Карякин
Проклятье всем карманам в свете!

Княгиня Марья
Отцы без них вот обходились:
Деньгу носили за щекой,
А важные бумаги в сапоге,
И ничего не пропадало.

Карякин
А тут — за чох, за мразь, за вздор,
За пять аршин поганого сукна,
За три подковы — люди пропадают...
Дай квасу мне...

(Пьет.)

А люди-то какие:
Сенаторы, коллегий президенты,
Послы, фельдмаршалы, министры!
Еще налей...

(Пьет.)

Уф, перекус маленько...
Лезь, Марья, друг мой, под диван.

Княгиня Марья
Уж лазила я, Миша.

Карякин
Не прекословь.

Княгиня Марья
Четыре раза, светик мой...

Карякин
Вот цифирь развела некстати,
Геометр на шею на мою.

Княгиня Марья
Я лезу, Мишенька, я лезу.

Карякин
Эпистола должна найтись,
Иначе голову я потеряю.

Княгиня Марья
Да что ты говоришь такое?

Карякин
Что слышишь ты.

Княгиня Марья
А под ковром глядел?

К а р я к и н

Да как же ей туда попасть?
На виселицу проще мне.

К н я г и н я М а р ь я

Стращаешь, Миша, ты меня.

К а р я к и н

Гляди, у самого трясутся руки,
А будто был не из пугливых.

К н я г и н я М а р ь я

Я, Мишенька, на шкаф взберусь.

К а р я к и н

Не хлопнись только, Марья.

К н я г и н я М а р ь я

Не больно высоко.

К а р я к и н

И то.
Мне, верно, скоро вниз лететь
Придется не со шкафа.

К н я г и н я М а р ь я

Бог милостив.

К а р я к и н

А фринд-то мой не очень.

К н я г и н я М а р ь я

Пылищи-то, пылищи на шкафу!
Ох, девок драть велю...
Ох, будет. А вот цидулки нет как нет.

К а р я к и н

Напрасно ищем, Маша, сердцем чую
Украли письмецо.

Княгиня Марья

Да кто ж посмел?

Карякин

А тот, должно, кто посмелей.

(Обращается к портрету Петра.)

Ну, что ж, мейн фринд,
Шельмуй меня,
Тащи Карякина на плаху.
Наплюй на прошлое,
Забудь о нем...

Княгиня Марья

Сподвижников-то у царя немного.

Карякин

Пускай он дыбу с колесом
За то благодарит покорно.

Княгиня Марья

Ведь царь-то, Миша, без тебя
Безруким прямо станет.

Карякин

Найдет среди толчеи базарной
Конечности себе... да левые!
Их сколько хошь, хоть пруд пруди.
И спору нет — годны, годны...
Плешь на затылке почесать свою.
А вот чтобы иметь задор
К строению столицы на болоте,
К искусствам нонешним и древним,
К словесным чтобы и к малярным,
Иль чтобы класть фундамент научились
Промышленностям да финансам...
Таких людей, таких ему, Мария,
Еще не нарожали наши бабы.

Княгиня Марья
Вот государь-то и подумает.

Карякин
Когда уж поздно будет думать.
Он лихо класть в гробы умеет,
А воскрешать еще не научился.
Отечество погибло, Марья.

Княгиня Марья
Погибло, Мишенька, погибло.

Карякин
(снова обращаясь к портрету царя)

Да, Питер, да, мой царь,
Я славен славою
Не прадедов,
Не дедов,
Не отцов,
Не ратными делами их,
Не их умом,
Испытанным в извивах и лукавстве, —
Я свежеиспеченный князь.
Обязан я, мейн либе брудер,
Лишь голове своей,
Маленько языку,
Да шпаге,
Да рукам вот этим
В старинных неспесивых мозолях.
Я сам себя прославил, государь.
Себя,
Свой род
И царствие твое!
А вот теперь казни меня, казни...
И все дела твои пойдут к чертям.

Княгиня Марья
Все, Миша, пропадом пойдет,
Когда тебя Господь не защитит.

К а р я к и н

Да, Марья, прóпад!
Прах!
Навоз!
Сотворены мы для того,
Чтоб удобрять проклятую планету,
Для червяков, должно, и огорода.
Мы ровень, Маша, ровень с огурцами,
С капустой, брюквой, репой и морковью.
Я репу ем,
А репа за меня возьмется.
Они из нас ползут, Мария.

Княгиня Марья

Перекрести, князь, ротик свой:
В нем бес сидит, залез, проклятый,
И крутит, крутит языком твоим,
Без смысла крутит, без ума, без толку.
Вот я перекрещу... а вслед за мной...

К а р я к и н

Иди к чертям с своим перекрещеньем!

Княгиня Марья

Исусе мой, не слушай ты его,
Ты всемогущ, не слушай Мишеньку,
Заткни свои хоть на минутку уши.

К а р я к и н

А я-то — о, болван! — здесь возмечтал
Стать Магнусом.

Княгиня Марья

Кем, Миша, кем, светлейший?

К а р я к и н

Так прозывали римляне
Помпея,
Героя славного,

Перед которым страшный Сулла
Вставал с почтением
И при народе римском
С главы своей, как говорит гисторик,
Снимал повязку властелина.

Княгиня Марья

Неужто он снимал?
Вот дурень был.

Карякин

Да, русский Сулла не таков.
Небось передо мною Петр
Не снимет колпака свою.

Княгиня Марья

Ни за что! Нет!
Не скинет, леший, хоть ты лопни.

Карякин

А я Помпея выше головою.

Княгиня Марья

На три аршина выше, князь.

Карякин

На три сажени выше, Марья!

Княгиня Марья

И то.
Помпеюжка-то был тебе по пояс.

Карякин

И я вот так же мыслю, Марья,
И потому хотел свою судьбину
Устроить на его подобье.

Княгиня Марья

А как же, Мишенька?

Карякин

А так, супруга, так,
Чтобы империи Российской
Мне повода держать в своих руках.

Княгиня Марья

Тс-с-с... Тише...
Одурел совсем...
Шептать такое на постели страшно,
Укрывшись одеялом с головой,
А ты горланишь, стоя у окошка.
И с Карлусом вот тоже ш-ш-ш да ш-ш-ш
По всем углам,
Все «Нельсон, Нельсон, Нельсон»,
А стены-то ушастые у нас.

Карякин

Я не рожден на свет кастрюлей медной,
Чтоб отражать лучи чужие.
Я сам хочу, Мария, слышишь, сам,
Своей Михайло-карякинской персоной
Щедротно испускать лучи золотые.

Княгиня Марья

Ну и пускай себе их на здоровье.

Карякин

Быть боле мне вторым неволю!
Вилять хвостом, как шелудивый пес,
Заглядывать в глаза и лебезить,
И подхихикивать, поддакивать.
Не соглашаясь в сердце и в уме,
Холуйски соглашаться языком —
Неволю! Неволю!

Княгиня Марья

Я, Миша, глупая бабенка,
Тебя мне очень жаль душою,
А головой вот не пойму:
Почто, князь, ты
В кумпании с плутами
На воровские пошлины польстился?
И вот еще:
Не след бы, князь, тебе
На Ладожском канале на проклятом
Ворота шлюзные рубить
Из пакостной осины,
Коль нужен дуб...

Карякин

Ну, хватит, Марья.

Княгиня Марья

Тогда бы царь...

Карякин

Дуреха, пришибу.

Княгиня Марья

Дуреха — это верно...
И перепало-то тебе не мильон,
А попадет —
Считай не сосчитаешь.

Карякин

Ох, силы нет терпеть!

Княгиня Марья

Да я...

Карякин

Да ты пойми, безмозглая бабенка:
Кто армия карякинская есть,

С которой он,
Михайло Карякин,
В свой день и час пойти б с отвагой мог
На приступ славы.
На отважный приступ.
Бессмертие и славу штурмовать.
Ну, отвечай:
Кто армия сия? Где лагеря ее?
Где зимние квартиры?

Княгиня Марья

Откуда дуре это знать?

Карякин

А вот где, Марья!..
Вот где!.. Вот где!..
В карманах этих, в сундуке вот этом!..
Вот лагеря ее! Вот где ее квартиры!

(Открывает сундук.)

Вот золотая армия моя!

(Вынимает золото.)

Вот, вот они, мои солдаты,
Драгуны, мушкетеры и гвардейцы,
Пехота, артиллерия и флот!
Клянуся головой своей и сердцем,
Торжественно клянусь,
Что в целом божьем свете
Нет армии сильнее, чем эта,
Из этих кругляшей паршивых.
Когда б я ими, Марья, мог
Не сундучки несчастные заполнить,
А бочки!
Погреба!
Подвалы!
Тогда... тогда бы...
О, тогда...

Входит паж.

П а ж

Пожаловал...

К а р я к и н

К свињям!

П а ж

Пожаловал...

К а р я к и н

Никак мне повторять?

П а ж

Щербавый, генерал-фискал.

Княгиня Марья

Гони его,
Гони в три шеи с лестниц.

К а р я к и н

Ан стой...

(Пажу.)

Щербавый, говоришь?

Княгиня Марья

Да ну его.

К а р я к и н

Ступай к себе, Мария.

Княгиня Марья

О Господи!..

К а р я к и н

Ступай к себе, Мария.

Княгиня Марья
Дай лобик свой, светлейший.

(Крестит.)

Теперь пойду и с ним поговорю.

Карякин
С кем это, Марья, ты?

Княгиня Марья
Да с богом,
Чтоб взял тебя под свой покров.

Карякин
Иди, иди... поговори с ним, Маша.

Княгиня Марья уходит.

Карякин
(пажу)
Проси к нам генерал-фискала.

Паж уходит
Приехал душу вынимать.
Входит Щербавый.

Борис Семеныч, добрый день.

Щербавый
Желаю здравия, светлейший.

Карякин
Дай обниму тебя...
Садись. Нет, не сюда.
Нет, нет! Да что ты!

Щербавый
Привычен к стульцам я простым.

К а р я к и н

Тебя и слушать нет охоты.

(Придвигает кресло.)

Прошу тебя, располагайся в этом,
Оно покойно, встать не пожелаешь.
Я в нем, случается, и подремлю, —
Умаешься за день-деньской.

Щ е р б а в ы й

Твой день, светлейший, многотруден.

К а р я к и н

Заботами, признаюсь, богат,
А радостями беден, беден.

Щ е р б а в ы й

К тебе я с делом, князь, приехал.

К а р я к и н

А так и не заглянешь никогда.
Не по пути? Коней своих жалеешь?
Иль мой обед тебе невкусен?

Щ е р б а в ы й

Дозволь скупым быть на слова.

К а р я к и н

Лишь был бы сердцем щедр к друзьям,
А шум словесный нужен вертопрахам.

Щ е р б а в ы й

Вчерашний день ко мне явился...

К а р я к и н

Кто?

Харьковское Гублетнство
Дал. Общественной Библиотеки
 ПЯТНИЦА 16 МАЯ
ВЕЧЕР
ПОЭТОВ-ИММАЖИНИСТОВ
А. МАРИЕНГОФ
 И
В. ШЕРШЕНЕВИЧ

А. МАРИЕНГОФ	В. ШЕРШЕНЕВИЧ
1. СЛОВО „Вздыбавное искусство“	1. СЛОВО „Галтика молодости“
2. Выставка стихов „Кондитерская соловей“ „Выкидыш отчаянья“	2. СТИХИ „Кооперативы всевесть“

III. Диспут (кафедра всем)
Мотивы в Г. и В. Шершеневичах почитать в соч. „Мотивация“, и в духе лозунга в здании библиотеки.

Афиша вечера
 поэтов-мажинистов
 А. Мариенгофа
 и В. Шершеневича.
 Харьков,
 16 мая 1919 г.

Листовка поэтов-имажинистов

**ВСЕОБЩАЯ
 МОБИЛИЗАЦИЯ**

Поэтов. Жинициста. Авторса. Композитро-
 ром. Режиссоров и Друзей Действующего
 Искусства.

№ 1

На воскресенье, 12 июня, с. г., назначается демонстрация
 плакатов и знаменитый ярмарка искусства.

Место сбора: Театральная площадь (кварт) время 11 час.
 вечера.
 Маршрут: Тверская. Пляштина А. С. Пушкина.

ПРОГРАММА.

Парад сил, речей, ораторств, стихов и агитация выставка
 картин.

Важно обязательство для всех друзей и сторонников дей-
 ствующего искусства.

10 живописцев,
 20 футуристов,
 30 и другие группы.

Причина мобилизации: война, объявленная
 действующему искусству.

Кто не с нами, тот против нас!

Важно, искусствознание искусства. Центральный Комитет
 Орденка Имамания.

Поэты: Сергей Сорокин Александр Блок. Анатолий Мариенгоф.
 Вадим Шершеневич. Николай Крутой

Художники: Георгий Верейский. Борис Зайцев

Композиторы: Алексей Лавинский и другие

Секретариат: Поэты-имажинисты Иван Гурьевич Мамонтов
 Рыбин

Листовка имажинистов
 «Всеобщая мобилизация»

Силуэты имажинистов





Книга А. Мариенгофа
«Руки галстуком» (1)



«Руки галстуком» (2)



«Руки галстуком» (3)



С. Есенин
и А. Мариенгоф



С. Есенин,
А. Мариенгоф,
В. Хлебников



С. Есенин, А. Мариенгоф, А.Кусиков,
В. Шершеневич. Лето, Москва, 1919 г.



С. Есенин,
Л. Повицкий,
А. Мариенгоф.
Харьков, апрель 1920 г.



С. Есенин,
В. Шершеневич,
И. Грузинов,
А. Мариенгоф,
Ф. Шерешевская.
Москва, 1920 г.

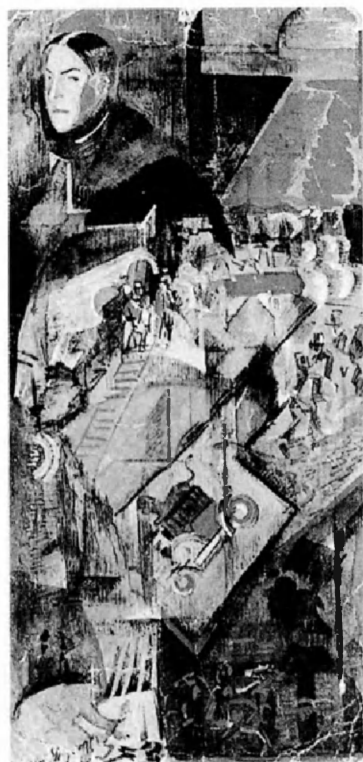
Г. Якулов, А. Мариенгоф, С. Есенин





С. Есенин.
Художник Г. Якулов. 1920 г.

А. Мариенгоф.
Художник Г. Якулов. 1920 г.



Р. Ивнев.
Художник Г. Якулов. 1920 г.



Картина Г. Якулова «Гений Имажинизма»



Обложка книги
А. Мариенгофа
«Разочарование»



В. Шершеневич,
С. Есенин, А. Мариенгоф.
1921 г.



А. Кусиков, С. Есенин,
А. Мариенгоф

Москва 1919 г.

А. Мариенгоф
и С. Есенин



А. Кусиков,
А. Мариенгоф,
С. Есенин.
Лето, 1919 г.





Обложка
скандального романа

Обложка книги
«Имажинисты». 1925 г.



Первый номер
журнала «Гостиница
для путешественников
в прекрасном»



Обложка книги А. Мариенгофа «Мяч-проказник»

Страницы из книги
«Мяч-проказник»



А. МАРИЕНГОФ.

ТАКСА



КЛЯКСА

РАДУГА

**РИСУНКИ
Ф. СУВОРОВА**

Обложка книги А. Мариенгофа «Такса-Клякса»

ТАКСА «КЛЯКСА».

Иногда были:
Такса, Кляксик,
Саломея ванса,
Мальчик планка,
Попугай «Понка»,
Саломея щетка
И сердитая тетя.



Такое Кляксик
Сказала тетя:
— И пойдешь за едой,
За мясом,
За квасом
И дубовым поросником,
А ты стереги дом.



Страницы из книги «Такса-Клякса»

Только что села Клякса и воротил,
Привалилась к ней планочка...
Разомлет твоя рот
Шари ворот.
Умывала, рывала, — щетка из надела,
Тогда Клякса придумала новую дела.



На стене в комнате висела рама,
В раме дала:
Тетюшка тетя
В три подборошка,
Висела Клякса
В одну лалу вансу,
В дружку щетку



И с лосиной
По лосино
К тетюшкой тетю
Шари Шари
Тетюшку тетю
Саломею щеткой.
Раз — швакоула,
Два — швакоула
И ахула:



«Вот так дал
Выросла у тети
Уши и борода».
Тетюшку тетю
Ушила с борошкой,
Закрычала на клетку: «А!»
Заваныя попугай.





РОЛЛЕР

Извозчик иланчонку
пустил в галоп,
танси запыкалось,
трамвай вьсь в миле:
на маленьком роллере
Бобля Боб
обогнал их
на целую миле!



ГОРОДНИК

Бобля лобок, меток Ниче
физкультурника всерьез.
Третий день идет соревнование
на луняйно у берега Бобля Боба.
Станут «змея», «змея», «луняйно»
и «носовый» и «донцонно» для
рюшки сначуг, нан дугушки
дана иванают немонно.
А юнца все нет соревнование
на луняйно у берега Бобля Боба,
потому что Бобля Боб
физкультурника всерьез.

Страницы книги А. Мариенгофа «Бобка-физкультурник»



А. Мариенгоф. 1924 г.

Щ е р б а в ы й

Васильев есть такой,
Васильев Яшка,
Фискал из инженерских офицеров,
Балакирева друг, — да тот, коль помнишь,
Что с мертвым волком влез в корчму.

К а р я к и н

Такой глазастый.
Помню, помню.
Так с чем явился он к тебе?

Щ е р б а в ы й

С письмом.

К а р я к и н

Небось, поди, подметное какое?
А в нем наветов целый ворох.

Щ е р б а в ы й

Письмо голландское, из Амстердама.
К тебе оно... от некого купца...
Звать, значит, Алтыновым его.

К а р я к и н

Стой, стой... дай покопать в мозгу маленько.
Алтынова... Алтынов... Не знавал.
Полушкин, может?.. А? Полушкин?

Щ е р б а в ы й

Да как же, князь, запомятовал ты
Свою же кумпаньена и посла?

К а р я к и н

Городишь что? Какого там посла?
Куда? По что? Кто я? Король какой,
Чтоб слать своих послов? В какие королевства?

Щ е р б а в ы й

К Нельсону...
В Англию, светлейший.

К а р я к и н

А! К лорду-то... С поклоном...

Щ е р б а в ы й

И с поклоном.

К а р я к и н

Он будет скоро сродственником мне.

Щ е р б а в ы й

Лорд Нельсон?..

К а р я к и н

Он.

Щ е р б а в ы й

Министр английской короны?
Ее ж мечтания, Михайло Григория,
Тебе не хуже моего знакомы.

К а р я к и н

Умишко мой в тумане, в темноте,
Будь ласков, просвети умом.

Щ е р б а в ы й

Не хуже моего ты знаешь, князь,
Что Англия имперью нашу
Желала б снова видеть царством,
Московией желала б видеть нас:
Без моря, без портов, без флота,
Без фабрик, без наук...
И без Петра.

К а р я к и н

Т-с-с-с... Бог с тобой, Борис Семеныч!
И это все написало в цидуле? Про море, про науки...

(Шепотом.)

И про Петра?

Щ е р б а в ы й

Нет, князь, не все.
Но Нельсон упомянут.
А воровство твое в кумпаньи с графом...
Да что слова нам попусту молоть,
Ведь письмецо Алтынова со мной.

К а р я к и н

С тобой? Так сделай милость, покажи.

Щ е р б а в ы й

Изволь, изволь, полюбопытствуй.

(Передает письмо.)

Карякин рвет его на мелкие части.

Щ е р б а в ы й

Светлейший князь!..
Михайло Григорич!
Да что же это ты... да как же!

К а р я к и н

Вот... вот оно... письмо твое, фискал.

(Показывает клочки бумаги.)

Изволь, изволь, полюбопытствуй.

(Хохочет.)

Щ е р б а в ы й

Нехорошо... И глазом не взглянул.

Карякин

Твоя мне рожа многим интересней,
Я на нее глазел.

Щербавый

Достойна ли?

Карякин

Чего расселся, ноги раскорячив?
Там печь, кажися, припотухла.
Поди, подуй-ка на нее ноздрей.
Я, видишь ли, фискал, желаю
На жаркие уголья бросить
Вот клочья эти, выдранное жало,
Которое вонзить в меня сбирались
Гнусь с подлостью фискальской.

Щербавый

Слугу покличь, он печь тебе раздует.
А только не пойму, светлейший,
К чему ты разорвал плохой портрет.

Карякин

Какой портрет?

Щербавый

С письма написанный.

Карякин

Чего?.. Чего?..
Кем это писанный?

Щербавый

Да писарем моим умелым.

Карякин

Нет, нет... я что-то мыслю туго.

Щ е р б а в ы й

Да разве я туманно говорю?
Мой писаришка, мой подьячий
По моему смышленому приказу
С письма Алтынова снял список.
С ним я к тебе пришел, светлейший.
Ну, вот и все...
А ты, не заглянув,
Без любопытства,
Пустился рвать его.

К а р я к и н

(разглядывая клочья письма)

Н-да... поспешил... попутал нечестивый...
Щербавый, говори напрямом:
Чего ты хочешь?

Щ е р б а в ы й

Хочу тебя любить душою полной.

К а р я к и н

Чего ты хочешь?

Щ е р б а в ы й

Хочу к твоей груди прижаться.

К а р я к и н

Как змей?

Щ е р б а в ы й

Как сын, Михайло Григорич.
Хочу я сыном стать твоим,
Нежнейшим и покорным сыном.

К а р я к и н

Клянуся именем Иисуса —
Тебе быть другом, братом, близнецом...

Щ е р б а в ы й

Будь мне отцом, Михайло Григорич.

К а р я к и н

Борис Семеныч, я имею
Единственную дочь, она
Корону возложить желает
На голову свою.

Щ е р б а в ы й

Нет, нет,
Не дочь твоя, а ты того желаешь.
Тебя пленяет блеск ее обманной...
Я больше жизни Лизавет люблю.

К а р я к и н

Она тебя как будто чуть поменьше.

Щ е р б а в ы й

Настойчив я, упрям и терпелив.

К а р я к и н

Ее терпением хвастать мне трудненько.

Щ е р б а в ы й

С тобой в союзе б одолел сенат.

К а р я к и н

С девчонкой будет много потяжеле.

Щ е р б а в ы й

Дай только слово мне, светлейший.

К а р я к и н

Дай сроку малость, генерал.

Щ е р б а в ы й

Я удила не закусил, а Яшка — друг
Он кол перегрызет железный.
Таких еще не видывал фискалов.

К а р я к и н

Письмо-то у тебя?

Щ е р б а в ы й

Оно в ларце,
А тот под четырьмя замками.

К а р я к и н

И ладно все.

Щ е р б а в ы й

Так я наведуясь.

К а р я к и н

Входи, мой друг, как в дверь свою,
Переступай, как свой порог.

Щ е р б а в ы й

Прикажешь быть.

К а р я к и н

Во вторник, в среду и в четверток,
Кажинный день.

Щ е р б а в ы й уходит.

Ох, как шумят виски тяжелой кровью.
Мальчонка, где ты там?
Сюда! сюда!

Входит п а ж.

Возьми платок и в ледяной воде
Смочи его да выжми хорошенько.

П а ж уходит.

Ветшаешь ты, Михайло Карякин,
То чувствуешь плечо, то ногу, грудь,
Живот... Все органы телесные
Напоминают о себе.
В напоминанье этом ежечасном,
Как разумею, и таится старость.

Входит Лиза.

Лиза

Что с вами, батюшка? Больны?
Мне паж на лестнице попался...

(Обвязывает князю голову мокрым платком.)

Карякин

Спасибо, дочь.

Лиза

Пойдемте, батюшка.

Карякин

Куда?

Лиза

В кровать вам надо лечь...
Эй, паж, за лекарем скачи!

Карякин

Всех лекарей к чертям собачьим!
Пускай в аду микстурами поят
Плешивых ведьм.

Лиза

Сказала, фатер, я!
А коль сказала я...
Коль сказано.

К а р я к и н

Нет-нет, я не пойду в кровать:
Оттуда, Лиза, к гробу ближе.

Л и з а

Так говорить не смейте, батюшка!

К а р я к и н

И-и, глупая, чего же плакать?

Л и з а

Зачем слова такие говорите!

К а р я к и н

Выходит, малость любишь крикуна.

Л и з а

Хотите, покажу, сколь крепко?

К а р я к и н

Тебе ж не пять годов, Лизутка,
Тогда показывала все,
«Как крепко-крепко любишь»,
Ручонками сжимая эту шею.

Лиза обнимает отца.

Стой! Стой!.. Задушишь старика.

Л и з а

Вот как люблю... Когда сильней?

К а р я к и н

Пригодна мера эта для малютки —
Теперь совсем другая быть должна.

Л и з а

Давайте ту, другую, испытаем.

К а р я к и н

Ты, вижу, дочка, посмеяться хочешь?

Л и з а

Когда б я жизнь имела не одну,
А много-много-много...

К а р я к и н

Ну? Что тогда?

Л и з а

Тогда...
Как сердце бьется, батюшка, у вас...
Вот и тогда все жизни
До последней самой
Вам отдала бы без раздумья.

К а р я к и н

Сюда... сюда...

(Прижимает ее голову к своей груди.)

Дай лапы мне свои...
Ишь ты, какие стали лапы...
А я и проглядел за недосугом,
Они мне все ручонками казались...
Да, таково мельканье этой жизни:
Вчера еще желтоволосый отрок —
Чуток как будто бы прошло годов,
Которых в суете и не приметил, —
А зеркало тебе уже кричит
Своим холодным языком стеклянным:
«Эй ты, морщинистая кожа,
Беззубый рот, седая голова,
Пора заказывать последнюю телегу!»

Л и з а

А я не слышу, я зажала уши.
О чем вы, фатер, говорили тут:
О звездах или о луне?

Карякин

А вот о чем...
Нагни поближе ухо,
Вот этот, дочка, розовый листочек.

Лиза

Ровнехонько не слышу ничего.
Не нравится погода на дворе?

Карякин

Ну, ну... не буду больше о печальном.

Лиза

Не верю!
Побожитесь, фатер.

Карякин

Божуся... вот те крест...
Так вот,
Ты предлагала мне свои все жизни...

Лиза

Я, фатер, их...

Карякин

Стой, Лиза, не шуми.
Но жизнь у нас одна.
Сие не больно весело, конечно,
Но так уж тут заведено не нами,
И будто нам сие не изменить.
Подобное и в малом, и в большом.
Вот, скажем, Лиза, бороду,
Ее мы соскоблить, поди, горазды,
А чтобы вырастить на лысине
Какой-нибудь плюгавый клок волос,
Уж это нам совсем не по силенкам.
Веду же я к тому: все быть должно
В согласии с природой, — вот хозяйка.
А ею так положено: чтобы отцы
Не брали жизни у своих детей,
А им бы собственные жизни отдавали.

Л и з а

Нет, бабушка...

К а р я к и н

Молчи и слушай, Лиза.
Но если б даже ты, природе в смех,
Имела, дочка, и десяток жизней,
Я б у тебя одной не взял ни за что,
Хотя б она мои продлила годы
На долгий и счастливый век.

Л и з а

А я бы, я...

К а р я к и н

Молчи и слушай, Лиза.
Эх, перебила...
Да, бишь, вот что
Хотелось мне еще сказать...
Об юности... об юности, о богатейке...
Чем только, чем из чаши изобилья
Природой не осыпана она!
Каких земных даров не пожалела
Природа для нее!

Л и з а

Вы тоже были молоды, отец.

К а р я к и н

А потому и знаю это верно.

Л и з а

К чему же клоните?

К а р я к и н

А вот к чему:
Что при таком-то крезовом богатстве
Скупа бывает юность. Ох, как скупа!

Ее подвалы ломятся от счастья,
А если кто, как нищий —
Христа ради,
Протянет руку к ней за подаяньем,
Она, у скареды ответу обучившись,
Как часто молвит: «Бог подаст».

Л и з а

Нет, батюшка, неправду говорите.

К а р я к и н

Так ты считаешь юность щедрой?

Л и з а

Да, батюшка, считаю милосердной.

К а р я к и н

И ежели старик отец протянет
Морщинистую длань свою...

Л и з а

Как!.. Отказать отцу!

К а р я к и н

Да, в подаяньи малом отказать.
В пылиночке от счастья своего,
В пылиночке, которая спасеньем
Могла бы стать родителю от смерти.

Л и з а

Вы, батюшка, пугаете меня.

К а р я к и н

Так знай же: этим жалким нищим
С протянутой трясущейся рукой
Предстану скоро я перед тобой.

Сцена вторая

Пустынная палуба корабля У грот-мачты спит голландский шкипер, прикрывшись плащом. На корабле пируют Доносятся возгласы. Ночь Большие октябрьские звезды. Оснеженный берег Невы. Выбегает Балакирев, за ним Петр.

Петр

Балакирев!.. Балакирев!.. Иван!

Балакирев

Петруша, догоняй... Ку-ку... ку-ку...

Петр

Коль шаг еще, хотя б один, шагнешь...

Балакирев

Шагать охоты что-то нет, Петруша.

(Вскарабкивается по мачте.)

Ку-ку... На ветку сел... Ку-ку... ку-ку...

Петр

Карабкаться прикажешь мне по мачте?

Балакирев

Куда тебе, Петруша...

Петр

Вниз!

Балакирев стремглав спускается.

Петр

(срывает с его лица мочальные усы и бороду, с головы — пузырь.)

Нет на макушке боле пузыря,

Мочалы нет!

И нету больше дурака.

Слыхал?

Б а л а к и р е в

Да, государь.

П е т р

Как ты посмел, Иван,
Ослушаться меня? Как смел! Как смел!

Б а л а к и р е в

По праву дурака, Петр Алексеич.

П е т р

Лишаю их тебя, дурацких прав твоих.

Б а л а к и р е в

Так, стало, государь, даешь взамен
Высокое мне право человека?
За слушание наградой осыпаешь?

П е т р

Чего?

Б а л а к и р е в

Я недостойн милости такой.
Помилуй, государь, от награждения,
Оставь меня в дурацком званье. Оставь
Сей глупый мой пузырь на голове,
А в голове свободный ум оставь мне.

П е т р

Боюсь, что голову оставить не придется.

Б а л а к и р е в

Но коли уж не снимешь,
Оставь власы фальшивые на роже,
А в пасти мне оставь язык правдивый.

Петр

(бросает за борт пузырь, мочальные усы и бороду)

Что говорил тебе про Карлуса?

Что говорил после того, как ты

Дубиною хотел его огреть?

Балакирев

Так я ж...

Петр

Что говорил тебе?

Балакирев

Он Нельсона сподручный, государь.

Петр

Что давеча я говорил тебе?

Балакирев

Вместях с Карякиным

Плетут они измену на тебя!

Как плут купец на рынке, на базаре,

Твоей империей Михайло торгует.

Петр

Михайло Карякин — мой сподвижник,

Он для отечества...

Балакирев

Нет, государь,

На свой аршин Михаилу ты мерзишь.

Ты — Петр Великий...

Петр

Знаю, кто я! Знаю!

Балакирев

Ты у отечества в усердной службе,

А твой солдат, министр, твой слуга —

Михайло Карякин, князь светлейший,

Отечество он в службу взял себе,
Россия чтоб его служила славе,
Россию сделал лестницей своей,
Себе под пятку положил Россию,
Чтобы, ее топча, в историю войти.

Петр

Все домыслы.
Мечты! Да философия!
Ты предо мной не за дела чужие,
А за свои делишки отвечай.
В чужих делах не больно мудрено
Быть умником, быть ангелом, героем.
Ответствуй мне! Ответствуй!

Балакирев

Государь...

Петр

Третьего дни хотел огреть дубиной
Кузена английской короны...

Балакирев

Нет, змею.

Петр

Дозволь уж мне, Балакирев, кой-как
По простоте своей, по разуменью
Церемоньял с имперьями вести.
Иль, может статься, нам с холма, с горы
Видать-то не ахти как дюже,
Ты с кочки видишь дале и ладней?
Так, что ли? Так?..

Балакирев молчит.

Ну, слушай, шут:
Над Карлусом с дубиной безобразя,
Ты родине своей доставил вред.
Маленько холодна.
Бр-р-р-р!.. Бр-р-р-р!
Кинь дурь из головы.

Б а л а к и р е в

А ум?

Его мне тоже, Петя, в речку кинуть?

П е т р

К умишке своему добавить можешь,
Коль есть откуда взять добавку.

Б а л а к и р е в

Найдется, может, малость у соседа.

(Показывает на Петра.)

Он мужичонка тароватый.

П е т р

Так вот, мотай, дурак, себе на ус...

Б а л а к и р е в

Был у меня мочальный, даже два,
Да ты повыдергал их, Петя.

П е т р

Мотай на ус!

Б а л а к и р е в

Мотаю, государь.

П е т р

Тебя живым в последний вижу раз.
В последний, шут. В последний!
Слышишь что ль?
На панихиду, к гробу твоему,
Приду сказать, перекрестясь, «прощай».
А «здравствуй» боле не услышишь.

Б а л а к и р е в

Так, стало быть...

Петр

Коль хочешь встречи скорой,
Протягивай скорее ноги.
Дух пускай.

(Уходит.)

Балакирев
(гогоняет)

Петр Алексеич...
Государь великий...
Сию цидулу, государь, прочти...
К Михаиле она...
Из Амстердама...
Об воровстве вор пишет вору!

Петр берет письмо и бросает его за борт

Великий государь!.. О господи...

Петр уходит. Порыв ветра поднимает бумагу и крутит ее над пенящейся рекой, то над палубой корабля.

Ну, милый ветер, ну...
Еще!.. Еще!..
Дуй, дуй, пока твои не лопнут щеки...

Голландский шкипер
(подходит к ним и кладет руку на плечо Петру)

О, Питер Алексеиш.... поша-алюста...
Веть шут не рибка... Бог с тобой!
Зашэм ефо в вольну кидат?

Петр
(обертывается)

Кто смел!
А, это, тезка, ты...

Голландский шкипер
Я, Питер Алексеиш.

Петр

Ну, шкипер, хорошо, что памятлив
Я к старой нашей дружбе роттердамской.

Голландский шкипер

Постафь-ка, цар, на палюбу шута,
Он ошень плехо плафат, я фиталь,
В водишке сразу он нашнет
Пузырики, я тумаю, пускат.

Петр

Пузырики.... сей шут...
А принц, а Карлус
Вот только что чево пускал там,
Когда дурак зачал его купать?

Голландский шкипер

В холедненькой водишке?

Петр

В бочке с пивом!

Голландский шкипер

Некорошо, турак... зашем ефо купат,
Ефо топить бы надо, — он кофарство.

Петр

Эй, шкипер, отправляйся, отправляйся,
Сегодня ты свово не допил, что ли?
Иль мой корабль новорожденный,
В честь коего пирую эту ночь,
Тебе не нравится?.. Иль, шкипер, что?

Голландский шкипер

Нет, нрафится... корошенькая корабля...

Петр

Тогда ступай и пей.
И пей! И пей,
Хозяина не обижая, шкипер.

Голландский шкипер
Што, Питер Алексеиш, гофориш, —
Как можно обишат хозяина такофа.

(Ухожим.)

Петр

Ну, тезку моего благодари,
Что не пришлось тебе нырять учиться.

Балакирев

Да, для учения, кажись, водица
А-а-а-а!.. Видишь, слышишь, обезумел шут,
Он, как несчастный Лир,
Король Шекспиров,
С тобой стал говорить безумным языком...
Еще... вот так... Да, да... Да, да! Будь женщиной,
Будь, ветер, женщиной не очень молодой,
Когда в груди большим уж стало сердце
И в нем для состраданья место есть...

Бумагу относит к реке. Балакирев вскакивает на борт.

А-а-а!.. А-а-а!.. Презренная стихия,
И ты, и ты с ворами заодно?
И ты с изменой в дружбе,
С подлостью в союзе?
В родстве с шакалами,
С преступством в кумовстве...

Бумага падает на воду

Ну что, дурак? Ну что? Ну что?
Кричи, кляни, моли, ругайся,
Грози бессмысленному ветру кулаком,
А кинуться в пучину за цидулой —
Ан, брат, шалишь... Тут сердце кроличье,
Здесь дух сидит цыплячий...
Жизненка дорога?.. Паршивая жизненка?

Вода захлестывает бумагу.

О, Боже. Тонет! тонет! тонет!

(Прыгает за борт.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Сцена первая

Мануфактурная лавка в Гостином Дворе Сиделец Репка заучивает английские слова.

Репка

Взы тэйбл — стол, взы чэз — стул, взы чэз — стул...
Взы тэйбл — стол... взы сан — сын... взы фасер — отец...
Уф... мать моя, тут вывихнешь язык!.. Взы зон... взы чэз...

Входит покупательница

Взы чэз...

Покупательница

Чего?

Репка

Почтеньице от нас.

Что показать прикажете, май леди?

Покупательница

Нет, мне твоей миледь не надо...

А вот под тем куском бурдавым

Парча в разводах, дай взглянуть.

Репка

Юф ю... май леди плейз.

Покупательница

Чего?

Репка

По-аглицки сие. По-нашему —

Глядите сколько, мол, хотите.

(Дает парчу.)

Покупательница
Ах, хороша!

Репка
Добротнейший товар.

Покупательница
Должно, что ль, венецейский будет?

Репка
Российского изделия, госпожа.

Покупательница
Так, так... оно и видно разом...
Разводы никуда... Уж, видно, век
Не научиться нам разводов делать.

Репка
Уолдменки.

Покупательница
Чего, любезнейший?

Репка
Сказал по-аглицки я так:
Вот госпожа со вкусом просвещенным.

Покупательница
Греха таить, любезнейший, не буду:
В красотах модных я наострена.

Репка
(в сторону)
Назвал ее я старой обезьяной.

Покупательница
Вон дай-ка бархат тот в травинку...
Полотна выложь и бахромы...
Еще суконце погляжу.

Репка

Изволите взы драп?

Покупательница

Да что ты взыкаешь тут на меня?

Повзыкай-ка еще...

Тебя, дружок,

Так взыкну я...

(Замахивается.)

Репка

Сударыня, май леди...

Покупательница

Я в кордегардию...

К сержанту!..

(Уходит.)

Репка

Ох, верно, доведется пострадать.

Тернист науки путь...

Взы чэз... взы сан.

Входит Васильев.

Васильев

Здорово, Репка.

Репка

Низкий вам.

Васильев

(берет книгу)

Одолеваешь аглицкую мудрость?

Репка

Стараюся, твержу.

Того гляди

Нагрянет мой экзаменатор.

У, строг был царь в последний раз
Ан чуть чего, и в лоб щелчок.
Увесисто и с пользою дает.
Ну право, после тарараха
Так мудрость в лоб сама и лезет,
Долбить не надо, вот те крест.
Прекраснейший метод.
Отменный.

В а с и л ь е в

Который, Репка, час?

Р е п к а

Да четверть пятого.

В а с и л ь е в

И не бегут?

Р е п к а

Нет, будто не бегут, не примечал.

В а с и л ь е в

Уж не случилось ли чего с княжною?

Р е п к а

Одни небесные светила, сударь,
Без опозданий малых ходят.

В а с и л ь е в

С них надобно и нам иметь пример.

Р е п к а

Спешишь куда?

В а с и л ь е в

К Иван Алексеичу спешу.

Репка

По дружбе, значит, иль по делу?

Васильев

Касательно цидулы амстердамской.

Репка

Понятно мне. Ох, вредная бумажка!

Васильев

Она отечеству большие пользы даст.
Согласен с тем и генерал-фискал.
Прочтя письмо, зажегся, запылал.
Вот, Репка, благородный дух!

Репка

А в среду ты говорил другое.

Васильев

Я подозрителен бываю через меру.
А это ослепляет.

Репка

Так ли, сударь?

Васильев

Схватить злодея хочет он немедля.
Но списку веры нет в сенате,
Сенат желает зреть бумагу,
Что писана Алтынова рукой.

Репка

Иван Алексеич ту цидулку
Хоронит, как зеницу ока.

Васильев

Ну и Щербавый — крепкий хоронитель.

Репка

Вот, Яков Николаич, и княжна.

Входит Лиза

Лиза

Заждался, Яша?..
Здравствуй, Репка.

Репка

Нижайше кланяемся вам.

Лиза

Вот к этим лоскуточкам подбери
Шелка изрядные, аршин по девять.

Репка

Извольте желать...

Лиза

Гляди за тем,
Чтоб были мне к лицу и к волосам.
Про цену же забудь.

Репка

В том нет труда.

Лиза

И нас забыть тебе я дозволяю.

Репка

Моя забота, чтоб продать поболее
И угодить...

Лиза

Ты в этом успеваешь.

Васильев

Чем, Лиза, ты задержана была?

Л и з а

Поспешностью своей, мой милый:
Все опоздать к тебе боялась,
Одеться мне хотелось побыстрей,
И потому на пугвочки и ленты
Ушло не час, а целых два.

В а с и л ь е в

Я рад тебя веселой видеть, Лиза.

Л и з а

Тогда и сам, мой милый, будь таким,
А то и я минутой замрачнею.
Ведь я ж твоей души зеркало:
Когда в него глядится день дождливый,
Оно не может солнце отражать.

В а с и л ь е в

Скажи мне, Лиза...

Л и з а

Что сказать?

В а с и л ь е в

Судьба отечества и дел Петровых
Тебе не безразличны? Нет? Ведь правда?

Л и з а

Я молоко сосала не овечьё,
И в жилах кровь течет не от барана.

В а с и л ь е в

Мне очень нужен, Лиза, твой совет.

Л и з а

Коль нужен, ты его получишь.

В а с и л ь е в

Да, да...

Л и з а

А брови как насупил, брови!

В а с и л ь е в

Постой.

Л и з а

Ну, спрашивай, мой милый, я серьезна.

В а с и л ь е в

Скажи, что, если бы отечество, Россию,
Ограбили, обворовали зло?

Л и з а

Я б очень зло и с воров поступила.

В а с и л ь е в

А если б этот вор...

Л и з а

Кто б ни был он.

В а с и л ь е в

Представь еще, когда б от воровства
Не только вред казенный и народу,
Но выгода большая для врага?

Л и з а

Вина двойная. Дважды вздернуть
Того, кто совершил злодейство это.

В а с и л ь е в

А если совершитель...

Л и з а

Кто б ни был он!

В а с и л ь е в

Не торопись с ответом, ведь бывает...

Л и з а

Быть ничего не может в оправданье.

В а с и л ь е в

Но если вор в своем прошедшем
Герой викторий славных и славнейших
И если он заслугами своими
Отечество премного одолжил...

Л и з а

За все за это он имел награды?

В а с и л ь е в

Осыпан был от головы до пят.

Л и з а

Подобно солнечному кругу, значит,
Блистала справедливость в прошлом?

В а с и л ь е в

Да, да...

Л и з а

Так ей хвала?

В а с и л ь е в

Хвала, конечно.

Л и з а

Пусть справедливость и теперь
Не зачадит и не померкнет.
А для того, считаю, надо ей

Быть в награждениях равной:
Коль получил сполна герой викариальный,
Сполна и вор обязан получить;
Был ранее поставлен он высоко,
Теперь пусть высоко висит.
Вот мой ответ.

В а с и л ь е в

А если...

Л и з а

Нет, милый, ты несносен.

В а с и л ь е в

А если...

Л и з а

Уж в третий раз я говорю:
Кто б ни был он.

В а с и л ь е в

А если это, Лиза, твой отец?

Л и з а

Что ты сказал?.. Ну, повторить решишь.

В а с и л ь е в

Я приучил себя сызмальства...

Л и з а

Чему?.. Чему?..

В а с и л ь е в

Чтоб правде прямо мог глядеть в глаза.

Л и з а

Мне, слышите, глядите мне в глаза.
Имейте, сударь, эту дерзость.

В а с и л ь е в

Гляжу.

Л и з а

Теперь велю вам говорить.

В а с и л ь е в

С чего начать?

Л и з а

С конца! С конца!

В а с и л ь е в

В таможенном злодействе, о котором
Известно вам со слов моих,
Отец ваш, князь светлейший,
Есть самый главный инструмент.

Л и з а

Так. Дале, дале.

В а с и л ь е в

В том я уверился...

Л и з а

Вы, сударь, но не я. Не я!
И Господом Христом моим клянусь,
Что не уверюсь никогда, хотя б
Вот тут, на этом самом месте,
Свидетельствовал ангел светлый,
Сошедший с неба на виду у всех.

В а с и л ь е в

Свидетелем нелицемерным...

Л и з а

Вздор! Вздор! Таких не родилось.

В а с и л ь е в

Является письмо.

Л и з а

Бумажка грязная.

В а с и л ь е в

Письмо...

Л и з а

Такое лживое, как ваш язык.

В а с и л ь е в

Письмо получено...

Л и з а

Ехидной от червя.

В а с и л ь е в

Получено оно светлейшим князем,
Отправлено — Алтыновым-купцом.

Л и з а

Писать мерзавцам не закажешь.

В а с и л ь е в

В строках сего письма заключено...

Л и з а

Подъячий говорит! Нет слова от души.

В а с и л ь е в

Заключено такое содержанье...

Л и з а

Которое не можете вы знать,
Когда родитель мой из дружбы нежной
Не зачитал любезно вам письма.

В а с и л ь е в

Оно...

Л и з а

Его сама я прочитаю,
Взяв позволение у отца на то.

В а с и л ь е в

За сим вам надо обратиться
Не к батюшке, а к генерал-фискалу.

Л и з а

К кому?

В а с и л ь е в

К Щербавому, княжна.

Л и з а

Кто передал фискалу?

В а с и л ь е в

Я.

Л и з а

Ты? Ты передал?..

В а с и л ь е в

По должности и совести своей.

Л и з а

Чтоб дочку получить в супруги,
Ты палачам отца спешишь отдать?

В а с и л ь е в

Злодея моего отечества.

Л и з а

Отца!

В а с и л ь е в

«Кто б ни был он».

Р е п к а

Драгуны с офицером!

Входят офицер и два драгуна.

О ф и ц е р

Звать Яшкою Васильевым тебя?

В а с и л ь е в

Да, так, Васильев Яков Николаич.

Л и з а

Что вам угодно от него?

О ф и ц е р
(Якову)

За нами следуй.

Л и з а

Что!.. Куда?.. Зачем?

О ф и ц е р

Да так, для променаду.

В а с и л ь е в

Простимся, Лиза.

О ф и ц е р

Эй, драгуны...

Л и з а

Простимся мы с тобой в свой час.

В а с и л ь е в

Он, Лиза, наступил неожиданно.

Л и з а

Ты мне покупки отнесешь домой...
Их ворох целый... Семь отрезов.

О ф и ц е р

По-русски сказано и внятно:
За нами следовать ему.

Л и з а

Я знать хочу...

О ф и ц е р

Не сверх того,
Что вам положено по званию
И женскому уму.

Л и з а

У вас ослиный он.

О ф и ц е р

Ну-ну,
Полегче будьте на язык.

Л и з а

В том проку будет мало.

В а с и л ь е в

Прошу тебя...

Л и з а

(тихо)

Ни-ни, ни слова.

В а с и л ь е в

Тебя возьмут.

Л и з а

Я этого хочу.

О ф и ц е р

Простились, что ль?

Л и з а

Путь добрый.

О ф и ц е р

Ну...

Л и з а

Вам, вам желаю я!

О ф и ц е р

Ему бы лучше пожелали
Веревки понежней.

Л и з а

Что ты сказал?

О ф и ц е р

Амуру своему
Веревки пожелайте с мылом.

Л и з а

А ну-ка, Репка, дай аршин,
Его скрещу со шпагой острой
Вояки этого...

(Берет аршин.)

Он, верно, храбрый против женщин
И грозен для людей безвинных.

(Становится между офицером и Васильевым.)

О ф и ц е р

На мне, сударыня, кафтан гвардейский,
Шутить над ним я не позволю.

Л и з а

К кафтану я почтение имею,
Когда б он даже на гвозде висел,
Иль на болване деревянном,
Ну вроде как теперь.

О ф и ц е р

Взять у нее аршин!

Л и з а

Кто сделает хоть шаг,
Я череп раскрою.

О ф и ц е р

Сопротивленье то!

Л и з а

Быть может, может быть.

О ф и ц е р

Приказано схватить мне вора.

Л и з а

Тогда советую вернуться
И взять того, кто повеленье дал,
И вор окажется у вас в руках.

О ф и ц е р

Заткнуть ей пасть и руки закрутить.

В а с и л ь е в

Стыдитесь, офицер.

О ф и ц е р

Ты помяukai мне.

В а с и л ь е в

Неужто стану на тебя рычать —
Слюняв еще, волчонок, сосунок.

О ф и ц е р

Заткнуть дыру на роже воровской...

Драгуны исполняют приказание.

Вот так... Теперь налево и за мной.

Лизу и Васильева уведят.

Р е п к а

Ну, Репка-брат, выходит, что кумекать надо.
К кому тебе податься?.. А?..
К кому? К Балакиреву припущусь, к шуту.
Вот позвездило... Женушка его!
Поклон сударыне... А я к вам в дом,
Сударыня, собрался побежать...
Сударыня в слезах?.. Сударыня...

Ж е н а

Иван Алексеич помирает...

(Плачет.)

Р е п к а

Господь с тобой... Что попусту пугаешь?..

Ж е н а

Не попусту... Отходит муженек мой...
Как с ночи стал горячкою гореть...

Р е п к а

А лекарь был?

Ж е н а

Пять раз уж кровь пускали.
Две дюжины поставили клистиров,
А поправленья нет... Отходит муженек.

(Плачет.)

Р е п к а

Зараза, что ль, сударыня, какая?

Ж е н а

Да выкупался он...

Р е п к а

Ну, время для купанья!

Ж е н а

Известно, с пьяных глаз.
Кораблик омывали...
Да что теряю время в болтовне...
Иван Алексеич, отходя, в бреду,
Меня за Яшею послал, за другом,
Перед кончиной хочет с ним проститься.
Я в дом к нему, а девка говорит,
Что он к тебе в Гостиный Двор пошел.
Так был он или не был у тебя?

Р е п к а

Был Яша, был, и нет, сударыня, его...
Сударыня, утешься, не горюй,
Поправится супруг твой.

Ж е н а

Нет, не поправится...
Не доживет до ночи. Уж пятки холодны...
Уже померкли очи. Куда ж отправился-то Яков
Николаич?

Репка

Драгунами, сударыня, он схвачен.

Жена

Драгунами?..

Репка

И в каземат с княжною увезен,

Жена

Ой, батюшки...

Ой, горе!.. Кара-у-у-у-л!..

Попался в лапы он к Федоту, к графу.

Репка

Сударыня...

Жена

Бежим!

Репка

Куда?

Жена

К нему.

Репка

К кому?

(Запирает лавку.)

Жена

Да к помирающему, дурень, к моему...

К дружку, к супругу, к муженьку.

Убегают.

Сцена вторая

Комната в голландском стиле. Большая кафельная печь. Шкафы с книгами. Поясной портрет Петра в скромной раме Балакирев лежит в постели. Немец-лекарь стоит у изголовья

Б а л а к и р е в

Сил больше нет, устал я от страданий.

Л е к а р ь

Голубчик мой, дай кровь тебе пустить.

Б а л а к и р е в

Пусти меня на небо лучше, лекарь.

Л е к а р ь

Ты нужен здесь, ты нужен на земля.

Б а л а к и р е в

Моя земля Россия, а ей не нужен я.
Ей, верно, больше пользы от плутов,
Изменников и негодяев...
Пусти меня на небо, лекарь.

Л е к а р ь

Голубчик мой, там нет уют,
Там слишком много места для тебя,
Квартирка велика.

Б а л а к и р е в

Нет, лекарь, нет!
Для мук моих и там не хватит места:
Балакирев отечеству не нужен.

Л е к а р ь

Чем говорить пустой слова, голубчик,
Пилюльку лучше проглоти.

Б а л а к и р е в

Нет, лучше пусть меня проглотит вечность.
Зачем мне, лекарь, голова, когда
О родине она не смеет думать? Зачем язык,
Коль обличать злодеев не могу?
Зачем, скажи, рука вот эта мне,
Когда ей настрого воспрещено
Писать на ворогов царю?.. Пусти,
Пусти меня на небо, лекарь!

Л е к а р ь

Зер гут, ступай себе, голубчик мой,
Но только вот прими микстуру прежде,
Она даст сил идти в далекий путь.

Б а л а к и р е в

Нет, лекарь, ты неправ, конечно.
Из всех путей —
Туда путь самый краткий:
Мгновенье ока, доля от мгновенья —
И мы уж там.
Не сделав шага, лежа на постели,
Не севши на корабль, ни в седло,
Без палки даже... А?.. Без посоха
Туда мы все приходим, лекарь?
Нет, мне твоя микстура ни к чему.

Л е к а р ь

К чему, к чему, я говорю тебе!
Поверь уж немцу-старичку, голубчик,
Ведь я туда спровадил вас немало.

Б а л а к и р е в

Так и меня спроваживай быстрее,
Да без микстурок только, без пилюль.

Л е к а р ь

Ну, хоть с клистирчиком, голубчик.

Б а л а к и р е в

Да где ж я там опорожняться буду?
Гляди, чтоб плешь твоя не пострадала.

Л е к а р ь

Как можно, шут, смеяться перед смертью.
Я на тебя пожалуюсь царю.

Б а л а к и р е в

Скажи ему...

Л е к а р ь

Я все ему скажу!
Как ты не слушался свой доктор,
И все твои словечки передам.

Б а л а к и р е в

(вытаскивая из-под подушки книгу)

Читал ли Аристотеля ты, лекарь?

Л е к а р ь

(отнимая у него книгу)

От чтенья вред для глаз и для желудка.

Б а л а к и р е в

Да, это так.
Морковь, пожалуй, для желудка
Полезнее, чем Аристотель...
Но все же — вот что говорит филозов...

Л е к а р ь

Он может побольтать,
Он не купался... Нет... в Неве... когда зима.
А ты больной,
Тебе болтать нельзя...
Голубчик мой!..
Голубчик!.. Что ты? Что ты?..

Балакирев

Ох, жар в груди... Воды, воды студеной!..
Нет той... из дальнего колодца... из родного..
России больше я... Великий Петр... тена...
Где Яша? Женку позовите...

Лекарь

Мейн гот, он бредит, он конец,
Какой большой для государь утрат.
Обедный шут, твой жизнь была короткой.
Теперь его потащут в ад
Поджаривать на сковородке.

Вбегают жена Балакирева и Репка

Репка

Иван Алексеич!..

Жена

Ваничка!.. Ванюша!

Лекарь

Тш-ш-ш-ш-ш.... Т-ш-ш-ш-ш...
Отходит твой супруг.
А ты стань, Репка, на коленки
И господу проси за свой приятель.

Репка

Черт, немец, колбаса, спаси его!

Лекарь

Мое искусств должно идти нах хаус.

Репка

Беги, микстура, за попом!

Лекарь

Уже твой попик, Репка, опоздал.

Ж е н а

Поспеет, причастит гнусавый.

Л е к а р ь

На панихиду он поспеет петь.

О бедная вдова, офидерзеен вам.

Пойду молить за душ его в свой храм.

Л е к а р ь уходит. Жена и Репка, рыдая, опускаются на колени перед кроватью умирающего.

Сцена третья

Камера в крепости. Ночь. Карякин, Шестопап и офицер

Шестопап

Так, говоришь, метрессишка его

Аршин схватила?..

Офицер

Да!

И лаять принялась.

Шестопап

А здесь ее обучим мы скулить.

Ослом?.. А вас?

Офицер

Меня ослом обозвала.

Шестопап

Тебя в скоты определила?

Офицер

А вас...

Шестопап

Гвардейского поручика сочла

Животным самым вислоухим

И самым что ни есть безмозглым?

О ф и ц е р

А вас...

Ш е с т о п а л

Да что ты затвердил, как попугай,
Все «вас», да «вас»...

О ф и ц е р

Прощения прошу.

К а р я к и н

Стой, граф, вина ее куда тяжеле,
Коль лаяла она тебя жестоко.

О ф и ц е р

Страсть до чего облаяла жестоко!

К а р я к и н

А как?.. Скажи, поручик, нам.

Ш е с т о п а л

Вот невидаль, поди...
Известно, лают как,
Уж будто не слышал вовеки.

К а р я к и н

Слышать слышал, а все ж пущай повторит.
Для дела важно то.

Ш е с т о п а л

Какая важность в том?

К а р я к и н

Поручик, выкладывай.

О ф и ц е р

«Он, — девка говорит, —
Тот, кто тебя послал,
Подлец, мерзавец и кабан...»

Шесто п а л

А слали вкупе мы, Михайло Григорыч.
Так, значит, это и к тебе,
И ты — подлец, мерзавец и кабан.

О ф и ц е р

Еще орала: «Вор он. Тать!
Его тебе схватить, да и волочь
Под перекладину святыю. И вздернуть...»

К а р я к и н

Что?!

О ф и ц е р

«Да за ногу,
Вниз гнусною башкой».
Еще...

К а р я к и н

К гортани, олух, языком прилипни.

О ф и ц е р

Прощения прошу.

Шесто п а л

За Яшкою ступай.

О ф и ц е р уходит.

К а р я к и н

Как у молодчика глаза блестели,
Когда он повторял тут перед нами
Поносные слова. Все таковы:
Добро приносят нам с гримасой постной,
Его выдавливают из себя,
Рожают, выжимают. А вести гадкие —
Те словно блохи скачут с языка.

Входит драгун.

Драгун
Щербавый, генерал-фискал.

Шесто пал
Дай табурет для генерал-фискала!

Входит Щербавый.

Карякин
Побеспокоили тебя, Борис Семеныч?
Поди, уж видел сон второй иль третий?

Щербавый
Я, князь, ложусь не с первою звездой.
А лучше б вовсе веки не смежать:
Ужасные я вижу сновиденья. Бог с ними, князь.

Шесто пал
Молись Миколу на ночь.
Он, милостивец, людям навевае
Сны райские: про баб грудастых все
Да про ядреных девок. Вот те крест!
Присаживайся.

Карякин
Трубочку бери.

Щербавый
Премного, князь.

Офицер вводит Васильева

Шесто пал
А сам за дверь ступай.

Офицер уходит.

Карякин
Добро пожаловать... Чего ж молчишь
На ласковость привета? Удостой
Нас, маленьких, хотя б кивком небрежным...

Шесто пал

Нет, горд. Ух, горд!
Он и хоругви божьей
Не станет кланяться.

Карякин

Что есть хоругвь?
Кусок парчи да золотые бляхи.
Вот если палачу, вот с палачом
Когда б его свести... А?.. Граф?..
Что скажешь?
Когда бы ты хозяйски угодил
Ему такой многоприятной встречей.

Шесто пал

А это можно, можно.

Карякин

Тогда бы он не пренебрег,
Не погнушался, соизволил
Башку склонить, спиной переломиться.

Шесто пал

А?.. Как же, Яков Николаич?..
Нас со светлейшим в яму, значит?

Карякин

А третью часть всего добра,
Всех достояний наших себе в карман?

Шесто пал

Нажраться хочешь золотом чужим?

Щербавый

Где, Яков, то письмо, что писано
Рукой купца? Алтынова рукой?

Васильев

И ты в их шайке? Ты, Борис Семеныч?

Карякин

Письмо!.. Письмо?.. Письмо?..

Васильев

Оно меня обогатило, господа,
Одним лишь точным, верным знанием
Преступства вашего...

Как тяжело

И как печально мне богатство это.

На нищую суму его сменял бы,

В придачу дав полвека своего.

Карякин

Неужто, Яков Николаич?

Васильев

А век наш человеческий

И краток, и прекрасен,

Но всякий раз безумье или глупость

Его позорным дегтем мажут,

Как у блудливой девки ворота.

Карякин

А, слышишь, граф Федот Абрамыч?

Шестопал

Н-да... паренек-то краснобай.

Васильев

Как мог ты — князь Карякин —

Таможенные пошлины украсть?

Одеть, обусть и накормить

Солдата армии враждебной?

Как мог ты с Нельсоном коварным...

Шестопал

Да мы тебя.

Карякин

Пущай поговорит, пущай.

Васильев

Я знаю, что отсюда выйду...

Шестопал

Да, выйдешь ты...

Карякин

Чтоб прогуляться, Яков Николаич,
Не по земле, а в сыренькую землю.

Васильев

Я и хотел сказать, что ворота
Отсюда мне откроются в места,
Куда есть слишком много входов,
А выхода не существует.

Шестопал

Ишь, филозов какой нашелся!

Карякин

Из-под земли, во зло нам, выползают
Репейники, смердящие пары
И слизистые гады, —
В них обращаются фискалы.

Шестопал

И шуты.

Карякин

Твой друг Балакирев Ивашка
Уж, слава Богу, обратился в пададь.

Васильев

Иван Алексеич помер?

К а р я к и н

Сдох.

В а с и л ь е в

Неправду молвишь!

Щ е р б а в ы й

Нет, это правда, помер шут.

Ш е с т о п а л

Под вечер смрад пустил.

К а р я к и н

Теперь черед для гадины другой.

В а с и л ь е в

На брань пустую, господа,
Мне жаль отдать свой час последний.

Щ е р б а в ы й

Где, Яков, от купца письмо?

К а р я к и н

Когда и где и с кем украл письмо?

В а с и л ь е в

Имеет этот мир канаты, цепи,
Которыми привязывает к жизни.
Одна из привязей крепчайших,
Мне кажется, есть любопытство:
Знать хочется до острой боли в сердце,
Что будет с русской землей
Лет через двести, через триста...

Ш е с т о п а л

Ты, Яша, через два часа
Уж ничего не будешь знать.

В а с и л ь е в

Как завершатся многие дела:
Проглотит ли болото Петербург,
Иль станет он великолепным градом,
Найдется ль путь, замысленный Петром,
На Индию и на Китай
Сквозь океан Ледовый...

Щ е р б а в ы й

Есть, Яков, у меня догадка,
Что к дураку попало письмоце.

В а с и л ь е в

Еще бы очень знать хотелось,
Поймет ли будущий гисторик,
Как мог Михайло Карякин —
«Мейнфринд» великого Петра,
С которым царь из плошки из одной
Хлебал матросский суп...

К а р ь я к и н

Хлебал, хлебал не раз.

В а с и л ь е в

И в день один бумагу получили
На плотничье званье,
В походе спали на одной копне,
Одна пробила пуля обе шляпы,
Из штофа пили одного,
Спустивши вместе на воду корабль
Иль заложивши первый камень
Под новый город средь пустыни...

К а р ь я к и н

Тебе гисторью, Яша, сочинять.

Щ е р б а в ы й

Так, так... Темнишь словами, значит,
Моей догадки правильную ясность?
Кинь это, друг.
Я стреляная птица.

Карякин

Так, значит, письмецо...

Васильев

Как мог ты, русский князь,
Министр тайных русских дел,
Носитель русских орденов и звезд,
Как мог ты — русский человек —
В предателя России обратиться?

Карякин

Молчать!

Васильев

Михайло Карякин — лихоимец.
Михайло Карякин — казнокрад.

Карякин

Вон! Вон его!

Васильев

Иуда родины своей Михайло Карякин.

Шестопал

Поручик! Офицер!

Входит офицер.

Карякин

Тащи его. За шиворот! За гриву!

Щербавый

Не горячись, Михайло Григорич.

Шестопал

Фискала в каземат, а девуку к нам.

Офицер уводит Васильева.

К а р я к и н

Слышал, граф? Борис Семеныч, слышал?

Щ е р б а в ы й

С умом, с расчетом, с хитрой целью
Тут изрыгал словесные он искры:
Чтоб ими кровь в тебе поджечь,
Чтоб кинулся на сердце огонь ее
И зачатило смрадом ясный мозг.
Сия же ясность, князь, в таких делах
Страшнее извергу,
Чем дыба с колесом.

К а р я к и н

Нет, какво: Михайло Карякин, говорит,
Иуда родины своей!

Ш е с т о п а л

Чему ж дивишься, князь, не разумею.
Ведь в жабью пасть Господь не вложит ангельский
язык.

К а р я к и н

Чтоб ты мне раскаленными щипцами
Змеино жало выдрал и принес
В горшке его, в кастрюле, на тарелке!

Офицер вводит Л и з у Ее голова закутана шалью. Ш е с т о п а л
делает знак офицеру, тот уходит.

Ш е с т о п а л

Сними-ка шаль да, как зовут, скажи.

Лиза стоит неподвижно.

К а р я к и н

Одеревенела, что ль, красавица моя?

Ш е с т о п а л

Не по-турецки просим: скинь-ка шаль...
Должно, глухая девка и немая.

Карякин

Откуда суке знать по-человечьи,
Она ведь только лаяться горазда.

Шестопал

Да выть еще, когда прищелят хвост.

Лиза

(не снимая шали)

Вот этого не будет.

Щербавый

Ох, будет, милка!

Шестопал

Знатный будет вой.

Лиза

(не снимая шали)

Когда обоих вас на дыбу вздернут.

Шестопал и Щербавый

Кого?

Карякин

(вскакивает, подбегает к Лизе и срывает шаль с ее головы)

Дочь... Лизхен... Лиза...

Щербавый

Лизавет...

Карякин

Нет, нет, глаза мои несчастные,
Вы лжете. Лжете! Лжете!
В ребенка моего, в мое дитя,
В любимое и нежное дитя
Колдунья обернулась, ведьма, дьявол.

Л и з а

Вы все сказали, фатер, или нет?

К а р я к и н

Так ты мне дочь?

Л и з а

Не знаю.

К а р я к и н

Что?

Л и з а

Скажу вам так:

Я ничего не знаю с нынешнего дня.

Не знаю даже — знаю вас иль нет.

К а р я к и н

Ты что мне тут

Белиберду какую-то трезвонишь?

Л и з а

По вашему ль велению схвачен

Васильев Яков Николаич?

Щ е р б а в ы й

Прощай, светлейший, я не спал три ночи...

Вы, Лизавет, мне сердце разорвали

На клочья,

На кровавы клочья.

Л и з а

О, как бы я желала, сударь,

Чтоб это были не слова пустые.

Но сердце ваше цело. Вот беда.

Щ е р б а в ы й

Да, это для меня беда.

Ужасная беда. Прощайте, Лизавет!

(Уходит.)

К а р я к и н

Так, стало, Яшка твой амур?
Амур твой, вертихвостка? Твой амур?

Л и з а

Ответьте мне, по вашему ль велению
Безвинный схвачен человек?

К а р я к и н

Граф, слышишь, слышишь, перед кем
Ответ обязан я держать!
Перед сопливою девчонкой.
Желудю-плюгавке отвечать
Обязан дуб могучий:
Как смеет он короною своей
В небесный упираться свод.

Л и з а

Забыли вы, что дерево сжигает
Одна стрела из тучи грозовой.

К а р я к и н

И это дочь родная говорит!

Л и з а

Я спрашиваю вас: велением чьим
Васильев схвачен... мой жених?

К а р я к и н

Жених... Ха-ха... Ха-ха... Жених!
Вот свадьбой, дочка, удивишь,
Вот свадьбу, доченька, сыграешь —
С зловонной падалью, смердящим трупом,
С холодным кушаньем червей.

Л и з а

Нет, нет, мой Яков жив. Он жив!
Его не смели вы убить.

К а р я к и н

Его я ногтем, дочка, придавил.

Л и з а

А я не верю вам. Мне сердце шепчет...
О сердце милом шепчет, что оно
В груди возлюбленного бьется.
Вы загасить могли б
Грошовую свечу, огарок сальный,
Но не такую душу загасить.
Нет, это правдой быть не может,
Не может и не будет.

К а р я к и н

А почему бы, дочка дорогая?

Л и з а

А потому,
Что в ту минуту,
В которую поверила б я вам,
Я превратилась бы из девушки
В волчицу...

К а р я к и н

Ну?..
Ох, страшно! Ох, трясусь!

Л и з а

На этих слабых пальцах, фатер,
Повырастали б в тот же самый миг
Звериные когтищи...

К а р я к и н

Ну?.. Да что ты?

Л и з а

Из десен бы прорезались клыки,
И вам я горло б ими перегрызла.

К а р я к и н

Поручик! Офицер!

Входит офицер

Лиза

Не подходи.

Карякин
(кричит)

Драгуны!

Входят драгуны.

Карякин

(офицеру)

Взять дочь мою.

В карету посадить и в дом отвезть.

Там заключить в светлицу,

А у дверей поставить двух драгун,

Она лишилась разума... Ступай!

Да вот еще: коль станет по безумству

Из рук твоих свирепо вырываться,

Свяжи ее, а если закричит

Или на голос вдруг заплачет,

Прикроешь шалью рот княжне...

Коль будет что не так, либо иначе,

Своею головой ответишь мне.

(Делает знак.)

Офицер и драгуны уводят Лизу.

О граф, как мне безумье дочки тяжко.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена первая

Комната. Посреди нее, на помосте, стоит гроб, в котором лежит Балакирев. В скрещенных руках его зажата бумага. Псаломщик читает псалтырь. Жена Балакирева плачет. Торжественная похоронная музыка. Входит Шестопап.

Шестопап

Ну, здравствуй, ну, не плачь так горько.

Ведь все мы будем там когда-нибудь.

Ж е н а
(в сторону)

Тебя б скорее черт позвал.

(Плачет.)

Входит лекарь

Лекарь

О бедная вдова, прими пилюльку.

Она твой облегчает горе.

Ж е н а

Одна лишь смерть меня утешить может.

Входит Щербавый.

Щербавый

Плачь, плачь, вдовица, станет легче,

Ведь горе со слезами вытекает.

Входят Карякин, паж и вельможи.

Карякин

И я вот тоже — плачу, плачу...

Эй, паж, платок....

(Вытирает слезы.)

Какой был человек! Какое сердце!

Какой обширный ум!.. Да, господа,

Он мог среди сенаторов сидеть,

И от него высокие соседи

Черпали бы достойнейшие свойства.

Как он любил отечество свое!

Первый вельможа

Примерно так сегодня говорил

И государь,

Второй вельможа,

Горюя о шуте.

Ж е н а

Царь-батюшка любил Ванюшу.

(Плачет.)

Входит прокурор.

К а р я к и н

Что нового, любезный прокурор?

П р о к у р о р

На панихиде будет государь.

К а р я к и н

Ну, это старенькая новость.

П р о к у р о р

А молодая входит в дверь.

Входит Л и з а.

К а р я к и н

Да как!.. Да кто!.. Эй, кто привел сюда
Дочь нашу?.. Лизу?.. Лизавету?.. Дочь,
Что разума лишилась злополучно...
Кто выпустил безумную на волю?

Л и з а

Безумной я хотела б стать,
Чтобы не въявь свершались вами
Столь лютые дела. Чтоб все они
Лишь мнимы были, бредом были
Моей разгоряченной головы.

К а р я к и н

Скорей, скорей вести ее обратно —
Она опасна для людей, она себя вообразила
Волчицей дикой, кровожадной.

Л и з а

Нет, это, фатер, вы себя
Вообразили человеком
Из-за того, что вам дала природа
Его подобье, жалкое подобье!

К а р я к и н

А?.. Что?.. Горячка у нее.

Входит Васильев.

Ш е с т о п а л

Светлейший, погляди...

К а р я к и н

Васильев... Яшка... ты...

В а с и л ь е в

Не обознался, князь.

Ш е с т о п а л

Кто выпустил тебя из каземата?

К а р я к и н

Кто, кто посмел спустить его с цепи?
Кто этот пес, наглец, ослушник
И государственный преступник?

Входит П е т р.

П е т р

Я.
Все
Его величество...

К а р я к и н

Отец отечества, отец, отец...

(Пагает в ноги.)

Петр
(подходит к жене Балакирева)

Осиротели мы с тобой, голуба.

Карякин
Дозволь, великий, слово молвить...

Петр
Ан после, после!.. Время ли и место
У гроба у сего калякать мне с тобой?

(Подходит к гробу.)

Вот и пришел к тебе, Ивашка...
Нет, видит Бог, хотел бы с миром я
Не к праху твоему прийти.
Приблизься, Яков...
В холодные ладони
Пусть жарок будет твой
Прощальный поцелуй.

(Прокурору.)

Скажи ему.

Прокурор
Васильев, из оков железных, в кои
Тебя преступное коварство заковало,
Ты извлечен был по его заботе.
Шут государю написал
Хладеющими пальцами записку
О деле гнусном и несправедливом,
Как ты в ряду Гостином схвачен был
И в крепость заключен безвинным...

Карякин
Виновен он.

Прокурор
Виновен он —
В любви к отечеству и к государю...

Еще в записке той Иван Лексеич
Просил привезть тебя из крепости
Сюда, ко гробу прямо,
К грустному прощанью.

Петр

А также крестницу мою,
Которая своим отцом безумным
Объявлена безумною была.

Карякин

Великий государь...

Петр

Молчи, молчи, молчи!

(Глядит на Балакирева.)

Вдова, ты что, не ведаешь порядка?
Заупокойную молитву
Кладут на лоб,
В персты ж икону надо.

Жена

Ох, государь, то будет не молитва,
А челобитна до тебя. Ее мне
Супруг мой бедный наказал
Вложить себе в студеные ладошки.
Была такая Ваничкина воля
Последняя...

(плачет)

перед кончиной...

«От челобитны сей, жена, —
Так молвил он, дух испуская, —
Отечеству всему большие пользы будут».

Петр

Тебе, голуба, был он добрым мужем,
Мне — другом, а России — сыном.
Вы слышите, вельможи: добрым! добрым!

И в свой предсмертный миг,
В сей трепетный и грозный миг,
Где гаснущая мысль его была,
О чем он помышлял?.. О чем? о чем?
О родине любимой, о России.
Эх, мой Балакушка,
Как много дал бы я,
Чтоб жив-живехонек ты был сей миг.

(Берет из рук Балакирева бумагу.)

Балакирев
(из гроба)

А сколько дал бы, Алексеич?

Все

Свят!.. Свят!.. Свят!..
С нами крестная сила!..
Господи, помилуй!..
Господи, помилуй!..
Господи, помилуй!..

Петр

Ну, выкинул Балакирев сюрпризу.

Балакирев

С живым не хотел, Петруша, мириться,
Пришел покойничку поклониться.
Чудо! Чудо — в четыре пуда.
Сказки-рассказки начало, а не конец, —
Ванятка Балакирев живой мертвец.

(Выскакивает из гроба.)

Лекарь

Куда? Куда? Лезай обратно в гроб.
Мейн гот, о, как я на тебя имею.
Большой и сильный гнев!

Балакирев

За что?

Лекарь

За то, что ты не помер, мой голубчик,
За то, что ты надул ученый доктор.

(Уходит.)

Балакирев

Вот потеха-то, вот умора —
Вор дубинку украл у вора:
Доктор дурачит дураков,
А дурак обдурачил доктора.
Царю Петруше поклон в каблучки,
А господам вельможным плутам
Веровочки да крючки.
Как засветит солнышко,
Повесят плутов за ребрышки.
А чтоб в долгий ящик не откладывать это,
И явился Балакирев с того света...
Прочти-ка, царь, челобитную.

Петр

(читает)

Тут о тебе, мейн либе брудер.

Карякин

Все шутит шут... веселый человек.

Балакирев

А ты?

Карякин

Седины, шут, печаль в себе несут.

Петр

Так-так... седины, стало... Вот с чего
Твои глаза от глаз моих шныряют?

К а р я к и н

Твой взор неласков, а очи
Тяжеле мне всех адовых мучений.

П е т р

Да-а... густо, брат, кадишь.

Б а л а к и р е в

Святых, брат, зачадишь.

П е т р

Он — шут... А в службе русской — царь.

(Указывает на фискалов.)

Вот это — уши и глаза мои.

(Указывает на прокурора.)

Вот это — перст закона.

А ты, светлейший, кто же будешь?

К а р я к и н

Под царственной пятой я малая былинка.

П е т р

Ага... былиночка... так-так... так-так...

А вот Ивашка пишет здесь,

Что ты, мейн либе брудер, — вор!

Ты — тать ночной! Злодей и повредитель

Российского казенного добра.

К а р я к и н

Обнос! Обнос! Извет бесчестный!

П е т р

Что инструмент ты первый и главнейший

В таможенном предательском мошенстве;

Что, интерес отечества презрев,

Свой подлый интерес поставил выше ты.

К а р я к и н

Завистники и недруги мои
Шута купили, государь великий.

П е т р

Ой, правду говори мне, либе брудер.
Ну, Мишка, правду, правду молвь!

К а р я к и н

Неужто кляузе дашь веру, государь,
В немилость ввергнешь без улики малой?

Б а л а к и р е в

(вытаскивает из-за пазухи бумагу)

Вот она! Вот она. Не крендель, не булка,
А секретная цидулка.

П е т р

Кому?.. Какая?.. От кого?..

Б а л а к и р е в

Письмецо сатанинское из страны голландской,
От купчины беглого к министру российскому...
Прочти, Петя.

(Передает письмо царю.)

К а р я к и н

Не верь, великий государь, —
Подметная цидула.

П е т р

По старой, стало, поговорке:
Не верь своим очам, а верь моим речам?

(Читает.)

Ш е с т о п а л

(валится в ноги)

Помилосердуй, государь... Помилуй...

Петр

Но не помилует отечество меня,
Коль милостив к его злодеям буду.

Васильев

С письма сего, великий государь,
Я верный список передал.

Петр

Кому?

Васильев

Щербавому... Как должно по закону.

Петр

Тебе?

Щербавый

Своею службой подлой и изменной
Кровавую я плаху заслужил.

Петр

Что заслужил, то, стало, и получишь...
А ну, Балакирев, ну, дружба:
Сочти себя ты в должности моей.

Балакирев

Царем?

Петр

Царем.

Балакирев

Счел, Алексеич.

Петр

И побеседуй с ними, да изрядно,
Без скоморошества, без смехов чтобы,
А сурьезно.

Б а л а к и р е в

Сурьезно, говоришь?
А ну, тогда давай дубинку, государь.

Петр дает. Балакирев ударяет ею по столу.

К а р я к и н

Великий Петр.

(Ползет к царю.)

П е т р

Туда, туда.
Пред ним на мерзком брюхе ползай,
Я ж, сударь мой, в сторонке сяду,
Как человек без должности казенной.

Б а л а к и р е в

Дозволь, светлейший князь Карякин,
Вопросец легонький тебе закинуть.

К а р я к и н

Закидывай, дурак.

П е т р

Он царь твой, Мишка...
Царь, царь, царь!

К а р я к и н

Прости раба...

(Балакиреву.)

Закидывай, Великий.

Б а л а к и р е в

А ну-ка вспомни, либе брудер,
Что я тебе сказал, когда впервые
Ты в плутовстве попался?

К а р я к и н

Я...

Б а л а к и р е в

Ты, друг любезный.

(Погражая Петру.)

Ты, Мишка, ты!

К а р я к и н

Скорбь, государь, отбила память мне.

Б а л а к и р е в

Ну, не горюй, светлейший князь,
Тотчас прибьем тебе ее обратно.
(Приподнимает дубинку.)

К а р я к и н

Я вспомнил, вспомнил, государь.

Б а л а к и р е в

Во, быстро как!

К а р я к и н

Сказал ты, государь:
«Брань первая — последней лучше».

Б а л а к и р е в

Я драл вихры за воровство второе,
В третьей раз этот прутик нежный
О спину чуть не поломал твою.
В четвертый, пятый — штрафы клал,
А ты...

К а р я к и н

Я грешный человек.

Б а л а к и р е в

А ты
На пущее пускался воровство.

К а р я к и н

Последнее оно, мой государь.

Б а л а к и р е в

Да, князь, и воровство последнее твое,
И подлые ходы к министрам чужеземным,
И брань моя — она теперь
Безжалостный топор, который я
На самый корень положу.

П е т р

Клади.

(Бьет в ладоши.)

Входят офицеры и гвардейские солдаты.

Б а л а к и р е в

А сучья все от проклятого древа
И ветки, что листком мохнаты,
Осыпятся и скоро согниют,
Когда громадный ствол вот этот
На землю рухнет.

П е т р

То случилось.
Дай, Яков, крестнице воды...
Иван Лексеич, подь сюда...
Ну-ну... к душе моей поближе.

Б а л а к и р е в

Тогда взберуся на скамью.

(Вспрыгивает.)

Петр его обнимает и троекратно целует.

Эй, женушка, учись, как надо целовать.

Петр

Что приумолкла, Лизавета?

Лиза

Мне тяжело, государь. Мне очень тяжело.

Петр

Мне тоже не легко.

Ну, Лиза, в дом езжай.

Скажи там матери, что в четвергок

К ней буду сватом я. Его вот, Яши, сватом.

Лиза и Васильев падают на колени, целуют у Петра руку.

Ну, ладно, ладно...

Отправляйся, Лиза.

Лиза уходит.

(Офицеру.)

Сих государственных преступников:

Карякина, Щербавого и Шестопада —

В кареты их посадишь

И прямо в крепость отвезешь.

За ней теперь глядит Васильев Яков.

Тебе же, прокурор, мы приказуем

Немедля следствие зачать

Об воровстве казенного дохода

И об измене гнусной.

Ни кавалерии, ни древний род,

Ни подвиги, ни раны, ни седины,

Ни дружба старая с царем

Пусть, прокурор, не будут пред тобой

Ходатаями за злодейства.

Вины им лишней не прибавь,

Но и по глупой, лживой доброте,

Гляди, не скинь чего с весов священных.

Знай головой, и сердцем тоже знай:

Кто ворогу отечества не ворог,

Тот и не сын отечества свово.

Конец

1938—1940 Ленинград

АКТЕР СО ШПАГОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Волков Федор Григорьевич	}	— российские актеры
Умской Фома Ильич		
Луша		
Татищев		
Сумароков Александр Петрович, стихотворец, бригадир		
Елизавета Петровна, императрица		
Екатерина II, императрица		
Петр Федорович, наследник престола		
Софи Игнатьевна, фрейлина Екатерины		
Князь Урбатов, камергер		
Барон Нульберс, камергер		
Орлов Григорий, артиллерийский офицер		
Потемкин, унтер-офицер конной гвардии, юноша.		
Фон Хоф	}	— иностранные актеры
Шапо		
Гопфуль		
Элиза, его жена		
Пупини, кастрат		
Матрена Дормидонтовна, мать Луши		
Паж		
Танцовщики и танцовщицы		

ДЕКОРАЦИИ

1. Трактирный дом или герберг
2. Гримировальная комната при дворцовом театре.
3. Дворцовая галерея.
4. Дворцовый театр / кулисы, сцена, две ложи.
5. Комната.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Герберг или трактирный дом с подачей виноградных вин, водок, заморского эльбира, полпива, кофе, чая и табака курительного. Время от времени играет музыкальный ящик.

Здесь: Волков, Умской, Пупини и Матрена
Дормидонтовна

Пупини
(поет, поднимая кружку)

За ваше здоровье,
Матрона,
Хозяйка,
Сеньора Матрона!

(Выпивает стакан.)

Умской

Во птица райская!
Кто ж это будет, Федя?

Волков

Сеньор Пупини.

Умской

Как?..

Волков

Пупини!

Умской

О, дама ядовитая Фортуна!
Такого соловья Пупиней обозвать.

Волков

На целый свет прославлен сей кастрат.

Умской

Ай-яй! Час от часу не легче:
Как на парнишку-то Фортуна взъелась!

В о л к о в

Тебе, мой друг, желаю той же доли.

У м с к о й

Благодарю покорно. Вам того ж.

В о л к о в

А что ж! Не прочь, Фома, не прочь!
Комедиантов русских слава,
В родимом Ярославле воспылав,
В Москву заявится пускай,
В Санкт-Петербург, а там, гляди,
Далекие границы перейдя,
И в чужеземные края...

У м с к о й

Куды хватил!

В о л к о в

А слава что?
Не птица ли она?

У м с к о й

Мы на земле, она под облаками.
Вот и лови ее за хвост пернатый.

В о л к о в

Постой, постой!.. Крылата, значит, слава?
Так для нее — и даль не далека!
Российские комедианты...

У м с к о й

Да где же, Федя, есть они?
Я в Петербурхе полную неделю, —
Олимп!.. Да только не рассейский.
Трагедии, комедии, балеты,
Кастрат поет и девки итальянки,
Французы, немцы... Лошадь представляет!
И та заморская.

Входит Шапо.

Шапо
(приветствуя.)

Мадам!.. Месье!..

Пупини
(Берет со стойки медные тазы: поет.)

Бряцаньем торжественной меди
Встречаем,
Встречаем,
Встречаем
Мы солнце французской трагедии.

Бьет в тазы, как в литавры.

Шапо
(в сторону.)

Приятней голос у шакала.

(Громко.)

Вина!.. Мечтаю осушить стакан
За голос соловьиный!

Матрена Дормидонтовна
Дочка!..

Шапо
Луша!..

Пупини
(поет.)

Лу-у-у-у...
Ша-а-а-а!..

Шапо
(в сторону.)

Опять завыл.

Вбегает Луша.

Луша

(обращается к Шапо, патетически.)

«В смятенье, государь, я пред тобой предстала:
Твой грозный голос вняв, — душой затрепетала,
Страшась, чтоб не свершил ты гибельную
месть...»

Умской

(тихо.)

Вот фокус-покус!

Шапо

О, браво, браво!

Луша

Что вам, месье, прикажете подать?

Шапо

Еще, прелестница, стихов из «Федры»!

Умской

Из «Федры»!.. вона, Федя, что...

Волков

Да, друг, сие — божественный Расин.

Умской

Не, брат, — божественная Лушка!

Шапо

А перед тем бургундского стакан!
Но если ты его нальешь не честно...

Луша

Уроков в том я не брала у вас.

Шапо

Каналья!

Луша

Кто из нас?

Шапо

Вот язычок!
Попробуй прикусить.

Луша

А мне Господь
На это ль зубы дал?

Шапо

Да, да, — на это.

Луша

Ан, сударь, нет! — что отгрызаться.
Подать сырка?

Шапо

Пожалуй.

Луша

Все?

Шапо

Что ты!
За монолог полсотни поцелуев.

Луша

Коль золотом считает их месье, —
То пусть себя целует, я ж
Завидовать вам буду на богатство.

Шапо

Умолкни. Сам Гюстав Шапо читает.

Декламирует.

«Лишась любезного супруга своего
О нем лишь думаешь, мечтаешь зреть его,
В воспоминании всей страстью пламеня».

У м с к о й
(тихо.)

Во нам его б!

В о л к о в
На роли вельзевулов.

Ш а п о
Ну, продолжай.

Л у ш а
«Пылаю, государь, крушусь — люблю Тезея!
Но в нем пленил меня не тот, что в ад низшел,
Прельщений алчущий, желанием горел,
Нет, верный, пламенный...» Так стало быть:
Бургундского и сыру?

Ш а п о
Лушка, Лушка!..
Когда бы ты в Париже родилась,
Тебя бы Франция носила на руках.

Л у ш а
А мне — и на ногах не худо,
Ходить бы только по родной земле.

Отходит к столу Пупини.

У м с к о й
Вот это девка!.. Да-а-а... Она
Мне, Федя, в удивленье больше —
Ученой лошади.

В о л к о в
Ты это ей скажи.

У м с к о й
А что?.. Испробуй, — кликни Лушу.
В карман за словом не полезу.

В о л к о в

Голубка, будь, мила!..

Л у ш а

Желаю всей душой.

П у п и н и

А мне...

(Задумывается.)

Л у ш а

Подумайте с полчасика о блюдах.

Подходит к Волкову и Умскому

Что будет вам желательно от нас?

В о л к о в

Фома Ильич!..

У м с к о й

А?.. Что?.. Гым... Гым...

В о л к о в

Не ясно что-то.

Л у ш а

Я пойму.

В о л к о в

Фома Ильич!..

Л у ш а

А нам не спех.

Они хотят подумать не торопко.

В о л к о в

Он в Ярославле, Лушенька, у нас...

В театре...

У м с к о й
(мрачно.)

Не, в анбаре.

Луша

Как?

У м с к о й

В сушильном.

Волков

Там, Лушенька...

У м с к о й

Дубят телячью кожу там.

Волков

Там Лушенька,
Российские охочие комедианты...

У м с к о й

Ево работники, да брадобрей, да он...

Волков

Всяк, Луша, званья человек, который
Богиню Мельпомену возлюбил...

Луша

Счастливые! Трагедии творили?

У м с к о й

Все больше про чертей.

Волков

Еще новорожденное дитя
Трагедья русская. И вот
У этой славной колыбели...

У м с к о й

Служил он в Ярославле нянькой.

Л у ш а

А кто ж трагедии маманя?

В о л к о в

Поэт великий — Сумароков!
Фома Ильич...

У м с к о й

Не трожь меня.

В о л к о в

Невинностей играл, — девиц прелестных.

Л у ш а

Пристало им. К лицу.

У м с к о й
(вскакивая.)

Пойду.

В о л к о в

Куда?!

Усаживает его.

Л у ш а

Они стеснительны уж больно
И щечки их румянец заливает,
Как у красавицы молодой.

У м с к о й
(вскакивая.)

Пойду.

В о л к о в

Куда!

Усаживает его.

Л у ш а

Фома Ильич, что вам принесть?

У м с к о й

Давайте, что ли чаю.

Л у ш а

С молочком?

В о л к о в

С конфетой, с леденцом.

Л у ш а

Фома Ильич наездом в Петербург?

В о л к о в

За юбками и лентами для шляп.

У м с к о й
(вскакивая.)

Пойду!

В о л к о в

Садись.

Л у ш а

Для новой верно роли?

У м с к о й

Не...

Для дочери...

Луша
(печально.)

Женаты?..

Умской
(мрачно.)

Обручен.

Волков

Да, обручен — с театром. Он и я.
По свой последний в жизни вздох.

Луша

Ах, судари, и я скрывать не стану,
И у меня театр — мой жених.

Волков

К чему ж скрывать, когда жених прекрасен.

Луша

А вы-то, сударь, петербургским стали?

Волков

Императрица, случаем, прознав
Про наши лицедейства в Ярославле,
Нас призвала курьером в Петербург.
На друга ж моего Фортуна прогневилась:
Он заболел липучей злой горячкой.

Луша

Беда какая!

Волков

Горькая беда!.. И вот —
Остался наш Фома Ильич...

Умской

В анбаре.

Луша
(Волкову.)

А, сударь, вы?..

Волков

Императрица нас
Определила в корпус сухопутный, —
Чтоб просветить искусством и наукой.

Луша

Разъединивши, значит, с лучшим другом?

Волков

Разъединить — земные силы могут,
Но дружбу разорвать — небесные не властны.
Как этим пальцам на одной руке,
Так вместе быть и ярославцам, Луша.

Умской

Такое ж чудо будет то,
Как и театр тут расейский.

Волков

Среди болот пустынных, диких роц
Великий Петр, отечеству служа,
Воздвиг прекрасный город. Это —
Подобье было чуда. Я согласен.
Но что за чудо будет, коли мы,
Усердые приложим и малый дар,
В сем городе прекрасном сотворим
Театр русский? А?.. Скажи-ка, Луша:
Это ль чудо?

Луша

Схоже, сударь.

Умской

Во!

Луша

Бегу.

Волков

Ему за чаем с молочком,
А мне стакан венгерского. Покрепче.

Луша убегает.

Умской
(вдогонку.)

И мне!.. И мне!..

Волков

Э, друг —
Поздненько больно стал дышать!

Умской

Ну, пропасть на нее. Чума и язва!

Волков

Фома, помилосердствуй! На кого?..

Умской

Опять же на Фортуну. Вот собака!
В неподходящий, видишь, самый миг
Язык мне словно откусила.
Теперь учен. Теперь уж буду знать,
Что напередки от Фортуны
Одних лишь пакостей и жди...
Как, впрочем, и от всякой бабы.

Входит Гопфуль и Элиза.

Гопфуль

Приветствую друзей.

Волков

Мартин Гопфуль — немецкий трагик.

У м с к о й

По брюху, Федя, догадался.

Ш а п о

Гюстав Шапо приветствует Гопфуля!

Э л и з а

Великого — великий!

У м с к о й

Вона как!..
А девка кто?

В о л к о в

Его жена.

У м с к о й

Актёрка?

В о л к о в

Да.

У м с к о й

Кого же представляет?

В о л к о в

Цариц, мой друг.
А если не была б женой —
На кухне суп из курицы варила б.

Ш а п о

Ну, как прошло сегодня представленье?

Г о п ф у л ь

Успех, друзья! Успех! Рыдал партер.

Э л и з а

И ложи, дорогой Мартин.

П у п и н и
(Матрене Дормидонтовне.)

Рыдали...

Что заплатили деньги за билеты.

Входит ф о н Х о ф и иностранные актеры встают и раболепно приветствуют его.

У м с к о й

А это, Федя, что за птица?

В о л к о в

Голштинец, господин фон Хоф.
Как путешественник по свету колесит
И сочиняет, я слышал, гисторьи
Об королях. При прусском состоял.

У м с к о й

При Фридерике, стало быть, Втором?

В о л к о в

Который всей Европе беспокоен:
Забрал у Австрии Силезью,
Саксонью растоптал копытом.
А ныне снова льет гранаты, пушки,
Но у царицы уши на макушке.

Входят дама в голубой маске — Екатерина Алексеевна, дама в розовой маске — Софи Игнатьевна и барон Гульберс
Актеры встают и раскланиваются Екатерина, Софи и барон садятся за стол

Г у л ь б е р с

Нам кофе дайте. Крепкий и горячий.

Матрена Дормидонтовна
(кричит.)

Четыре кофею! Покрепче! С жара!

У м с к о й

По что же, Федя, бабы в масках?

В о л к о в

То знатные, мой друг, персоны
Им интерес комедиантов видеть,
Себя же тут казать — зазорно.

У м с к о й

Кунскамера для них.

В о л к о в

Они — для нас.

Входит Луша с подносом и разносит заказы по столам

Ш а п о

(к Элизе и Гопфулю.)

Мадам! Месье!.. За что поднимем
Мы эти пенистые чаши?

Г о п ф у л ь

За вечное искусство, за театр,
За Мельпомену, за богиню нашу.

Э л и з а

Чтоб много лет, как роза, ей цвести
Под северным российским небом.

Ш а п о

Прекрасно!.. За богиню, которая
Французженка и немка.

П у п и н и

Я прошу
Богиню так же итальянской счесть.

Шапо

Кто смел бы по иному мыслить?

Элиза

(к Волкову и Умскому.)

А господа любезные не захотят ли
Компанию с нами разделить?

Шапо

И тост?

Волков

Компанию — с преудовольствием великим.

Шапо

А тост?

Волков

(Умскому.)

Пойдем.

Умской

(тихо.)

А ну их к лешему. Не двинусь.

Волков

(переходя за стол актеров.)

У нас в стране за дорогого гостя
Всегда поднимают первый кубок.
Но если гость, пришедши в гости,
Себя хозяином помыслит, — ну, тогда:
Иной у нас обычай, господа.

Элиза

В глазах, в словах и в этой чаше,
Поставленной на стол со звоном,
Обида есть.

Шапо

Но чем, месье, обижен,
Нам это, право, непонятно.

Волков

Порой от разъяснений смысл темнеет,
А потому, — прошу, не изъясняясь,
Тост поменять! И этот первый кубок
За русскую всем выпить Мельпомену,
За наш театр, за российский.

Шапо

Не понял я, месье.

Элиза

Не поняла и я:
Российская богиня Мельпомена?..

Шапо

А кто, месье, из бедных смертных
Ее видел?

Гопфуль

А тот, Шапо,
Кто видит призраков и духов.

Элиза

Пусть тот и пьет.

Шапо

Другое предлагаю:
За воздух выпить воздух.

Гопфуль

Я готов.

Умской
(сквозь зубы.)

Во спесь! Во чванные сеньоры!

Шапо

Подкинь-ка, Луша, нам пустые кружки.

Луша

Подкинуть?.. Слушаю, месье.

Берет со стойки кружки и со звоном бросает их одну за другой на стол.

Матрена Дормидонтовна

Ох, Господи!.. Разбойник в юбке!.. Лушка!..

Шапо

В уме вы!..

Элиза

Девка!..

Шапо

Дура!..

Элиза

Дрянь!..

Матрена Дормидонтовна

Подь, подь сюды!.. За косы оттаскаю!..

Элиза

Швыряла кружки словно бомбы.

Я чуть не умерла со страха.

Луша

Так мне ж месье сказал «подкинуть».

Волков

Она была послушна. Вот и все.

И приказанье выполнила точно.

У м с к о й
(*тихо.*)

Во прелесть!.. В Лушу я влюблен.

Ш а п о

Мадам Матрена вот условие наше:
В трактирном доме мы — или она.

В о л к о в
(*Луше тихо.*)

Тебе я, Луша, друг до края жизни.

Е к а т е р и н а

Я, кажется, возьму ее к себе.
Она мне нравится.

Г у л ь б е р с

Прелестный огонек!

Е к а т е р и н а

Он сердце вам обжег?

Г у л ь б е р с

Чуть-чуть.

С о ф и
(*насмешливо.*)

Амур
В трактирном доме стрелы мечет?

Г о п ф у л ь

Как чувствуешь себя, моя Элиза?

Э л и з а

Получше... Небо возвращает к жизни.

Ш а п о

Тогда, месье, продолжим разговор.

В о л к о в

Пожалуйста! Коль вам он интересен.

Ш а п о

Так ваш бокал, месье...

В о л к о в

За русскую водную Мельпомену!

Ш а п о

Но, право, ей не стоило б рождаться,
Хотя бы и в мечте туманной.
Мечта, месье, прекрасной быть должна!
Иначе — для чего мечтать?

В о л к о в

Заклад хотите?

Ш а п о

Что?..

В о л к о в

Заклад?

Э л и з а

Горячий человек.

В о л к о в

Заклад!
Не прячься за слова. Порой они
Трусливым служат каменной стеной.
А говорю я вот что, господа:
«В России цвеств великой Мельпомене
Роскошно, как в саду Эдемском!

И ни в каких-то будущих веках,
А прежде, господа, чем старость
Мне даст костыль
В трясущуюся руку».

Эли за

Ну, жди — пока улита едет!

Волков

Уменьшу срок!

Эли за

На много ли?

Волков

Изрядно
Театр русский расцветет...

Эли за

Когда?

Волков

Когда, сударыня, не мне, а вам
Придется брать костыль в прогулку.

Эли за

(в сторону.)

Нахал.

Волков

Не слышу. Вы сказали что-то?

Гопфуль

Не спорь, Элиза: срок пустяшный.

Эли за

Дурак!

В о л к о в

И так, я говорю:
«В России цвеств великой Мельпомене».
Тот, кто не верит — ставит против.
А мой ответ: все ваше, чем владею.

Ш а п о

Тогда, месье, вы голову свою
Не ставите, по-моему, на карту.

В о л к о в

О, нет! Она вам будет лишь обузой.
Две головы! К чему? Придется выбирать:
Какую — кинуть прочь, какую — взять.
Нужнее та, в которой больше смысла,
А вам, наверно, будет жаль
С своею собственной расстаться.

Ш а п о

Вы отплатили зло.

В о л к о в

Привык меняться равным.

Ш а п о

Но что ж вы ставите в заклад?

Э л и з а

Когда на карту нечего поставить,
То хвастуны обычно ставят душу.

Г о п ф у л ь

Которая лишь дьяволу нужна.

Ш а п о

Вот, если б домик предложил, месье.

В о л к о в

Владею в Ярославле домом. Ставлю.

У м с к о й
(тихо.)

Не торговал — проторговался.

П у п и н и

А мне?.. А я?..

Э л и з а

А вы, сеньор,
Остались, видимо, при макаронах.

В о л к о в

Еще есть, сударь, доля у меня
В кожевенном заводе...

П у п и н и

Что ж, беру.

У м с к о й
(тихо.)

В последок и штаненки снимут.

Ш а п о

А мы, месье, чем будем отвечать?

В о л к о в

Не сомневаясь в выигрыше своем,
Я господа, немногого хочу:
В день торжества российской Мельпомены
Я роли вам по склонностям найду
И вы, не смея отклонить,
Их будете играть с приличным рвением.
Согласны или нет?

Элиза

Согласна я.

Гопфуль

И я.

Шапо

И я, месье.

Пупини

И я.

Волков

Скрепим же договор пожатыем рук.

(Пожимают руки.)

Шапо

А вам театр будет для двора?

Волков

Нет, сударь, — для народа.

Шапо

Скромно.

Волков

Наш император Петр Великий
Так говорил: «Я в службе у России
И у свою любезного народа»...
Народ — король над королями!
И быть его старательным слугой —
Честь первая из самых первых,
Зачем же мне искать не высшей чести?

Софи

Как сказано!

Екатерина

Софи, мой друг,
Взгляните на меня!.. Мерси.

Софи

Увидели вы что-нибудь?

Екатерина

О, да!

Софи

Что именно?

Екатерина

Глаза.

Софи

И только?

Екатерина

Достаточно.

Софи

Нет, верить не могу.
Что так они, несносные, болтливы.

Екатерина

Скажу точнее: красноречивы очень.

Гульберс

Амур в трактирном доме стрелы мечет?

Екатерина

(указывая на Волкова.)

Пусть подойдет он к нашему столу.

Гульберс

Он будет здесь сию минуту.

(Подходит к Волкову.)

Екатерина

(Софи.)

Еще разок взгляните на меня.

Софи

О, нет!.. Свои глазам не доверяю...

Екатерина

Тогда, мой друг, и рта не открывайте:
Вас выдает дыханье ваше.

Софи

Ужели ж я — дышу... вздыхая?

Екатерина

Да.

Гульберс возвращается с Волковым.

Волков

Сударыни, чем я могу служить?

Екатерина

Служить?.. Нет, сударь, дружба равноправна.
Хотели б с вами ею обменять:
Взамен на вашу, предложить свою.

Волков

У дружбы есть свои законы:
Друг смело открывает другу сердце,
Хотя оно самой природой
Сокрыто глубоко в груди.
А вы, сударыня...

Екатерина

А мы?

Волков

Лицо свое, открытое для всех,
Скрываете от «друга» гордой маской.

Екатерина

Скажите мне: а разве нет у тайны
Своих, хоть маленьких, достоинств?

Волков

Сударыня, я их не знаю.

Екатерина

А женщина ответит по-иному:
Чем тайна глубже, тем приятней
Открыть ее. Что скажете на это?

Волков

Что я не женщина... благодаренье Богу.

Екатерина

Высокомерьем Бог не обделил мужчин!..
Но это сделал он — в угоду нам.

(К Софи.)

Не правда ли, мой друг:
Нам нравятся высокомерцы?..

(Волкову.)

Прошу взглянуть на веер мой.

*(Раскрывает веер в одну сторону — он белый,
в другую — черный.)*

Единственный в Санкт-Петербурге он
И братьев-двойников не знает.
Вот вам перо... от благородной птицы,
Орлиное...

(Вырывает из веера черно-белое перо.)

Послужит пусть оно
Залогом, сударь, верной дружбы
Тропинкой к тайне и ключом.

(Дает перо Волкову.)

Я слышала ваш благородный спор
И всей душой — на вашей стороне.
Когда-нибудь и чем-нибудь, быть может,
Сумею...

Г у л ь б е р с

Вероятно.

Е к а т е р и н а

Вам маленькую помощь оказать.

В о л к о в

Сударыня, благодарю покорно.

Е к а т е р и н а

(к Софи.)

А вы, мой друг, не скажете ни слова?

С о ф и

Я, право, растеряла все слова.

Е к а т е р и н а

Мне кажется, я знаю, где сыскать их.

С о ф и

Тогда прошу вас: научите.

Е к а т е р и н а

В сердце!

В о л к о в

Приняв совет, вы золото найдете.

Софи

(из-за лифа гостает две маленькие дощечки.)

Вы знаете, что это за дощечки?
К чему они?

Волков

Простите, нет, не знаю.

Софи

Дощечки эти, сударь, для театра.
Любя, что есть души, богиню Мельпомену,
Я так немилосердно бью в ладоши,
Что после руки опухают...
И вот, чтоб руки, сударь, уберечь,
Придумала дощечки эти:
Привязываю их... вот тут... и здесь...
Вас, сударь, я покорнейше прошу:
Мне нацарапайте с любезностью на них
Как будет имя ваше...

Гульберс

Вот клинок.

(вынимает шпагу.)

Софи

Когда во храме русской Мельпомены,
Вы будете со славой представлять,
Я стану ими бить с великим громом.

Волков

Сударыня смеется?

Софи

Бог спаси!
Ведь я свои слова сыскала в сердце.

В о л к о в

Когда желаете, чтоб я поверил вам
И мне, прошу, доверье оказать.

С о ф и

Но чем же, сударь?.. Как?..

В о л к о в

Но миг короткий,
Пусть будет он, как мановенье ока, —
Приподнимите маску!

С о ф и снимает маску. Пауза. Смотрят друг на друга.

В о л к о в

(тихо.)

Верю...

Позвольте мне дощечки.

(Выцарапывает.)

С о ф и

(читает.)

Федор Волков.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена 1

Гримеровальная комната при дворцовом театре Волков и Умской гримируются перед зеркалами. Первый в костюме древнего русского князя, второй в женском парике и в одеянии княжны.

С у м а р о к о в

(за сценой.)

О, наказание неба!.. Муки ада!..

В о л к о в

Летит наш Северный Расин,
Трагедии российский прародитель.

У м с к о й

Сейчас споткнется о порог.

(Кричит.)

Порожек тут!..

Вбегают Сумароков, споткнувшись о порог

С у м а р о к о в

(с ненавистью глядя на порог.)

Чорт, дьявол сочинил их... Муки ада!

У м с к о й

Спросить дозволейте, сударь Сумароков...

С у м а р о к о в

Канальи! Олухи! Невежды!..

(Волкову.)

Для танцевальной, понимаешь, залы,
Где индюки потеют в менюэтах,
Луну и звезды с неба содерут!
Запалят люстры! Канделябры!
Три тыщи свечек!.. А к чему?
Чтоб озарять невежество и глупость!
А мой «Хорев» играй в кромешной тьме!..
Торгуйся за огарок мерзкий!..
У палача в душе, у чорта в сердце
Светлей, чем на дворцовой сцене!..
И в день какой?.. Канальи!.. А?.. В какой?..
Когда российская родится Мельпомена!..
Нет, кину я трагедии писать!..
С Парнаса вон сбегу!.. Прощайте, музы!..

Волков
(гримируюсь.)

Я только что со сцены...

Сумароков

Ну?

Волков

Все обглядел
И полагаю, Александр Петрович
Что свечек вдосталь...

Пауза.

Сумароков

Да?..

Волков

С излишком.

Сумароков
(протягивая табакерку.)

Прошу, — гишпанский. Разум прочищает.

Волков

Не нюхаю. Благодарю покорно.

Сумароков

Я, Волков, нюхаю табак,
Чтоб худшего не нюхать в этом мире.

Умской

Чего же это, господин поэт?

Сумароков

Пороков смрадных, господин актер.
Тщеславье мерзкое смердит к нам из Европы:
Кабан в короне — Фридрих Прусский —
Опять полез на мирного соседа.

Умской

Захватчивый король!..

Сумароков

Войны не убежать.
Опасен всем. Терпеть его не можно!
На троне ж русском, слава Богу,
Сидит родная дочь Петра...

Волков

А вот племянничек императрицы,
Что скипетра российского наследник, —
Голштинец, немец, Петр-Ульрих.

Сумароков

Пойдем.

Волков

Куда?..

Сумароков

К товарищам твоим,
В гримировальню, Волков.

Волков

Я оттуда.

Сумароков

И волосы твои не встали дыбом?

Волков

С чего ж?

Сумароков

Татищева видал?

Волков

Ему
Парик прилаживал...

Сумароков

И не отпрянул ты?

Волков

С чего бы, Александр Петрович?

Сумароков

Ну, брат, дивлюсь я храбрости твоей.
Ведь он все рыло черным перемазал.
Какие-то звериные полосья.
Не древний князь, а зебра, леопард!
Пойдем, пойдем!

Волков

Пойдемте, погляжу.
Пожалуйте.

Умской

Порожек... Не споткнитесь...

Сумароков
(*споткнувшись.*)

О, муки ада!.. Что ж молчал, каналья!..

(*Выбегает.*)

Волков
(*с нежностью.*)

Летит из мысли в мысль,
Бежит из страсти в страсть.

Уходит.

Умской подходит к стоячему зеркалу, осматривает себя,
откашливается.

У м с к о й
(декламирует женским голосом.)

«Места, столь много раз слезами орошены,
Возлюбленным моим Хоревым украшены!»...

Входит Луша с сундучком в руках Он видит ее в зеркале и
застывает. Она не узнает его в женском гриме.

Луша

Сударыня актерка...

У м с к о й
(тихо.)

О-о-ох, убила!

Луша

Сколь радость велика! Оснельду лицезрею?
Злосчастную возлюбленну героя?

Умской молчит

Луша

Я, госпожа актерка, к вам.

У м с к о й
(тихо.)

Помру.

Луша

Коль так же вы своей игрой прекрасны,
Как лебединой шейкой и с лица,
То всем французским лекувершам
До вас и пальцем, верно, не достать!
Ах, я была б счастливей всех на свете,
Коль мне дозволили облобызать
Вам ручку нежную... Дозвольте!

У м с к о й

Нет, нет!.. К чему сие?.. Не надо...

Луша

Не может жить недобрая душа
В таком девическом прекрасном теле!

Умской
(тихо.)

О, Бог ты мой, —
Болтаться по веревке лучше!

(Женским голосом.)

Ну, да... один разок... не боле...

Не оборачиваясь протягивает руку Луша целует ее.

Луша

Сударыня актерка, к вам сюды
Я прислана великою княгиней,
Питая благосклонность к Мельпомене,
Екатерина Алексеевна шлет наряды
И всем желает от души
Со славою великой представлять.

Умской

Таить не в силах боле... Луша!..

(Оборачивается, стаскивает с себя парик.)

Луша

Фома Ильич!..
Какой сюрприз ужасный!

Умской

Луша!..

Луша

Как, сударь, вы осмели дерзко
Совать для поцелуев руку... Тьфу!

Умской

Ах, Луша...

Луша

Тьфу!..

Пауза.

Умской

Я всяку ночь во снах вас видел сладко
И вами, Луша, бредил на яву!

Луша

Сурьезно?.. Вы, Фома Ильич, не врете?

Умской

Да гром меня господний порази,
Когда, хотя б едину ночку,
За семьдесят четыре дня разлуки,
Вы не были со мною в сновиденьях!
То козочкой вас видел по поляне,
То мечете, как бомбы, сковородки,
А вы, жестокая... плюетесь.

Луша

Да нет... То с пылу я, Фома Ильич,
Что у мужчины руку целовала.
Хоть вы и в юбке и в сережках,
А все-таки из мужского пола.

Умской

Ну, да!

Луша

Коль правду сказывать,
И я — все семьдесят четыре дня
Ни разу вас не позабыла.

Умской

И верить сладко, и боюсь поверить.

Луша

Ну и не надо, коли страшно.

Умской

Надо.

Луша

А как же так — сюды вы угодили:
В комнате актеров петербургских?

Умской

А друг-то мой, забыли, что сказал:
Всем ярославцам, значит, быть вместиах!..
Он слова на ветер не кинет.
Сказал зачнет театр, — зачинает!
Коль песню сочинит, ее —
Вся Русь поет. Музыку сложит он,
Ее звенят все струны православны!
Кого стихом, как Ювенал, отхлещет,
Над тем все люди на земле смеются.
А коли уж картину намалюет,
Так глаз не оторвать...

Луша

Фома Ильич...

Умской

А вас-то как по отчеству зовут?

Луша

Лукерья Тимофевна.

Умской

Какая красота: Лукерья Тимофевна!

Луша

Фома Ильич...

У м с к о й

Лукерья Тимофевна!..

Лу ш а

Так вы... страсть шибко любите меня?

У м с к о й

Шибче на свете быть не может!

Лу ш а

Тогда.. прошу, чтоб в обморок упали.

У м с к о й

Чево?.. Куда?.. Я что-то не дослышал.

Лу ш а

О том, Фома Ильич, прошу сурьезно.
Коль любите, так сможете упасть.

У м с к о й

У чему же то, Лукерья Тимофевна?

Лу ш а

Всей жизни у меня мечта такая:
Чтоб — нежную Оснельду представлять.

У м с к о й

Я что-то не пойму...

Лу ш а

Так стало, —
Не очень любите.

У м с к о й

Не очень?.. Я?.. Люблю?..

Луша

Коль любишь сильно, и не то поймешь.
Играть хочу Оснельду. Разве не понятно?
А для того, Фома Ильич, вам надо
Мне, по любви, поддержку оказать.

Умской

Да я... да вам... Но как же в обморок?..

Луша

На то вы и актер, Фома Ильич:
Глаза прикрыв, дышите еле-еле.
Коль станут кровь пускать из жилы,
Чтоб в чувство приводить, — терпите.

Умской

Всю выпустят, злодеи...

Луша

Пострадайте.
То испытанье будет для любви.

Умской

А роль вы знаете, Лукерья Тимофеевна?

Луша

От буковочки, Фома Ильич, до буквы.

Умской

А будете ль в своей игре искусны?
Сегодня в день какой — рождение Мельпомены!
Коль с похвалой представим мы трагедию,
Рассейскому театру быть в России,
А коли дурно... Лучше помереть!

Луша

Фома Ильич...

У м с к о й

Дозвольте до конца.
Не утаю, признаюсь, не упрячу:
Люблю я вас, Лукерья Тимофевна,
Равно, как ту российскую богиню.

Л у ш а

На свете шибче и любить нельзя!
И ваши мне слова — отменный куплимент.

У м с к о й

Тогда...

Л у ш а

Вам надо испытать меня.
Пред вами монолог Оснельды прочитаю:
Коль декламацию изрядной не сочтете,
Вдохнувши глубоко, смело просыпайтесь.
И я не буду гневаться на вас.
Шаги!..

У м с к о й

Прямехонько на пол валиться?

Л у ш а

Спаси господь, не зашибитесь!

Умской падает, закрывает глаза

У м с к о й

(приоткрыв один глаз.)

При Федоре Григорьевиче старайтесь.
Всему судья — мой друг.

Л у ш а

Да глаз сомкните!

У м с к о й

(один глаз закрывает, другой открывает.)

Как скажет...

Луша

Так тому и быть.

А-ах!.. Не дышит!.. Лекаря!.. Воды!..

Вбегает Сумароков, за ним входит Волков.

Сумароков

О, фурии! — кто помер?.. Где горит?

Луша

Тут, сударь, столик — не сшибите...

Сумароков

(опрокидывая столик.)

Что ж, дура, прежде не сказала!

Луша

Фома Ильич пред зеркальцем сидел,

Сурьму на щеки клал и вдруг...

Сумароков

Трагедья до трагедьи!

«Хорев» злосчастный мой!..

Волков

Дыханье тяжко.

Сумароков

(протягивает Луше табакерку.)

На-на!.. Набей ему гиштанским полный нос.

Чихнет, — и спасена трагедья!.. А нет —

Все силы преисподни не помогут:

Российской Мельпомене не родиться!

(Падает в кресло.)

Волков

Воды испейте, Александр Петрович.

(Наливает воду в бокал.)

У м с к о й
(*тихо.*)

Не утерпеть — чихну.

Луша
А мы табак — в сторонку.

(*Кидает.*)

Набила полно в обе ноздри.
А что-то, сударь, не чихает.

С у м а р о к о в

Плачь, Волков, оставляй спектакль!
Как бурею надежды размело!
Умского нам не заменить никем!
Скорее я умру, чем он проснется!
Второй Оснельды нет.

Луша

Когда б... да нет...
Уж где! А только ролю знаю.

С у м а р о к о в

Безумная, что там бормочешь ты?

Луша
(*Волкову.*)

Меня вы, сударь, не признали?

В о л к о в

Луша!

Луша

Ну, да... Натурой всей Оснельду возлюбя,
Как «Отче наш», стихи я затвердила...

С у м а р о к о в

Утешила! Спасла! В ладоши, Волков, бей!
Запрыгаю до потолка от счастья!

(*Бежит к двери.*)

Волков

Куда летите, Александр Петрович?

Сумароков

За лекарем! Цирюльником с ланцетом!
За сатаной без сердца и души,
Который пустит кровь ему фонтаном,
Чтоб воскресить для русского театра.

Убегает Волков хватаят Умского за плечи и в ярости трясет его

Волков

Глаза!.. Глаза! Открыть сей миг глаза!
Презренный фокус-покус! Ну?!

Умской открывает глаза, приподнимается.

Умской

Открыл, открыл...

Волков

Лежи!

Умской

Дозволь...

Волков

Молчи!

Умской

Уж выслушай.

Волков

Уж слушать будешь ты!
Да нет... и говорить с тобою тошно.
Коль ты дурак, что дураку слова?
А совести в бессовестном не сыщешь!
О дружбе толковать? С тобой?.. Лежи!..
С тобой?.. Лежи!.. Да разве ты об том
Хоть тощее понятие имеешь?
Простого доброго знаконца

Не счел бы я знакомцем добрым,
Когда бы он в издевку обратил,
То, что святее мне святого,
Чему кладу без малого остатка
Всю душу жизни, кровь из сердца всю!
А ты ведь тот, кто звался другом мне!
Рождение российского театра!..
В отечестве — заря его младая!..
Лишь робкие начальные лучи!..
Но что об том свинье?
Лежи!

У м с к о й

Нет, сяду.

В о л к о в

Что?!

У м с к о й

И буду го...

В о л к о в

Молчи.

(Хватает его за горло.)

Л у ш а

Бог с вами!.

В о л к о в

Что?..

(Опускает руки.)

У м с к о й

Купецкий нрав.

В о л к о в

Прости, Фома. Мозг обволоок,
Как будто жарким клубом,
Какой-то пар и кинулся в глаза.
Прости.

У м с к о й

Замолвить за себя словечко
Хотел я вот какое: ты припомни,
Ведь сколько мы с тобой разов
Еще от Ярославля все мечтали
Об славной для трагедии актерке!
Где ж представлять с правдивостью мужчине
Томленья девичьи и сердца трепет,
Который нам неведом по природе?
А тут вот Лушу Бог послал.
Оснельды ролю знает на зубок
И нежную прекрасную княжну
Пред зеркалом сама себе сыграла,
Не раз, не два...

Луш а

Всяк божий день!

У м с к о й

Француз Шапо пророчил лавры ей...

Сумароков
(за сценой.)

О, черный ад!

Волков

Ложись!

У м с к о й

Лежу.

Вбегает Сумароков.

Сумароков

Какой-то бес хвостатый помелом,
Как вымел всех цирюльников на свете!

(Падает в кресло.)

Волков

Не повезло.

Сумароков

Как дышит?

Волков

Еле-еле.

Надежды никакой.

Сумароков

О, злые небеса.

Волков

Одно спасенье...

Сумароков

В чем?

Волков

Да в Луше вот.

Сумароков

Что говоришь ты, Волков? Что?

Волков

Однажды в Герберге я слышал,
Как с трагиком Шапо — она
Из «Федры» монолог читала...

Сумароков

Муки ада!

Волков

Рассиновы стихи дышали дивной страстью...

Сумароков

Расин и Лушка!

Волков

Сердце в ней актерки.

Сумароков

О!..

Волков

И знаю также то: душа ее
Слилась с душой Оснельды нежной.

Сумароков

Безумная, читай.

Волков

Не трепещи, дружок.
Спокойно. Стань сюда.
Из действия четвертого возьмем.
Явление седьмое. Начинаю:
«Не жди, лукавая, в обманах сил успеха:
Погибла вся твоя надежда и утеха,
И смерть твоя близка».

Луша

«Чего мне больше ждать?
Но нечего уже мне смерти злой отдать;
Родительский престол, владычество, держава,
Величество мое и наша прежняя слава —
Давно в твоих руках: дух встретить смерть готов,
И взять уж нечего ей, кроме сих оков,
На что мне больше жить? Бесстрашно умираю».

Опускается занавес-панно

Сцена 2

Дворцовая галерея.

Пауза на музыке. Входят барон Гульберс и князь
Урбатов.

Гульберс

Ну, князь, я без ума от Лушки!

Князь Урбатов

Терять безделку можно, ум не стоит.
Найти ж его трудней, чем потерять.

Гульберс

Ее звезде сиять на небе Мельпомены!

Князь Урбатов

А вы до звезд охотник?.. Астроном?

(Уходят.)

Появляется наследник и фон Хоф

Фон Хоф

От государя Пруссии сегодня
Обласкан я доверенным письмом.

Наследник

Что пишет вам мой друг и брат король?

Фон Хоф

Наследнику короны русской...

Наследник

Проклятая корона!
Я б, господин фон Хоф, сменял ее
В меняльной лавке государей
На самую последнюю в Европе!

Фон Хоф

Король желает принцу счастья...

Наследник

Уже я счастлив тем, —
Что друг и брат меня не забывает!

Фон Хоф

Король в походе...

Н а с л е д н и к

Будет он победным!
Великий Фридрих на войне
Соперников себе не знает!

Ф о н Х о ф

Мой принц, на поле битв — Россия собралась.

Н а с л е д н и к

Сбиралась долго, уберется живо...

Ф о н Х о ф

Король...

Н а с л е д н и к

Придет. Увидит. Победит.

Ф о н Х о ф

Король...

Н а с л е д н и к

Где ж с Фридрихом сражаться дикарям!

Ф о н Х о ф

У русских...

Н а с л е д н и к

Что?.. Хорошие усы.
А у пруссаков — пушки и мортиры!..
В своем ответе королю пишите,
Что я ему викторию желаю.

Ф о н Х о ф

Его величество надеется...

Н а с л е д н и к

На что?

Фон Хоф

Надеется, что рыцарская дружба,
Которая его связует с вами...

Наследник

Останется непоколебимой!

Фон Хоф

Свое высокое письмо
Король-философ, между строк,
Сентенцией моральной утешает.

Наследник

Какой?.. Не переставьте буквы!

Фон Хоф

Что истинная рыцарская дружба
Не терпит малой тайны...

Наследник

Меж друзьями?

Фон Хоф

Да, принц.

Наследник

Ничтожнейшей не будет!

Фон Хоф

Могу ли написать об этом королю?

Наследник

Прошу!

Фон Хоф

Война препоны ставит, принц;
Вас лицезрею нынче я свободно,
А завтра...

Н а с л е д н и к

Не уверен!

Ф о н Х о ф

Здесь голштинцев...

Н а с л е д н и к

Не жалуют?.. Страна из варваров!
В парчу и бархат вырядились азиатцы!

Ф о н Х о ф

Императрица...

Н а с л е д н и к

Тетка сумасбродная!
Трон — место не для женщин, не для баб!

Ф о н Х о ф

Прошу вас, принц, взглянуть... на этот перстень.

Н а с л е д н и к

Рубин в кругу алмазов... буква «эф»...

Ф о н Х о ф

Подарок короля.

Н а с л е д н и к

Завидую я вам.

Ф о н Х о ф

Простому смертному?

Н а с л е д н и к

Вы к королю близки!

Ф о н Х о ф

Все то, что благосклонный принц
Доверить может мне...

Н а с л е д н и к

Фон Хоф?.. Все!
Ведь вы — голштинец. Это много!

Ф о н Х о ф

Мой принц, такое ж полное доверье
Вы можете без колебаний оказать
Тому...

Н а с л е д н и к

На ком увижу этот перстень?

Ф о н Х о ф

Да, принц.

Н а с л е д н и к

Чудесно! Превосходно!

Ф о н Х о ф

Как принцу нравится театр...

Н а с л е д н и к

С игрой российских мужиков?
Молчу. Не знаю. В кресле спал.

Ф о н Х о ф

Однажды в герберге актерском
Я был свидетелем...

Н а с л е д н и к

Чего?

Ф о н Х о ф

Актер, что Кия представляет...

Н а с л е д н и к

Волков?

Фон Хоф

Да, принц. Держал пари...

Наследник

Какое?

Фон Хоф

Что будет пышно цвести в России...

Наследник

Капуста?.. Репа?.. Огурцы?..

Фон Хоф

Нет, принц...

Наследник

А больше ни шиша

Тут процветать, мой друг, не может!

Фон Хоф

А он...

Наследник

Болван!

Фон Хоф

О Мельпомене русской говорил.

Наследник

Вздор! Вздор!.. Спаси Господь!

В кровати лучше спать, чем сидя в кресле.

А тетка гонит двор в театр —

С полицией! Штрафуя!.. Раз с меня

Содрала пятьдесят рублей.

Осел — француз Шапо — тогда

Какого-то Расина завывал.

А за своих, российских, будут драть

По сто! По полтораста!.. К сатане!

Фон Хоф

Но государыня...

Наследник

От мужичья в восторгах?

Фон Хоф

Да, принц.

Наследник

Платочком слезы вытирала?
К чертям! Желаю спать в кровати.

Фон Хоф

Но как же, принц...

Наследник

Озлить необходимо тетку.
И все. Характерец Петра! Родная дочка.
Всевышний, осени!.. Готово: осенил.
За блеск ума жду вашей похвалы.

Фон Хоф

Вам, принц, всегда готов...

Наследник

Охотно верю!
Так слушайте блестящую идею:
Не терпит тетушка, когда на ком-нибудь
Того же цвета фижмы, что на ней,
Кольцо, сережки, мушка в том же месте,
И прочьи вздоры бабьего кокетства.
А если провинившаяся дура
К тому ж красива, на свою беду, —
Ну: молния и гром!.. А тетка
Становится чернее ночи,
Которая громами дышит.
Вот бешеная ревность!
Мою блестящую идею угадали?

Фон Хоф

Признаюсь, принц...

Наследник

Фон Хоф, вы не политик!

(Вынимает из кармана розу.)

Великолепна?..

Фон Хоф

О, в садах Версаля —
Сестры ей не найдется.

Наследник

Это верно!
Но в Петербурге младшая была.
Ее в антракте преподнес я тетке.
Цветок она себе воткнула в гриву...
Теперь вам ясно, господин философ,
Как далее комедия пойдет?

Фон Хоф

Как будто, принц.

Наследник
(показывая розу.)

Вот эту...
Преподнесу другой особе.

Фон Хоф

Мысль острая.

Наследник

Как шпага!
Которой заколю сегодняшней спектакль.

Появляется Софи

Фон Хоф

Софи Игнатьевна.

Наследник

Послали небеса!
Нежнейший друг моей жены.
Не выношу обеих: ту и эту.

(Идет ей навстречу.)

Софи, как вы прелестны нынче!

Софи

Прелестно, значит, настроенье духа
Его высочества: из ваших уст
Мне комплимент услышать непривычно.

Наследник

Мой друг, поверьте, с нынешнего дня
Они посыпятся на вас.

Софи

Как снег на голову?

Наследник

О, нет!
Как розы... Первая свалилась.

(Втыкает цветок в волосы.)

Софи

Мерси.

Наследник

Как вы скупы на благодарность!
Клянусь, что скоро будете щедрей.

Появляется Елисавета, князь Урбатов и барон
Гульберс.

Н а с л е д н и к

А вот и тетку добрый ангел шлет.

Одновременно Елисавета и Софи увидели одна у другой в волосах
красные розы. Обе женщины застыли на месте.

Н а с л е д н и к

(фон Хофу.)

Пантера в стойке. Подождем прыжка.

Е л и с а в е т а

Сударыня... приблизиться извольте.

С о ф и

Боже...

Елисавета выдирает из волос фрейлины розу, бросает ее на пол,
растоптывает Софи падает без чувств на руки князю Урбатову

Е л и с а в е т а

Особо дерзкая.

Н а с л е д н и к

(тихо.)

Чудесно!

К н я з ь У р б а т о в

Без чувств.

Е л и с а в е т а

Вот уксус. Натте, князь.

Натрите ей виски... Хотя —

Хорошая пощечина полезней:

Она б в сознание привела.

Елисавета и Гульберс уходят. Князь уносит Софи на руках.

Н а с л е д н и к

Фон Хоф, пассаж я разыграл недурно?

Фон Хоф

О, принц мой, — виртуозно. Как по нотам.

(Уходят.)

Пауза на музыке. Занавес-панно поднимается

Сцена 3

Та же гримировальная комната, что и в первой сцене. Для Луши отдельное место за шкафом. Входит Умской. Он в своем обычном костюме

Умской

Вот и конец: упала занавеска
И с нею все пресветлые надежды...
Хотя б одна душа полуживая
В ладошки хлопнула...
Как будто до того уж трудно...
Ведь не мешки тяжелые таскать...

Входит Луша Она в гриме и в костюме Оснельды Садится, роняет голову на руки, плачет.

Умской

Лукерья Тимофеевна... Лушенька...
Не плачьте... Эх, беда большая, —
Не клином свет сошелся в Петербурже,
Чем Ярославль наш не город!..
А как там хлопают в ладоши!..

Луша
(плача.)

Фома Ильич... всему... виновна... я...
Так, верно, худо представляла,
Что нету и прощенья на земле.

Входит Волков.

Волков

О чем ты, Луша?

Луша

Я виновна.

Волков

(разгруживаясь.)

Не в нраве у меня, чтоб тешить зря, —
Играла с благородной страстью:
Где нужен пламень — там пылала,
Где нежность — нежною была
И плакала слезою непритворной.
Всему достаток был и мера.
Ты, как хорошая хозяйка,
Запасы сердца знала своего
И тратила не скупно, но с умом.
В том есть искусство. Ты — актерка.
Попов и брат — достойный похвалы...

Умской

Домой бы, Федя, в Ярославль!..
Я сызнова в цирюльню, стричь и брить;
Вы, Лушенька, мне бритвы направлять;
А ты...

Волков

(хватая за плечо.)

А мне тебя постыдно слушать.
Не били нам в ладоши... Будут бить!
В России цвезть российскому театру!
Уж коли аполлонов пламень
Пылает в нас, его не погасить.
Не погасить! Не погасить!

Умской

(испуганно.)

Не погасить, не погасить.

Волков

Его мы в дух твердейший заключим!
В ладоши будут бить!

У м с к о й

Ну, будут, будут.

В о л к о в

В России цвествь...

У м с к о й

Ну, цвествь, ну, цвествь.
Плечо-то вывернешь... Ну, нрав!

В о л к о в

(выпуская плечо.)

Проклятый!..

Вбегает Сумароков.

С у м а р о к о в

«Хорев» сражен сердцами ледянными!
Я на Парнасе труп. Перо...

У м с к о й

Тут зеркальце...

С у м а р о к о в

Кидаю!

(Сшибает зеркало.)

Черт, разбил!

У м с к о й

Простите, Александр Петрович, запоздал.

С у м а р о к о в

Не о стекляшках жалких горевать,
Когда...

У м с к о й

Второе, сударь, сле...
Хвала создателю — промашка.

Сумароков

Когда в пеленках удавили
Российскую, о други, Мельпомену!

Стук в дверь

Софи
(за сценой.)

Могу ль войти?..

Сумароков

Кого еще несет
Дух черной преисподни?

Луша

То Софьи Николавны голос.

Волков
(поднимаясь навстречу.)

Покорно просим, Софья Николавна.

Входит Софи.

Софи

Не помешала я?..

Волков

Нет, нет!

Сумароков

Что скажете, Софи?

Софи

Виновница несчастий ваших — я.

Волков

Дозвольте не поверить.

Софи

Ее величество я огорчила...

Сумароков

Софи! Софи!

Софи

Без умысла...

Сумароков

О, Рок свирепый!

Софи

По этикету ж строгому двора
Никто не смеет бить в ладоши прежде,
Чем государыня. Она ж,
Мной будучи огорчена глубоко,
Не стала хлопать.

Сумароков

Ад и небо!..

(Схватившись за голову, бежит к двери.)

Умской

Закрыта дверца, Александр Петрович...

Сумароков

(стукнувшись о закрытую дверь.)

Еще один удар взбесившегося рока!

(Выбегает.)

Софи

Вот почему, друзья, безмолвствовал театр.

(Показывая лагони с привязанными к ним дощечками.)

Я не посмела хлопать, как и все.
Дощечки эти стали мне укором.

В о л к о в

Не мы достойны ль, Софья Николавна?

С о ф и

О да, мой друг, своей игрой искусной
Воспламенили вы и хладные сердца.

В о л к о в

В трактирном доме, Софья Николавна,
Где свел нас случай...

С о ф и

Гений добрый!

В о л к о в

Была персона с вами...

С о ф и

Две персоны.

В о л к о в

Я говорю о даме в маске... в голубой...
Коль я своей догадкой не обманут,
Особа важная...

С о ф и

Не знаю.

В о л к о в

Мне подарив из веера перо,
Она, как помните, сказала:
«Когда-нибудь и чем-нибудь, быть может,
Сумею вам я помощь оказать».
Она сейчас нужна нам — больше жизни.

С о ф и

Да, это так.

В о л к о в

Кто ж будет та персона?
Сказал я: «Нам нужна»? Нет, для себя
Не стал бы я, как милости, искать
Высокого покрова.

С о ф и

Верю, сударь...

В о л к о в

Но для театра русского — ищу.
Не смеет он скончаться в пеленах!
Как свет необходим очам,
Так и душе и сердцу свет полезен:
Театр — то светильник их.
Возжечь его — наш долг перед народом!
Скорей же назовите имя!
Кто эта дама в маске голубой?

Софи молчит.

В о л к о в

И все же вы молчите?

С о ф и
(чуть слышно.)

Да.

В о л к о в

Молю: еще скажите тише,
Чтоб это «да» — я не услышал.

С о ф и

Как, сударь, вы назвали б человека,
Который не хранит доверенный секрет?

В о л к о в

Обманщика доверья как назвал бы?

Софи

Его.

Волков

К чему, сударыня, вопрос,
Когда ответ, по-моему, столь ясен?

Софи

И все же я прошу ответить.

Волков

Его

Я не колеблясь бы назвал — бесчестным.

Софи

Такое имя получить от вас
Мне было б тяжело и горько.
Ведь это, сударь, я была б —
Обманщиком доверья. Ведь это мне
Мой лучший друг под маской
Доверил тайну маски голубой.

Пауза.

Волков

Простите, Софья Николавна.

Софи

Не вам, а мне просить прощенья
За то, что я своим друзьям
Одни несчастья приносить умею,
Хотя добра желаю всей душой.

Волков

Души желанья — вот что человек!
Уходите?

Софи

Должна.

Волков

Могу ли я сказать вам: до свиданья?

Софи

О, да! А если вам приятно будет,
Скажите так: до скорого свиданья.

Волков

Я повинуюсь с радостью.

Софи

Отец
Пришлет вам завтра приглашение:
Под парусами по Неве прогулка.
В четыре с половиной по полудни.
Придете ли?

Волков

Я буду.

Софи

Доброй ночи.

(Уходит.)

Появляется барон Гульберс с цветами и ларцем.

Волков

Вы, сударь, к нам?

Гульберс

Да... я... к звезде.

Умской

Так вы дорожкой ошиблись, сударь:
Вам надобно прямехонько на небо.

Г у л ь б е р с

Я к Луше, господа. А где ж она?

В о л к о в

Сия звезда за шкафом. Луша, выйди.

Луша выходит.

Г у л ь б е р с

Цветку — цветы.

Л у ш а

Спасибо вам, барон.

У м с к о й
(*тихо.*)

Лукерья Тимофеевна, киньте веник.

Г у л ь б е р с

Та, что сияла, как алмаз, со сцены,
Должна сиять алмазами и в жизни.
Обвить вы разрешите ожерельем
Мне вашу мраморную шейку.

У м с к о й
(*тихо.*)

Гоните прочь его!

Л у ш а

Барон,
Вам благодарна я...

У м с к о й
(*тихо.*)

Ах, Луша, Луша!..

Л у ш а

Но их принять не смею. Уж простите.

Гульберс

Нет, нет, — отказом вы меня убьете!

Луша

А вы, барон, сим подношеньем
Сразите честь мою.

Умской
(тихо.)

Сразит! Сразит!

Гульберс

Но любоваться вами, как звездой,
Надеюсь, воспрещения не будет?

Умской
(тихо.)

Пожалуйста — в подозрную трубу.

Луша

То в вашей власти, господин барон.

Гульберс раскланивается и уходит.

Умской

Лукерья Тимофевна, киньте веник!

Луша

Коль вы, Фома Ильич, к команде склонны,
Ступайте в полк служить — капралом.
Но я солдатом в том полке — не буду.

Входят Шапо, Гопфуль и Элиза

Шапо

Мадам, месье, мы от игры — в восторгах.

Элиза

Я плакала.

Г о п ф у л ь

И я.

У м с к о й
(Луше.)

Все врут!

Ш а п о
(Волкову.)

А вас, месье, я лавром бы венчал!

Л и з а
А Лушу пальмами!.. И поцелуем.

(Целует.)

Г о п ф у л ь

Печальный век: такой игры не оценили!

Медленно открывается дверь. Входит С у м а р о к о в. Спокойно садится в кресло. Все смотрят на него с изумлением.

У м с к о й
(тихо Луше.)

Вот гокус-покус.

Л у ш а

Тссс!

С у м а р о к о в

Друзья мои...
Я только что из ложи царской, —
Елисавет Петровна, наша мать,
Всемиловитиво повелела
Российский учредить театр.

Пауза.

Директором во Храме Мельпомены
Назначен ваш слуга покорный.

(Кланяется.)

(Занавес.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Играет музыка. На авансцену выходит Татищев в костюме глшатая
Татищев-глашатай Пролог «НОВЫЕ ЛАВРЫ» по случаю преславной
победы Российского войска над прусским войском при взятии горо-
да Франкфурта Стихотворство господина Сумарокова. В драме пред-
ставляют придворные актеры Российского Театра, в балете — при-
дворные танцовщики и танцовщицы.

Музыка Татищев уходит. Занавес поднимается.

Сцена 1

Театр в театре Слева кулисы Здесь Волков в костюме Марса,
Луша в костюме Победы и Матрена Дормидонтовна в жиз-
ненном праздничном наряде В центре сцена Занавес поднят Идет
финал Пролога «Новые Лавры». Декорация. Морской берег, петер-
бургские рощи Все объято облаками На сцене Умской — Нептун.
Справа от сцены две ложи В нижней — Елисавета и князь Ур-
батов В верхней — Наследник и барон Гульберс

Умской - Нептун

Благополучен ты полночный край теперь;
Россия! Царствует в тебе Петрова дочь.

Наследник

Вот скука-то... вздремну перед балетом...

Выплывает корабль

Умской - Нептун

На грозных вижу вдруг валах
Российские народы,
Пренебрагаючи морской пучины страх,
Ревущи воды,
И бурный ветер,
Отважно бездну роя,
О, дочь Великого Героя!
И ты, Великий Петр!

Корабль уплывает. Трубы. Литавры. На сцену выходит Волков —
Марс

Елисавета

Марс...

Князь Урбатов

Волков!..

Елисавета

Федор Волков.

Волков — Марс

Россия, я тебе известие принес,
Что милостию ты небес
И храбрым воинством врагов своих расшибла
И вся надежда их погибла
Сквозь дым и пыль и ветер возмущенный.
Сквозь воздух возгущенный
Я зрел на облаках
Победу, и весы в ея руках.
Противны вои задрожали
И побежали
Бегут
И жизнь одну бегут,
Знамена в руки предаются,
Огромны пушки остаются,
И брани следует конец.
Россия прими Лавровый ты венец.

Облака закрывают богов. Волков и Умской уходят в кулисы
Облака расходятся и открывают храм Славы

В храме сидит Победа — Луша с лавровой ветвью в руках. Вокруг россияне, собравшиеся торжествовать этот день. Начинается балет. В облаках показывается Орел. Он слетает к Победе и из ее рук при-емлет лавры. Занавес опускается. Елисавета бьет в ладоши, вслед за ней гремит театр. Занавес поднимается. Луша и танцовщики выходят для поклонов. Из верхней ложи барон Гульберс бросает к ногам Луши кошелек с червонцами. Они рассыпаются. Луша собирает их, кладет в кошелек и бросает его обратно в верхнюю ложу.

Луша

(опускаясь на колени перед ложей Елисаветы.)

Великая императрица-мать,
Сим кошельком желали делать зло,

Честь девичью так смело покупая,
Как в лавке крендель...

Елисавета

Верно, дочка.
Теперь порок тобою проучен,
И хорошо! Пусть напередки знает,
Что добродетель — не продажна.
Будь счастлива, дружок.

(Князю.)

Подайте мне мантилью.

Елисавета и князь Урбатов уходят.

Матрёна Дормидонтовна
(глядя на Лушу.)

Вот дура-дура!

Умской

Ангел, ангел!
Небось, таких и в небе нету.

Матрена Дормидонтовна
Чего уж тут про небо толковать,
Коль дур таких и на земле не сыщешь!

(Отходит.)

Наследник

Вы что-то нос повесили, барон?

Гульберс

Признаюсь...

Наследник

Че-пу-ха!.. У тетки —
Чудеснейших болезней два десятка,
Из них десяточек — смертельных.

Гульберс

О, Бога ради — тише!

Наследник

Вздор!..

Так вот считайте, что на троне русском

Уже сидит... ну — половина зада...

Ваш покровитель — Петр III-ий!..

Пойдемте пить рейнвейн.

(Уходят.)

Луша

(появляясь в кулисах.)

Маманя...

Матрена Дормидонтовна

Прочь поди!

Умской

Мамашенька...

Матрена Дормидонтовна

Тебе твержу, мой сударь, третий год,

Что я мамашей не актеру стану,

А дворянину, с деньгами и с поместьем.

Умской

Тогда одно мне — в омут головой.

Луша

А я пред Господом клянусь...

Матрена Дормидонтовна

Не смей!

Луша

Клянусь!..

Матрена Дормидонтовна
Иконы нету!

Луша

Вот!..

(Вытаскивает нательный крестик.)

Матрена Дормидонтовна
Не смей!

Луша

Что я женою верной стану
Не блеску хладному, а человеку,
Которого люблю горячею любовью!

Матрена Дормидонтовна
Но будет что взамен благословенья...

(Показывает гулю.)

Ой, Лушка, прокляну!

Опускается занавес-панно.

Сцена 2

Дворцовая галерея. Множество свечей. Музыка. За занавесом маски-тени танцуют менуэт. Входит Сумароков Он в тоге и в маске.

Сумароков

Земля вертится. Мы на ней вертимся.
И все вертится в нас: добро и зло.
Печали, радости... Верченье и верченье!
Пока не довертимся до могилы.

(Уходит.)

За занавесом маски-тени. Танцуют. Вбегает Луша. Она в наряде испанского пирата. Ее преследует Наследник. Он в пурпуровой маске и в пурпуровом длинном плаще

Н а с л е д н и к
Стой, стой, пират испанский!.. Стой!

Л у ш а
Когда гремит музыка, ноги не стоят.

Н а с л е д н и к
Злодей, ты сердце у меня ограбил!

Л у ш а
А в том мой промысел пиратский.
(Бежит.)

Н а с л е д н и к
Тогда, пират, — добычу забирай!

Л у ш а
Не надобна. Кидаю через борт!
(Убегает.)

Наследник ее преследует. Возвращается Сумароков. Потом
входит Волков. Он в длинном черном плаще.

В о л к о в
Прочь, Александр Петрович, думы!
На маскараде им не место.

С у м а р о к о в
Узнал под маскою?

В о л к о в
Не трудно.

С у м а р о к о в
Пороки лучше в жизни носят маски,
Чем мы на глупых маскарадах:
Под верностью скрывается измена
И благородство прикрывает низость.

Волков

Кругом веселье, танцы и музыка...

Сумароков

Печальная, мой друг, в моих ушах!

Волков

С чего б?

Сумароков

С того, что в свете тысячи свечей
Не вижу света. Только тьма!

Волков

Но что вас в мрак повергло?

Сумароков

Люди! Люди!
Коровы, лошади, бараны не печалят...
Видал ли ты, как за голштинцем
Сегодня вьется раболепство?

Волков

Изрядный хвост.

Сумароков

У государыни припадок был.
Едва не померла. Учувя то —
Придворные холопы лижут пятки
У нового хозяина свово.

Волков

Вот псы!

Сумароков

Не обижай четвероногих
В них, Волков, верности побольше.

Волков

Но государыня на маскараде.

Сумароков

Ей танцовать сегодня потяжеле,
Чем воробью тащить карету,
А вот танцует!

Волков

Для чего б?

Сумароков

Чтоб дать спокойствие толпе придворной.
Смятенье, Волков, в год войны
В сто крат опаснее чумы!
Тебе ж совет даю.

Волков

Какой?

Сумароков

В ряду гостином гвозди покупай.

Волков

К чему?

Сумароков

Навеки двери забивать
Во храме русской Мельпомены.

Волков

Уж лучше пистолет куплю.

Сумароков

Стреляться будешь?

Волков

(с улыбкой.)

Нет, стрелять, —
Богиню нашу защищая.

Сумароков

Шутник!..

(Уходит.)

Вбегают Умской в наряде Психеи

Умской

Видал?.. Встречал?.. Лукерью Тимофевну?

Волков

А Лушенька в каком наряде?

Умской

Она сказала, что не скажет,
Так как же я могу сказать,
Когда она сказала, что не скажет,
Сказать бы рад, хотя сказать не можно.
Я думал, скажешь ты!..

Волков

(готрагиваясь до его затылка.)

Горячий.

Умской

Я ревностью жестокою сжигаем.

Волков

А почему в Психею обрядился?

Умской

Лукерья Тимофеевна наказала!
И коль никто мужчиной не признает,
Три сладких поцелуя обещала.

Появляется барон Гульберс.

Умской

О, божья кара, — он в меня влюбился!

Гульберс

Ах, нежная Психея...

Умской
(со стоном.)

О-о-о!

Гульберс

Твой гибкий стан...

Умской
(женским голосом.)

Оставь меня... Я, маска, в утомленье.

Гульберс

О, божество мое, один лишь менуэт!

Умской

Нет, нет... мне туфелька жмет ножку.
(Отходит.)

Пристал ко мне, как банный лист,
С своей дурацкою любовью.

Гульберс

Психея дивная...

Умской

О, муки ада!

(Убегает.)

Барон следует за ним

Волков
(снимает маску.)

Но где ж Софи?.. Я проглядел глаза,
И милых не увидел глаз под маской.

Она в каком-то домино... но их
Без счету здесь... А черный плащ один...
И он Софи известен.

Входит Наследник

Наследник

Волков? Ты?
Отлично. Чудно. Блеск! Сама судьба
Как будто служит в горничных моих.
Пойдем.

Волков

Куда?

Наследник

Желаю я с тобой
Плащом и маской поменяться.
Все глупые башки на маскараде
Прознали пурпур мой. А тетка,
Как школьника, из глаз не выпускает
Меня ж пленил пират испанский.
Плутовка хороша!.. Сквозь маску
Дыханьем страсти обжигает... С ней
Я проведу часок в уединеньи.
Ты, Волков, схож со мной фигурой
Осанку царственную переймешь,
Движений величавость, поступь, голос...
Комедиант же ты?

Волков

Актер российский.

Наследник

А я под твой укывшись скромный плащ,
Ее любовь достану без помехи.
Пойдем!.. Да что ходить далеко:
Здесь ни души. Снимай-ка плащ и маску.
Ты мне повиновением обязан.

(Меняются нарядами. Уходят.)

Появляется барон Гульберс, держась за щеку

Гульберс

Ну, ну... И нежная Осельда:
Такую мне затрещину влепила,
Что я нанес порядочный ущерб
Своим затылком мраморной колонне.

(Уходит.)

По ту сторону занавеса через сцену проходит Волков в плаще
Наследника. Его окружают маски. Появляется Сумароков.

Сумароков

Надежда близкая на скипетр и трон
Дала величье этому пигмею.
Он словно выше стал, прямее станом
И важностью пустой приводит в восхищенье
Пустые головы... О, суета,
Достойная презренья и клейма!

(Уходит.)

Появляется Умской.

Умской

О, Боже правый: дружба изменила!..
Когда бы солнце превратилось в грязь,
Не так бы грязно было на земле!..
Презренный друг, — будь проклято то слово! —
Одев, как скромник, черный плащ,
Преследует Лукерью Тимофеевну
Твердит ей нежности и ловит ручки!

(Убегает.)

Входят Наследник и Луша.

Наследник

Ты, маска, мне мила.

Луша

А ты мне — нет!

Н а с л е д н и к

Да что ты?..

Л у ш а

Право так. С чего мне врать?
Ведь врут с лицом открытым, я ж под маской, —
Мне правда не трудна.

Н а с л е д н и к

Плутовка,
Я знаю, кто тебе любезен.

Л у ш а

Кто?

Н а с л е д н и к

Тот кавалер, что в пурпуре блистал!

Л у ш а

Ах, нет!

Н а с л е д н и к

Не нравился?

Л у ш а

Нисколько!

Н а с л е д н и к

А почему?

Л у ш а

Общипанный петух!

Н а с л е д н и к

Молчи, молчи! Все маски говорят,
Что пурпур был на будущем царе.

Луша

Ай-я-я-яй!.. Ну, нас никто не слышит.
А ты, надеюсь, не расскажешь
Проклятой немчуре.

Наследник

Ни-ни!

(Уходят.)

Появляется Волков.

Волков

Похожи люди здесь на жалких мух,
Ну, так и липнут на зловонье,
Которое должно носить корону...
Спаси, Господь, Россию от позора!

Входит Элиза вдомино.

Элиза

Мой принц...

Волков

(погрожая голосу принца.)

Что ты мне скажешь, маска?

Элиза

Пусть говорит кольцо.

Протягивает руку. На мизинце кольцо с рубином

Волков

Красивое кольцо!

Элиза

Оно вам все сказало, принц?

Волков

А что оно сказать должно?

Э л и з а

Тот человек, чье имя вам известно,
В субботу отбывает, принц.

В о л к о в

Куда?

Э л и з а

В Голштинию.

В о л к о в

О, милая Голштинья!

Э л и з а

Оттуда с быстротой стрелы —
К владыке Пруссии, к герою.

В о л к о в

Пусть другу-королю мой отвезет поклон.

Э л и з а

Один поклон?..

В о л к о в

Нет, тысячу поклонов.

Э л и з а

И только, принц?

В о л к о в

Коль мало, я могу прибавить:
Три тысячи поклонов! Десять тысяч!

Э л и з а

Мой добрый принц шутить изволит?

Волков

Вы недовольны?

Элиза

Господин фон Хоф
Сказал...

Волков

Что он сказал?

Элиза

Что в понедельник
У государыни в покоях состоялось
Министров русских совещаенье...

Волков

Да!

Элиза

С присутствием высоким вашим...

Волков

Да!

Элиза

И план был утвержден компании...

Волков

Да!

Элиза

Вы дали обещаенье, добрый принц,
Для друга-короля и в этот раз
Так точно, как и в прошлые разы...

Волков

(стремительно.)

Да, да, да, да, да, да!.. Понятно.

Пауза.

Приподнимите маску на мгновение.
Кольцу, сударыня, я верю,
Но сообщенье важности такой,
Что прежде чем его отправить к другу,
Желаю видеть я — и знать:
С кем говорю. Приподнимите маску!

Элиза берется рукой за маску. Входит Наследник.

Наследник

Снимай-ка, Волков, пурпур мой!
Твой жалкий облик не дает победы.

Элиза исчезает. Волков вновь меняется маской и плащом с Наследником. Уходит.

Наследник

Как справедливо вешать всех пиратов!
Испанского я б вздернул хоть сегодня.

Появляется Элиза.

Элиза

Мой принц...

(Показывает кольцо.)

Наследник

Все ясно. Что хотите?

Элиза

Мой принц, ваш пурпур обманул меня.
Я Волкова просила...

Наследник

Дура!

Элиза

Мой добрый принц...

Наследник

Кольцо!.. Кольцо!..
И с маскарада прочь сию минуту!

Элиза отдает кольцо Уходит.

Н а с л е д н и к
(играя кольцом.)

За ним сей час, как за лисицей,
Пущу собаку в ложный след...
Эй, паж! Сюда! Стрелой! С девизом!..
А мне, как льву, собака не страшна.

Входит паж с искусственным апельсином Наследник берет его и,
раскрыв, кладет вовнутрь кольцо.

Н а с л е д н и к

Девиз ты этот передашь
Оранжевому домино... Лети. Несись.

Паж убегает Принц уходит Появляются Умской и Луша.

У м с к о й

Лукерья Тимофевна...

Луша

Я — пират!

У м с к о й

То верно. И жестокий.

Луша

Очень!

Но вас, прелестная Психея, накажу.

У м с к о й

Молю о том.

Луша

Оставлю вас в покое

И буду грабить сердце у других.

(Убегает.)

Умской — за ней Входит Софи в оранжевом домино.

Софи

(у нее в руках девиз-апельсин.)

Кольцо... Рубин в кругу алмазов...
И буква «эф»... Французское...
Что б это означало?.. Буква «эф»?..
Ах, если бы на камне я прочла
Столь милое для сердца — «вэ»...
«Вэ»!.. Волков мой... О, право,
Я прыгала б, как шустрое дитя,
И знала, что кольцо прислал любимый...
Но «эф»... «эф»?.. Странная загадка...
Кто может быть под этой буквой?..

Пауза.

Вот глупая!.. Какой же стыд тебе!
Вот голова, лишенная соображенья:
«Эф» — Федор!.. От него кольцо.

Входит Волков.

Волков

Софи... Всю ночь ловлю вас среди масок...

Софи

Вот удивление!.. И я
Весь маскарад ловила свое счастье,
Но разве счастье уловимо?..

Волков

Да!
Вот и поймал.

Софи

Всего лишь руку дамы.

Волков

Но руку этой дамы...

(Подносит к губам, видно кольцо.)

Софи

Что?

Волков

Кольцо...
Кольцо?..

Софи

Прелестное кольцо.

Волков

Рубин среди алмазов... Буква «эф»...

Софи

Оно знакомо вам?

Волков

Знакомо.

Софи
(с улыбкой.)

Да неужели?.. Вот не думала...

Волков

Конечно!
Для вас сюрприз, я думаю, несносный.

Софи

А почему ответ такой суровый?

Волков

Когда бы я не словом отвечал,
А выстрелом из пистолета в грудь,
То и тогда б ответ был слишком мягок.

Софи

Я вас не понимаю, сударь.

В о л к о в

И мне понять вас не легко, не просто!
Что за душа, сударыня, у вас?
Где ваше сердце?..

С о ф и

Нет его.
А вы — двумя разбогатели.
Ведь я вам, сударь, отдала свое.

В о л к о в

Когда бы ваша речь была правдива,
Я разорвал бы грудь ногтями
И вырвал прочь — то сердце черное,
Что получил, сударыня, от вас.
А вырвав, кинул псам... Нет, змеям!..
Собаки мне любезны, — их
Я не хочу кормить смертельным ядом!

С о ф и

Вы обезумели...

В о л к о в

Вот радость!
Уж лучше жить с пустою головой,
Чем в ней носить злодейский мелкий ум!
Кто вы?.. Как имя вам?..

С о ф и

Софи.

В о л к о в

Вы лжете!.. Господом клянусь!..

С о ф и

А как же звать меня?..

В о л к о в

Изменой.

С о ф и

Чудовищное имя.

В о л к о в

Это правда.

С о ф и

И от чудовища вы не бежите?

В о л к о в

Бегу, бегу!.. Чтоб никогда не видеть боле!

Расходятся в разные стороны. У выхода из галереи Волков
сталкивается с Сумароковым.

С у м а р о к о в

Куда бежишь? Не в дом ли? На покой?

В о л к о в

Нет на земле его!

С у м а р о к о в

То верно. Он в земле.

В о л к о в

Туда — к червям — спешить не буду.

С у м а р о к о в

Кумпанья мрачная. На бале веселей.

В о л к о в

Казалось на тропинке жизни
Я встретил ангела. Лишь крылышек
У плеч ему и не хватало!

Сумароков

Быть может, не ему, а ей?

Волков

Но и без них, без крылышек, на небо
Меня он возносил.

Сумароков

Быть может, возносила?

Волков

И этот ангел, на землю слетевший,
И этот ангел с светлым ликом,
С лазурными безгрешными очами
Служил... служил — в шпионах!

Сумароков

Божьих?

Волков

Нет.
В шпионах у голштинца, у Петра,
Престола русского — наследника,
А он — тот без минуты венценосец —
У пруссака, у Фридриха Второго
В шпионской службе!

Сумароков

Тише!
Об том кричать на бале не полезно.

Волков

Царица мне пожаловала шпагу,
Но шпага та — символ лишь благородства —
Она тупа. Клинок комедиантский.
Чтоб наточить его, чтоб стал

Острей, чем бритва брадобрея,
Клянусь: я собственное сердце
В твердейший камень обращу
И наточу старательно на нем
Безжалостную сталь. Нет, и тогда
Ребяческим мое оружие будет.
Пускай язык, глаза мои и мысли
Клинками станут! Боже, помоги
Всем естеством, всем существом
Мне обратиться в шпагу. В шпагу! В шпагу!
Других желаний я теперь не знаю.
Одно! Все остальные прочь!
Им места нет свободного в душе.
А коль они появятся, клянусь,
Их выгоню пинками в зад. Когда ж,
Согласно высшей воле, обращусь
В клинок разящий, — о, молю:
«Дай, Господи, мне силы обезглавить
Ту женщину, которая была
Любимей жизни, матери дороже,
Милей ребенка, ближе, чем сестра».

Сумароков

Она...

Волков

Клянусь, она ходить не смеет
По русской по святой земле.
А что касается...

Сумароков

Сюда идут.

Волков

До господина принца...

Сумароков

Тише!

Волков

Ему не скипетр российский,
А тыкву русскую иль репу
Грешно держать в руке поганой.

(Уходит. Сумароков вслед за ним.)

Пауза Маски-тени танцуют менуэт. Входит Елисавета в наряде матроса, Наследник, барон Гульберс и паж.

Елисавета

От танца что-то голова кружится.

Наследник

Лейб-медика! Бургаве!

Елисавета

Паж, обратно!
Мне медиком послужит легкий отдых.
Всего лишь навсего устала я от танца.

Наследник

Паж, канапэ!

Елисавета

Обратно, паж.
Где ж видано, чтоб русские матросы
На канапах валялись?.. Дайте стулец.

(Пошатнулась.)

Наследник

Воды! Воды!..

Елисавета

(тихо.)

Обратно, паж.
Кто ж воду пьет на маскараде.
Вина, дружок.

Н а с л е д н и к
(в сторону.)

Комедию играет. Пусть!
Под музыку и сдохнет. Без попа.

Паж идет за вином. Входит князь Урбатов. Он в кафтане и без маски

Князь Урбатов
Эй, паж!.. Где их величество?
(Узнав Елисавету.)

Отчизны мать...

Елисавета
Как вы посмели, князь,
Явиться в маскарад без маски?

Князь Урбатов
Отчизны мать...

Елисавета
Посмели как
Меня под маской распознать?

Князь Урбатов
Отчизны мать, твои преславные полки
Вошли в столицу Пруссии, в Берлин.

Елисавета целует князя. Музыка играет торжественно

(Занавес.)

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена 1

Комната.

Софи, Григорий Орлов, Потемкин. Входят Сумароков и Волков. Он останавливается в дверях, увидев Софи

Волков
(тихо.)

Куда вы привели меня?

Сумароков

Туда,
К кому ты, Волков, бешено стремился.

Волков

Искал друзей отечества, а здесь...

Сумароков

Они.
Актер российский Федор Волков.

Орлов

Орлов.

Потемкин

Потемкин.

Софи

Мы знакомы.

Сумароков

Бери-ка стул. Садись.

Волков

Благодарю покорно.

(Не садится.)

Орлов

(наливая вино в бокалы.)

Да, брат Потемкин, всюду немцы.
Народ российский в трауре печальном
По государыне усопшей.
Они ж и гнусный их голштинец,
Носы пивные поздрав,
С нахальством веселятся.

Потемкин

К черту!

Сумароков

Директор кто во храме Мельпомены?
О, муки ада, — Гульберс!

Потемкин

К черту!

Сумароков

Нет, на российской ныне сцене
Трагедьи не российские играть,
А немец! Немцев! Немцев!..

Волков

Графин, бокалы, Александр Петрович...

Сумароков

(опрокидывая.)

Сам Вельзевул их под руку подставил.

Софи

К добру, мой друг, разбитое стекло.

Сумароков

К добру! К добру! А где оно — добро?
Должно за ним нырять на дно
Бушующего злобой жизни — океана?
Нет — ближе к нам бутылки дно.
Клянусь, что там добро найдешь скорее!
О новом слышали указе для театра?
Актера Волкова в науку отсылают,
О, фурии! — куда? К кому?

Софи

К кому ж?

Сумароков

В Берлин! К прусакам! На Олимп пивной,
Где в Апполонах жирный боров служит!
А Лушеньку, великую актерку,
Со сцены — брысь! Мужичка, мол! Обратю
В трактирный дом!
Колбасы подавать Топфулю!
Фома ж Ильич, кумир Санкт-Петербурга,
Достоин только с физии чванных
Волосья бритвой соскребать!
В три шеи вон Умского из театра!
В цирюльню! В брадобреи! Муки ада!

Орлов

Измайловцы, семеновцы, преображенцы,
Вся гвардия, рожденная Петром,
Задвинута в бессветные задворки.

Потемкин

Осадить царя-голштинца с трона!
То наш солдатский долг перед отчизной.
За это пью, Орлов!

Орлов

За то, Потемкин, пью!

Потемкин
(Волкову.)

А вы?

Сумароков

А он за это пить не станет!

Потемкин

Что?!

Сумароков

Клянусь! Что пить за это из наперстка
Не будет Волков! Ставьте перед ним
Орла Большого кубок, выпьет залпом.

Потемкин

(Волкову.)

Тогда: до самой гробовой доски
Вы друг Потемкина!

Орлов

Орлова!

Обнимают его, целуют

Софи

Друзья, мои,
И я за это кубок осушу.

*(Чокается с Орловым, с Потемкиным, с Сумароковым и
протягивает руку с бокалом к Волкову.)*

Волков

(отстраняя свой бокал.)

Сударыня... увольте.

Потемкин

Что!

Волков

Я осушаю честное вино,
Лишь с тем... кто честен.

Орлов

Сударь,
Вы слышите слова свои?

Волков

Прекрасно.

Потемкин

Об них имеете ли, господин актер,
Привычку неплохую — думать?

Волков

Да!
Привык. И повторяю: пить вино
Не буду я с особой той, которая
Во дни окровавленные войны
Служила честно, но в бесчестной службе.
У немца-короля! У Фридриха Второго!
Ему и Пруссии свирепой
Свою отчизну продавала!

Орлов

Софи Игнатьевна...

Волков

С особой этой,
Я пить вино не буду, господа!
Я кубок свой с ее не сдвину кубком.
Вот если б, на беду России,
Мы третьему Петру хотели долголетия,
И возведя измену в добродетель,
Изменниками стали пред отчизной,
Таковыми ж точно, как она, —
О, вот тогда бы, господа,
Я с госпожой Игнатьевной звенел
Своим заздравным кубком.

(Разбивает бокал.)

Орлов

Беги, Потемкин, за водой холодной,
У бедного актера пылкий ум
Зашел за разум!

Потемкин

К черту ум сбежал!

Волков

Не я, а вы безумны, господа.

Потемкин

Слышал, Орлов?

Орлов

Слышал, Потемкин?

Потемкин

Безумец нас безумцами зовет.

Волков

Зову! Коль верите безумно,
Что и душа у этой дамы
Такой же чистоты небесной,
Как и глаза ее, сияющие нам,
Все лжет у женщины —
От золотого волоса на голове,
До ноготка на крохотном мизинце.

Орлов

Коль, сударь, вы в своем уме, —
Язык ваш гнусен.

Потемкин

Подл!

Софи

Нет!
Он прям и честен.

Потемкин

Прям?

Орлов

И честен?

Софи

И был бы справедлив, как небо,
Когда б
По-человечески не ошибался.

Волков

Ложь!

Орлов

Но если, сударь, в том, что вы сказали,
Хоть малая крупица правды есть...

Волков

Мизернейшей крупицы нет — неправды!

Орлов

А почему до сей поры молчали?

Волков

В тот день, верней сказать, в ту ночь,
Когда ее преступство я увидел
Так ясно, господин Орлов,
Как... вижу вас перед собой
В ту ночь...

Софи

Фортуна сочинила
Жестокую комедию над нами.

Волков

Вы сочиняете комедию сей миг.

Софи

И той же ночью... Боже, что за ночь!
Я тяжело заболела.

Волков

Это верно.
Вот моего молчания причина.

С о ф и

И у моей постели много дней,
На шаг не отходя от изголовья,
Стояла смерть...

В о л к о в

Там я познал
Карающую руку. Небеса,
Казалось мне, вмешались в жизнь земную.
Вот глупые надежды!

С о ф и

Сударь,
Кольцо с рубином, в маскараде
Мне паж принес — в девизе, в апельсине,
Не сразу я дозналась, но дознаюсь,
Что был презент тот страшный от голштинца.

В о л к о в

Презент?.. Голштинца? Перстень этот?

О р л о в

Какой презент?

П о т е м к и н

Кольцо?

О р л о в

Какое, чье кольцо?

С о ф и

Вам, господа, я после расскажу.

(Волкову.)

А буква «эф»... Вас Федором зовут...
Мне подсказала лживую догадку
И сделала на миг счастливей, чем была.

Волков

Безумец я...

Орлов

А что мы говорили!

Потемкин

Стань на колени и проси прощенья.

Волков

Об нем молить не смею.

Входит князь Урбатов.

Князь Урбатов

Пассак арестован.

Потемкин

(вскакивая.)

Орлов, за шпаги!

Орлов

На коней, Потемкин!

Софи

Да, — на коней, за шпаги: заговор открыт.

Князь Урбатов

Минута промедления — тревожна.

Опасен час, а день...

Софи

Погибелен!

Потемкин

(берет плащ.)

Орлов!

Орлов
(берет плащ.)

Потемкин!

Князь Урбатов
С нами Бог!

Софи
И родина.

Потемкин
Софи, перекрестите.

Орлов
Екатерина Алексеевна в Петергофе,
Мой брат туды за ней поскачет.

Софи
Велю впрягать в карету лошадей.

Орлов
Четверку.

Потемкин
Бешенных!

Князь Урбатов
Нет, сильных.

Орлов
А я — в гвардейские казармы.

Софи
К измайловцам.

Потемкин
Я — в конный, в свой.
Вся гвардия ждет матушку давно.

Сумароков

Ая?..

Софи

К чернилам, друг мой, за перо.

Сумароков
(насмешливо.)

Вот грозное оружие для врагов.

Софи

У Сумарокова в руке —
Оно грозней, чем медная мортира.

Князь Урбатов

А я, друзья, в Голштинский лагерь.

Орлов

Тыщенки, верно, будет с полторы
Сей гвардии пивной вокруг пигмея!

Князь Урбатов

Не знаю с кровью иль без крови,
Но от короны русской отречение —
Подписывать голштинскому царю!.. Скачу.

Софи

Одну минуту, князь!

Князь Урбатов

Не больше.

Софи
(Волкову.)

Покойной государыней вы, сударь,
Пожалованы шпагой благородной...

В о л к о в

Сударыня, не в шпаге благородство,
Но в сердце и в душе.

С о ф и

Тогда —
Тройным оружием, сударь, вы сильны.
И князю предложив его,
Отечеству окажете полезность.

В о л к о в
(горячо.)

Я был бы счастлив, князь!

Князь Урбатов

Я также.

В о л к о в
(тихо Софи.)

Не знаю, свидимся ли с вами...

С о ф и

Бог не без милости.

В о л к о в

Но все же
Хочу сказать вам при расстаньи...

С о ф и

Счастливого пути. Вас ожидают.

В о л к о в

Что ожидает? Что? — Прощенье ль,
Столь незаслуженное мной,
Иль наказанье по заслугам?

Софи

Я — женщина. Счастливого пути.

Опускается занавес-панно.

Сцена 2

Дворцовая галерея За сценой радостные крики народа. Полковая музыка. Звон колоколов. Окна паж.

Паж

Народ-то русский как ликует,
Что дали по шеям голштинцу.

(Уходит.)

Появляются Орлов и Потемкин

Орлов

На улицах, Потемкин, и в домах
Целуется народ, как в светло Воскресенье.

Потемкин

Должно, Орлов, во всем Санкт-Петербурге
Лишь мы с тобой еще не целовались.

Троекратно, как при христосовании, целуются. Проходят. Вбегает паж. Вслед за ним входит Волков. У него в руках бумага, свернутая в трубочку.

Паж

Вас, сударь Волков, Матушка изволит
С великим нетерпеньем ожидать.

(Убегает.)

Пауза на музыке Входят Екатерина и Софи.

Екатерина

Донесено мне, сударь Волков,
Что вам в политике, как и в театре,
Сопутствовал успех отменный.

Вы оказали родине и нам
Знатнейшую услугу.
В долгу мы не хотели б оставаться,
А потому вас жалуем от сердца:
Дворянством русским и помещьем.

В о л к о в

За милость щедрую благодарю покорно,
Но дерзостно у государыни прошу
О большей милости.

Е к а т е р и н а

Какой же?

В о л к о в

Не жаловать меня помещьем и дворянством!
Молю оставить в прежнем званье —
Свободного, российского актера.
Оно, как жизнь, мне дорого и мило.

Е к а т е р и н а

Мы более всего желаем, сударь,
Желанья ваши исполнять всемерно.

В о л к о в

Есть у меня друзья... два друга:
Фома Ильич Умской и Луша.
Меж ними, государыня, любовь.
Об ней бы стихотворцу рассказать...

С о ф и

Российские Ромео и Джульетта.

Е к а т е р и н а

Что ж им мешает пожениться?

В о л к о в

Упряма больно мать у Луши.
Который год одно твердит:

«Не дам благословенье за актера!
Супругом будет дворянин, с помещьем!
Ослушаешься, дочка, — прокляну!..»
И вот друзья мои как свечки тают —
От горя и любви...

Е к а т е р и н а

А вы — с сочувствия?

В о л к о в

Беда друзей — моя беда.

Е к а т е р и н а

Конечно.

Что ж, надо выручать: Фома Ильич —
Российский дворянин с помещьем.

В о л к о в

(опускаясь на колени.)

О, государыня!..

Е к а т е р и н а

Я только долг плачу.

*(Раскрывает веер в одну сторону — он белый,
в другую — черный.)*

Е к а т е р и н а

Быть может, этот веер вам знаком?

В о л к о в

Нет... да... немного... чуть...

Е к а т е р и н а

Встречались с ним?

В о л к о в

Как будто.

Екатерина

Где?

Волков

В трактирном доме.

Екатерина

Тсссс!

У стен дворцовых уши, уши, уши.

Потом я косточек не соберу.

А этот веер... Ближе подойдите...

И наклонитесь...

(шепотом.)

Это — тот, трактирный.

Потом лежал лет шесть в ларце, —

Вот тут пера недостает... попорчен,

Теперь бы я не прочь его исправить

И вновь обмахиваться на балах.

Волков вынимает из бокового кармана черно-белое перо.

Екатерина

При вас?..

Волков

Я с ним шесть лет не расставался.

(Возвращает перо.)

Екатерина

Мерси... Теперь скажите нам:

Хоть маленькое есть достоинство —

У тайны?

Волков

О, большое!

Екатерина

Так. В чем?

Волков

Ее...

Софи

Открыть приятно?

Волков

Да.

Екатерина

Софи, напомните-ка нам: тогда...

(Шепотом.)

В трактирном доме... сударь Волков
О чем-то, кажется, побился об заклад?

Софи

Он против иноземцев говорил:
Что цвезть в России русской Мельпомене
Столь пышно, как в Саду Эдемском,
А вы, перо орлиное даря,
Ему, как будто, обещанье дали:
Коль сможете, когда-нибудь, помочь
Но вот не знаю...

Екатерина

Что?

Софи

Да можете ли вы?

Екатерина

Без помощи,
Что ныне оказали мне друзья,
Уж верно, не смогла бы.

С о ф и

Да, государыня,
Из каземата — это трудно,
А Петр Третий вам его готовил.

Е к а т е р и н а

Теперь же мне полегче это сделать.

С о ф и

Чуть-чуть.

Е к а т е р и н а

(Волкову.)

Что ж вы желаете, мой друг?
В чем видите роскошное цветенье
Российской нашей Мельпомены?

В о л к о в

В служении любезному народу.

Е к а т е р и н а

Народ — «король над королями».

В о л к о в

В честь короля того — моя мечта
Величественный дать спектакль.
Акторов тысячи и сотни колесниц!
Хоры, музыка, пляски, маскарады!
Всем добродетелям воздвигнуть троны
И славу петь прекрасными стихами!
Все гнусные, все мерзкие пороки
Поджаривать на пламени сатиры,
Как грешников в аду.

Е к а т е р и н а

Согласна. Одобряю.
Сомненье только в том имею,
Где сцену, сударь, нам достать,
Для столь великого спектакля?

В о л к о в

Прошу дозволить крыши и балконы
И улицы и площади, сады
Мне сделать театральной сценой,
Кулисами ее — седые переулки,
Свечами — солнце, зрителем — Москву.

Е к а т е р и н а

Не только, сударь, позволяю вам,
Но буду, сколь могу, стараться
Служить помощницей у режиссера.

С о ф и

Какая грусть! — всего один спектакль?

В о л к о в

Он будет длиться полную неделю.

С о ф и

Какая грусть! — всего семь дней?
А их в году поболее трех сотен.
К тому ж в Москве не райские погоды.
Играть на улице... А если грянет дождь?
Кто освещать спектакль будет — солнце?
Светило дивное! Но, Боже мой,
А вдруг оно — за тучу спрячется?..
Нет, сударь, женский малый ум
Практичней и трезвей мужского:
Я думаю, что про запас, на случай,
Иметь ей хорошо порядочные стены
И крышу крепкую над головами.

Е к а т е р и н а

Нет, милый друг, народ российский,
Его преславные актеры и актеры,
И благородные трагедьи наши,
В которых Федор Волков представляет

Достойны разве крыши черепичной?..
Мой друг Софи, я мыслю по-иному
И вижу...

Софи

Что над головами?

Екатерина

По крайней мере — купол золотой.

Софи

То нам не в огорченье будет:
Ведь золото не пропускает воду.

Екатерина

Не скромный дом, но дивный храм
Воздвигнем мы российской Мельпомене.
А в день,
Когда перед потоком толп народных
Откроет храм свои широки двери,
Сама богиня будет на пороге
Зеленым лавром вечной славы
Венчать...

Софи

(нетерпеливо.)

Кого?

Екатерина

(с улыбкой.)

Кого-нибудь.

Софи

Как будто, сударь, вы не проиграли
Пари, что с иноземцами держали.

Екатерина

По этой именно причине
Для Гопфуля, Шапо, Элизы и Пупини,
Спесь наказуя, чванство не щадя,

Позлее, сударь, выбирайте роли.
А мне избрать, прошу дозволить,
В спектакле жизни ролю для себя.

Пауза

Что ж вы молчите? Сударь мой, я в страхе:
Нельзя?

Волков

Помилуйте.

Екатерина

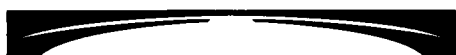
Тогда я выбираю ролю: свахи.

(Берет руку Софи; руку Волкова и соединяет их.)

Конец комедии

10/VI — 44 г.

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ**



«ТАКСА-КЛЯКСА» (1927)

Жили-были
Такса «Клякса»,
Сапожник вакса,
Мальчик плакса,
Попугай «Попка»,
Сапожная щетка
И сердитая тетка.

Таксе Кляксе
Сказала тетка:
— Я пойду за селедкой,
За мясом,
За квасом,
И зубным порошком,
А ты стереги дом.

Только что села Клякса в воротах,
Привязалась к ней позевота...
Разевает такса рот
Шире ворот.
Разевала, разевала, пока не надоело,
Тогда клякса придумала новое дело.

На стене в комнате висела рама,
В раме дама:
Теткина тетка
В три подбородка.
Взяла Кляксу
В одну лапу ваксу,
В другую щетку

И с песенкой
По лесенке

К теткиной тетке —
Шварк! Шварк!
Теткину тетку
Сапожной щеткой
Раз — шварканула,
Два — шварканула,
И ахнула:

«Вот так да!
Выросли у тетки
Усы и борода».
Теткину тетку
Увидя с бородкой,
Закричал из клетки: «Ай!» —
Зеленый попугай.

— За такие слова, —
Сказала Клякса, —
Получай, глупая голова,
Порцию ваксы.
Стал Зеленый умолять Кляксу
Очень робко:
— Не хочу ва-а-аксы...
Я не сапог,
А Попка...
Был Попкой с перышками зелеными,
А теперь стал вороной.

Увидя в клетке ворону,
Запищал из люльки мальчонок:
— А где Зеленый?
— Тебе Зеленого?.. Ложись на пузо!
И принялась Клякса
Мазать ваксой
Карапуза.
Раз — шварканула,
Два — шварканула,
И ахнула:
Был белый ребяенок,
А стал негритенок.

Вдруг...
С мясом,
С квасом,
С копченой селедкой
Явилась тетка.

Что тут было!
Что тут было!
Сердитая тетка
Едва отмыла
Своего племяшку
И Попку.

А теткина тетка
В три подбородка
Так и осталась
На всю жизнь с бородкой.

МЯЧ-ПРОКАЗНИК (1928)

Вот так штука! Вот так дело!
Рассердился мячик белый:
«Не желаю я без толку
В магазине жить на полке».

И в один прекрасный миг
Прямо с полки на пол: прыг!
С пола в дверь, из двери вскачь,
По Тверской пустился мяч.

Но лишь сделал первый шаг,
На дороге грозный враг:
С грязным старым сапогом
Повстречался мячик лбом.
Огорошила
Калоша,
Дамский маленький каблук —
По затылку больно — стук!

Вот так штука! Вот так дело!
Рассердился мячик белый.
И, надувшись сколько смог,
От калоши влево — скок!
На пути стоял барбос,
Он барбосу прямо в нос.

От барбосиноного носа
Угораздил в папиросы.
Папиросы все на лужу,
Ящик в лужу,
Мальчик — шлеп!
Вот так штука! Вот так дело!
Испугался мячик белый.
Глупо то? Или умно?
Только мячик — прыг в окно.

Вот так дело! Вот так шутка!
За обедом бабка с внуком
Ели суп
Из манных круп.
Мяч на стол и прямо в миску.
Фырк! Из миски кверху брызги.
Полетели в потолок
Клецка, репка и пупок.
Вот так штука! Вот так дело!
Испугался мячик белый
И пустился наутек:
Со второго этажа
Весь дрожа и чуть дыша —
Скок!

Штучку выкинув такую,
Мяч упал на мостовую.
А на той
На мостовой
Тарарам и гам и вой.
И машины,
И пролетки,
И шипят сердито шины,

И колеса, как трещотки,
И гудки вовсю гудят,
И извозчики кричат.

Вот так дело! Вот так штука!
«Здесь не жизнь, а просто мука!»
Рассуждает мячик с гневом:
«Рассудите сами здраво —
Тот кричит: держите вправо!
Этот вот: держите влево!
А лихач: поберегись!»

Вдруг:
Мячик бледный, мячик белый,
Видит —
Прямо на него
Ни с того и ни с сего,
Поднимая тучей пыль,
Мчит,
Летит
Автомобиль.

Что случилось, как все было,
Рассказать мне не под силу.
Поглядите сами лучше
Поскорее на картинку:
Кто сидит в автомобиле
На пружинистой подушке,
Прислонившись к мягкой спинке,
И несется по Тверской,
Словно он буржуй какой!
Вот так шутка! Вот так дело!
Ведь буржуй-то — мячик белый!

БОБКА-ФИЗКУЛЬТУРНИК (1930)

- Здравствуйте, здравствуйте! Прибыл на Спартакиаду.
- Здорово, товарищ! Очень рады.
- Имя?
- Бобка.

- Фамилия?
- Боб.
- Отечество?
- СССР.
- Родина?
- Конотоп.
- Вес?
- Петуха.
- Рост?
- Тросточки.

Жилка к жилке

Косточка к косточке.

Прыжок «ласточкой»

Не успели крикнуть «Ах!

Здесь глубоко, Бобка!»

А уж Бобка на волнах

Прыгает, как пробка.

Роллер

Извозчик клячонку
пустил в галоп,
такси запыхалось,
трамвай весь в мыле:
на маленьком роллере
Бобка Боб
обогнал их
на целую милю!

Городки

Бобка ловок, меток Женя;
физкультурники всерьез!
Третий день идет сраженье
на лужайке у берез.
Ставят «змея», «рака», «пушку»,

и «колодезь», и «окошко»,
рюшки скачут, как лягушки,
даже квакают немножко...
А конца все нет сраженью
на лужайке у берез,
потому что Бобка с Женей
физкультурники всерьез.

Велосипед

Вы слышали, вы видели:
у Бобкина велосипеда
с ума сошли педали?
Тр-р-р-р-р-р!..
На что же это похоже,
и колеса у велосипеда
с ума сошли тоже?
Пш-ш-ш-ш-ш-ш!..
Ах!.. Ох!.. Ух!..
А если
Бобка свалится
на полном ходу?
«Не бойтесь, — кричит, — не упаду!
Сижу на велосипеде,
как бабушка в кресле!
Ду-ду! Ду-ду! Ду-ду!»

Прыжок через речку

Не к чему строить больше мостов —
Бобка прыгать всегда готов.

Бег

Бобка бежит с эстафеткой,
а товарищ-малыш
говорит
карапузу-соседке:
«Это не человек, а мотоциклетка!»

Волейбол

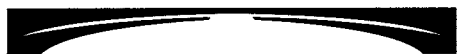
Будет удача!
Игра горяча:
Бобка скачет
Выше мяча.

Крокет

Бобкина берет!
Сыграно ловко —
всем ударам
это удар:
двое ворот
и мышеловку,
проскочил
Бобкин шар.

Героя Спартакиады — Бобку Боба —
на вокзале встречает пол-Конотопа.

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ



ПОЛТОРА МЕСЯЦА НА ШХУНЕ «УТРО»

(Отчет ученика-экскурсанта)

В Петрограде семь лет существует Комитет Морских экскурсий, поставивший себе целью воспитывать в молодежи любовь к морю и склонность к морской службе. Для достижения этой цели комитет каждое лето устраивал морские экскурсии в Балтийское море, на принадлежащих ему учебн. судах «Утро» (парусная шхуна), «Ильмень» (пароход) и «Азия». Последнее судно назначено преимущественно для учеников низших и ремесленных школ, а первые две преимущественно для учащихся средних учебных заведений в возрасте от 14 до 20 лет. Шхуна совершала двухмесячное плавание, пароход «Ильмень» — тридцатидневное.

На шхуне экскурсант платит за содержание 100 рублей, а на пароходе 50 рублей. За эту плату экскурсанты получают продовольствие во время плавания и матросский костюм (в собственность). При проезде в Петроград и обратно экскурсанты пользуются на железных дорогах скидкой в 50%.

Жизнь экскурсантов проходит применительно к режиму на военных судах. Экскурсанты исполняют все матросские работы и отбывают вахты. Независимо от этого их обучают военному строю, стрельбе, гребле на веслах в шлюпках. В пути экскурсанты осматривают под надлежащим руководством встреченные суда, портовые сооружения, а также и портовые города.

Несомненно, что такие экскурсии в высшей степени полезны: судовая дисциплина и общие работы служат отличнейшими воспитательными средствами, правильный режим и постоянное пребывание на свежем морском воздухе отлично укрепляют здоровье, вместе с тем и значительно расширяется круг знаний.

Ввиду этого летом настоящего года гимназией С. А. Пономарева командированы три ученика: среди них один (7 кл.) и два (6 и 5 кл.) на пароход «Ильмень».

Ниже печатается извлечение из отчета ученика А. Мариенгофа, плававшего на шхуне «Утро».

8 июня 1914 г. мы были приняты на шхуну. Она напоминала благоустроенную волжскую барку, — чистая, опрятная, с запахом свежей окраски. Три голые огромные мачты уходили в небо, на флагштоке повис яхт-клубский флаг. Бегали запачканные краскою кадровые матросы. Мы спустились в сопровождении «старых морских волков» (т. е. совершающих уже не первое плавание в экскурсантскую каюту. Это большая полутемная комната. По стенам в два ряда полки — наши будущие койки. У потолка подвешены ровно сколоченные доски, покрытые клеенкой — это висячие столы; несколько подвесных коек, табуреты, скамейки среди комнаты, обыкновенный («мертвый») стол — вот обстановка каюты. Тотчас нас распределили по отделениям, а затем выдали рабочее платье. И в несколько минут гимназисты, реалисты, кадеты, до сих пор некоторые имевшие вид довольно фатоватый, — обратились в однообразно одетых «моряков». Еще через несколько минут в люк высунулась голова вахтенного старосты, раздался свисток, и команда: «1-е отделение медяшку чистить», «второе на помпу», «третье палубу мыть», «4-е стекла протирать» и т. д.

В полдень был молебен перед отплытием. При этом присутствовали родители экскурсантов и другие посетители. К четырем часам шхуну очистили от публики, а в 4 ч. 15 м. с криками «ура», отшвартовались. Мы плыли на Кронштадт.

По пути нас обогнали катер с Саксонским королем. Утром у меня первая служебная неприятность: проспал рабочее время и получил выговор от командира и наказание чистить компас в то время, как товарищи будут отпущены на берег. В Кронштадт прибыли в 11 ч. утра 9 июня.

В Кронштадте стояла английская эскадра. Вечером нас повели осматривать дреноут «Lion». Встретили нас радушно. Показали все, что можно было показать, и объяснили

все, что можно было объяснить. Мы узнали, между прочим, что дреноут делает до 32 узлов в час (56 верст), а 12-дюймовые его орудия стреляют на 25 миль. Мы были на «Lione» в обеденное время и нас угощали чаем и печеньем.

Возвратились мы очень довольные, веселые, но перемазанные и перепачканные вследствие странствований по бесконечным машинным отделениям, люкам и лестницам. Пришлось заняться стиркою своих костюмов. На другой день шквал и косой дождь. Мы надели дождевые плащи, что дало право воображать себя уже «старыми морскими волками».

13 июня — на третий день нашего плавания в открытом море — первая качка. Некоторые уже страдают морской болезнью. Избежавшие болезни, свободные от работы, греются на солнце. По вечерам налаживается хоровое пение и сформировавшийся оркестр играет веселые мелодии, играет незатейливые вещи, хохот, веселье, всякие затеи.

14 июня в 8 ч. веч. пристаем к финляндским шхерам.

На другой день прогулки по острову, бесконечное питье кофе в уютных и чистых кафе.

16 июня снялись с якоря и направились к Гельсинфорсу. Но морское волнение и упорный ветер «в лоб» заставили вернуться на острова, за целый день сделали всего 2 и $\frac{1}{4}$ мили.

Наутро отправили лодку-шестерку в ближайший поселок за провизией, а сами остались ждать «у моря погоды».

18-го вторично тронулись в путь, плыли скучно, томительно медленно, 20 утром прибыли в Гольсинфорс, где и пробыли почти два дня, так что могли обстоятельно осмотреть этот нарядный и интересный город.

21-го вечером снялись с якоря. Пред нами длинный путь на Мальме.

Следующий день полный штиль. Убрали паруса и пустили в ход довольно слабосильный мотор. Только 25-го поднялся ветерок, и мы могли усилить ход. В этот день какая-то рыбацья ладья хотела «обрезать нос» нам и за это едва не поплатилась своим существованием.

27-го над морем повис туман, все скрылось в молочном сумраке, в пяти шагах ничего не различишь. На вах-

те весь командный состав. Стонут сирены и туманные горны. На корме засветили большой фонарь. Увеличили число «впередсмотрящих».

Все в дождевиках, настроение приподнятое и напряженное.

Утром, когда развеялся туман, оказалось, что мы окружены 35 парусными судами, идущими на Мальме. Город близко, это к стати, так как запасы провизии у нас истощились, мягкого хлеба давно не видели, солонина надоела.

Далее встречаем европейские и американские суда под всевозможными флагами. Наконец, 28 июля в 10 ч. веч. бросили якорь у Мальме.

На следующий день в 3 ч. дня начинаем осматривать город.

Наше внимание обращает отсутствие извозчиков (одни автомобили), бросаются в глаза исключительно белые костюмы мужчин и дам и обилие цветов, заражает уличное оживление.

Признаться нужно, что мы не могли проходить мимо кофеен и автоматов, и почти каждой кофейне отдавали дань.

Чистенькие, в свежей форме — 30-го посещение балтийской выставки в Мальме. Нам сообщили, что здесь мы будем встречать Шведского короля. Началась подготовка. Приложили все усилия, чтобы маршировка и строй были близки к идеалу, и чтобы хорошо выходило приветствие «здравия желаем». К 12 часам мы выстроились, — все чистенькие, в свежей форме, белых чехлах, подтянутые. Замерли. Входит король. Русский посол подводит его к нам и представляет. Замечаем, что король относится к представлению довольно безучастно. Через посла он передает нам, что здороваётся с нами, наш командир по-русски говорит послу, что в «сухую» мы не ответим. После переговоров посла с королем, последний едва слышно проговорил: «Bonjur!». Мы ответили свое «здравие желаем» на редкость стройно, громко, отчетливо.

Король как-то съежился и быстро вышел из комнаты. Мы остались разочарованные. Но угощение с приготовленного для короля стола (особенно фрукты) гладило обиду.

Затем до позднего вечера продолжался осмотр выставки. Возвратившись, нашли шхуну окруженной густой толпой любопытных. Мальчишки относились к нам не особенно дружелюбно, показывали языки (то же было потом и в Стокгольме).

1 июля утром зашел к нам на шхуну какой-то скромно одетый господин, совершенно седой, но державшийся ровно и прямо.

«Какой-нибудь поставщик» — решили морские волки. Но на этот раз, как впрочем и всегда, они ошиблись. Господин оказался русским адмиралом в отставке. Мы попали в глупое положение. Нужно было загладить ошибку, выстроились повахтенно и приветствовали адмирала. Он долго шутил и смеялся с нами, советовал не избегать «рукопашной».

2 июля в 9 ч. утра снялись с якоря и через семь часов прибыли в Копенгаген. Здесь пробыли три дня, которые без усталости посвятили осмотру города, — под конец ноги стали, как налитые свинцом.

В Копенгагене все нас приводило в восторг: и здания (особенно ратуша с шестиярусной залой и колоссальной башней, на которую взбирались по 480 ступеням) и приветливое отношение жителей.

6-го числа отправились, оставив в Копенгагене одного из товарищей, отправлявшегося в дальнейшее плавание. Идем на Либаву.

Теперь мы уже приобрели в работах навык и справляемся с ними быстро. Когда нечего делать, забавляемся лазанием на салинги (верхняя часть мачты — на 13-й сажени). Секундами захватывает дух, когда висишь так на вытянутых руках.

10 июля ветер чрезвычайно усилился. Появились подозрительные тучи. Убрали топселя и ждали шторма. Но к нашему неудовольствию он прошел мимо. Только сильная бортовая качка.

11 числа в 5 ч. веч. подходим к Либаве. Перед самой Либавой нам пришлось сделать при сильнейшем ветре поворот на форт-де-вент. В обыкновенное время этот поворот не труден, а при сильном ветре опасен. Поэтому трудные места теперь отданы кадровым матросам, а мы

у них лишь помощниками. Но и наше дело не из легких: постоянно срываешься, скользишь и катишься. Но вот поворот кончен. Крепим снасти, складываем концы и веселые разбегаемся по палубе, делясь впечатлениями и воспоминаниями, как кто шлепнулся и как кого с головы до ног окатила волна.

12 июля прибыли в Либаву, а ночью оставили ее и двинулись в Стокгольм.

13 июля качка, какой еще не было за все время плавания. Летают миски, чашки, табуреты, и наконец, и мы грешные. Одного еще ночью выбросило с койки. Впервые «морские волки» посылают морю нелестные приветствия. К полудню ветер стих. 14 июля в 5 ч. веч. отплыли в Стокгольм. Берега и шхеры удивительно красивы, не смолкают восторженные восклицания. В Стокгольме пробыли около трех суток. Первым делом, как любители спорта, посетили олимпийский стадион, а потом национальный парк и музеи. 17 июля устроены были шлюпные гонки по отделениям.

Наше отделение получило от командира, как приз, плитку шоколада. Перед отплытием видели шведский флот и салютовали ему. 18 в 9 1/2 ч. вечера снялись с якоря.

19-го за обедом «голодный бунт». Кок выдал очень маленькие порции. Пришел старший офицер и велел выдать сливочного масла и черного хлеба. В 9 1/2 вечера нас подняли с коек: пожарная тревога, а потом авральные работы. Ночью пришли в Гангут, чтобы быть на торжествах, посвященных двухсотлетию Гангутской битвы. Вечером в Гангут пришла эскадра миноносцев, но нас поразило то, что миноносцы были в боевом снаряжении, один из миноносцев направился, и командующий приветствовал нас. Мы грянули «Ура!». Миноносец подошел ближе и командующий спросил, откуда мы и куда направляемся. После ответа нашего ночью за нами пришли два катера и приказали немедленно отправляться в Лайвик.

Мы подняли паруса и двинулись. Настроение повышенное. По пути наблюдали, как снимали вехи, как взрывали в Ганг вокзал, телеграф, лоцманскую станцию. В 5 1/2 ч. вечера к нам подошел миноносец и объявил, что нельзя идти ни в Лайвик, ни в Ревель.

Но потом ввиду безвыходного нашего положения миноносец взял нас на буксир и повел в Лайвик. Через час с миноносца сказали, что получено радиограммой приказание оставить нас и идти на разведки. Мы бросили якорь. В 11 часов ночи за нами пришли два катера и повели буксиром. Темная ночь. Как на шхуне, так и на катерах потушены огни, запрещено курить, закрыты люки. В 3 часа ночи пришли в Лайвик.

На другой день наблюдаем, как миноносцы то приходят, то уходят, чистятся, снаряжаются. Кругом спуют шляпки. Вечером миноносец сообщил нам, что Франция и Англия объявили войну Германии. В ответ грянуло дружное и радостное «Ура!»

22 утром нам сообщено приказание затопить шхуну и самим отправляться по железной дороге в Петроград. Для принятия инвентаря явился транспорт. Мы занялись было мародерством, но велено все оставить и ничего не трогать. Подвели нас к транспорту.

Раздалась команда: «Пошли все наверх, повахтенно во фронт к спуску флагов!» Выстроились. Тяжелая минута. «Флаг спустить».

Голос старшего офицера дрогнул. Обнажились головы, у всех на глазах слезы. «Разойтись! На катера!» Взяли на память со шхуны деревяшки, куски веревок и отправились со своего судна, с которым так сроднились. Долго и трогательно прощались с командиром. Еще труднее было проститься с морем, которое мы все так полюбили. В 8 ч. 15 м. вечера поезд увозил нас из Лайвика.

ВЕЛЕМИР ХЛЕБНИКОВ

Василий Кириллович Тредиаковский — основоположник русской поэтики. Слово нашего стиха потекло так, как ему повелела в начале XVIII века гениальная догадка и предощущение стихотворца, которого секли при дворе Анны Иоанновны и который в глазах благодарного потомства, благодаря вящему старанию и высокому тупоумию учителей «русского языка», остался фигурой сильно комической.

Не та же ли участь ждет и Велемира Хлебникова? Российская критика (спрашивается: чем отличается она от «русского языка» наших недавних классических гимназий?) и так — российская критика (опять спрашивается: что же такое российская критика? — «что?» — это сказать почти невозможно, а вот «кто?» — пожалуйста: Коган, Фриче и Львов-Рогачевский!) и так, — ах, да будь она не здорова, эта российская критика...

У нас превосходная память: все, что пишется о многих Хлебниковых и писалось о Велемире Хлебникове, нами не позабудется, а ведь как-никак он создатель русского футуризма, который в опошленном и, стараниями Маяковского и Каменского, упрощенном до газетчины виде, принимается и уже почти прославляется этими самыми Рогачевскими и Коганами.

Но — начальные идеи футуризма и поэт В. Хлебников — дело серьезное: не в журнальной статейке с куриный нос им место. Я предпочту несколько штрихов порядка воспоминального.

Весной 1920 года я и Сергей Есенин приехали в Харьков для устройства имажинистского вечера. Времена были боевые. Нам тогда казалось, что писать хорошие стихи это мало, — надо, чтобы эти стихи еще кем-то читались и, по возможности, понимались. Для этого мы и шли с широкой теоретической пропагандой. Всякая теория в искусстве (имажинизм мировоззрения!) имеет смысл, как некое облегчение, с одной стороны, для широкого понимания потребителя прекрасного, с другой стороны — для молодежи, начинающей работать в прекрасном. Самостоятельной же ценности в школах и теориях школ, как таковых, конечно, никакой не имеется.

В Харькове неожиданно для нас оказался Хлебников. Жил он там более года. Как и полагается для него — в сплошном мытарстве. При белых, чтобы избавиться от военной службы, пошел в сумасшедший дом. Там, дабы как-то отграничиться от влияния чересчур повышенной нервной атмосферы, писал совсем спокойные и ритмически равнодушные, почти Пушкинские стихи. При красных работал на хуторе у какого-то крестьянина — траву полон на огороде. Потом снова перебрался в город.

Жизнь была удивительная: учился писать ночью при совершенной темноте (за отсутствием свечи), матрацом и простыней ему служила подкладка пальто, одеялом — верхняя часть; когда выходил на улицу, обе части соединялись воедино и так далее, все в том же духе.

Встретились мы с Хлебниковым более чем тепло. Решили устраивать вечер вместе. Имажинизм был ему близок. Вырабатывая программу, на первом месте поставили: посвящение Велемира Хлебникова в председатели земного шара. Когда-то богема петербургской «Бродячей собаки» даровала ему этот титул, на что была выдана грамота за многими подписями, которую он бережно хранил. От нас требовалась санкция этого выбора. Продавали это мы отчасти ради издевки над публикой, которая к нам относилась тогда чрезвычайно враждебно, отчасти для Хлебникова — ему хотелось.

В переполненном городском театре принял он это посвящение поразительно серьезно. На слова церемонии отвечал еле слышным даже для нас шепотом: «верую». В знак обручения с земным шаром мы надели ему на палец кольцо, взятое на минутку у одного знакомого. После вечера Велемир ни за что не хотел отдать кольцо обратно по принадлежности, считая это кощунством.

Хлебников умер. Публика и критики ничего не потеряли. Потому что он не знали, не могли и не хотели его знать. Мы потеряли, помимо большого поэта и блестящего теоретика, единственное в современности воплощение абсолютного идеализма.

ИМАЖИНИЗМ

В своей первой декларации, опубликованной 10-го февраля этого года в газете «Советская страна», мы писали: «Заметьте, какие мы счастливые — у нас нет философии, нет теории, нет логики мысли». Логика уверенности сильнее всего. Мы писали так потому, что полагали найти чуткость у читателя, полагали, что забившаяся в свои берлоги критика не сочтет нужным вылезти из них и на этот раз, «чтобы никчемным воем и ревом заглушать понятный язык наших поэм и картин».

Мы ошиблись... Наша поэзия оказалась слишком лакомым куском для изголодавшейся на бестворчестве символистов и футуристов критике. На каждую печатную строку наших стихотворений приходится десять помойных грязных строк критики. И если напечатанная в той же «Советской стране» моя поэма «Магдалина» не утонула в печатном море зубоскальств г.г. <...> Айхенвальдов<...> В результате, печатанием целого ряда статей и целым рядом открытых выступлений мы принуждены были создать свою теорию и философию — понадобилась гранитная набережная, о которую разбивались бы по пустому бросаемые волны брани. Ведя вперед и вперед паровоз искусства по рельсам исканий, мы, конечно, должны были первым делом позаботиться об расчистке пути от ненужной и опасной рухляди. Валявшиеся хворостины символизма и акмеизма нас не путали, мы ни минуты не сомневались, что колеса нашего искусства сотрут их в порошок, нам казались более опасными навороченные бревна футуризма. Но и тут опасения оказались излишними. Бревна оказались настолько пустотелыми, что на очистку от них полотна дороги потребовалась минимальная затрата труда и времени. Поэзия футуристов рассыпалась сама от первого прикосновения. В противовес разрушителю (и только) футуризму — имажинизм — направление созидующее, творческое. В основу поэзии имажинизм кладет образ. Полнокровный, пламенный. Только свой.

Поэт не должен знать сундуков, где хранятся проеденные молью и пахнущие нафталином старые тряпки поэзии. Он тот портной, который не предлагает старье, не перевортывает на другую сторону ношеное и переносенное. Он кроит всегда свой творческий фасон на материи, непосредственно приобретенной с фабрики жизни.

Образом нельзя пересолить. Если у Пушкина на главу «Евгения Онегина», приблизительно строк в 840, приходит 6 — 7 впалогрудых образа, то у имажинистов Есенина, Шершеневича и автора этой статьи вы найдете их гораздо больше в одном четверостишии, причем каждый по объему своих художественных бицепсов поспорит с

бицепсами гладиатора. Мы отрицаем образ натуралистический. Нам нужна не внешняя похожесть, не фотографичность, а нечто большее, именно внутреннее сходство, спираль эмоции данного чувства. Поэтому:

Граждане, душ
Меняйте белье исподнее!
(А. Мариенгоф)

Гораздо лучше моего же:

А у вас в прорубях глаз
Золотые рыбки...

Аннулированному нами в поэзии содержанию противопоставляется форма. Пиши, о чем хочешь — о революции, фабрике, городе, деревне, любви — это безразлично, но говори современной ритмикой образов. Усложненность психики современного человека и современного города, кинематографическая быстрота переживаний, явлений и движения предметов толкнула нас к многотемию (политематизму).

Мы предпочитаем, чтобы современный поэт заматывал клубок своей поэмы не из одной суровой нити или какой-нибудь фиолетовой, а из тысячи нитей разнообразнейших цветов и оттенков. Работая исключительно над формой, мы, конечно, не можем удовлетворяться старой.

Я кричу тебе: к черту старое!
Непокорный разбойный сын...
(С. Есенин)

Наше громадное творчество может уместиться в форме, как тесто выходит из опары. Ищет себе новый сосуд, такой же громадный, как оно само.

Мы окончательно выбросили из стиха музыкальность, заменив могущественными железными ритмами. И в самом деле, разве чижик-пыжик на рояле одним пальцем не в тысячу раз прекраснее потуг Бальмонта. Полная дифференциация искусств. Поэту — ритм и слово, как Музыканту — звук, Художнику — краска, Скульптору — рельеф, Актеру — жест.

Условия газетной статьи не позволяют мне с должным вниманием остановиться на всех достижениях имажинизма. Интересующихся искусством отсылаю непосредственно к книгам, вышедшим сейчас... (С. Есенин «Преображение», Шершеневич «Крематорий», Мариенгоф «Кондитерская солнц» и «Выкидыш отчаяния», а также к брошюрам по теории имажинизма).

«БУЯН-ОСТРОВ»

Мертвое и живое

Жизнь — это крепость неверных. Искусство — воинство, осаждающее твердыню. Во главе Воинства всегда поэт.

Не для того ли извечное стремление войти в ворота жизни, чтобы, заняв крепость, немедленно и добровольно ее оставить.

Не искусство боится жизни, а жизнь боится искусства, так как искусство несет смерть, и, разумеется, не мертвому же бояться живого. Воинство искусства — это мертвое воинство.

Поэтому вечно в своей смерти искусство и конечна жизнь. От одного прикосновения поэтического образа стынет кровь вещи и чувства.

Художник сковывает копыта скачущей лошади, легким прикосновением кисти останавливает бешеное вращение автомобильного колеса, музыкант — водопадный ритм радости и медленное течение грусти. Тут же обрывается качание маятника пульса, как сменяет циферблат существования творческий круг прекрасного. Поэт — самый страшный из палачей живого.

Красота — синоним строгости. Строгость требует неподвижности. Искусство — делание движения статичным. Все искусства статичны — даже музыка.

Революция с момента воплощения в художественном образе перестает существовать. Рождение марсельезы было рождением смерти французской революции...

Самая долговечная из всех существующих религий — жизнь. Поэтому-то она является самым трудным материалом для художника. Когда придет такой, который сумеет ее сделать прекрасной, я скажу, что через 24 часа потухнет солнце.

Продолжению человеческого рода не грозит опасность до тех пор, пока безобразие будет господствовать над половым актом.

Только сумасшедшие верят в любовь. А так как поэты, художники, музыканты — самые трезвые люди на земле — любовь у них только в стихах, мраморе, краске и звуках.

Любовь — это искусство. От нее также смердит мертвечиной.

Жизнь бывает моральной и аморальной. Искусство не знает ни того, ни другого...

Человек, истинно понимающий прекрасное, должен в равной мере восторгаться поэзией Есенина и Мариенгофа, несмотря на то, что первый чаёт и видит как:

Едет на кобыле
Новый к миру Спас,

а второй радуется, когда:

Метлами ветру будет
Говядину чью подместь.

Искусство есть форма. Содержание — одна из частей формы. Целое прекрасно только в том случае, если прекрасна каждая из его частей.

Не может быть прекрасной формы без прекрасного содержания. Глубина в содержании — синоним прекрасного.

Пара чистая и пара нечистая

...Однако вы спросите, почему в современной образной поэзии можно наблюдать как бы нарочитое соитие в образе чистого с нечистым. Почему у Есенина «солнце

стынет, как лужа, которую напрудил мерин» или «над рощами, как корова, хвост задрала заря», а у Вадима Шершеневича «гонококк соловьиный не вылечен в мутной и лунной моче»?

Одна из целей поэта — вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения. Как можно глубже всадить в ладони читательского восприятия занозу образа. Подобные скрещивания чистого с нечистым служат способом заострения тех заноз, которыми в должной мере щетинятся произведения современной имажинистской поэзии.

Помимо того, не несут ли подобные совокупления «соловья» с «лягушкой» надежды на рождение нового вида, не разнообразят ли породы поэтического образа.

Несмотря на всю изощренность мастерства, поэт двигает свою поэтическую мысль согласно тем внутренним закономерным толчкам, которые потрясают как организм вселенной, так и организм отдельного индивидуума. А разве не знаем мы закона о магическом притяжении тел с отрицательными и положительными полюсами.

Поставьте перед «лужей, которую напрудил мерин», «коровьим хвостом», «гонококком» и «мочой» знак — и + перед «солнцем», «зарей» и «соловьем», и вы поймете, что не из-за озорства, а согласно внутренней покорности творческому закону поэт слил их в образе.

Два ритма

...Что привело вплотную искусство к имажинизму? Разве не ускорившийся до невероятности ритм жизни?

Колоссальнейший пресс борьбы превратил водянистое тело в непроницаемый ком железа и бетона. Ряд научных открытий сократил расстояние и увеличил скорость, пополнил ум за счет чувства.

Что такое образ? — кратчайшее расстояние с наивысшей скоростью. Когда луна непосредственно направляется в перстень, надетый на левый мизинец, а клизма с розоватым лекарством подвешивается вместо солнца.

На этот раз искусство становится победителем. Оно уничтожило расстояние, в то время как жизнь его только сократила.

Образ не что иное, как философская и художественная формула. Когда ритм жизни напоминает пульс мятущегося в горячке, ритм в колеях художественной формы не может плестись подобно груженной арбе с мирно дремлющим возницей-хохлом. Все искусство до наших дней напоминало подобную картину.

Поэтому:

Если бы 10 февраля 1919 года группа поэтов и художников перед своим рынком, торгующим прекрасным, не развесила плакатов имажинизма и не разложила на лотках бумаги и холсты словесных и красочных продуктов чисто образного производства, то, несомненно, скажем, 10 февраля 1922 года этого бы властно потребовал сам потребитель художественного творчества.

В чреве образа

Поэтическое произведение, имеющее право называться поэмой и представляющее собой один обширнейший образ, можно сравнить с целой философской системой, в то же время совершенно не навязывая поэзии философских задач, в ряд вплотную спиной к спине стоящих образов — философскими трактатами, составляющими систему.

Для вящей убедительности я считаю возможным процитировать из поэмы «Пантократор» С. Есенина место, почти удовлетворяющее колоссальным требованиям современного искусства:

Там за млечными холмами
Средь небесных тополей
Опрокинулся над нами
Среброструйный водолей.
Он Медведицей с лазури,
Как из бочки черпаком,
В небо вспрыгнувшая буря
Села месяцу верхом.
В вихре снится сонм умерших,
Молоко дымящий сад.
Вижу, дед мой тянет вершей
Солнце с полдня на закат.

Предельное сжатие имажинистской поэзии требует от читателя наивысшего умственного напряжения, — оброненное памятью одно звено из цепи образов разрывает всю цепь. Заключенное в строгую форму художественное целое, рассыпавшись, представляет из себя порой блестящую и великолепную, но все же хаотическую кучу — отсюда кажущаяся непонятность современной образной поэзии.

Рождение слова, речи и языка из чрева образа (не пускаясь в филологические рассуждения для неверующих по невежеству, привожу наиболее доступные образцы: *устье — река — уста речь; зрак — зерно — озеро; разгор — дыра и т. г., и т. г.*) предначертало раз и навсегда образное начало будущей поэзии.

Подобно тому как за образным началом в слове следует ритмическое, в поэзии образ является целостным только при напряженности ритмических колебаний прямо пропорциональной напряженности образа. Спенсер утверждает, что биение сердца влияет на ритмическое движение целой комнаты, — в той же степени перебой в одном образном звене заставляет звенеть фальшиво или прекрасно всю цепь поэмы.

Свободный стих составляет неотъемлемую сущность имажинистской поэзии, отличающейся чрезвычайной резкостью образных переходов.

Насколько незначителен в языке процент рождаемости слова от звукоподражания в сравнении с вылуплением из образа, настолько меньшую роль играет в стихе звучание, или, если хотите, то, что мы называем музыкальностью. Музыкальность — одно из роковых заблуждений символизма и отчасти нашего российского футуризма (Хлебников, Каменский). Характерно, что Андрей Белый — единственная в символизме фигура, которая останавливает на себе внимание (я меньше всего говорю о Белом как о поэте), сознавал это. В его «Символизме» вы найдете следующие строки: *«ложное проникновение духом музыки есть показатель упадка — нам пленительна форма этого упадка — в этом наша болезнь; мыльный пузырь — перед тем как лопнуть переливается всеми цветами радуги».*

Мы благодарны Белому за эту трагическую откровенность в осознании того направления, которое уже сегодня имеет только историческую весомость.

Идол и гений

...Каким же, спрашивается, мыслим мы себе поэта-гения?

Прежде всего: Вселенная для нас не детская, а поэт не ребенок, только что выучившийся говорить и упивающийся как своим пискливым голоском, так и словом, не потерявшим еще для него своего первородства и загадочности. Для ребенка слово живет со вчерашнего дня, т. е. с того момента, когда он впервые его произнес, и поэтому сегодня он чувствует в нем и теплоту и блеск образа.

На нас, которые хотя бы приблизительно, но все же знают истинный день рождения — слово, — первым делом выступает тысячелетняя ржавь, стертость рисунка и холод обыденности ежедневного употребления, где прекрасное, став полезным, утратило все свои качества. Такое слово может быть прямым материалом для поэзии, но ни в коем случае не самоцелью и не самоценной величиной.

Повторяю: образная девственность слова утеряна. Только зачатые нового комбинированного образа порождает новое девство, но уже не слова звена, а мудро скованной словесно-образной цепи. Кузнец ее и есть поэт-гений.

Взор поэта не видит, а проникает, или видит то, что для других еще сегодня вне зрения (поводырь слепцов).

Поэт не повторяет имя, данное ранее, а называет заново, зачерпнув ковшом образа вино нового смысла.

Менее всего мы мыслим, подобно Пушкину, поэзию «глуповатой» и совершенно не представляем себе поэта глупым. Мудрому же творить «глуповатое» все равно, что печь, по-библейски, на кале лепешки, рассуждая: человек не свинья, все съест.

Более чуткие из старых поэтов провидели рождение образной поэзии. Новалис, подразумевая метафору, писал: «Поэты преувеличивают еще далеко недостаточно, они только смутно предчувствуют обаяние того языка и только играют фантазией, как дитя играет волшебным жезлом отца».

Пылающая фантазия — рождение нового образа. Имажинисты уже не играют волшебным жезлом отца, а, умело владея им, творят три чуда: раскрытия, проникновения и строительства.

Мистика и реализм

Телесность, осязаемость, бытологическая близость наших образов говорит о реалистическом фундаменте имажинистской поэзии. Опускание же якорей мысли в глубочайшие пропасти человеческого планетного духа — о ее мистицизме.

С одной стороны слышатся упреки в нарочитой грубости и непоэтичности нашей поэзии, с другой — в мистической отвлеченности.

Мы радостно принимаем упреки обеих сторон, видя в них верный залог того, что стрелки нашего творческого компаса правильно показывают Север и Юг.

Потому что: мистика только в том случае имеет оправдание, если корабль нашего глаза не совершает бесконечное и безнадежное плавание в сплошных молочных туманностях. Твердые береговые контуры конечной определенности — вот та надежда, которая заставила обрубить канаты и распустить паруса творческой мысли.

С другой стороны, погружение, прорывание земляных пластов реализма обещает на известной глубине серебряные струи мистического начала.

Мы совершаем оба пути, нисколько не сомневаясь в их правильности. Ибо в конечном счете всякий мистицизм (если это не чистейшее шарлатанство) — реален и всякий реализм (если это не пошлейший натурализм) — мистичен.

Май 1920 г.

ДА, ПОЭТЫ ДЛЯ ТЕАТРА¹

Ответ Вадиму Шершеневичу.

(Письмо в редакцию.)

Грандиозность сегодняшнего дня есть в ощущении наступающего момента встречи двух глубочайших потоков человеческого гения — слияния искусства с наукой. Момента, когда оба понятия потеряют свои последние отличительные признаки, когда горячая кровь прекрасного вольется в холодные жилы науки, а мозг науки своим блистающим серебром заполнит подчас пустоватую черепную коробку искусства.

Уверенными шагами полного знания через математический знак подходит наука к изобретению или открытию. Наивный опыт только подтверждает то, что в конце концов уже существует и не требует никакого подтверждения, если нет ошибки в построении цифровой башни.

Тем же путем и с тою же закономерностью мы можем притти ко всякому формальному изобретению и открытию в искусстве. Я утверждаю, что искусство имеет еще большую точность, чем наука, так как теоретически оно может оперировать с абсолютной абстракцией, совершенно голой идеей, в то время как наука принуждена пользоваться в какой-то мере реальным знаком, одетой в весьма призрачную, но все же плоть — цифру.

Это предисловие мне требуется, как предостерегающая броня от удара, которым начинают всякую полемику бойцы, сражающиеся оружием наивного опыта. Бойцы, которые считают ересью, что можно найти идею нового театра и победить врага, не будучи вооруженным сей гроыхающей пищалью.

Смысл статьи Вадима Шершеневича о «Пугачеве» Есенина и моей трагедии «Заговор дураков» сводится к следующему: «Вы очень хорошие поэты, прекрасные мастера слова, но оба ни одного дня не сидели в суфлерской будке, ни разу не поднимали занавеса и не режиссировали в опытно-героическом театре. И сейчас же хватъ нас по башке в знак нравочения несколько-

ми театральными истинами, незыблемыми от века и которые мы по неразумению (как по всей вероятности, думает Шершеневич) не положили в фундамент своих пьес. Первая и самая важная, перед которой согрешил я, — это театральная интрига, или фабула или, как мы привыкли называть ее в поэзии: анекдот.

— “Заговор” (пишет Шершеневич) имеет все видимости интриги: тут и погребение, и заговоры, и церемониалы, и переодевания. Колоссальное количество движения... и все же это: “не театральная пьеса”».

Да, было такое темное время в живописи, и в литературе, когда анекдот восседал на самом почетном месте. Без него живопись была не живописью, а литература — не литературой, и назывался он тогда, по заблуждению современников, не анекдотом, а *содержанием*, так же, как теперь в театре носит завлекательное имя «театральной интриги», но в подлинном искусстве то было во времена отдаленные, во времена, так сказать, доисторические.

Теперь мы прекрасно знаем, что является содержанием в живописи (лирическое ощущение, цвет, линия, композиция) и поэзии (лирическое чувство, образ, ритмический узор, инструментовка). Если превосходно это формальное содержание, превосходны картина и поэма.

Волнение, движение (как таковое) и декламационное слово — вот содержание истинного театра.

Анекдот (интрига) — в театре такое же недоразумение, как и во всех искусствах.

Когда актер с подлинным мастерством, т. е. с искусством будет волноваться, двигаться и декламировать (я не боюсь этого слова), тогда не потребуются театральная интрига.

Если в пьесе имеется налицо «колоссальное количество движения» и его «словесный материал прекрасен» (дословные слова Шершеневича о «Заговоре»), то пьеса, безусловно, годна и не годен театр, который не может сделать такую пьесу интересной.

Я совершенно не согласен с тем, что в театре должен быть какой-то «глубокий слог», а в поэзии «широкий». И в поэзии, и в театре должен быть слог *хороший*. Все различие поэтического слова от театрального в том, что

второе имеет одну общую композицию с внешним и внутренним движением, а слово поэтическое только с внутренним.

Я знаю, что «Заговор дураков» не есть та пьеса, с которой начнет жить новый театр. Моя ошибка во время работы над «Заговором» заключалась в том, что вычерчивая сценический узор, я в какой-то мере исходил из современного театра и актера. Я был связан их возможностями. Выкинув из замысла то, что, мне казалось, было сверх режиссерских сил, я тем самым в печальном смысле предрешил судьбу трагедии.

Мой новый грандиозный *фарс*, над которым я сейчас работаю и который, по всей вероятности, закончу к осени, будет уже окончательно непригоден для театра, идущего под знаменем незыблемых от века законов.

КОРОВА И ОРАНЖЕРЕЯ

Современная эстетика пустила козла в огород, т. е. ремесло в лоно прекрасного (да простят мне блюстители до-реформенной романтики, сравнение прекрасного с огородом). Всячески извиняюсь, — сам романтик и посему старых романтиков огорчать никак не могу, — скажем: современная эстетика пустила корову в оранжерею.

По существу сейчас должен следовать реверанс в сторону новых романтиков, ибо для них сравнение поэзии, живописи, музыки и прочих цветов прекрасного с тепличными растениями столь же оскорбительно, как для первых сопоставление: искусства и огорода.

Но, в первом случае: старые, во втором: молодые. Старость сварлива, молодость великодушна. Будем на сей раз словесно учтивы с отцами и прадедами.

И так: современная эстетика пустила корову в оранжерею. Стоит ли напоминать о том ужаснейшем конфузе, который явился следствием подобного легкомысленного попустительства, т. е. о следах коровьего нашествия на оранжерею.

О, если бы только одни следы! Увы, мы помним не только следы коровьих ног, коровьего аппетита, но и следы коровьего пищеварения.

Спрашивается: как получилась, сия нами изложенная образно, печальная история? Может быть, это случилось потому, что ремесло поднялось до уровня искусства? — не думаю. Быть может, искусство опустилось до ремесла? — пожалуй.

Одним словом, требуется скорая помощь. Мы не любители паники и посему не взываем: карету «скорой помощи»! И, конечно, уж не отъявленные пессимисты, чтобы по примеру малодушных звонить в бюро похоронных процессий.

Итак: скорая помощь.

Прежде всего установим приметы чистого искусства и коровы, извиняюсь: художественного ремесла.

Материал *прекрасного* и материал художественного ремесла один и тот же: слово, цвет, звук и т. д. Искусство, проделывая над ним метаморфозу творческого завершения или подчинения законам формы, решает *проблему темы*. Для художественного ремесла материал самоценен сам по себе. Материал, как таковой, вне каких-либо подчинений. Иначе говоря, ремесло преследует решение материальных положений, в противовес искусству, раскрывающего тему лирического и мирозерцательного порядка.

Из огромного числа работающих сегодня над словесным, живописным и скульптурным материалом очень немногие являются безусловными художниками. Искусные пользователи элементарных приемов мастерства, умелые лаборанты эстетического материала стали с непристойным самозванством носить высокое имя художника. Благодаря вопиющей некультурности в делах эстетики, сейчас считают поэзией кундштюки, проделываемые Пастернаком над синтаксической фразой (перестановка подлежащих, сказуемых, дополнений и определений, нарушающая дух и традицию языка, только наивным может показаться исканием новой формы). Еще меньшее отношение к стихотворчеству имеют ритмические упражнения Асеева, неологизмания Крученыха, работа над примитивной инструментовкой В. Каменского, искание метафор большей части имажинистской молодежи. В скульптуре же и живописи получили новаторское значение школы, являющиеся

типичными лабораториями по исследованию отдельных элементов материала *прекрасного* (кубисты, супрематисты, конструктивисты и т. д.).

Искусство — такой организм, который требует широкой сытной пищи — самых разнообразных художественных приемов. Сейчас я принужден встать на защиту своего огорода, ибо я убежден, что легкомысленная критика сочтет момент наиболее удобным, чтобы бросать в него камни. Итак: да будет известно этой самой легкомысленной критике, что *имажинизм* не формальное учение, а национальное мировоззрение, вытекающее из глубины славянского понимания мертвой и живой природы своей родины.

С ремесленной психологией и ремесленным *постничеством* в искусстве следует бороться столь же суровыми мерами, какими Петр Великий боролся с ханжеством в морской службе: *«Благословением от Синода и от Вселенских Патриархов учинил: позволено есть мясо в посты в нужде, а паче в морской службе, где и без рыбыны довольно люди к скорбутине подвержены, повелевая самоохотно жертвующих жизнью своею, таковыми воздержанием, во время приключившимися им болезнями в воду кидать»*.

Путешествие по *прекрасному*. — штука нелегкая. Дух художника, что мускулы хорошего матроса. От рыбыны и галеты других благ, кроме «скорбутины» не дождешься. Место матросов искусства на реях *больших тем*, а не в вонючем трюме прикладничества.

Вторжение коровы в оранжерею ознаменовалось гибелью многих шедевров ботаники. Одна жертва коровьего аппетита вызывает в нас особое сожаление. Я говорю о чудесном цветке, который носит имя: *Академия*, и который также нашел свой печальный конец в ее мясистых челюстях.

Что такое Академия?

Принцип академии нами понимается, как совершенное владение не отдельными элементами материала, а формой в целом.

Только академическое мастерство открывает путь изобретательному моменту в искусстве. Новаторское искус-

ство всегда *академично*. Ибо под новаторством мы понимаем не ремесленный трюк, а движение искусства вперед.

Само понятие такого движения уже включает в себе: *ранее* пройденные этапы, т. е. преодоление культурного наследия. Старое искусство не может быть в данный момент академическим, так как оно обладает меньшим опытом и меньшими знаниями по сравнению с новым искусством.

Академическое искусство стоит вне широкого успеха у публики, ибо мастерство и хороший художественный вкус предрешают излишне декольтированную формальную одежду.

Формальным оголением мы называем обнажение идеологической и лирической тенденции — необходимое условие восторженного приема в общественной среде и у натур с повышенной чувствительностью.

Об искусстве академическом и декольтированном можно сказать то же, что Микель-Анджело-Буонарrotти говорил об итальянской и нидерландской живописи: *«Итальянская живопись никогда не заставит пролить слезу набожного человека, нидерландская же — в изобилии, и этот результат будет обязан не силе или достоинству этой живописи, а попросту чувствительности набожного человека. Нидерландская живопись будет казаться прекрасной женщинам, особенно пожилым или очень молодым, монахам и монахиням и вообще людям, не понимающим гармонии художественного произведения»*.

Современная набожность, конечно, имеет несколько иной характер, чем во времена Микель-Анджело. Самые набожные люди: народники, демократы, сменовеховцы и т. д. К монахам и монахиням относятся: сельские учителя и учительницы и все остальное в этом же духе.

Класс «особенно пожилых» и «очень молодых» и по сей час, к сожалению, не изменился.

Отказ от всех школ, группировок и течений, однако, не спас *прекрасного* от великого раздела, случившегося в наши дни.

Может быть, война и революция были теми внутренними толчками колоссальной мощности, которые разбили единую планету искусства на два материка.

Первый материк мы назовем: *прекрасное культуры*, второй: *искусство злободневного традиционализма*.

Если бы вначале мы не упомянули о ремесле отдельно от искусства, то сейчас нам бы пришлось говорить еще об одном ничтожнейшем материчке. В противовес искусству, выражающему технизм, и прекрасному, выражающему культуру, есть нечто от художественного, ровно ничего не выражающее. «Ровно ничего не выражающее» на нашей памяти носило знатный титул *l'art pour l'art*. Ее парикмахерские манеры казались малым сим наиболее утонченными, ее безыдеологийничанье — наиболее возвышенным, ее кровь от многоколенного сифилитического наследия, потерявшая превосходный красный цвет и превратившаяся в голубоватую водичку, казалась страшно аристократической.

Как ни странно, но это консервативнейшее из существ *прекрасного* нашло себе родного брата в революционнейшем искусстве сегодня. Если вы посмотрите в корень, но не глазом Пруткова, то увидите, что супрематизм, заумничанье и прочее — не более чем крайнее выражение давно знакомого нам страшно шикарного принципа: искусство для искусства.

Переходя к главным материкам, на сей раз только укажем их отличительные качества, часть из них открыта до нас, так на звание Колумба мы не претендуем. Разбор *по существу* — это не более не менее, как создание новой эстетики. Возложим же это занятие на тех, у кого нет более серьезного дела.

Прекрасное культуры имеет многотысячелетнее родословное дело, строгую преемственность, художественную традицию. Оно современно, т. е. революционно в дни революции (имажинизм), упадочно в дни общего духовного регресса (символизм). *Прекрасное*, выражающее культуру прошлого, не может рассматриваться нами иначе, как стилизаторский курьез. Отсюда, конечно, не напрашивается ложный вывод, что нельзя пользоваться историческим материалом. Историческая трактовка, психологическое движение, лирическое содержание и формальная манера будут выражать дух своего времени (тому пример: итальянский ренессанс, новгородская

иконопись XIV и XV века, Шекспир, «Пугачев» Есенина, «Заговор дураков» автора настоящей статьи). *Прекрасное культуры* всегда национально. Вопиющая безграмотность — понимать национальное творчество, как клюевщину и судейковщину — сие прямо подходит под рубрику стилизации.

Только из деревянных часовенок и церквочек, затерянных в *российских* степях и лесах, мог родиться русский архитектурный стиль. Храм Василия Блаженного, построенный *русскими* мастерами Бармой и Постником, его великолепное завершение. Петербургские «Исаакий» и Казанский собор представляют интерес хорошего плагиата. Никакая роскошь не может искупить безнадёжность подражательного творчества.

Путь словесного искусства тождествен с архитектурным. От образного зерна первых слов через загадку, пословицу, через «Слово о полку Игореве» и Державина к образу национальной революции. Вот тот путь, по которому идем мы и на который зовем литературную молодежь. «Василий Блаженный» поэзии еще не построен. Барма и Постник только у преддверия своей единственной поэмы.

Искусство *злободневного техницизма* — продукт XX века. Его породила журналистика. Оно переняло по наследию все ее качества: поверхностность, сегодняшность, наглость. Культура искусства выражающего техницизм — культура негра из парижского кафешантана. Его научность — научность сторожа из университетской лаборатории. Выдвигая идеологию в е щ и, оно, по существу, выражает не ее природу, не образ, а видимость.

Зародившись в Италии в злосчастном 1909 году под звездой Маринетти, оно распространилось среди городского населения с быстротой моды парижского манто. Количество патентов пишущих машинок уступает количеству патентов искусства *злободневного техницизма* — футуристы, дадаисты, ничевоки, пролетарцы и так до бесконечности.

Российское искусство *злободневного техницизма* увидело в революции только ее внешние стороны. Ибо оно не работало над вскрытием ее миросозерцания, как

над *большой темой* современности, а читало декреты, что расклеивались по заборам в необычайном обилии. Остроумцы, низводящие театр к упражнениям полезным для развития мускулов живота, и поэзию к советам молодым хозяйкам на предмет «откупоривания бутылок ухом» (Маяковский), нам скажут, что декреты и есть луп революционного творчества. Мы не имеем особой склонности к остроумию и поэтому позволим себе иметь на сей счет несколько иное мнение. Искусство техницизма неизбежно связано не с духовными колебаниями своего народа в целом, а с классами. Еще чаще — с отдельными партиями (империалистичность итальянского футуризма, коммунистичность российского, мелкобуржуазность дадаистов и т. д.) Искусство техницизма космополитично. Мейерхольд, Татлин, Маяковский — его представители у нас. Ближайшим сообщником искусства цивилизации, а подчас и двойником бывает корова, прошу извинения, — ремесло.

ПОЧТИ ДЕКЛАРАЦИЯ

Два полюса: поэзия, газета.

Первый: культура слова, т.е. образность, чистота языка, гармония, идея.

Второй: варварская речь, т.е. терминология, безобразность, аритмичность и вместо идеи: ходячие истины.

Всякая культура имеет своего Аттилу. Аттилой пушкинской эпохи был Писарев. Свержение писаревщины — подвиг российских символистов. Трудолюбивые реставраторы убили почти четверть века на отмыwanie кала гениального варвара с прекрасных мумий Пушкинского воображения. Уже в двадцатых годах нашего века «Медный всадник» опять столь дерзко сиял на своем пьедестале, что многим казалось лишь мистической фантазмагорией то безнравственное время, когда ложей ему служила мусорная яма.

Наши дряхлеющие педагоги из «Весов» могли спокойно дремать в кожаных гробах своих многоуважаемых кресел: бурса, студенты и передовая интеллигенция

из пивных на Малой Бронной, словом все то, что до самозабвения и с чувством гражданского подвига орало и пело:

Из страны — страны далекой,
С Волги-матушки широкой
Собралися мы сюда
Ради вольного труда.

Все это уже научилось отличать булыжник от мрамора и благородную матовую поверхность червонного золота от хамского блеска чищенной меди.

Казалось, что место окончательно расчищено и подготовлено к приходу великих стихотворцев.

Ждали гениев.

Знали по «истории искусств», что сверхчеловеки действуют сокрушительно и революционно, что «чернь» их оплевывает и что «от гениальности до безумия — один шаг».

В результате, из опаски оплевать гениев, ловких шарлатанов принимали за предтеч и посредственных реформаторов этимологии и синтаксиса за литературных Мессий.

Трудно было не попасться на удочку. Явившиеся действовали по Диогеновым рецептам. Великий циник говорил: «Если кто-нибудь выставляет указательный палец, то это находят в порядке вещей, но если вместо указательного он выставит средний, его сочтут сумасшедшим».

Было лестно прослыть безумцами, и так легко.

Декаденты пели сладенькими голосочками:

Я ведь только *облачко* —
Видите, плыву.

Футуристы базили, как Христоспасительные протодиаконы:

Хотите, —
Буду безукоризненно нежный,
Не мужчина, а — *облако* в штанах!

Что же это, как не средний палец, вместо указательного.

Или, говоря языком литературным, не самый обыкновенный плагиатик, только слегка прикрытый от нескромных, но подслеповатых глазок критики, фиговым листочком.

Воистину были замечательные времена. Даже в Алексея Крученыха, публично демонстрирующего симфонию своего катарального желудка, начинали веровать наивные Чуковские и апостольствовали о «дыр-булциле» как о новой вере своего поколения.

Десять смутных лет пережило российское искусство. Наконец в 1919 году под арлекинскими масками пришли еще одни. На их знамени было начертано: словесный образ. Знамя требовало оружия для своей защиты. Пришлось извлечь его из цирковых арсеналов.

Опять перед глазами сограждан разыгрывалась буффонада: расписывался Страстной монастырь, переименовывались московские улицы в Есенинские, Ивневские, Мариенгофские, Эрдманские и Шершеневические, организовывались потешные мобилизации в защиту революционного искусства, в литературных кафе звенели пощечины, раздаваемые врагам *образа*; а за кулисами шла упорная работа по овладению мастерством, чтобы уже без всякого *épaté** через какие-нибудь 5—6 лет, с твердым знанием материала эпох и жизни, начать делание большого искусства.

Спрашивается: как же в 1923 году понимают имажинисты свои задания?

Будем говорить о нашей поэзии. Вот краткая программа развития и культуры образа:

- а) Слово. Зерно его — *образ*. Зачаточный.
- б) *Сравнение*.
- в) *Метафора*.

г) Метафорическая цепь. Лирическое чувство в круге образных синтаксических единиц — метафор. Выявление себя через преломление в окружающем предметном мире: *стихотворение* — (*образ третьей величины*).

* Впечатление (фр.).

д) Сумма лирических переживаний, т. е. характер — образ человека. Перемещающееся «я» — действительное и воображаемое, образ второй величины.

е) И наконец: композиция: композиция характеров — образ эпохи (трагедия, поэма и т. д.).

Имажинизм до 1923 года, как и вся послепушкинская поэзия, не переходил рубрики «Г»; мы должны признать, что значительные по размеру имажинистские произведения, как то «Заговор Дураков» Мариенгофа и «Пугачев» Есенина, не больше чем хорошие лирические стихотворения.

Пришло время либо уйти и не коптить небо, либо творить человека и эпоху.

В условиях большой работы, усвоенный нами ранее метод расширяется новыми для нас формальными утверждениями. В имажинизм вводятся, как канон: психологизм и суровое логическое мышление. Футуристическое разорванное сознание отходит в область «милых» курьезов. Малый образ теряет федеративную свободу, входя в органическое подчинение образу целого.

И еще: как форма, как закон, — романтическое осознание настоящей эпохи и перенос революционного сознания на прошлые эпохи, если пользуешься ими как материалом.

То, что в нашей статье несколько раз упомянуто имя великого стихотворца девятнадцатого столетия, отнюдь не означает имажинистского движения вспять. Не назад к Пушкину, а вперед от Пушкина. Мы умышленно принимаем за отправную точку вершину расцвета, а не подошву упадка (Некрасов) российской поэтической культуры (и тут злосчастное подразделение: декаданс, акмеисты и ЛЕФ — это цивилизация прекрасного).

1 июня 1923 года

Москва, Петровка, Богословский, 3-46

Р.С. ПО ЛИЧНОМУ ПОВОДУ

В конце 1922 года на организованном нами разгроме левого фронта я заявил:

«Имажинизм должен быть ликвидирован, как школа, если не сумеет выйти из узких формальных рамок и развиться до мирозерцания».

Сумеет он выйти или нет, это покажет наше творчество ближайших лет. Во всяком случае, присюсюкивающие Львова-Рогачевского о том, что «Мариенгоф публично возвестил об упразднении имажинизма», я отношу за счет его умственных способностей. Что же касается до Сосновского, цитирующего в «Правде» эту белиберду с ехидной отсебятиной: «Упразднились, и отлично. Через год-два никто и слова этого не поймет: "имажинисты"», то, должен сказать, что уже после первой его статьи на «идеологическом фронте» мы поняли, что это кандидат в Атииллы современной словесной культуры. Поняли и не очень испугались: пороха у тов. Сосновского не хватит на такое дело.

Мы вот хоть политграмоту и знаем, а в критику азбуки коммунизма не даемся: не удобно же все-таки яйцам курицу учить. У тов. Сосновского дело обстоит гораздо проще: он и литграмоты не знает, и критикует с самым что ни на есть «яичным» апломбом. Что же возмутило грозного блюстителя нравов? А вот что: в проспекте занятий по новейшей русской литературе в Комм. Унив. имени Свердлова — Шершеневич и Мариенгоф есть, а Демьяна Бедного нет. «Очень странно, — пишет Сосновский, — революцию без Мариенгофа можно себе представить, революцию без Демьяна Бедного — труднее». По-нашему: еще труднее, чем без Д. Бедного, представить себе революцию без Ленина. Однако и его в проспекте «новейшей литературы» нет. Очевидно, в проспекте вносились не те, без которых нельзя представить себе революцию, а те, без которых нельзя мыслить новейшую русскую литературу. Что же касается до родственных отношений Д. Бедного с русской поэзией, то, право же, он этой прекрасной даме приходится даже не седьмой водой на киселе. Вот если говорить о газетном фельетоне в стихах, то, сделайте милость, — Демьяну Бедному первое место.

Со своей стороны мы рекомендуем тов. Сосновскому на первое время хотя бы почитать литер<атурные>

статьи Л. Троцкого. Так, например, из его статьи в «Известиях» от 6 июня может почерпнуть, во-первых, что ему следует читать «Молодую гвардию», т. к. этот журнал «считается с молодыми читателями разных уровней развития и соответственным подбором и группировкой статей (он будет) помогать отсталому подниматься со ступени на ступень», и, во-вторых, что «простота и точность могут пролагать себе дорогу разными путями в зависимости от вопроса и от индивидуальности автора. Они ни в коем случае не исключают *образности и живописности речи*. В тех случаях, где образ вытекает из внутреннего развития мысли и лучше всего смыкает два ее еще разобщенные звена, там образ сам становится орудием простоты».

Из этой второй цитаты тов. Сосновский может вывести полезное для себя заключение, что имажинизм (т. е. образотворчество) не такая уж «чепуха», как ему это с первого раза показалось. Вот и все.

И В ХВОСТ И В ГРИВУ

В. Ричиотти «Коромысло глаз».

С. Полоцкий «Заповедь зорь».

Любезные авторы, вы переживаете в Петербурге сейчас прекрасную пору. Очень хорошо, что вы назвали себя «ВОИНСТВУЮЩИМ ОРДЕНОМ ИМАЖИНИСТОВ». Хорошо, что вы вступаете в спор даже с Садофьевым, являющимся, как я узнал из ваших писем, лидером неких «Космистов». Мудрый Кратес затевал философские споры на площадях с публичными женщинами. Отборнейшая брань, которую те расточали по его адресу — закаляла волю философа, тренировала выдержку, приучала слух к самому что ни на есть худшему.

Мы живем в жестокое время. Чем лучше, чем смелее будут ваши стихи — тем пронзительнее станут ругательские сквозняки всевозможных Фриче-Садофьевых.

Крепок должен быть творческий организм поэта, чтобы не захрипели его легкие машинным хрипом.

Милые друзья, в вашей поэзии мы ждем себе союзницу для общей борьбы за человека.

Необходимо пресечь губительную тягу Московии к Америке. Я недавно слушал человека из Чикаго. Этот член Коминтерна на ломаном русском языке говорил о том, какой дорогой ценой купили они победу над *пространством*. В этой борьбе они потеряли, может быть, самое дорогое, что есть у человека, — время: чем стремительнее несутся их подземные и надземные поезда, чем молниеноснее работают железные мышцы великанищ — заводов, тем меньше остается у них свободных часов. Американец вечно спешит и никогда не имеет времени. Вчера они перестали заниматься искусством, сегодня — любить, завтра им некогда будет думать. Эту роскошь они предоставят нам, если только железная чума не пожрет наши души.

Милые друзья, когда вам станет невтерпеж от казенных виршей футуристов (печатаемых по поводу юбилеев, годовщин, болезней и выздоровлений), возьмите Горация. У него иногда можно прочесть полезные строки. То, что я сейчас процитирую, следовало бы поставить эпиграфом к нашей общей борьбе за человека:

Тихо скольжу я обратно к правилу Аристиппа.

Вещи к себе стремлюсь приспособить, а не себя к вещам...

Вчера на сон грядущий я прочел ваши тоненькие книжечки.

Вас интересует мое мнение?

Во-первых, я скажу, что вы уже бегло пишете на «Ундервуде».

«Ундервудом» я называю стихотворную технику. Научиться писать ритмически с акцентуруемыми окончаниями не труднее, чем хорошо работать на пишущей машинке. Формальная метафора, метр, рифма со всевозможными ассонансами, диссонансами, усеченная, точная, разноударники и пр. и пр. — все это не больше чем азбука, которую *необходимо* знать, но знание которой еще не делает человека творцом *прекрасного*.

Во-вторых, мне кажется, что у обоих вас как будто имеются данные, позволяющие перешагнуть за черту, отделяющую ремесло от искусства.

В лирике Полоцкого найдутся 3—4 строки, от которых веет теплом. Лирическое тепло есть уже нечто большее, чем «Ундервуд».

У Ричиотти местами так сколочено слово, что начинаешь ощущать не только руку автора, но и серую массу его мозга. А ведь даже непревзойденный Микель-Анджело гордился тем, что он рисует не руками, а головой.

В заключение мне остается только пожелать обоим авторам, чтобы у них скорее зазвенела, загрохотала:

По перепутьям строк
Тяжелая кибитка
Вдохновений.

(Вл. Ричиотти)

ЕСЕНИН — «ПУТАЧЕВ». «ИМАЖИНИСТЫ». 1922

Шоу был в восторге от своего портного — он один замечал рост и возмужание клиента, ибо каждый раз, когда приходилось шить новый костюм, надо было снимать новую мерку — старая никуда не годилась.

Портной принимал это, как должное, без особого удивления и скорее с удовольствием, чем с огорчением.

Наша критика, к сожалению, уподобляется не портному, а родне: она в восторге, если взлелеянные ими питомцы до седых волос говорят ребячьим голоском и носят коротенькие штанишки. Рост и возмужание они не хотят замечать. А если оно прет в глаза, то это приводит их в совершеннейшее отчаяние.

Есенин начал «Радуницей». «Радуница» была его детским костюмчиком. Скромненькая лирика, многочисленные атрибуты наполовину раскольников, наполовину Православной церкви, стилизованная Расея. Если бы поэт остановился на этом, то уже сегодня имя его помнили бы и чттили одни Львовы-Рогачевские. Вторая книга «Голубень» уже доставила немало забот его литературным опекунам. Голос его стихов мужал, божки превращались в богов, Расея в Русь.

Но все же это были цветочки. Дальнейшие метаморфозы поэта были еще катастрофичнее: крестьянский поэт превратился в имажиниста, богам и божкам он уже больше не молился, а *лаялся* с ними. Критика вздыхала о голубоглазом отроке Сереже и привыкала к тону не весьма любезному, когда приходилось обращаться по адресу члена ЦК Ордена Имажинистов.

Наконец в 1921 году Сергей Есенин напечатал свое первое совершенно зрелое произведение. Мы говорим о «Пугачеве», после которого даже самому тонкому и наблюдательному портному искусства не придется менять столь резко мерки.

Его фигура сформировалась. Его Русь стала Россией. Бунтарство — крестьянской революцией. Мирозрение уложилось в стихи, сделанные с настоящим мастерством и хорошим вкусом.

Как видите, причин было достаточно, чтобы счесть вещь неудавшейся. Российская критика с редким единодушием не замедлила это сделать.

Спешим принести оной критике свои поздравления: она поумнела и выросла.

ПРОЦЕСС ПРАВЫХ КАЭРОВ

День 1666-й

Речь представителя обвинения

АНАТОЛИЯ МАРИЕНГОФА

Как известно товарищам судьям, такого-то октября такого-то года *левая* рука вырвала из *правой* перо. Кисть и резец. Только в подобной перемене власти можно было обрести спасение. Ибо наше отечество — искусство — было на краю гибели. Клич «отечество прекрасного в опасности» гулял над страной.

Правая рука за долгие столетия настолько успела «набить себе руку» в искусстве, что одна картина, нарисованная ею, отличалась от другой картины, нарисованной ею же не более, чем любая актриса Камерного театра от г-жи Коонен из того же театра. Да простят мне

г.г. судьи и публика, что я говорю не образами, а пословицами, хорошо известными старому и малому.

Различие между литературными произведениями стало еще незначительней. Одну поэму стало возможным заменять другой с тою же легкостью и успехом, как, скажем: Москвина, играющего Городничего Яковлевым, представляющим Расплюева в «Смерти Тарелкина». Уверяю вас, что не только наивная публика, но и самые дошлые рецензенты не обнаружили бы никакого подвоха, как в том, так и в другом случае.

Итак, мы утверждаем, что накануне переворота положение в искусстве было воистину катастрофическое. Штамп и Трафарет подчинили своей деспотической воле эстетический вкус интеллигенции и буржуазии.

Вкус пролетариата не был подчинен только потому, что в те времена пролетариат, по существующей конституции, не имел прав на обладание и проявление собственного вкуса.

То, что случилось, слишком хорошо известно каждому. Я не буду затруднять вашего внимания изложением истории революции в искусстве. Мы не сомневаемся также, что вы хорошо помните Москву и Петербург в дни празднования первых двух годовщин Октябрьской революции. Тот великолепный наряд, который стараниями левой руки был одет на площади, улицы и дома. Вы помните и те переполненные аудитории, когда в них поэты левой руки произносили речи и читали свои стихи.

Но, торжествуя свою победу, левая рука оказалась несколько легкомысленной. В нужный момент она не схватила за глотку и не придушила всех тех, кого вы видите сейчас на скамье подсудимых.

О, это был опасный враг! Он забивался во все щели, пролезал во все дыры. Не было такой студии, клуба или аудитории, где бы вы ни слышали его старческого брюзжания. Они подрывали доверие к левой руке лживыми слухами, компрометировали ее инсинуациями. Весь фактический материал только что прошел перед вами. Вы видели, как г.г. Фричи искажали стихи левых поэтов, чтобы придать им ложный смысл. Это они подсунули рабочим проект «римской бабы с русским арбузом» и

убедили, что он достаточно хорош для памятника «свободы». Этот скульптурный шедевр и по сей день красуется на Советской Площади.

Их брюзжание, их сплетня подточила на короткий срок широкий интерес к искусству. Сейчас пустуют выставки и битком набиты кинематошки. Не ходят на «Рогонца» и до исступленья посещают «Потомца и Перламутров», не читают поэтов и требуют Марка Криницкого: «уж если не роман, разрешающий проблемы пола, то хотя бы статейку его в "Известиях"».

Мы не сомневаемся, что широкой агитацией, которую уже начала вести наша ежедневная пресса, мы вернем потерянные позиции.

Но, чтобы быть в дальнейшем спокойными за успех надо прежде всего покончить с той партией, которую мы видим сейчас на скамье подсудимых.

За последнее время преступления против левой руки совершены следующими ее представителями:

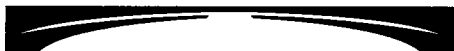
1) П. С. Коган (статья в «Известиях»). Инкрементируется <так!> ему: вредная болтовня об искусстве при полном ничем не понимании и заведомом нежелании понять. Основание: собственное признание: «Еще менее привлекает меня работа по изучению формы. Я совсем не интересуюсь особенностями ритма Маяковского или рассуждениями имажинистов об образе»... Вне формы нет искусства. Понять искусство, не понимая формы, — вещь невозможная. Подобно тому, как нельзя произвести нужный выстрел, не имея винтовки с закономерной формой дула, замка и проч., нельзя пилить читателя не оформленным <так!> содержанием. Получится тот же эффект, как если бы лупить по заряженному патрону молотком. Единственная цель, в которую угодит подобный выстрел, — собственный живот.

2) т. Осинский (статья о поэзии в «Правде») — автор ее заслуживает более тяжелого наказания, чем предыдущий, т. к. в статье при разборе поэтического материала Есенина и др. обнаружил некоторый вкус и вдумчивость, — последнее лишает т. Осинского на смягчающие вину обстоятельства, когда он коронует Анну Ахматову в первые русские поэты. Т. Осинскому следует знать,

что современное искусство нельзя мыслить вне большой темы и героического стиля. Выдавить же лирическое рукоделие Ахматовой, наивное по форме и элементарное по мироощущению, за лучшую поэзию человеку с головой (а не П. С. Когану) — более чем преступно.

3) Христафан Х. (заметка в «Известиях», конец имажинизма). Преступно одно заглавие заметки, ибо под ним пустое место. Автор, к нашему удивлению, оказался настолько честен в своей малограмотности, что о стихах В. Шершеневича и его товарища (рецензируя книгу «Мы Чем Каемся») суждения иметь не посмел. Об имажинизме же рассуждал он, нам думается, со слов папы и мамы. Памятуя малолетство подсудимого, ходатайствую о его помиловании. Однако с отображением от него подписки о непечатании никаких заметок впредь до окончания школы 2-й ступени, дабы иметь хотя бы некоторое представление об истории и теории российской словесности.

**КОЛЛЕКТИВНОЕ:
МАНИФЕСТЫ И ПИСЬМА**



ДЕКЛАРАЦИЯ ИМАЖИНИСТОВ

Вы — поэты, живописцы, режиссеры, музыканты, прозаики.

Вы — ювелиры жеста, разносчики краски и линии, гранильщики слова.

Вы — наемники красоты, торгаши подлинными строфами, актами, картинами.

Нам стыдно, стыдно и радостно от сознания, что мы должны сегодня прокричать вам старую истину. Но что делать, если вы сами не закричали ее? Эта истина кратка, как любовь женщины, точна, как аптекарские весы, и ярка, как стосильная электрическая лампочка.

Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду (родился 1909 — умер 1919). Издох футуризм. Давайте грязем дружнее: футуризму и футурью — смерть. Академизм футуристических догматов, как вата, затыкает уши всему молодому. От футуризма тускнеет жизнь.

О, не радуйтесь, лысые символисты, и вы, трогательно наивные пассаисты. Не назад от футуризма, а через его труп вперед и вперед, левей и левей кличем мы.

Нам противно, тошно от того, что вся молодежь, которая должна искать, приткнулась своею юностью к мясистым и увесистым соскам футуризма, этой горожанке, которая, забыв о своих буйных годах, стала «хорошим тоном», привилегией дилетантов. Эй, вы, входящие после нас в непротоптаные пути и перепутья искусства, в асфальтированные проспекты слова, жеста, краски. Знаете ли вы, что такое футуризм: это босоножка от искусства, это нищестанство формы, это замаскированная современностью надсоновщина.

Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. Надо долго учиться быть безграмотным для того, чтобы требовать: «Пиши о городе».

Тема, содержание — эта слепая кишка искусства — не должны выпирать, как грыжа, из произведений. А футуризм только и делал, что за всеми своими заботами о форме, не желая отстать от парнаса и символистов, говорил о форме, а думал только о содержании. Все его внимание было устремлено, чтобы быть «погородское». И вот настает час расплаты. Искусство, построенное на содержании, искусство, опирающееся на интуицию (аннулировать бы эту ренту глупцов), искусство, обрамленное привычкой, должно было погибнуть от истерики. О, эта истерика сгнаивает футуризм уже давно. Вы, слепцы и подражатели, плагиаторы и примыкатели, не замечали этого процесса. Вы не видели гноя отчаяния, и только теперь, когда у футуризма провалился нос новизны, — и вы, черт бы вас побрал, удосужились разглядеть.

Футуризм кричал о солнечности и радостности, но был мрачен и угрюм.

Оптовый склад трагизма и боли. Под глазами мозоли от слез.

Футуризм, звавший к арлекинаде, пришел к зимней мистике, к мистерии города. Истинно говорим вам: никогда еще искусство не было так близко к натурализму и так далеко от реализма, как теперь, в период третичного футуризма.

Поэзия: надрывная нытика Маяковского, поэтическая похабщина Крученых и Бурлюка, в живописи — кубики да переводы Пикассо на язык родных осин, в театре — кукиш, в прозе — нуль, в музыке — два нуля (00 — свободно).

Вы, кто еще смеет слушать, кто из-за привычки «чувствовать» не разучился мыслить, забудем о том, что футуризм существовал, так же как мы забыли о существовании натуралистов, декадентов, романтиков, классиков, импрессионистов и прочей дребедени. К чертовой матери всю эту галиматью.

42-сантиметровыми глотками на крепком лафете мускульной логики мы, группа имажинистов, кричим вам свои приказы.

Мы, настоящие мастеровые искусства, мы, кто отшлифовывает образ, кто чистит форму от пыли содержа-

ния лучше, чем уличный чистильщик сапоги, утверждаем, что единственным законом искусства, единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ и ритмику образов. О, вы слышите в наших произведениях верлибр образов.

Образ, и только образ. Образ — ступнями от аналогий, параллелизмов — сравнения, противоположения, эпитеты сжатые и раскрытые, приложения политематического, многоэтажного построения — вот орудие производства мастера искусства. Всякое иное искусство — приложение к «Ниве». Только образ, как нафталин, пересыпающий произведение, спасает это последнее от моли времени. Образ — это броня строки. Это панцирь картины. Это крепостная артиллерия театрального действия.

Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейки из газет на картины. Мы проповедуем самое точное и ясное отделение одного искусства от другого, мы защищаем дифференциацию искусств.

Мы предлагаем изображать город, деревню, наш век и прошлые века — это все к содержанию, это нас не интересует, это разберут критики. Передай что хочешь, но современной ритмикой образов. Говорим современной, потому что мы не знаем прошлой, в ней мы профаны, почти такие же, как и седые пассажиры.

Мы с категорической радостью заранее принимаем все упреки в том, что наше искусство головное, надуманное, с потом работы. О, большего комплимента вы не могли нам придумать, чудаки. Да. Мы гордимся тем, что наша голова не подчинена капризному мальчишке — сердцу. И мы полагаем, что если у нас есть мозги в башке, то нет особенной причины отрицать существование их. Наше сердце и чувствительность мы оставляем для жизни и в вольное, свободное творчество входим не как наивно отгадавшие, а как мудро понявшие. Роль Колумбов с широко раскрытыми глазами, Колумбов поневоле, Колумбов из-за отсутствия географических карт — нам не по нутру.

Мы безраздельно и императивно утверждаем следующие материалы для творцов.

Поэт работает словом, беромым только в образном значении. Мы не хотим, подобно футуристам, морочить публику и заявлять патент на словотворчество, новизну и пр., и пр., и пр., потому что это обязанность всякого поэта, к какой бы школе он ни принадлежал.

Прозаик отличается от поэта только ритмикой своей работы.

Живописцу — краска, преломленная в зеркалах (витрин или озер) фактура.

Всякая наклейка посторонних предметов, превращающая картину в окрошку, — ерунда, погоня за дешевой славой.

Актер — помни, что театр не инсценировочное место литературы. Театру — образ движения. Театру — освобождение от музыки, литературы и живописи. Скульптору — рельеф, музыканту... музыканту ничего, потому что музыканты и до футуризма еще не дошли. Право, это профессиональные пассажиры.

Заметьте: какие мы счастливые. У нас нет философии. Мы не выставляем логики мыслей. Логика уверенности сильнее всего.

Мы не только убеждены, что мы одни на правильном пути, мы знаем это. Если мы не призываем к разрушению старины, то только потому, что уборкой мусора нам некогда заниматься. На это есть гробокопатели, шакалы футуризма.

В наши дни квартирному холоду — только жар наших произведений может согреть души читателей, зрителей. Им, этим восприимчивым искусства, мы с радостью дарим всю интуицию восприятия. Мы можем быть даже настолько снисходительны, что попозже, когда ты, очумевший и еще бездарный читатель, подрастешь и поуменьшеешь, — мы позволим тебе даже спорить с нами.

От нашей души, как от продовольственной карточки искусства, мы отрезаем майский, весенний купон. И те, кто интенсивнее живет, кто живет по первым двум категориям, те многое получают на наш манифест.

Если кому-нибудь не лень — создайте философию имажинизма, объясните с какой угодно глубиной факт нашего появления. Мы не знаем, может быть, оттого, что

вчера в Мексике был дождь, может быть, оттого, что в прошлом году у вас оценилась душа, может быть, еще от чего-нибудь, — но имажинизм должен был появиться, и мы горды тем, что мы его оруженосцы, что нами, как плакатами, говорит он с вами.

Передовая линия имажинистов.

*Поэты: Сергей Есенин, Рюрик Ивнев,
Анатолий Мариенгоф,
Вагим Шершеневич.*

*Художники: Борис Эрдман,
Георгий Якулов.*

Музыканты, скульпторы и прочие: ау?

МАНИФЕСТ

Мы, верховные мастера ордена имажинистов, не-престанно пребывая в тяжких заботах о судьбах нашего стиха российского и болея неразумением красот поэтических форм любезными нам современниками, в тысячный раз громогласно возвещаем чрез тело своих творений о первенстве перед прочим всем в словесном материале силы образа.

В тысячный раз мы выдвигаем значение формы, которая сама по себе есть прекрасное содержание и органическое выявление художника.

Принося России и миру дары своего вдохновенного изобретательства, коему суждено перестроить и разделить орбиту творческого воображения, мы устанавливаем два непреложных пути для следования словесного искусства:

1) пути бесконечности через смерть, т. е. одевания всего текучего в холод прекрасных форм, и

2) пути вечного оживления, т. е. превращения окаменелости в струение плоти.

Всякому известно имя строителя тракта первого и имя строителя тракта второго.

Созрев на почве родины своего языка без искусственного орошения западных стремлений, одевавших

российских поэтов то в романтические плащи Байрона и Гете, то в комедиантские тряпки мистических символов, то в ржавое железо урбанизма, что низвело отечественное искусство на степень раболепства и подражательности, мы категорически отрицаем всякое согласие с формальными достижениями Запада и не только не мыслим в какой-либо мере признания его гегемонии, но сами упорно готовим великое нашествие на старую культуру Европы.

Поэтому первыми нашими врагами в отечестве являются доморожденные Верлены (Брюсов, Белый, Блок и др.), Маринетти (Хлебников, Крученых, Маяковский), Верхарнтя (пролетарские поэты — имя им легион).

Мы — буйные зачинатели эпохи Российской поэтической независимости. Только с нами Русское искусство вступает впервые в сознательный возраст.

*Сергей Есенин
Анатолий Мариенгоф
Дан: в городе Москве
12 сентября 1921 года.*

НЕ ПЕРЕДОВИЦА

Мы, россияне, беспокойные люди. Да и можно ли быть россиянам спокойными. Отечество наше велико, сородичей наших много. Каждый из нас (хотя и скрывает он сие из пристрастия к модничанью) любит черное тело своей земли и серые глаза своих собратий. Любя же это, не может он постоянно не пребывать в беспокойстве за судьбы того, и тех, кто нашел постоянное место в его сердце и памяти.

Настоящее и послужило причиной тому, что издавна стали мы склонны к путешествиям. Говорим это, разумеется, не в прямом смысле. Хотя, если бы и в прямом говорили, то и тогда мысль не была бы ложной. Кочевники были наши прадеды. Пусть много времени утекло, но все же и в нас с наперсточек крови прадедовской наберется.

И так: издавна были склонны мы к философским и метафизическим путешествиям. Правда, в последние дни вкус путешествующих крайне изменился. Да и пу-

тешественники большею частью стали не путешественниками, а туристами. С точными бедкерами, желтыми портпледами, острыми цейсами и термосами на узких ремнях. Что касается желтых портпледов и бедкерров, целесообразности их мы оспаривать не будем. А вот относительно острых цейсов и термосов на узких ремнях — увольте: форсят господа туристы.

Мы сказали, что вкус господ путешествующих сильно изменился. Совершенно верно. Раньше их привлекали белоснежные горы *прекрасного*, теперь же из ста путешествующих девяносто восемь предпочитают благоустроеннейшие курорты в стране *утилитарного*.

На чьей стороне наше сочувствие и наша симпатия, нетрудно угадать внимательному читателю.

Тот же внимательный читатель, увидав *имена* постояльцев (мы не сомневаемся, что каждое из них что-то говорит сердцу его и уму), сначала должен прийти в немалое удивление: «эти-то... они-то... и вдруг! Где-бы вы думали — по *прекрасному!*...» Если этот читатель — истинный россиянин, то за сим должно последовать крепкое слово.

Любезный читатель, здесь обращаемся мы не только к твоей внимательности, но и к догадливости.

А ежели ты догадлив, то следующее соображение должно быть такого порядка. «*Прекрасное-то оно прекрасным, но, видно, климат и природа этого самого, чорт побери, прекрасного* не весьма схож с климатом и природой страны, которая называлась тем же именем во времена не столь отдаленные. Иначе не стали бы оные молодцы по ней путешествовать».

Так рассуждал бы догадливый читатель; но не всякий читатель догадлив — другой проглотит эту пилюлю, как должное, и усом не поведет.

Во избежание же всяческих недоразумений при всей нелюбви нашей к празднословию считаем себя вынужденными сказать несколько слов по этому поводу.

Во времена отдаленные прекрасное искусство еще называлось изящным. То и было подлинным выражением его сущности.

Что есть изящное? Говоря языком образа, применительно к стране, по которой путешествуют, это означа-

ет: горы не особо высокие, подъемы не весьма крутые, пропасти — ах, лучше бы пропастей и совсем не было, а не то, упаси бог, и взаправду еще свалишься! — короче говоря, пусть все обстоит так, чтобы для господ путешественников поднятие на гору не было опасной экспедицией ради открытия каких-то высот, а веселой прогулкой для собственного удовольствия. Чтобы ничто не нарушило: ни приятные свойства походки, ни легкость светских манер, усвоенных с такой трудностью от господ иностранных воспитателей.

До чего-же изменилась природа прекрасного в наши дни!

Всего лучше читатель усвоит ее, если удосужится всмотреться в тяжелую походку слова, в грубую манеру рисунка, тех, кто совершает ныне по ней небезопасную экспедицию.

Спрашивается: почему же она все-таки называется прекрасной? Могут ли бесчисленные обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя?

Еще Евгений Боратынский, тот самый, который отличался необыкновенной легкостью словесных манер и приятными свойствами ритмической походки, видел в литературе НАУКУ. Далее у него шла знаменательная оговорка: «правда (писал он) в ней можно искать и прекрасное, но прекрасное не для всех, это не понятно даже людям умным, но не одаренным особенной чувствительностью».

Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плавания к берегам нового мирознания (так понимаем мы революцию), в изобретательстве порядка космического.

Не в строении однодневного быта, не в канонах политических программ, не в изобретении «вывинчивающейся на три аршина шеи» (о, товарищи футуристы, до чего убого ваше воображение!) видим мы путь художника и его *большую тему*.

Если открытие Эйнштейна брать применительно к масштабам земли, то его утилитарное значение будет не больше утилитарного значения метафизического трактата...

Но как же заговорились мы, при всей нелюбви нашей к празднословию!

Обратим же скорее свое внимание на путешествующих и туристов, чего требует не передовица к «Гостинице».

Итак, по мере того, как росло число туристов — увеличивались в числе и отели (более или менее фешенебельные). В конце концов каждый турист стал обеспечен пристанищем и всякий отель обеспечен туристами.

По мере же того, как горы, не совсем безопасные (как мы уже говорили) и легкие для путешествий, стали все реже и реже видеть следы человеческих ног — реже и реже стали становиться гостиницы на их белых гребнях. И вот в один злосчастный день закрылась последняя. Редкие путешественники по прекрасному остались без крова. Долгий год они влачили бесприютное существование. И еще ни один год они бы влачили его, если бы, на их счастье, не нашелся чудак, чуждый суровой бухгалтерии нашего меркантильного времени. Этот чудак на самом высоком и опасном месте построил *«гостиницу для путешествующих в прекрасном»*.

Всякий, кого привлекает сладостная чистота морозного воздуха и прозрачность вечного льда, может смело подниматься на многоверстную высоту.

Ему обеспечен кров, радушие хозяина и занимательная беседа соседей, правда, немного странноватых, с точки зрения тех, кто живет внизу.

Но кто его знает: может быть, уж не так странноваты соседи, а может быть, и совсем не странноваты, а странновата сама точка зрения.

В самом деле, почему это вот так-таки вы и уверены, что самое законное местонахождение точки зрения внизу, а не наверху?

Мы спрашиваем вас: почему обязательно у подошвы? Разве в новой библии сказано, что пятка важнее головы?

СВОЕВРЕМЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. О поэзии

Имажинизм и имажинисты прошли формальный период. Следовательно, этот период пройден и всей русской поэзией, которая есть лишь *перелев* или *недолев* имажинизма.

2. Похвала пошлости

Соловей, луна, роза-греза, фабрика и автомобиль могут быть упразднены как *тема*. Но: поэма, не поющая, как соловей, не пахнувшая, как роза, не покровительствующая возлюбленным, как луна, не организованная, как фабрика, и не мчащаяся в будущее, как автомобиль, — *излишни*.

3. О дяде Михее в трех лицах

Над стихами читатель должен или рыдать, или хохотать, или хвататься за браунинг. Гуманитарные упражнения Лефа, грест по эксплуатации быта в «Круге», бедные дарования ученики Демьяна, — вызывают только надгробные возрыдания над их судьбой, смех над поэт-грамотой.

P.S.

Опоязам и прочим брикам оставляем кухню наших рифмочек, звуковых повторов, верлибров, аллитераций и прочей подделки большой поэзии. Приказывается оным опоязам и брикам выпустить «Поваренную книгу поэзии» с готовыми рецептами для облегчения работы кухарок из поэтических антант (Леф-Мапп).

4. Лавочка

Умному умничанье не нужно, умничанье — это удел глушца. Критика всегда была лавочником, получавшим свежий товар от кустаря-поэта и сбывавшая его через столетие в гнилом и протухшем виде потребителю-читателю.

5. Реклам-бюро

Критик новой формации является, как агент торгового дома (реклам-бюро), с чистым блокнотом, поэт инспирирует его. Таким образом, читатель получит *не глупости*, высосанные из пальца книг, обглоданных

мышами времени, а *истину*. Для читателя важнее всего количество ботинок и галстуков поэта, цвет глаз и имя любовницы. Мастерство поэта оценит сам читатель. Мы приветствуем личные памфлеты, хорошее перемывание самого что ни на есть грязного белья.

6. P.P.S.

Маяковскому в случае ухудшения поэтических отношений с Гумом и Моссельпромом обеспечен заработок у нас.

7. О читателе

Читателя нет вообще. Он выдуман поэтом. В былое время Нерон приказывал себя слушать при ярко освещенной рампе пожара. Князя Шаликовы для этой цели обзавелись дворовыми людьми. С отменой крепостного права читатель кончился.

8. Грустные мысли

Остались покупатели книг. Книги покупаются для разных целей! Для придания интеллигентности лицу, для обстановки квартиры, для более быстрого засыпания. Некоторые полагают, что не читать книгу это так же не бонтонно, как не делать маникюра; другие — что это так же не предусмотрительно, как не иметь для домкома удостоверения с госслужбы. Третьи, не будучи в состоянии удовлетворить свою возлюбленную честно, удовлетворяют ее стихами.

9. Imagination

Эти категории, подлинно существующие, отнюдь не способствуют развитию стихотворчества. Для этой цели выдуман во всероссийском масштабе абстрактный

читатель. Читатель — лицо юридическое, а не физическое. То, что дало право поэту писать — воображение, *imagination*, — дало право и выдумать читателя. Чем гениальней поэт, тем гениальней его выдуманный читатель. Бездарные стихи Лефа и Маппа проистекают в некоторой мере от того, что эти организации пишут для конкретного Иванова, приравниваясь к его вкусу.

10. Историческая справка

В разные эпохи поэты по-разному выдумывали читателя, зачастую очень искусственно. Вольнодумца Вольтера читали только коронованные особы. (Екатерина читала, чтоб создать себе славу просвещенной читательницы).

11. Грехи молодости

Поэт, прежде чем написать стихотворение, придумай читателя. Но, выпустив книгу, чтоб не отравить себе существование, не заходи в книжные магазины, ибо выдуманный читатель всегда прекрасней существующего. Реальный философ окажется Степуном, синеокий юноша — добросовестным онанистом, а прекрасная незнакомка — той поэтессой, которая недавно умолила напечатать в «Гостинице» ее стихи. Мы, имажинисты, видели покупателей всех сортов (от «ананасов в шампанском» до книжек с политическими баснями Д. Бедного) и только твердыми нервами можно объяснить наше упорное стихотворчество. Для нас стихи — это грехи молодости, но, как известно, молодость поэтов не кончается даже за гробом.

12. P.S.

Некоторое несоответствие содержания пунктов только подтверждает нашу правоту: в искусстве выдумано все — стих, стихотворец, стихокритик, стихотеец и даже эти своевременные размышления. В тот момент,

когда мир встанет на строго материалистическую точку зрения, без примеси идеализма, искусство должно исчезнуть или уйти в подполье.

*Анатолий Мариенгоф
Вагим Шершеневич*

ВОСЕМЬ ПУНКТОВ

1

На обвинение: «Поэты являются деклассированным элементом!» — надо отвечать утвердительно: «Да, нашей заслугой является то, что мы УЖЕ деклассированы». К деклассации, естественно, стремятся классы и социальные категории. Осознание класса есть только та лестница, по которой поднимаются к следующей фазе победного человечества: К ЕДИНОМУ КЛАССУ. Есть деклассация в сторону другого класса — явление регрессивное; есть деклассация в сторону внеклассовости, базирующейся на более новых формах общества; эта ДЕКЛАССАЦИЯ — ЯВЛЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЕ. Да, мы деклассированы потому, что мы уже прошли через период класса и классовой борьбы.

2

Аэроплан летит в воздушном пространстве, оторвавшись от земли. Земля нужна ему как точка, от которой он отталкивается. Без земли не было бы полета. Аналогия: искусству БЫТ НУЖЕН ТОЛЬКО КАК ОТПРАВНАЯ ТОЧКА. Но заставьте искусство валандаться в быте, и вы получите прекрасный аэроплан, который перевозит по земле (некоторые зовут его трамваем).

3

Поспешным шагом создается новое «красное эстетизирование». Маркизы, пастушки, свирели — каноны сантиментальной эпохи. Машины и сумбур — эстети-

ческие привычки буржуазно-футуристической эпохи. СЕРП, МОЛОТ, МЫ, ТОЛПА, КРАСНЫЙ, БАРРИКАДЫ — ТАКИЕ ЖЕ АТТРИБУТЫ КРАСНОГО ЭСТЕТИЗИРОВАНИЯ. Примета зловещая. Фабрикаты штампа. Об аэропланах легко писать теперь, надо о них было писать до изобретения. Легко сейчас воспевать серп и молот. Надо было до революции. Эстетизирование не в том, что воспевать (красивость маркизы не более эстетична, чем красивость баррикад); ЭСТЕТИЗИРОВАНИЕ В ТОМ, ЧТО ВОСПЕВАЮТСЯ ВНЕШНЕ МОДНЫЕ ПРЕДМЕТЫ С ВНЕШНЕ МОДНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.

4

Упреки — ваше искусство не нужно пролетариату? — построены на основании ошибки с марксистской точки зрения: смешивается пролетариат с отдельными рабочими. ТО, ЧТО НЕ НАДО СИДОРОВУ ИЛИ ИВАНОВУ, МОЖЕТ БЫТЬ, КАК РАЗ НУЖНО ПРОЛЕТАРИАТУ. Если встать на точку зрения: это не нужно пролетариату потому, что 100 Ивановых это сказали, поведет к выводу, что пролетариату никакое искусство не нужно: часть рабочих и солдат разорвала гобелены зимнего дворца на портянки — следовательно, старое не нужно. Часть рабочих отозвалась отрицательно о новом искусстве, следовательно, оно тоже не нужно. То, что нужно пролетариату в 1924 году, выяснится пролетариатом в 2124 году. История учит терпению. СПОРЫ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ — ПРОГНОЗЫ ГАДАЛКИ.

5

Протестует против бытописательства? — Да! За что вы? — За быт? Разъясняем: быт можно фотографировать — точка зрения натуралистов и «пролетарствующих» поэтов. Быт можно систематизировать — точка зрения футуристов. БЫТ НАДО ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ И РОМАНТИЗИРОВАТЬ — НАША ТОЧКА ЗРЕНИЯ. МЫ

романтики потому, что мы не протоколисты. Мы наряду с лозунгом «Борьба за новый быт», выдвигаем лозунг «Борьба за новое мироощущение».

6

Работа человека складывается из двух моментов: 1) так называемой работы (производство), которая служит непосредственной выработке и которую ограничивают пока 8-ми часовым днем, а потом ограничат и 2-х часовым; и 2) РАБОТЫ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕСПРЕСТАННО В ПСИХИКЕ (УМСТВЕННАЯ), которую нельзя ограничить никаким декретом охраны труда, кроме декрета смерти. Помогать первой работе взялись производственники. ОБСЛУЖИВАТЬ ВТОРУЮ — БЕРЕМСЯ МЫ.

7

К спору о том: что поэт — такой же человек, как все, или он избранник? — Арабский скакун — такой же конь, как и все извозничьи лошади. Но почему-то на скачках он бывает впереди других. Кстати: не напоминают ли пролетарствующий «ЛЕФ» и литературные октябристы из «На посту» — ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ.

Мы предпочтем даже тундровые мхи Петербургской академии пирамидальным тополям из войлока и мочалы футуро-коммунэров.

8

Октябрьская революция освободила рабочих и крестьян. Творческое сознание еще не перешагнуло 61-й год.
ИМАЖИНИЗМ БОРЕТСЯ ЗА ОТМЕНУ КРЕПОСТНОГО ПРАВА СОЗНАНИЯ И ЧУВСТВА.

*Анатолий Мариенгоф
Вагим Шершеневич
Николай Эрдман
Рюрик Ивнев
Сергей Есенин*

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО: ОТВЕТ НА РОСПУСК ОРДЕНА ИМАЖИНИСТОВ ЕСЕНИНЫМ И ГРУЗИНОВЫМ

В «Правде» письмом в редакцию Сергей Есенин заявил, что он распускает группу имажинистов.

Развязность и безответственность этого заявления вынуждает нас опровергнуть его. Хотя Есенин и был одним из подписавших первую декларацию имажинизма, но он никогда не являлся идеологом имажинизма, свидетельством чего является отсутствие у Есенина хотя бы одной теоретической статьи.

Есенин примыкал к нашей идеологии, поскольку она ему была удобна, а мы никогда в нем, вечно отказывающемся от своего слова, не были уверены как в своем соратнике.

После известного всем инцидента, завершившегося судом Ц. Б. журналистов над Есениным и К°, у группы намечилось внутреннее расхождение с Есениным, и она принуждена была отмежеваться от него, что и сделала, передав письмо Заведующему лит. отделом «Известий» Б. В. Гиммельфарбу 15 мая с. г. Есенин в нашем представлении безнадежно болен психически и физически, и это единственное оправдание его поступков.

Детальное изложение взаимоотношений Есенина с имажинистами будет напечатано в № 5 «Гостиницы для путешественников в прекрасном», официальном органе имажинистов, где, кстати, Есенин уже давно исключен из числа сотрудников.

Таким образом, «ропуск» имажинизма является лишь лишним доказательством собственной распушенности Есенина.

*Рюрик Ивнев,
Анатолий Мариенгоф,
Матвей Ройзман,
Вагим Шершеневич,
Николай Эрдман*

ПРОТОКОЛ ИЗ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА «ЛИТЕРАТУРА И БЫТ»

Протокол № 1

Собрание членов — учредителей Общества Поэтов и Литераторов «ЛИТЕРАТУРА И БЫТ»

26-го августа 1928 года

Присутствовали: Рюрик Ивнев, Олег Леонидов, Анатолий Мариенгоф, Михаил Фоломеев, Раваил Колумбов, Борис Глушаков, Анатолий Бондаревский, Дмитрий Кузнецов, Михаил Нетропов (Портен) и Иван Гайдукевич.

Слушали: Доклад литератора Олега Леонидова о желательности Общества Поэтов и Литераторов «Литература и Быт».

Постановили: Считать необходимым создание Общества «Литература и Быт», ставящего себе целью организованное изучение Советского Быта на предмет использования добытых таким изучением сведений в литературных произведениях своих членов.

Обратиться в НКВД на предмет регистрации надлежащего Устава данного Общества.

На подачу Устава Общества в НКВД, а равно на ведение всех переговоров по организационным и иным вопросам, связанным с Обществом, уполномочить Рюрика Ивнева, заместителем его Михаила Фоломеева, выдав им на сей предмет соответствующее удостоверение.

Докладная записка, поданная в НКВД
18 сентября 1928 года

В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Общества Поэтов и литераторов
«ЛИТЕРАТУРА И БЫТ»

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Работа советских литераторов в области художественной прозы и поэзии с каждым годом все отчетли-

вее сталкивается с необходимостью тщательного изучения нового советского быта.

Повесть, рассказ, роман, поэма требуют обязательной увязки с реальным материалом, вне которого немислима советская специфика, вне которого советские персонажи оказываются не более как масками, заимствованными в своих характеристиках и своих основных положениях из дореволюционной литературы и автоматически пересаженными в советские условия. Такой пересадки без ущерба для художественности произведения выпускать нельзя. Советский персонаж рожден специфическими условиями революционных лет и возникающего на их основе нового быта.

Литераторами уже осознана необходимость работы на реальном материале, чем и вызваны многочисленные поездки писателей в «Колхозы», на такие строительства, как Днепровское, в Донбасс, на [да]лекие окраины Союза, и проч.

Получаемые в результате такой работы на реальном материале произведения значительно выше и художественнее в социальном значении произведений, написанных исключительно по «вдохновению».

Учитывая все это, группа советских литераторов решила организовать общество «Литература и быт» с целью внесения планомерности, плановости и наибольшей углубленности в дело изучения нового быта. Только такой путь обеспечит реальную возможность не отвеченной «олимпийской» работы советского литератора, а работы, имеющей общественную социальную значимость помимо значимости художественной.

Все изложенное заставляет нас обратиться в Народный Комиссариат Внутренних Дел с просьбой об утверждении прилагаемого устава Общества поэтов и литераторов «Литература и быт».

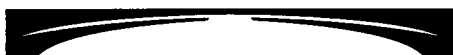
Общество «Литература и быт»

18 сентября 1928 г.

Москва, 34, Арбат, Денежный 12, кв. 7

Телефон 2-67-21

ПИСЬМА



Письмо Сергею Есенину

Мой любезный! Мой любимый!

Известно ли тебе, что все твои письма или почти все, т. е. те, которые величиной хотя бы несколько превосходили куриный нос, напечатаны в «Гостинице».

Думаю, что это не очень тебя рассердит. В конце концов почему и не предупредить события? Ведь мы же с тобой не двадцатипятилетние подагрики из какого-нибудь литературного «звена», чтобы играть в слащавенькую невинность! Добрая литературная традиция требует от этих «человеческих» документов двадцатипятилетнего лежания — либо в глубоком ящике огромного дубового письменного стола, либо в шкатулке красного дерева со старыми инкрустациями. Но ведь ты хорошо знаешь, что в моей, сейчас в моей — а когда-то в нашей — комнатке на Богословском нет ни такой шкатулки красного дерева со старыми инкрустациями, ни дубового письменного стола с выдвижными ящиками. Правда, я мог бы отдать их на хранение милому бывш<ему> хозяину нашей «Гостиницы» (у него имеется и то, и другое), но подумай сам: четверть века лежать этим человеческим документам и желтеть от нетерпения в ожидании (для них счастливо-го, а для нас печального) часа, когда их славный отправитель соизволит отправиться туда, где

Средь небесных тополей
Опрокинулся над нами
Серебропрудый Водолей.

О, эти каналы — письма — прекрасно знают свою судьбу! Каждая строка, всякое слово в них, даже самого интимного свойства, не в силах скрыть губительной

жажды — типографских красок, плоской машины, острого корректорского карандаша (но, увы! Без последней авторской правки).

Вот те соображения, которые и явились виновниками несколько ускоренного появления твоих «эпистолей» на свет.

Милый Сергун, ты ругаешься, что я мало пишу. Нелепая стала у меня психология. Понимаешь, я никак не могу победить пространство. Писать в Нью-Йорк? Здесь, в Москве, не так быстро забываются навыки революции. Не наше ли с тобой странствование от Москвы до Каспия равнялось по числу дней и ночей ветхозаветному дождю, результатом которого явился потоп, и не наши ли с тобой письма катились от Каспийских вод до Москвы вчетверо дольше. А незабываемая гонка в кубанской степи «Златогривого» жеребенка с нашим «экспрессом»! помнишь, ведь был момент, когда твое скифское сердце прыгало от радости в предчувствии победы «тонконового». Но тут уж было задето урбаническое самолюбие нашего машиниста. Сколько ему, бедняге, стоило усилий, чтобы выйти из этого грозного соревнования победителем. О, как дорога мне эта победа! — ведь она виновница одной из чудеснейших элегий времени революции:

Глупый, глупый смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Разве он не знает, что степных коней
Победила стальная конница!..

И после всего этого ты хочешь, чтобы я писал в Нью-Йорк. Да я и по сей час боюсь отправить послание в родимую Пензу. Мне все кажется, что оно придет на другой день после моей смерти.

Ну-с, довольно лирической болтовни. Приготовьтесь, милостивый сударь, выслушать нечто весьма важное. Перво-наперво: конкретное предложение о скорейшем окончании путешествия. Довольно тебе, в самом деле, баклуши бить по Америкам и Европам. Не «такое ныне время», чтобы можно было разрешать тебе столь долгосрочный отпуск. Ты вот не хочешь, чтобы я сейчас ехал за границу, потому что некому будет сторожить российской поэзии — видно там, в буржуазной Америке, ты успел

забыть, что в Советской России существует 8-мичасовой рабочий день — смею об этом тебе напомнить. Нашего брата сейчас раз, два и обчелся. Недавно публично (на одной дискуссии) я даже непростительно взгрустнул:

Иных уж нет, а те далече...

Кстати, о полях московской поэзии. Ну, и поганая же литературная скотина пошла. Право же не стоит она той бумажной травки, которую в таком изобилии отпускает ей наше доброе государство. А аппетиты у сих, состоящих на подножном корму — всевозможных ЛЕФ'ах и КРУГ'ах — должен тебе сказать: огромнейшие. Бедная наша Москва: к кофе консервированное американское молоко, какао на консервированном американском молоке, в кашу консервированное американское молоко. Подоишь пиитическую коровку — вроде Асеева или Маяковского — опять молоко Ара. Здорово же брюхо у почтенных россиян — второй год этакую мерзость пьют и хоть бы что тебе.

Знаешь, я кем последнее время восхищаюсь и кто положительно гениально пользуется родное сырье и дурачит отечественных ископаемых — Борис Пастернак.

У человека лирического чувства на пяточок, а темка короче фокстерьерского хвоста, чувствование языка местечковое. Зачастую такие строчки:

«Что ты не отчасти и не между прочим»

«Кышь в траву» и т. д.

Синтаксис одесского анекдота в интерпретации Виктора Хенкина.

В целом не стихи, а магазин случайных вещей. На одной полочке: калоша треугольник, одеколон «одор-дифемина» и роскошное издание Игоря Северянина в парчовом переплете. Не могу удержаться от удовольствия, чтобы лишний раз не порадовать тебя цитатой из этого достойного автора:

Поэзией я буду клясться,
Тобой и концу прохрипев,
Ты не, осанка сладкогласца,
Ты лето с местом в третьем класс,
Ты пригород, а не припев.

Что это — такое, как не развратничанье образом — образом всегда внешним и ничем неоправданным (в данном случае «поэзия» — она тебе и «пригород, а не припев», и «осанка сладкогласца», и «лето с местом в 3 классе», и с одинаковым равноправием: ночная туфля с продранной пяткой, а не стеариновая свеча, керченская селедка, а не созвездие «Лебедя» и т. д. и так до бесконечности).

Пастернака необходимо читать нашим молодым последователям. Пастернак самое лютое кривое зеркало имажинизма. На Пастернаке следует учиться: как нельзя пользоваться метафорой. Его словесные деяния — лучшее доказательство того, что самые незыблемые поэтические догматы, если их воспринять внешне и с утрировкой, немедля становятся трюковым приемом, абракадаброй, за которой весьма удобно прятать скромненькое обывательское «я», пустое сердце и отсутствие миросозерцания.

То, что на эту дешевенькую удочку у нас ловится критика, и легковерный читатель, и жаждущие звания «мастера» юные стихослагатели, наводит меня на самые грустные размышления.

От искусства не требуется большого, нет настоящих запросов, здорового спроса. В тысячу раз было бы легче, если бы широкие читательские круги и средняя критика не принимали никак новое искусство. Я сам охотно согласился <бы> вновь пережить травлю 18 и 19 годов — если бы они предпочитал<и> нам — Баратынского, Пушкина, Гоголя, Достоевского. Тогда бы, по крайней мере, была удовлетворенность, что их понимание докажется через какое-то время и до того большого, что делается в наши дни!

Общее увлечение трюковщиной, фокусничеством, штукарством (увлечение по кругу: тут и театр, и живопись, и скульптура) предрешает на долгое время судьбу органического русского искусства.

Я считаю, что Запад в этом отношении находится в лучшем положении, чем мы. Пусть сегодняшние победители там Фокстрот, Мюзик-хол и Да-Да — но ведь там все это идет от сытого буржуа, его супруги и потом-

ства. Об этом у них не будет говорить всерьез марксистский теоретик (а у нас вот Бухарин мечтает о советском Пинкертоне). За Чарли Чаплином там не пойдет лучшая часть молодежи. Да, наконец, Запад еще не пережил коммунистической революции. В истории существует следующий разговор между Петром Великим и королем Датским.

Король Датский

А, милый друг, я узнал, что и вы тоже имеете любовницу.

Петр

Друг мой, мои б... и стоят мне очень дорого, но вы на свою тратите миллион экю, которые можно было бы употребить лучше.

(Из депеши Лосса к Мантайфелю, Копенгаген, 1716 г.)

В данном случае мы являемся королем Датским. За легкомысленную интрижку в искусстве мы платим миллион экю (не вздумай понять меня в прямом смысле — я меньше всего печалюсь о советских денежных знаках), в то время, как Запад рассчитывается за нее сущей сволочью: душой торгаша и офицера...

Мне вспоминается разговор с Айседорой Дункан о Мейерхольде. Первое представление «Рогоносца» она смотрела так же, как мы бы с тобой смотрели, скажем, «Дядю Ваню» в Художественном театре в 1923 г. В чем дело? Оказывается, «Рогоносец» для нее и является «Дядей Ваней», только не Художественного театра, а Орехово-Зуевского. Мейерхольд умудрился перенести в Белокаменную штамп окраинных театриков Нью-Йорка и Чикаго.

Повторяю, что на всю эту галиматью не стоило бы обращать никакого внимания, если бы она не становилась знаменем времени, не выдавалась бы за рабочее производственное искусство, не имела бы огромной поддержки в партийной прессе.

Мне очень улыбается борьба советской критики с эстетизмом, изыском, утонченностью в современном искусстве. Еще Александр Сергеевич Пушкин предлагал

«оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть, — писал он, — в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристала». Это Пушкинское пожелание с легкостью распространяется и на все прочие российские искусства. Но я никак не могу понять, почему следует улюлюкать на Таирова и поощрять Всеволода Эмильевича. Неужели все эти Блюмы до такой степени подслеповаты, чтобы не видеть в Мейерхольдовской стряпне тот же самый Уайльдковский эстетизм, преподанный лишь под несколько иным соусом... Жорж Якулов очень хорошо сказал: все театры танцуют кафешантанное танго. Только один из них повязал шею красным шарфом, а другой — французским галстуком. Один исполняет танго-апаш, другой — салонное.

То, что мы за этот год почти не показывали носа на литературную улицу (мое выступление в Колонном зале с «Разгромом» не в счет — это был удар по враждебной морали), сыграло огромную роль в оздоровлении всего нашего творческого организма. Мы счастливо уберегли себя от тягчайших болезней. Читаемые в Богословской комнатке стихи — некий «Пир во время чумы»:

Как от проказницы зимы,
Запремся так же от чумы;
Зажжем огни, нальем бокалы,
Утопим весело умы...

Я считаю, что это время — время наибольшего роста почти что каждого из нас. Сами собой отвалились гнилые суки формалистики и окрепло понимание общих всечеловеческих задач — поэзии. Уже намечен переход от метафорической живописи событий к образу человека.

Как и в первые дни, так и сегодня нашим лютейшим врагом является футуризм — этот циничнейший осквернитель искусства.

Пиши, любимый,
по-прежнему твой Анатолий Мариенгоф.

P.S. В конце июня я уезжаю в Крым, пробуду там 2 или 3 месяца. Во всяком случае не вернусь раньше, чем

закончу легчайший фарс в стихах «Возлюбленная про-рока» (о библейской Сусанне) и не напишу первую 1000 строк поэмы о Петре.

Письмо А. Мариенгофа А. Кусикову

(Москва, 27.III.1922 г.)

Сандро — довольно:

Больше не хочу помнить.

Были у меня к тебе: неприязнь, вражда, даже — злоба. И — нет.

Не рукой сняло — а письмом. Тонем его. Письму поверилось, а не с голоса.

Самому стало легче. Ведь ты знаешь — что к тебе хуже всех я был. Самым злым глазом смотрел. (*зачеркнуто, нрзб.*) Пакости ждал и пакости готовил. Теперь не готовлю и не жду. Все это по-настоящему, по-серьезному.

В Москве — грусть. Каждый поодиночке.

Не банда у нас, а разброд. О многом писать совсем не хочется. Очень тяжело. Как будто — помнишь, наша — мечтаемая — эпоха — уходит. Может быть, не мы тому виной — а гнусь в самом времени, а может быть, удержаться и удержать не сумели.

Хотя в работе чувствую себя крепче, чем когда-либо. И опустошения внутри нет.

Сандро, приезжай молодым. Чтобы весна, как весна была: и «монастырь», и «мобилизация» — не сладкие воспоминания. А то, знаешь, о нас уже стали в прошедшем времени говорить.

Собирается в Берлин Сергей — думается мне, что если и выберется, то не ранее, как через месяц.

Шлю тебе, Сандро, — «Стихами чванствую», «Тучелет», «Разочарование» и новые вещи. Все это сгрудь в одну книгу (в хронологическом порядке, т. е. так, как я печатал) и назови ее «Холодная страна»; новые вещи, если удастся, проведи через журналы.

Славы я не жажду, отдавай книгу, если сносно заплатят. Будут предлагать гроши, пошли к ... матери. Шлю и «Заговор дураков» — жарь и его пристраивай отдельно.

Соберется гонорар, вези не деньгами, а всякой дрянью: сигарами, галстуками, шелковыми носками и чулками (разумеется, дамскими), бельем.

Здесь сами ничего не печатаем: я в Петербург продал книгу лирики, Сергей туда же свой том. Издательствовать стал Сашка Сахаров. Гонит монету и в свой карман, и малую толику в наш с самой «джинтельменской» рожей.

Приедешь сюда, можно будет что-нибудь затеять. Всяческие есть возможности, и какой деловой энергии.

Утешаю себя, что сия хворь не хроническая. Свежий человек в два счета раскачает всю славную братию.

Целую.

Анатолий.

Сандро — имеется у меня еще одна поэма, люблю я ее больше других по значительности, нет под рукой. На этих днях должны принести — тогда отошлю. Ее непременно включи в книгу.

А.

Письма Рюрику Ивневу

* * *

[Приблизительно 1921 год]

Милый Рюрик!

В Париже застрял. Через два-три дня уеду в деревню. Во-первых, потому, что надо работать, и во-вторых, потому что денег ничего не осталось.

Если что-нибудь с кафе получится, очень, очень тебя прошу, передай деньжонок Соломоновне, хоть немного, червончиков 8—10, для перевода мне. Говорю совершенно серьезно: что еще не вижу того пути, как отсюда выбраться.

Сейчас налаживаю с Кусиковым журнал. Он раздобыл немного денег. Выйти внешне должно замечательно. Такая бумага и клише, что прямо с ума сойдешь. Все дело в материале. Немедленно, не теряя ни одного дня, пусть

все наши ребята шлют всяческий материал. (Стихи, статьи и пр.). Ты, Рюрик, пришли в запас стихотворений 10. Четыре пушу в 1-м номере, остальные в следующих. О Париже порасскажу, когда приеду. Здесь все очень дешево: приличный костюм — три червонца. (Жратва — то же самое, что у нас). Если у тебя есть свободные деньжонки — присылай. Привезу, что накажешь (брюки — червонец).

Ребятки, а меня выручайте. Пусть Мотя — мой всегдашний спаситель — и на этот трагический случай...

И проч. и прочия.

Всех целую. Всех обнимаю. Всех помню. *Анатолій.*

То, что журнал, это очень хорошо. Половина на Россию, вторая будет распространена здесь.

Адрес Кусикова для материала узнай у Софьи Соломоновны.

* * *

До востребования

Ялта

Рюрику Ивневу 11 июля 1928 г.

Рюрик, мое золото!

Забегал я на недельку в Москву, узнал, что ты греешь пупок на Ялтинском солнышке, и вот шлю послание.

Прежде всего пакости: Нюська на зиму написала в Ленинград к Манахову в Б. Драм Т., штаб-квартира переносится на гранитные берега бывшей Порфириносной.

Отказ?.. Вот бы!.. туда же. Сейчас мой парнишка покоряет Воронеж. Оказывается, заработать воронежскую славу немного легче, чем мировую. Я также делаю себе имя, но, увы — всего только в теннисе. До прочего не допытаться. Роман можно считать, что закончен. О чем кажется прежде, чем пустить книгой, приткнуть на альманахе. Помнишь же, с тобой собирались? Хорошо бы найти еще у кого-нибудь свеженькую прозу и махнуть «Три романа» в альманах. А? Не вредно? С тиражом в тысяч 15. Если тебе надоест Ялта, то приезжай в Воронеж. У нас славные дачи в сосновом бору. Проживем до

25 августа. Устроим тебе вечер рубликов на 50... А больше расходов нет. Рад буду очень. Мож. быть, вместе «схалтурим» посылку.

Целую szybko, много и крепко.

Анатолий.

Воронеж, Проспект Революции,
д. 10, кв. 11,
Мариенгоф

* * *

Москва, 9-е почтовое отделение.
До востребования. Рюрику Ивневу.
17/1-29 (из Ленинграда) понедельник 14-го

Рюрик, дорогой мой!

Сегодня говорил с Вольфсоном, он целую неделю (вместо 2 дней) просидел в Москве, и ты ему не продал «Циников». В чем, милый, дело? Я ищу объяснений и не найду. Неужели же это твое растяпство??? Ты ведь знаешь, как это сейчас для меня важно. Что это последний и единственный мой резерв. Пиши, оправдывайся как... но что же может быть за «как».

Целую.

Анатолий.

Умоляю, не теряй ни одного часа.

* * *

Февраль 1929 г. Москва. 9 п/о
До востребования.

Рюрик, дорогой мой!

Получил рукопись. Целую тебя и благодарю.

Ох уж и надоели мне сватья этой запоздалой невесты. «Мысль» последний каналья — жених. Подведет проклятый — оставаться ей в старых девах. Живем все так же тихонько. Немножко работаю, немножко поигрываю в дурака и немножко хандрю. А у тебя, дорогой, что? Выжми, сделай милость из Тео-Кино-Печать хоть по сотенке,

на первых порах, на душу. Не забывай и пиши хоть по 4 строчки.

Обе мартышки тебя крепко целуют и я.

А. Мариенгоф

* * *

30 сентября 1929 года, из Питера:

Милый Рюрик!

Спасибо за пакет. Судиться с этой сволочью, разумеется, не буду. Много чести. Рад буду, если ты прискочишь в Ленинград, но еще больше буду рад, если мы с тобой оба — поскачем в Благословенную Украину за славой и золотом. Звонил ли Добужскому? Жми вовсю.

А мне пиши на новый адрес:

ул. Марата (Б. Николаевская) д. 49, кв. 30

тел. 6-40-08

Неужели даже с «субсидией» нет охотников на поездку?

Целую тебя крепко.

Анатолий.

Мартышка приветствует.

* * *

Куда:

Москва, ул. Чехова, 25, кв. 22

В. Ф. Шехтель (Для Рюрика Ивнева)

Обрат. адрес:

Ленинград, Бородинская, 13, кв. 9

А. Б. Мариенгоф

7 апреля 1951.

Что же ты, милая старина, открытки мне не соблаговолил нацарапать? Впрочем, даже не целую открытку, а половинку. Ведь на целую-то у тебя порошу никогда не хватало.

Сам понимаешь, что расцеловал бы тебя с превеликим удовольствием!

Может, ради этого прикатишь на денек-другой в Ленинград?

Если же нет, так я прикачу в Москву во второй половине мая... разумеется, только для этого самого!

Мы пока живы и вроде здоровы. Хожу вокруг богатства, вот оно! Вот оно!.. и нет его. Проскочило мимо. Словом, старая песенка. Такая старая, как мы с тобой... дорогой сочинский «домовладелец!» (молодчага), если это не легенда.

Лучше уж обзавестись собственным домом, чем собственным гробом.

Целую, обнимаю. И Ньюшка тоже.

Толя

Письма Анне Никритиной

Письма из Келломак

Куда: Харьков, театр им. Шевченко. Гастроли Ленинградского Большого Драматического Театра им. Горького.

Кому: Анне Борисовне Никритиной

Адрес отправителя: Ленинград, ст. «Комарово», Финляндск<ая> ж. д., Дом Творчества Писателей. А. Б. Мариенгоф

2-е июля 1951 г.

Так вот, Люха, стоило тебе отбыть в своем купированном, как я превратился в того 12-летнего мальчика, про которого брехал наш гиревик-литаврист... в него, только наоборот: с 5 часов проспал до 8, потом с 9 до 11, потом с 12 до 9 ч. 20 минут... и все же первым проснулся в квартире! Разбудил Дусю, пошагал, принял ванну, вдруг, звонок... Григорий Петников. Рассказал грустное. Про Саррушку. Давно болеет, лежит в кровати, худо с ногами, но, будто, через недельку, встанет. Я ей сразу написал письма, сделай, любонько, то же самое.

Адрес: Ул. Горького, 17, кв. 41

Я приглашал ее в Одессу, а, м. б., ей и Мацеста нужна. Говорит: «Хорошо бы покрахтеть вместе». Впрочем,

я кряхтеть больше не собираюсь. Для своей тридцатилетки буду двадцатилетним! Пусть тебя стыдят, что спуталась с молоденьким.

В доме тишь, но не благодать, потому что нет миленькой, которая разиня...

Забыла свой куп<альный> костюм и зеленую кофту. Впрочем, при Харьковском море и харьковских июльских морозах как-нибудь без этих туалетов обойдешься. Привезу в Одессу.

Борушок уже подобрал мне литературы (список книг) для работенки в Келломяках... будь он не ладен наш племянничек Заславского. Пока что лишил меня покоя.

День у нас распрекрасный!

На обед заказал сазана, на ужин — его же, на завтрак — его же, на второй обед — его же ...

Целую свою <нрзб.>

Твой герой-любовник.

5-е июля 1951 г.

Мартышочек миленький!

Я второй день в Келломяках. Сегодня просыхаем на солнышке после вчерашнего дождя. Приеду с Полицейтаковским. Брюхом и мордой. Кормешка — на все наше семейство — ты, кот, Дуся и я. Изволь все это сожрать один! Стараюсь вовсю. Во имя Твоей Любви. Ты еще питаешь что-то вроде нежности к моим жировым отложениям? Наш дом... это убежище для ветеранов, которые думают, что они ветераны литературы. Тихо, как в могиле. Сижу на скамеечке и разговариваю ни о чем с Михайлом Сломинским и... Яшей Горевым!!! Этим все сказано. Бабы еще красившее, чем Яков Горев.

Сейчас позвонил Борушок из Ленинграда. Хорошая новость от Миши. «С пьесой больше, чем хорошо». Я спрашиваю: «А как к этому отнеслась Зоя?» — «Сделала скидку на 50%, считает, что просто хорошо». Поживем, увидим. Миша видел в Москве Фадеева. Он в комиссии по репертуару. Отсюда, видимо, и съездил.

Стыну под двумя одеялами. Было так жарко, что среди ночи снял штанишки. Облизывал тебя вдоль и поперек.

Твой Толька.

p.s. Получил твою открытку № 2, жду № 1 и №№ 3, 4, 5, 6, 7...

7 июля 1951 г.

Любонька! Две твоих открытки с дороги получил. Жду харьковских. В Келломяках всю тружусь.... Над завтраками и ужинами. Обед одолеваю легче. Почитываю для пьесы и злюсь на Шлепянова. Все это только во вред моему «Рождению». С таким чувством, конечно, работать нельзя!.. Мне мой «Лермонтов» дорог, написан он точно, верно, все, о чем болтает Шлепянов в нем имеется, — это существо пьесы... а его интермедии (10!) вздор! Старомодная киношная белиберда в театре. Просто не знаю, чем кончится дело... Он упрям, а я, оказывается, тоже упрям... Тут, у Финского болота, холод перемежку с дождем. Лето уже, вероятно, будет в Одессе, когда встречу со своей миленькой. Отсчитываю дни, как гимназист перед каникулами.

Целую и обожаю.

Твой Толюн.

8 июля 1951 г.

Оказывается, Люха, кое-какие мечты в жизни сбываются. Вот и твоя сбылась: лопаешь вареники с вишнями!

Порадовало твое первое харьковское письмо, — первых, закрытое; во-вторых, веселое. Думаю, что уже и мои открытки посыпались на твою голову.

Чтобы тебе была ясна картина моей жизни, опишу свой полуденный июльский туалет: штаненки шерстяные, поверх — трусы сатиновые, поверх — серые брюки, рубашка фиолетовая нижняя, поверх — теплая фланелевая, поверх — жилет, поверх — пиджак. А меня все спрашивают: «Почему без пальто щеголяете? Вот храбрец!»

Словом, как у Агнии Барто на даче, только без водки.

Продолжаю павловское лечение сном. Если к тебе придет вместо Мариенгофа — Курослепов, не удивляйся.

Следующий раз, если мне приплатят 500 рублей, в «Комарово» не поеду. За Яшу Горева (мой самый блестящий собеседник) надо приплачивать больше. А у Литфонда денег нет.

Целую, обнимаю свою милую, свою любимую.

Толуха.

10 июля 1951 г.

Молодчата, Люшенька! Спасибо, что позвонила. Вот уж не ожидал. Это послеименинный подарочек.

Вчера прожили под солнцем. А сегодня опять гнилость. Вот отнесу письмо на почту и, чтоб не видеть и не слышать этой милой погоды, залезу под одеяло и попытаюсь всхрапнуть. Уж Курослепов так Курослепов!

Вчера появился Коля Никитин с Ренэ — с собакой. Они живут на даче между Репиным и Шостаковичем. Утащили меня с собой. Это мое первое путешествие. Коля седой и беззубый, а Ренэ, как куколка! Умрет красавицей! Время не касается ее своей нежной ручкой.

Шостакович в Москве. Вырезает себе гланды. Это у него новая страсть — вместо футбола. Вырезал гланды Максиму, Гале, а теперь за себя принялся. Думаю, что и Нине Васильевне не увильнуть.

Ко мне за столик посадили 70-летнего профессора-физика. Хороший старик! Красивый, большой, толстый, белый и болтун! А я с наслаждением развешиваю уши. Сломинский мне люто завидует.

По Нюхе очень скучно, потому что очень люблю.

А ей верно и скучать-то некогда?

Жду Михаила.

Надо проверить на силу и на ощупь его оптимизм. Уже не очередная ли это утроенная порция для Зои?

Пиши, любонька, и люби крепко своего длинного.

Кланяюсь твоей сожительнице — Казики.

Целую много, обнимаю крепко.

Твой Толуха.

12 июля 1951 г.

Твои письма, любушка, идут чудесно. Вчера я получил от 8-го... Тревожит меня твоя перегрузка спектакля-

ми и репетициями. Смотри, глотай свои сердечные капельки!

Моя физиономия пытается сделать из Келломяк — Ялту: лупится и нос, и рот, и все прочее. А солнце выдается гомеопатическими пилюльками. Вот подишь ты!.. Живу, как наш миленький кот: сплю, ем, сплю, ем... и грущу по своей Нюхе.

В своем «Ласточкином гнезде» прижился. В отместку Совету Литфонда писаю прямо из окна. Очень удобно! К сожалению, это удовольствие нельзя себе позволять круглые сутки.

О том, чтобы выбраться к Софроновым не может быть и речи... <нрзб.>

Женя Шварц нянчит очень смешного внука.

Не забывай, Люха, своего длинного обожателя.

Твой, твой!

13 июля, 1951 г.

Мартушок, миленький мой!

Что это ты выдумала — жалеть меня? Да я как сыр в масле катаюсь. И погодка наладилась, и комнатка распрелестная, вообще жилье самое райское. Только вот моей Евы не хватает. Одна беда!

Нашего убежища ветераны уже полощутся в этой балтийской малосоленой луже. Я бы сегодня тоже отправился, да променял на баньку. И, пожалуйста, не волнуйся: пока в луже вода не будет теплая, как суп, я в нее не полезу. Читаю Чехова, болею на волейболе, разговариваю со Сломинским... Ну? Плохо ли? А потом с Борухом буду прогулки закатывать. Лапы мои молодцы.

Целую тебя и милую — о!

Твой Толуха

14 июля 1951 г.

Ой, Люха, мне влетает от души Сломинской, от твоего любимца — ее супруга и от Яши Горева! Каждый раз спрашивают: «А написали ли вы от нас нежный привет Нюше (или Анне Борисовне)?» Вот я сегодня и посылаю тебе все эти приветы. (Да! Еще забыл от четы Ренэ —

Коля). А очень милая дочка Горева — Инна, говорила, как она сначала была влюблена в Суок-Никритину, а потом, в Коктебеле, еще больше, — в Анну Борисовну... времечко бежит. Скоро уже мне собираться к моей возлюбле. А я — возлюба ее?.. Как ты осилила трудную рабочую неделю? Как наше сердечко? Как наше пузо? Что мы лопаем? Как живетса с Олей? Как принимали Рудники? Как дела в театре?.. Отвечай по порядку на каждый вопрос... А Рудник с Москвой, разумеется, все наврал? Действительно их театр горел?.. Вот и еще два вопроса.

Целую, обнимаю, милую, обожаю.

Твой.

p.s. Погодка у нас первоклассная!

17 июля 1951 г.

Мартушок миленький!

Сегодня я получил от тебя два закрытых письма. Это такое наслаждение! Ну, думаю, если я наслаждаюсь, так и моя Нюха любит закрытые. И вот тоже качу подряд второе... Ваш Толстый распределил роли в «Яровой» не только идиотски, но и подхалимски. Вообще, я уже приметил, что подхалим он самый отменный. И по сему случаю отношусь к нему презрительно. А ты молодчатка, что плюнула и не устраивала «вливания». Хер с ними! Работенка у тебя есть, это самое главное. Вологдину тебе делать любопытно, потому что это для тебя свежинка, экспериментик... Вот и получай от работы удовольствие. А не все ли равно в каком сером спектакле участвовать. И в том и в другом случае на счет родится не бог весь какой шедевр... Ольга — «Панова»!.. О-о-й!.. Кибардина — «Яровая» — О-о-й, о-о-й!.. И все скушают, и все примут, и БДТ будет стоять, как стоял на Фонтанке, и Толстый подхалим будет сидеть в главрежах, пока его не хватит апоплексический удар...

Я живу в окружении милых, белых, наивных и юродивых профессоров. И получаю от них полное удовольствие. Они меня считают юношей. Наш Борух, без вставных челюстей и небритый, тоже милый, старый, наивный и юродивый... с превеликим счастьем написал

бы о них повесть. Только ее никто не напечатает... Как жаль, что нельзя жить от литературы!

Сегодня у нас теплый дождичек.

Ждем Мишу. Я все-таки хочу понять — где правда? А где он утешает Зою.

Люблю много, обнимаю крепко.

Твой.

21 июля 1951 г.

Вчера, Люха, появился Миша. Ужасно я ему обрадовался. Люблю своего оптимиста-мученика. Он славно выглядит. В Москве такая же ашхабадская жарница, как у вас в Харькове. Разумеется, пока Козаковы без денег. Зоя на Мишу-маленького загнала и те монеты, что ей прислала Таня на путевку. Воображаешь, как у нее настроение. 24-го в Москве секретариат Союза должен санкционировать решение Тройки и тогда Литфонд им даст какую-то часть денег. Помоги Христос!.. Про наши дела он рассказал поподробней то, о чем, миленькая, я тебе уже писал. В Москве везде все с «Островом» хорошо. Даже враги пьесы уже стали ее друзьями. А в Ленинграде...??? Но логически рассуждая, и у нас дома не должны бы плохо обернуться. В Комиссии второй пьесой, по словам Миши, идет «Арсенал» А. Глебова. Это военная Москва. С одним из наших действующих лиц. А Луговского раздолбали в комиссии по драматургии Союза. Об этом не распространяются. Я тебе, любушка, посылаю статью из «Ленинградской Правды» от 20-го. На днях у нас в Союзе должно быть открытое партийное собрание. Друзин, как будто, останется на своем месте. Но все это — как будто, как будто и как будто... К нашему «Сереже» в Райволово, видимо, съездить не удастся. Мы с Борухом прикидываем поездку, и как-то трудно обернуться в один день. У нас дома все благополучно. Я какой-то кисло-сладкий. Очевидно от этой проклятой неопределенности. Загорел! Здоров! Скорей бы сесть в поезд на Одессу и под крылышко к своей милой жёнке!

Обнимаю, обнимаю.

Толюх

22 июля 1951 г.

Новостей, миленькая, нет; лета — нет; жрать и спать — изрядно поднадоело. Гуляем с Борушкой — до вокзала и обратно; до дачи Шостаковича и обратно. Да и то возвращаемся мокроватые.

Моего «Лермонтова» здесь почитывают и всем нравится. От Шляпяновской затеи брезгливо морщатся. Ни одного сторонника не нашлось. Что будем делать? <нрзб.>! А я не в силу писать бездарщину.

Удивляюсь, что Саррушка мне не ответила. А ты ей написала?

Командуй, Люха, что мне везти из Ленинграда.

Целую и обнимаю сладенькую.

Твой Толюха.

24 июля 1951 г.

Ну, любушка, это предпоследнее письмецо. Мысли уже не келломякские, а ленинградские, а еще больше того одесские, нюшкины. Впрочем, они все время были нюшкины.

Борюшок уехал на два дня в город вставлять челюсть. Должен привезти мне ответы от Зои на несколько вопросов, — больше всего меня интересует — кассирован приговор или нет, т. е. подали ли кассацию? Никак не могу добиться ответа.

Телеграмму я отправлю тебе о выезде после того, как получу билет от Зуевой.

Вчера на автобусе ездили в экскурсию — смотреть двухсотлетний парк со стометровыми лиственницами. Хороши!

Пишу после завтрака. Пока светит солнце, но поручиться за этого негодяя нет никакой возможности.

Посылаю тебе Саррушкино грустное письмо.

Об «Острове» в Ленинграде продолжают гулять всякие слухи. Не могу сказать, что они роскошно действуют на нервы.

А м. б., они распускаются братьями-писателями, которые, как ты знаешь, обожают друг друга.

Целую тебя много, горячо, крепко.

Твой.

25 июля 1951 г.

Так вот, любушка-любонька, это еще не последнее письмо, — сегодня из Ленинграда вернется с новостями Боря, — и после этого напишу самое последнее. Дело с театром я выиграл полностью, приговор они не кассировали, у Семенова уже имеется исполнительный лист. Во всех случаях жизни это, разумеется, приятно. Сегодня сюда заявился <нрзб.>. Мило встретились. Твоя поклонница спросила меня: «А где моя дорогая?» Говорю: «На гастролях». «Ну, отвечает, в единственном числе вы меньше радуете».

На днях из Тернок приплелись к нам Рошаль и Абрамова. Она стала крашеной старухой, а его инфаркт украшал. Помолодел, похудел и отпустил черные усики. Тебе оба кланялись. Мы с Борушкой пообещали навестить их в Терноках. Грозилась они «приемом»!.. Дуся придет в Ленинград меня выпроваживать. Сахарок, костюм и кофту зеленую привезу. Целую крепко, обнимаю еще крепче.

Тв.

Письма из Пятигорска. Часть 1. 1950, 1952 и.

2 мая 1950 г.

Люхонька! Люхонька!

Только что получил от тебя письмо № 4, а 2-го и третьего нет! Я устроил на почте маленький скандалчик и они сказали, что проверят все ящички до востребования.

Каракули твои прелестны, но совсем не прелестно, что ты не спишь ночью. Шостакович Шостаковичем, а спать надо. Знай, Мартын, ты для меня больше, чем «все», и если ко мне прилично относишься — береги себя и нянчись со своим сердцем.

Цацкаюсь же я со своими ногами, хотя мне это противно во как! Я бы давным-давно на себя плюнул, но у меня есть Нюха, и вот таскаюсь по Пятигорскам, и мокаю себя во всякую дрянь, и, как старая жидовка, лечусь и лечусь...

2 дня праздников — это здесь довольно трудное занятие — все гуляет, и ты изволь, хочешь или не хочешь, тоже гулять. День тащится бесконечно. Я только и высчитываю: столько-то потерял ванн, столько впрыскиваний, столько-то грязей. А 4-го, в воскресенье, — опять потери... Будь они неладны со своими гуляниями...

Пришла телеграмма от детишек — Бори, Оли, Миши и Сени. Была мне очень приятна. Поцелуй их крепко и поблагодари.

Скупаю по тебе, Мартуха, любовька ты моя.

Длинный.

20 апреля 1952 г.

Любовка моя!

Первое письмо уже пишется после Тулы. Как муж беспартийного большевика я, значит, планы перевыполняю...

Лег на боковую я сразу же после Любаны и проспал чистеньких 12 часов! Вскочил, как огурчик, в 6 часов, чтоб встретить Зойку. Она, стерва, опоздала минут на 15. Так что торжество было мое. Я с ней, как истый христианин, похристовался нашим оранжевым яичком, чем опять же посрамил эту ожидовевшую дворянку.

А потом славно поболтали, очень славно, что-то в ней было свое, ручное. Признаюсь, что мне эта «Зоина встреча», Зоина сантиментально-романтическая причуда пришлась по сердцу, доставила удовольствие. Такое же, как ленинградские проводы. Словом, цино-скептик Мариенгоф сойдет в могилу сантиментальным слюнязем. Только вот не знаю, понравится ли он в этом качестве одной молоденькой актрисенке из БДТе по фамилии Н. (?)

У Зои теперь новая родственная горячая привязанность — Анжан! Там же она встречает и весь «свет», в том числе Семенова и Бабочкина, про которого Зоиным словом, уже говорят в Москве, что он «доразваливает бывший Камерный».

Еду, как принц, улепетьваю пасхальный кулич. А пастила-то от жары стала — маслянистая, мягкая, кремовая...

Соседи мои [по] купе стоят друг друга: писатель, глухой и молчаливый. Если дальше буду обогащаться «живою» в том же духе, то пьесу мне уже придется писать о Рюрике и Синеусе.

До свиданья, моя возлюбашка!

Давай кланяйся в первую очередь тем, кто меня провожал — Боруху, Панихе, Недремлещуму Оку и <нрзб.> Александровичу, который, к слову, и Анжана очаровал.

Во вторую очередь тем, кто собирался провожать — Козакову и Ольхиной.

В третью очередь — всей остальной сволочи, с которой я знаком, к сожалению!

(Рае, <нрзб.>, Оле, Ксане и проч., и проч.)

Пиши больше всего о коте. Если о себе вдруг упомянешь, в обиде не буду.

Главное — не болеть!

Кути на здоровье!

Твой старый, длинный, но еще кр-р-расивый :) сантиментяй Толюха.

Кланяйся няне нашей. Купи, Нюха, 20 открыток и шпаль каждый день, а то лечение мне и впрок не пойдет. Пишу не четко, потому что поезд трясет.

21 апреля 1952 г.

Ну вот, Люха, и проскочил я Ростов. На вокзале была вся кумпания: Руднин, Костени и бледная куценькая Танечка! Так разболтались, что чуть поезд без меня не ушел. Руднин уже поставил (у него в театре) и вашего «Орла» с Костени «блестяще», как мне было сказано, сыгранули ольхинскую роль, а я понахвастал о тебе. Наших не перешибеш! Были они все милы и теплы. Обещали встречать с рыбалки на обратном пути. Тут уже тепло, поля зеленые. Конечно Лева все выпрашивал, как и что у вас в театре. Я его порадовал. Говорил: «Говенненько!».

Поезд остановился. Бегу бросить открыточку. Получила ли первое письмецо из Курска?

Целую, обнимаю, обожаю.

Толюха.

23 апреля, вечер, 1952 г.

Ох, Любушка, меня здорово взяли в оборот. И одни ванны, и другие, и какие-то грязи, и впрыскивания, и вкалывания, и электричество... словом, не знаю по счету в какой, но явно в какой-то круг Дантова Ада я угодил.

Враг серьезный, строгий, опытный, крупный (мне его подсказала гр. Шерер) — короче, главная сатана (только баба). Чувствую, что в ее лапах и мое грешное тело, и моя грешная душа.

Постараюсь быть покорным, тихим, трудолюбивым. Вернее, не постараюсь, а буду.

Пожалей меня, любушка! А приезд мой сюда абсолютно необходим. Я шагал на своих паршивых ножках к катастрофе.

Погодка ленинградская — дождь, холодно.

На все плевать! Только вот моей жёнки рядом нет. Ох, если бы она была под бочком!..

Береги себя. Не болей, не трать на муру нервишки. Пиши мне каждый день, а то взвою.

Твой болезный но ... хорош проклятый!

Целую, обожаю.

Толуха.

24 апреля, 1952 г.

Ну вот, моя Любушка, пишу тебе из Пятигорска первое деловое отчетное письмо.

Приехал я вчера, и т. к. это было за день до курсовки, меня только пропустили через баньку и поселили на квартире. Славно поселили! У 65-летней сверхинтересной матроны, вдовы (уже был знаменитым пятигорским врачом) — волосы, как у Казики, брови, как у берлинского папаши, бакенбарды, как у Пушкина, и черные усы, как у Лермонтова. А разговаривает, как гр-ня Шерер, у Л. Н. Толстого. Салют! Салют! Она сразу же угостила стаканом хорошего кофе, куличом и двухчасовым соленым разговором. Когда я ее поблагодарил, она спросила: «А, собственно, за что? За кофе?» Ну, разумеется, я отвечал в том же светском духе: «Это уже во вторую очередь. А прежде за интересную беседу». И моя древ-

няя армянская пятигорская докторская гр. Шерер была удовлетворена.

Сосед у меня по комнате инженер, конструктор, теперь житель Пятигорска, удрал из Ростова от несчастной любви своей несносной жены, которую по уверению моей гр. Шерер, он продолжает любить.

Инженер тактичный, любезный, нервный (но без выплесков), вполне интеллигентный, но скучный... Уходит он на службу в 8 ч. утра и я до 6 один в комнате. Великолепно!

Живу в самом центре, до поликлиники, столовой, ванн и всего прочего 5 минут хода. И это великолепно!

Сегодня я уже записался к врачу, позавтракал и вот пишу в перерыве письмецо.

Завтрак обычный санаторный... разумеется, скучный. Вроде моего соседа.

Пятигорск зазеленел. Но мое осеннее пальто в самый раз — и утром, и днем, и вечером. Настоящая весна на пороге.

Городок больничный, а не курортный. Так же далек от Сочи, как Пенза от Парижа. Только первые буквы общие. Я счастлив, что не притащил тебя в лермонтовозейхенбамовскую дыру прошлым летом.

Суэта еще не началась и всяких развалин (человеческих) здесь не слишком много. Очевидно, к маю понаедут.

У нас, Любонька, в квартире есть телефон. № 32-73. Позвони мне как-нибудь по льготному тарифу. И я тебе позвоню. И вторая роскошь квартирная — «Санктир». Очень рад, что не приходится, как большинство жителей, бегать какать на Машук.

Словом, почти не на что жаловаться.

Только вот, сама понимаешь, что и моя армянская Шерер и мой инженер... «типичное не то». А где же, черт возьми, это «типичное то»?!

Обнимаю тебя, обожаю тебя и целую тебя.

Твой Толюха.

р.с. Всем друзьям и приятелям кланяюсь в ножки. Пиши часто, Мартуха!

24-е апреля 1952 г.

Пиши мне, любименькая моя, на домашний адрес: Пятигорск, Красноармейская, 15; С. М. Аствацатуровой. Для меня.

Сегодня день исследований и всяких анализов да рентгенов... Вот, Мартуха, попался твой Длинный!

Тсс! Не скулить! (Это я себе говорю).

Жду, как праздника, письма от тебя: как кутанула у Германов и у Панихиды, кого потчивала Пасхой?

Курить я бросил, про водченку забыл, забыл до Ленинграда да и про все прочее, что называется жизнью.

Только болваны, идиоты, кретины, ослы, бараны и прочие дураки могут завидовать моему Пятигорску.

А тебя, Мартухонька, обожаю!

Анатолька.

26 апреля, 1952 г.

До чего же, Мартынчик мой, жизнь у меня роскошная! Одной подставляю задницу — колет! Перед другой вытяну проклятые ножки — массирует. Перед которой лягу на брюхо — купает мое бренное тельце в серной водичке. Пятой...

Короче — и для пятой, и для шестой, и для седьмой дело около меня находится.

Во какая персона!

И если после всего этого я не заиграю в Ленинграде в теннис, ей-ей, буду самое неблагодарное животное.

Ничего другого, кроме вышеперечисленных наслаждений и развлечений, пока для меня не существует.

Ну, еще, разумеется, три раза в день хожу «принимать пищу».

Никакая другая в рот не лезет.

Завтра — воскресенье! ВЫХОДНОЙ! Я первый раз в жизни жду этого денечка, как трудолюбивый советский служащий.

Пойду на базар, на Маншук, в гости к Лермонтову, м. б., еще куда-нибудь... словом, проведу этот выходной культурно! Интересно! Содержательно!

Сегодня мне из милиции вернут паспорт — и поспе-
чу, понесусь на почтамт за твоим письмецом. Неужто и
эта надежда меня обманет?!

Обнимаю и обожаю.

Твой ПАТРИЦИЙ.

27 апреля 1952 г.

Вчера, Любушка, получил твое первое письмецо. Зал-
пом выпил его, подряд два раза. И до чего же мне были
милы твои каракули!

Я только что совершил свою первую просветитель-
скую экскурсию. Разумеется, начал с рынка. О, какое
разочарование! Огурец — 7 руб., яблоко — 25, похуже —
20... Свинина меня уже не интересовала.

Продолжаю расхаживать в джемпере, пиджаке,
пальто, шляпе и перчатках. Этим все сказано. Через день
моросит дождичек. О ласковом синем апрельском небе в
поэтическом Пятигорске пусть Юрка Герман рассказы-
вает своим блядам на мальчишниках у Макогоненко.

Отлежусь после рыночного разочарования и пойду к
Михаилу Юрьевичу.

Об этом, возлюбя, в следующем письме.

Целую ручки и ножки и то местечко, из которого они
произросли.

Твой Толюха.

p.s. Как за тобой ухаживает Нина? Кланяйся ей. Всей
нашей кумпании — «Пламенный привет»! Как мой «Дон
Жуан» Сережа?

28 апреля 1952 г.

«Домик Лермонтова», Нюха, к сожалению, совсем не
похож на «Домик Чехова».

Тот живой, а этот мертвый. Впечатление такое: в
только что отремонтированную квартиру с низкими по-
толками привезли из комиссионного магазина немного
подновленной мебели, нашего «ленинградского» крас-
ного дерева, и расставили по голым стенам, но каким-то
образом в эту комиссионную мебелишку затесался пар-
шивенький письменный стол и ободранное, но удобное
кресло, — вот эти-то две затесавшиеся вещи только и
принадлежали Михаилу Юрьевичу...

Но в книге отзывов я, само собой, написал «Все пресвосходно!»

А потому что твоего лермонтописа — девушка, которая водила и говорила, — приняла почти, как воскресшего из мертвых Мишеля. Робко сказала, что и «Рождение» мое нравится (она «Крокодила» не читала), и что отрывки из «Рождения» у них печатались в «Пятигорской Правде», и передавались по радио.

Бедная газета! Бедное радио!

Ну, будя хвастать... Только еще передай Боруху, что, когда я упомянул его фамилию, последовало: «Профессор Эйхенбаум?.. О!» И какое это было «О-о-о!!!» Теперь Борушок посяет.

А меня, Мартушок, уже запрягли — циркачить (в физкультурном кабинете). Ну и выкидываю я «коленца» своими паршивыми коленчиками! Но знаешь, Мартынич, приходится здорово работать «на обаянии»: обаяю и обаяю врачей, сестер, подавальщиц (не подавальщиц! — на этих и глаз не косит), банщиц, физкультурниц, секретарш и прочих, и прочих, и прочих особ женского пола.

Таким «милым» и «обаятельным» я еще во всю жизнь не был.

Иначе: пропала бы моя телега и все четыре колеса, то бишь, две ноги...

А тут, к примеру, и «коленца» выкидываю не в общем зале, а в кабине за занавеской.

Моя усатая и бакенбардистая графиня Шерер — великолепна. Да и конструктор-инженер со своеобразинкой. В салоне нашел разговоры и разговоры.

Сегодня солнышко, но еще я в пальто, в шляпе и в перчатках.

А утром 30 минут прогуливаюсь (не в гору! не в гору!). Дело, понимаешь ли, стариковское, а все щебечут:

— Да что вы! Да неужели! Да нет, вам не 54! Вам...

Ох, если бы мне было столько, сколько мне нащебечивают.

Любушка, а ты ведь все-таки не знаешь, как я тебя обожаю!

Толуха.

30 апреля 1952 г.

Как хорошо, Мартуха, что ты вчера мне позвонила. Сегодня 30-е (!) и я сижу с одним письмом. Где они путешествуют, твои каракули? Уж не отправляешь ли их ты в свои Сочи? Или пишешь на конверте Шекспиру? Но я, любушка, на букву «Ш» не проверяю. Впрочем, я для пятигорских мамонтов знаменит ничуть не меньше, чем мой английский коллега. Об этом мне почти каждый день докладывает моя порхающая по Пятигорску бакенбардная графиня Шерер. Прелестная женщина! Если бы я стал писать роман о русско(-армянской) интеллигенции, она бы стала моей героиней. Seriously! В ней вся история милой для меня интеллигенции государства российского.

Да! Я все еще в перчатках, в шляпе и в пальто. В справочнике сказали: в Кисловодске 300 солнечных дней в году, а в Пятигорске 60!!!

р.с. Целую так, как целуют 20-летних своих возлюбленных.

Опять пламенные приветы друзьям и приятелям.

3 мая 1952 г.

Люхин-Нюхин! Вот у меня сегодня денек выдался, вот праздник — получил от тебя три открытки и одно письмецо! Все теперь у меня в лапах — и те «застрявшие» 2-е и 3-е выцарапал.

Живу тобой. Рад, что набежали у тебя пиры, что вовремя прикатил Сеня, что ты у меня пропускаешь рюмочки и возвращаешься домой, как хороший кутила, под утро... Только они уже, наверное, кончились, ваши гулянья? Меценат укатил в Торжок, Юра сидит без гроша, как и все прочие. От кого иллюстрированное послание еще не прибыло, жду.

Никому другому, кроме своей миленькой, кроме своей жёнки, что-то не пишется.

Погода у нас по-прежнему пальтошная.

Моя графиня Шерер бесконечно мила, гостеприимна, каждый вечер пытается поить чаем со всякими до-

машинными вареньями и куличами. А у самой монеток — мышонок заплакал.

Обнимаю, целую, обожаю.

Толюха.

p.s. Кланяйся всем друзьям-приятелям.

6 мая 1952 г.

Оказывается, Любонька, что и в Дантовом Аде можно прижиться и даже получать некоторое удовольствие, когда тебе всаживают иглу в задницу или мажут ее горячей грязью.

Любопытно, все-таки, чем кончится этот цирк сатаны? (Во как высоко выражаюсь!)

Вчера получил «капельку от тебя» (т. е. открыточку № 8.) Знаешь, Ньюшка, и капелька хороша!

Сегодня я отмахал половину. Вторая, надеюсь, пробежит быстрее. Тем более что я впервые с утра щеголял в одном пиджаке, хотя лазурь небесная выдавалась, как и моя Ньюха, — по капелькам.

Почешу, пожалуйста, брюшко Сереже и кланяйся Нине.

А я весь с тобой, моя Любовька!

Толя.

p.s. Юриных картинок нет как нет.

7 мая 1952 г.

Этот телефон, Любонька; только нервишки твои треплет. Ну его к Богу! Письма твои идут славно и мои, верно, тоже, а я в каракулях твоих не только голосок твой слышу, но и твою тридцатилетнюю мордашу вижу в цветистом платочке.

У меня полный порядок. Ем, лечусь, гуляю и сплю. По-стариковски. Как будто и ходули мои покрепче стали... Мамонты говорят, что мамонята ко мне просятся (студенты педагогического института). Говорю: «Буду рад».

Два раза был в киношке: «Песни улицы» (по-моему, средненькая) и на «Весенних днях» (немецкий сентимент под «Большой вальс»). А чаще всего в 10 часов у же

храплю. Встаю в 6. И — сразу: кручу ходулями, кручу! Гимнастика! И все это посвящается моей возлюбле!

Целую тебя миленькая! Целую, целую, целую, целую.

Май, 8-е, вечер

Один денек, Ньюха, нам выдали хороший, второй полухороший, а сей час опять тарахтит дождь.

А я уже порхал в белых туфлях... пессимисты из Ставропольского (это наша столица) бюро погоды сулят заморозки.

В белых туфлях я уже почти Чебукиани. Меня уверяют, что я и в желтых буду ходить на пуантах, если до конца жизни (они надеются, что я смогу прожить еще лет 25) буду приезжать в Пятигорск, чтобы, как свинья, валяться в их горячей грязи.

Надо признаться, что они к всему еще хорошо лечат скукой и гнусной погодой, так что и на моих знаменитых ножках убежишь из Пятигорска...

Я, Ньюшенька, увлекся коллекционированием мамонтов. Пытаюсь охотиться и за другим зверем, но что-то не очень фортунит...

Своего проклятого мучителя Пирогова немножко подчищаю.

Да! Любименькая, миленькая, сладенькая, завтра уже иду заказывать билет на 20-е!!! А это значит, что я почти сижу в поезде, катящемся на Бородинскую. Кстати, пугают, что купированный не дадут. Черт с ним! Хоть в телячьем, да к своей Ньюшке на грудку.

А Юра Герман, вероятно, все еще рисует картинки к письму. Ей-богу, это очень трогательно! Поцелуй его за это и всю прочую нашу братию, с которой мечтаю нахлестаться, наболтаться, накуриться и нанеспаться часов до четырех. Ох уж эта мне святая пятигорская жизнь!

Обнимаю, обнимаю, обнимаю, обнимаю, обнимаю.

Твой Толюха.

[без даты]

У нас холод, снег. Я, боясь отморозить те щечки, к которым прикладывают горячую грязь, иду злой мимо поч-

тампта. Несколько писем уже получил от своей Нюхи на дом. И тут меня словно что-то под локотки толкнуло: «А вдруг какое письмо там полеживает?!» И заглянул. И пожалуйте: от нее, от миленькой, закрытое!.. До чего мне больно за жену Горбачева, прямо и сказать тебе не могу. Ах ты боже мой, вот несчастье! Я понимаю твою злобцу на Игоря. А у меня и на Нину, на ее шумный веселый голос по телефону. Будто я лежу рядом, на нашей тахте и слышу, как ты с ней разговариваешь...

У меня сегодня заказ на билет не приняли. Еще неизвестно, по каким дням — четным или нечетным — идет поезд. На хороший билет почти нет надежды. Чепуха какая-то! А ведь еще и сезон не начался. Вчера у нас была Борина приятельница — Зинаида Антоновна. Дама весьма светская, красивая, седая и не глупая, но... Блока не чувствует! А стихи любит Вертинского!!! У нее жили Анна и Сережа (Саррушкины).

А сею секундочку получил твою открытку. Балуй меня, любушка, балуй! У меня здесь других праздников нет.

Обожаю.

Твой Длинный.

11 мая 1952 г.

Когда денек, Нюха, от тебя нет письма (а сегодня второй!), — я уже ворчу: «Вот... без писем сижу!»

Вчера был в гостях у здешнего профессора литературы, пришли «на меня» — студенты (парочка), читали стихи. Ребята славные, но стихи паршивенькие. Оппозиция с позиций Надсона. Черт те что! Так прямо и говорю: «Увлечение Надсоном». Ну и выдал я им, так-растак их мамашу!

Достается, Любушка, твоему «больному» пуще прежнего. Тридцать пять лет порочной работы в советской литературе тому причина. Серной воды и грязи мне не жалеют. Кстати, здесь слова «гражданин» или «товарищ» не существуют. В гастрономе говорят так: «К сожалению, больной, столичной не имеется. Рекомендуем вам, больной, перцовочки».

Обцеловываю тебя вдоль и поперек, любонька моя.

Твой Толюха.

12 мая 1952 г.

Погода у нас, Ньюха, разгулялась и я вместе с ней. Вчера закрутил пешее путешествие вокруг Машука. Это километров восемь! На 2 часа 40 минут. До чего же славно! Молодая травка, молодой лес. И только всякие птицы над головой щелкают. И так захотелось со своей милочкой, со своей «проконьяченной» возлюбой на природу — простую, настоящую, нашу, — российско-жидовскую. Хоть в Солнечное с Раями и Паями. Кланяйся им.

Да! Получил открытку от Сени. Каждая буква в ней излучает счастье. Так и пишет «Я жил в Раю» (что значит — в квартире 48).

Боюсь, однако, как бы эта Ева в фуражке с красным околышком в конце концов не соблазнила нашего прелестного шестидесятипятилетнего Адама.

Ева, между прочим, пишет: «Скоро собираюсь обратно в Рай!» Скажи нашему Адамчику, что после грехопадения Еву-майора не так-то просто будет изгнать из Рая.

Целую, обнимаю мою Любушку и всех, кто поил ее коньяком.

Твой Длинный.

13 мая 1952 г.

Любонька! Сладенькая! Вкусненькая! Солененькая!
Коньячная!

Мне сегодня от тебя влетело, денек пропустил с письмом! Да у меня такое чертово однообразие, что и сказать странно: из грязи в серную воду, из ней — под шприц, из-под него к массажистке, а в перерывах — питаюсь <нрзб.>, да еще передвигаю куда-нибудь ноги.

Об этом я тебе уж столько раз писал, что страшно и совестно повторяться. Думаю: надоест можно ей своей гнусной «лечебной» жизнью. А как я сам себе надоел!

Понимаю твою досаду и злость на <нрзб.> Иметь эту гадину под боком <нрзб.>. Одно хорошо, что время у тебя будет занято, да еще ведь ты умеешь смотреть на <нрзб.>, как на шкаф... которого у нас в квартире нет. Ну, вот и смотри, как на несуществующий шкаф.

Мечтаю о тебе, любонька моя. А на меня сердиться грешно.

Целую очень крепко, очень нежно и очень страстно!!!

Твой.

14 мая 1952 г.

Признаюсь тебе, Ньюшенька, я просто-напросто устал. Но это полагается, в порядке вещей. Помнишь, как в Ленинграде было? От одного укола в задницу уже шалел. А тут!.. Словом, мечтаю разлечься на нижней или верхней полке купированного или телячьего вагона.

Сейчас отправляюсь в веселую прогулку... на кладбище. Стал капризничать. Двадцать дней подряд за завтраком, обедом и ужином ел в качестве гарнира лапшу и картофельное пюре — и ничего! А сегодня не стерпел. Ну, да это и не самое главное в жизни. Вот тебе <нрзб.> придется терпеть дублершей! Это потяжелее будет. Нынче я тобой наказан, сижу без твоих чудных каракуль. Бог тебе простит это, миленькая!

Скоро ли уже расцелую в горяченькие губы?

Твой.

р.с. Потискай за меня нашего крикуна-черномодика Сережу.

15 мая 1952 г.

У меня, Любушка, еще нет на руках билета, и это злит меня. Знаешь, как с деньгами, — пока они не в кармане, они еще не мои. Боюсь сюрпризов. Предварительная касса уже меня подвела. Сейчас за дело взялась подружка моей хозяйки. Все-таки думаю будет порядок. Немного виноват я сам — закапризничал, — не захотел ехать в общем, боковом... ходули длинноваты! А ехать-то долгонько... Миленькая, сладенькая, до чего же мне «в мисочку» хочется!

Обожаю смертельно.

Твой.

16 мая, 1952 г.

Это, Возлюбуйка, моя последняя открыточка из Пятигорска. А может, она приплетется и позже меня.

Итак — роман в письмах окончен. Слава тебе Господи! Я предпочитаю крутить со своей Ньюхой роман в жизни... Железно агент взял деньги и сказал, что билет на 20-е будет. Верую!

Вчера по радио сообщили, что в Ленинграде 2 градуса. Боюсь, как бы ты, моя миленькая, не загрипповала. Неужели не побережешься?! А у нас стояли настоящие летние дни. Но пять минут тому назад напоззли тучи и пошел дождь.

Больше не желаю целоваться и обниматься при помощи карандаша. И сам с усам.

Твой Длинный.

Письма из Пятигорска. Часть 2. 1953 г.

23 ноября 1953 г., поезду.

Еду, Ньюха! И, представь, несмотря на <нрзб.> с «Дядей Сашей» (мой Шелешпанов переплюнул Тударовского) — настроение у меня славное. Верно, потому, что Северин и Театр подбросили что-то вроде крохотной надежды (это я так говорю — они храбрились), а Михуил заразил меня своим идиотским оптимизмом по «Не пищать!»... Вот и полегче на свете жить дураком-то (в этом чине, значит, и еду в свой Пятигорск). А купе уютно, попутчики для меня не безынтересные, даже работать не могу, а собирался — радио (в купе!) орет, попутчики разговаривают. А как-то, Любушка, ты в Москве кутишь? Ох, я тебе и туфли купил! Знатные? Правда? Пожалуйста, не бранись. Если и на дождик не годятся, отдадим на кладбище. Следующее письмо уже из Пятигорска.

Обожаю тебя, Люха.

Твой.

24 ноября 1953 г.

Вот, любушка, я и водворился в своем Пятигорске. День сегодня полупотерян, уже к врачу не попал. Завтра начну свою мокрую и грязную работу. В комнате я пока один. Это великолепно! Моя старушенция уже говорила меня без перерыва те двадцать пять минут,

что мы виделись. Небо синее, солнце, снег. Воздух, как пишет <нрзб.>, — нарзан. Говорят, что дальше будет хуже. Ужасно мне интересно, как проскочит твоя, моя Возлюба, дамская кокет-гуленая Москва... да! Здесь идут Ваши «Враги». Пойду посмотреть. Старушенция уже видела тебя. Говорит: «Стерва невысказанная, но играет очень хорошо!»

Мою женку обнимаю целую обожаю.

p.s. Игоря и Нинку тоже целую.

25 ноября 1953 г.

Так вот, Нюха, я приехал в Пятигорск, как в свое родовое поместье: и ждали, и встречали, и все было приготовлено (вплоть до талонов на ванны в удобное время — и с этим здесь сложно.) Это моя старушенция развонила на всех углах!.. Я уж подумал: а может, я парень ничего себе. А потом понял: просто подлиза — улыбаюсь демократически направо и налево и говорю милые словечки, жалко что ли — всем от подавальщицы в столовой до главного врача! Вот и жизнь распрекрасная. Нехитрая штука.

В оборот меня взяли сразу здорово: с 8 утра. До завтрака уже в трудах.

А что меня утешает: как приехал, стал работать пьесу. Может, что и выйдет. Чем черт (то бишь цензура) не шутит.

Жду не дождусь от тебя писем. Софья Матвеевна просила доложить, что фруктами буду снабжен. Я выдал на это дело двадцать пять целковых.

Спать ложусь в 10, просыпаюсь в 6. Думаю очень много о своей Нюхе и очень ее люблю!

Пиши обо всех. Подробнейшим образом. А как «хлопоты» проклятые?

Твой.

26 ноября 1953 г.

В день приезда, Нюшенька, мне захотелось шлепнуться в кровать спозаранок. В 9!.. А это был последний день «Врагов». Так я их и проморгал. Вот зло взяло!

Забыл тебе сообщить: по «Займу» мы, разумеется, ни фига не выиграли. А сколько десятков тысяч хватила

твоя юная подруга? Целуй ее от меня! И уже, конечно, нашего проходимчика. Как они?

У меня, любушка, тихая однообразная жизнь, что ни пером описать, ни в сказке рассказать. Старушенция не закрывает рта, но говорит все то же самое, что и в прошлом году говорила. Те же ванны, те же грязи, те же уколы... А у тебя-то какими фонтанами бьет жизнь! И тебе — театр, и тебе — концерты, и тебе телефонные звонки от Селика... целуй и их, и Эйхов, и нашу Нину, и кота... Впрочем нет! — ему почеси брюхо!

27 ноября 1953 г.

Ой, любушка, сегодня получил такое славное твое письмо — первое, из Ленинграда еще, предъотъездное. Теперь буду ждать московских. Вот бы такие же веселые были!

У нас на юге... 20 градусов мороза, обещают — 25. Все ругаются, злятся, кричат, ёжуются. А мне нравится. Небо голубое, солнце, тихо, деревья белые. Вспомнил нашу Вятку. Помнишь, одна зима такая же была — красавица.

Хожу в двух парах подштанников и носков столько же. От врачихи попало — за щегольство!

А какой, Нюха, у меня сегодня денек был — Фигаро — тут, Фигаро — там! Анализы, рентген, массаж, укол, канны... Выезжаю только на улыбочках... Только вот поработать сегодня не удалось.

Твой Абажун. И какой!..

r.s. Кланяйся по собственному выбору — кто того достоин.

29 ноября 1953 г.

А где московские письма, Нюха? Где они? Ни единого! Вот так раз!

У меня в комнате сожитель. Маленький толстенький армянин. Главный инженер московского Главка легкой промышленности. Специалист по текстильно-портяжным делам. Ну, я теперь по гуманистским подробностям незаменимый буду товарищ. В курсе!..

Морозы у нас кончились. Солнце самое развесеннее. Все тает. Прямо прелесть. Сегодня я со своим армянчиком

разгуливал (он мне любопытен). А утром, обрадовавшись воскресению, всласть поработал над пьесой. Чем-то эта катавасия кончится? И что мне делать: самому везти в Москву или (если закончу дней через десять) — высылать театру? Советуй, Нюха. Если завтра не будет письма, начну волноваться. Целую.

p.s. В Москве теперь обязательно останавлиюсь.

30 ноября 1953 г.

Почему нет писем? Получил — одно единственное. Неужели не пишешь? Бога, Нюшенька, побойся! Знаешь, что такое кора головного мозга? Так вот ты мне ее ковыряешь, злодейка!

Остальное все в порядке, включая жопу.

Обнимаю.

Твой.

5 декабря 1953 г.

Только что получил, любушка, твою телеграмму. Теперь, значит, буду с письмом. Это чудно!

Я гуляю два дня (конституция, воскресение.) И, по правде говоря, радуюсь, как советский служащий. Всласть... поработал над пьесой. Кое-что, по-моему, удалось. Аня похорошела. Думается, что ее теперь должны любить.

У меня новый сосед по комнате. Армянчик из страха перед ночным припадком печени сбежал в санаторий.

Новый сосед и новый, еще неведомый мне, тип: кулак, торгаш, заведующий в подмосковном местечке посудно-хозяйственным магазином. Уже наворовал себе знатную дачу с коровой, свиньей, садом и огородом. Существо примитивное, но славное. Да, за столом у меня всякие люди меняются. Попробуйте-ка теперь сказать мне: ты не знаешь жизни и людей!

Филоненко (это наш Эйх в Пятигорске) роскошно меня принимал с тремя бутылками шампанского. А вообще-то продолжаю ложиться спать в 10 часов и просыпаюсь в начале шестого.

Сегодня у нас весенний теплый солнечный день. А до этого несколько было родненьких, кисленьких, ленинградских.

Боже мой, как мне интересны от тебя вести! Ведь уже и «Хлопоты» прошли! Может и собрание уже было! И ты речугу выдала!

Пиши, Любонька, самым подробнейшим образом!
Конечно же обожаю.

Толуха.

p.s. Кланяйся ребятам, Эйхам, <нрзб.>, Нине нашей и ... коту.

6 декабря 1953 г.

Вот, Нюха, и получил из Ленинграда первое (после кутежной Москвы) письмо.

И сразу повеселел от сладких каракуль, от строчек — без точек... и, разумеется, без прочих знаков препинания.

Добрые вести, конечно, лучше худых. Но я ведь не наш Михуил!.. — верю только тем денежкам, которые валяются у нас с тобой в ящичке без счета, хотя сосчитать их очень даже легко и просто.

Так и с пьесой: пойдет — приятная неожиданность, запретят — неприятная неожиданность.

Кстати, видала ли ты в Москве Мишку и Зою?.. Впрочем — конечно, видала! <нрзб.> слова-то из их дома!

А у нас в Пятигорске продолжает чудачить Господь Бог: после двадцатиградусных морозов, вдруг, выдал в декабре лето: в тени 15 градусов, на солнце под тридцать! Повсюду зеленые коврики травы и даже пестренькие капустные бабочки летают. А я, как истый осетин, брожу, обливаясь потом, под меховой шапкой. Ведь моим шибко аристократическим ручкам не под силу, разумеется, было, привезти сюда... фетровую шляпу. Вот кретин этот Анатолий Борисович!

Посылаю, Нюха, тебе моего древнего друга на пороге нашего дома. Какова компашка?

Лишь боюсь как бы этого древнего друга я как-нибудь не пристукнул.

Понимаешь ли — ее один язык ровняется трем Зонным, когда же крутятся без антракта. Тут на днях к нам заглянул любопытный человек, только что вернулся из

дальних, очень дальних стран. У него хороший точный глаз. Умеет рассказать; понять, что <нрзб.> так ты думаешь моя старушенция допустила сие? Шиш с маслом! Только он начнет рассказывать и я уши развешу, а она — хватъ и завела языком свою шарманку.

Как я не прибил ее — сам на себя дивлюсь!

Ты мне, Люха, еще мало новостей выдала: что с <нрзб.>? Работает ли Юнгер мою херовинку? Заказала ли ты костюм? И т. д., и т. д. каждая твоя мелочишка меня интересует.

Задница моя чувствует себя великолепно. Полагаю, что и передница тоже.

Над пьесой работаю без досады.

Много гуляю: больше по пригоркам, чем по горам. Когда один, а когда и с Филоненко. Он меня балует вниманием.

Обидно, что пророгозеил «Врагов».

Ну — целуй <нрзб.>.

Теперь я буду, Нюха, веселый, богатый — письмами.

И она уже не свинья, а сама человечность! Твой, любовка моя.

7 декабря 1953 г.

Вот и сегодня, Нюха, получил письмецо. Другая жизнь стала. И морда, значит, веселая!.. А чего это ты, Люшенька, то и дело не спишь ночью? Никуда это не годится! Раздобудь какие-нибудь таблетки, хоть через Юру. Раз не поспишь, два — а потом сердце запрыгает.

У меня на горбе осталась — одна сцена. Все те же проклятые у Никитова. Требуется от меня немного, но все-таки! К тебе вопрос. Теперь фельетон, который пусть в «Правде» о Стругове называется «Добрый папа»... Для названия пьесы годится или нет? «Добрый папа» и... честно: драма в 4-х действиях. Отвечай сразу. Перекинувшись с одним — с другим. Вообще-то по названию фельетона назвать пьесу хорошо.

Будь здорова, моя любушка.

p.s. Ты, Люха, покрасилась? А может, кто-нибудь подскажет другое название для фельетона?

8 декабря 1953 г.

Летят от моей Ньюшеньки письма, летят!..

<нрзб.>

Сегодня сцену в 8к маханул и, как будто, Никитова за волосы вытащил. А до чего я этой проклятой сцены боялся. Все ходил вокруг и около. А знаешь, Ньюха, что мне помогло? (Помогло ли?) Я плюнул на выдуманного Никитова. И стал писать так, как я бы сам разговаривал со <нрзб.>. Зло, едко, с подковыром. И как будто мой секретарь ожил.

Дурацкое название «Добрый папа», разумеется, уже отвалилось. Теперь так: «Я — Стругов». Пьеса в 4-х действиях. Эту фразу у меня говорят и Стругов, и Владимир, и Юрка.

Нравится ли тебе?

Меня, Ньюшенька, еще вот что шибко интересует: прошел ли (официально) приказ, что театры могут отпирать в главлит пьесы самостоятельно? Пожалуйста, выясни это совершенно точно. И, если прошел, немедленно «телеграфируй» мне одно слово: «Прошел». Тогда я не буду посылать пьесу Северину, а только в Театр. Самое позднее вышлю пьесу в Москву 16-го. Если к этому времени от тебя телеграммы не будет — пошлю и в комитет, и в Театр.

Монетки из Литфонда получил. Больше не высылай. Думаю и на переписку хватит, и на Москву. В крайнем случае возьму малость у Саррушки.

Из Пятигорска (Е. Б. Ж.) выеду утром 22-го, в Москве — утром 24-го. Билет закажу с плацкартом до Москвы.

А почему ты, любонька, в Москве не покрасилась?

Не мудри с материалом: «Хорошая шерсть вряд ли будет. Заказывай!..»

Отчитываюсь: Я уже принял 11 ванн, 8 грязей и порядком — уколов. Чувствую себя отлично. Фрукты лопаю. Ложусь спать в 9 часов, встаю в 5, хожу, брожу. Господь Бог пришел в нормальное состояние — декабрь, как декабрь.

С кем, Любушка, видишься?

Кто с тобой мил? Кто тёпел? Кто сукин сын?

Кто с тобой хорош — тот (или та) мне приятель. Тому и кланяйся.

Что у тебя в театре?

Обнимаю, мое золотце.

Твой Толуха.

9 декабря 1953 г.

Сегодня, Люшенька, получил открытку и закрытку. Во какой барин!..

Работаю на всех парах. Завтра, вероятно, вечером потащу к машинистке. Лишь бы она не проканителила. И сразу высылаю три экземпляра в театр... почему ты мне, возлюбushка, не пишешь — взяла ли у Барто стишки? Если «да» — работаешь ли их?.. Вероятно у Селика обсуждали Новый год? Ну, где будем лакать коньяк? Я от трезвой, некурящей и безнюшной (т. е. безлюбвонной) жизни скоро взвою. Да, такой праведник, что самому на себя смотреть тошно!.. Завтра с серных ванн перехожу на радоновые, это, стало быть, радиоактивные. И все, наверное, — арапство!

Целую и обнимаю сладенькую.

r.s. А почему мне ничего не пишет кот?

11 декабря 1953 г.

Вчера сдал пьесу машинистке, завтра заказываю билет (ура-а-а!), а 24-го (Е. Б. Ж.) ровно в полночь звоню своей миленькой, любименькой из Москвы.

Весь истыкан иголками, засерен (знаменитыми ваннами), загрязнен (но не <нрзб.>), и пр., и пр. Осточертело возиться со своим бранным телом, хочу Ньюху под бочок, а кота под другой.

r.s. Заказываю пироги с мясом, «Наполеон» и коньяк!

12 декабря 1953 г.

Билет, Ньюшка, я уже заказал и я уже головой дома, — распоряжения отдаю, — хозяйские: чтоб Нина мой серый костюм в полный порядок привела, на рукавах, по-моему, по пуговице не хватает... вот и все распоряжения!.. А если моей супруге попадутся на глаза теплые

перчатки (под шубу) — пусть купит, мои ко всем чертям разорвались.

Что бы еще выдумать?.. Как бы покобениться?.. А! Выдумай, Люха, за меня что-нибудь.

Жду от машинистки дня через три пьесу. Я что-то уже больно к ней неровно дышу! Хоть бы ответила мне взаимностью — выдала полмиллиончика. Ты, небось, тоже на меньшее не согласна?

Лечиться осточертело! Жрать в этой курортной <нрзб.> осатанело!..

Да, бывшая «свинья» — после получения этого послания — прошу писем писать к Саррушке (ул. Горького, 12, кв. 41). Чтоб с поддюжинки ожидало меня.

А с кем мы встречаем Новый год? А как у Ньюхи полукаются стишки Барто? А что слышно с творческими вечерами концертной звезды Никритиной? (По три «Кукушки» выходили в один вечер? Знай наших!)

Прижимаюсь к моей сладенькой.

Толуха.

15 декабря 1953 г.

К Ньюхе! К Ньюхе! К Ньюхе! Домой! Домой!

Невтерпеж мне эти распрелестные «процедуры». Глаза от них перекашиваются, скулы сводит! Здесь ведь слово «процедура» самое кодовое — (как у нас «гавно», когда говорим об искусстве)... Машинистка еще не вернула пьесу. Это тоже злит. Хотел выгадать денька четыре, послав в Москву. И не получается...

А что, Любонька, о себе писать?.. Даже мои ходули, как будто, покрепче стали. <нрзб.> По займу очередной раз ничего не выиграли.

К твоему Холодилину не только позвоню, но и зайду. Может, какие инструкции будут?.. Пиши, Любушка, поподробней о всех своих мелочах. Очень меня занимает — выступала ли по «Хлопотам»? Целуй их, если они тебя греют... А как Селики? Борухи?

Обо всем и обо всех, конечно, пиши и Саррушке. Я уже Москву оповестил о своем приезде.

Твой принц и нищий (на сегодняшний день, как говорится). Это уже из репертуара Козакова. Всю облизываю.

Нине тоже «приветик». А коту погладь брюхо.

16 декабря 1953.

Я, Любушка, сегодня получил от машинистки экземпляры и после процедур (!) целый день правил. Однако успел вечером выслать только в комитет, завтра посылаю в Театр.

От тебя было два письма сразу! Красота!

Обожаю.

Толюха.

17 декабря 1953 г.

Спасибо тебе, Нюхин, что балуешь меня письмами, да еще такими славными!

Сегодня отправил экземпляры пьесы и в Театр. Надеюсь денька три выиграть. И они для меня дороги. Название, если все будет в порядке, уже определено с Плотниковым. Меняются они у меня проклятые каждый день!

Ты меня раздражила Таллинном (Новый год). По моей бродяжьей душе это очень прелестно! А не выйдет — где выйдет, Союз как Союз. А в каком театре будет моя концертная звезда?..

Скажи, Нюшка, — неужто ты так и заказала новые стишки? Ну, за это тебя надо по попе!.. И позвони еще своему коварному сапожнику. Может, соблаговолит в конце концов с деньжатами выкрутиться...

Звонок!.. И... от тебя, Люха, телеграмма — «нет писем». Да как это так?. Я за все время от силы пропустил денька три. Уверен, что все уже в порядке. У меня сейчас так подобрались монетки (переписка, отправка, бумага, яблоки, мед — это <нрзб.>, т. к. перед завтраком принимаю грязи, врач сказал: «Обязательно»), что даже не телеграфирую тебе... и это пусть тебя не волнует — т. е. деньги, — у Саррушки, Любонька моя, буду дома 29-го.

Ой, как соскучился!..

18 декабря 1953 г.

Вот, Любонька моя, Нюшенька; я и танцую: у меня в кармане билет! Значит (Е. Б. Ж.) — 22-го утром отбываем. И ко всему еще у меня навар: почему-то думал, что билет будет стоить дороже. Так что я приеду в Москву баринном — со сторублевой бумажкой в кармане...

Все ломаю голову, как это так осталась без моих писем? Все ли доходили? Вот, например, я не получил от тебя ответа на вопрос: «Имеют ли право театры посылать сами пьесы в Главлит». Я даже просил тебя по этому поводу мне телеграфировать. Ты, Любушка, это мое письмо получила?..

Москва меня, признаюсь, волнует. Что-то поднесет? Взреву белугой, ежели очередную дулю!.. На этот раз мне Пятигорск крепко поднадоел. Но зима здесь так красива, что прямо отупеть можно! Ничего подобного в жизни не видел. Я выползаю из дома ни свет ни заря. И задыхаюсь от красоты. И тут же сам над собой ироничнейшим образом улыбаюсь, потому что я не хожу, а выступаю, плыву, как пава... Помнишь, Любонька, как последние годы «выступал» наш Василий Иванович Качалов?.. Я тут даже этой своей идиотско-величественной поступью привел в восторг какого-то старого-престарого латыша. Он меня остановил и сказал: «О-о!.. пунктуально ходите. Сразу видно, что инженер или врач!»

p.s. Ну, моя жёночка, будь здорова, поджидай своего длинного кавалера.

Целую приплодов. Кланяйся Эйхам.

Обнимаю тебя по-Ромеовски.

Толюха.

19 декабря 1953 г.

Идут и идут статьи на мою тему. Еще какие-то «Березки» появились, говорят, в «Комсомолке», «Тунеядцы» в «Литературной»... А как же будет с Мариенгофом?.. Признаюсь, Люшенька, я весь на вздерге! После Бабочкиного удара по «Лермонтову» так и жду финку меж лопаток от очередного гангстера с ул. Воровского, или подручного с Неглинной.

А еще до скрежета зубного доводит меня каждая твоя фраза о Полицеймакино — Соколовском Театре. Что же нам с тобой, моя Любушка, придумать?.. Тут ведь одно «наплевание» делу не поможет... Нет, нельзя так надолго расставаться!.. Пишешь ты мне в Москву?..

Моя Возлюбуйка, моя Нюшка, целую тебя.

p.s. Меня здесь балуют вниманием, но не в коня корм.

Письма разных лет

29 июня 1943 г.

Нюшка моя!

Что ты там?.. Как?.. Эти телефонные разговоры, положительно, хуже писем. Вернее хочется и того, и другого, и третьего, а главное третьего — т. е. быть вместе. Неужель это <нрзб.> и каналья Брукер не передал тебе ни писем, ни финансов, ни яблочка? То, что он арап, я знал, проверил на <нрзб.> опять, — но все же надеялся на совестушку арапскую... Твой старикан тоже письма не бросил. Вот народец расейский — ни слова, ни долга, ни порядочности, только жулики. Этого добра хоть отбавляй...

Мои дела меня злят. Это ты, конечно, поняла по телеграмме. Выдавить из кого-либо: «Да!» (а это какая-то ответственность!) просто нет никаких возможностей. Реперкомовщики пьесу прочли. И тоже — ничего из них не выдавишь. Хотя со всеми личные добрые отношения — обедаю вместе, прохаживаюсь и пр. Но, видишь, по госзаказу они до доклада хронически ничего не имеют права говорить автору. Я говорю! шепните! — не шепчут! Я говорю: — моргните! Не моргают. Единственное, что мне было пролепетано: «Очень интересно». [зачеркнуто]. Все же полагаю, что о Петре будут еще разговоры, а м. б., заставят еще подливать бронзы, а он у меня и без того, если стукнешь, со звоном. Мяска бы нужно, а не бронзы. Конечно, как, хоть малость, прояснится, дам телеграмму.

Суета моя слегка поспала. Мишке теперь награду. Поразъехались. Не круглосуточно трещит телефон. Второй день после обеда всхрапнул. Это достижение. Как-то вечером угодил к Брикам и, знаешь, очень доволен. Там сиял этакий 24-летний блаженно-юродивый нзохлебников, поэт (запомни имя и фамилию НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ), и стал этот монстр читать стихи, да какие! Одно лучше, интересней, замечательней другого! Весь вечер работал, как заведенный. Черт его знает, по-моему, Бог навалил в него таланту столько, что на дюжину Симоно-

вых хватит... При ближайшем рассмотрении семейство Бриков мне понравилось — через их нежнейшее отношение к этому монстру! И даже Осип для меня предстал в каком-то другом, приятном, не циническом свете. Об этом надо толковать подробно дома... Смотрел в «Лебедином» Дудинскую. Не по нраву! Смотрю ее, а вспоминаю Уланову (одна машинка, без души и без пипки, а другая актриса, у которой имеется все, что полагается женщине, — ну не мне тебе об Улановой рассказывать.) Был я... в качестве дамы Преображенской. Дудинская не для <нрзб.>. У того парода, с которой я разговаривал — отношения к ней, примерно, мое. Да и успеха не было. Я шибко поиздержался, хотя живу-то и не шибко — в кармане осталось двести целковых. Стал подумывать — где по зернышку, по зернышку поклевать... <нрзб.>. А то избаловался кушами: за «Шута» получил на этот раз всего 4 тысячи, они с меня в прошлый приезд не удерживали никаких налогов, — вот сейчас и отдаваюсь: налогов вычли столько же, сколько дали денег.

Беспокоишь ты. Как и на что крутишься? Меняй на сдобное табачишко. Надеюсь отсюда привезти немножко папирос. Так что не жалея. Как у меня будет что-то похожее на получку, конечно, сразу же тебе привезу.

Тебе, миленькая, небось, скучно возиться с «Курантами»? На кой ляд Рудник завел и завяз в этой старой вольнке? Скажи ему, пусть забудет про «глубокую развязку». Все в очередной раз ничего не поняли в пьесе. Здесь нет человека, который бы о ней обмолвился добрым словом. Жаль, что отложились твоя Глофира. Я не люблю, когда откладывается пьеса. Дружок мой, любя моя, надеюсь все-таки числа 15-го выскочить к тебе из Москвы. Довольно уже! Нагулялся!

Целую тебя крепко, много, нужно и кладу к себе на грудь.

Твой Толюха.

p.s. Возьми у Рудника книжку «Шута». Боже упаси, чтобы не пропала. Ведь единственная.

Все старые, все беззубые (Колька Никитин, Федин — вставляют). Срамota смотреть на наше поколение.

Люхин, получил наконец-то твое письмецо от 21-го!.. Это старикан что ли бросил? Какое грустное письмо. Пишешь про <нрзб.>, я словно с тобой там побывал, все увидел. И вот глаза на мокром месте.

18 апреля 1949 г.

Вот тебе, Люха, светский выходной день молодого человека... 51 года и 9 месяцев: проснулся в 9 ч. утра в своих апартаментах отеля «Москва». Принял душ. Позавтракал. Собрал свои многочисленные чемоданы и «выкатился колбаской» из отеля «Москва».

У Барто — Щегляевых.

Второй завтрак. Водочка. Подается малина. Едем на поле, дачу. Осматриваем и полутонем в нашей грязи и наших заливных лугах и лесах. Получаю предложение: обязательно отпуск жить на нашей даче (июль). Осматриваю «нашу» комнату, «наш» балкон, «наши» плетеные кресла, «нашу» природу. Она в отдалении. На горизонте чернеет что-то похожее на лес. Вода имеется только в «нашем» колодце. Основной вид — заборы соседних дач. Иронизирую. Возражение гостеприимных, сверхгостеприимных хозяев: «Но у нас же наша машина с нашим шофером!» (Питоевская комбинация) Значит: и московское море, и московские реки, и московские пляжи, и московские дебри хвойные и лиственные — все наше! Колеблюсь. Требуют ответа. Претендуют на нашу комнату и наш балкон множество. Но мы на первом месте. Говорю: должен посоветоваться с заслуженной артисткой. Выхлопываю — отсрочку ответа на первые числа мая.

В шесть часов обед у Образцова. Водочка. Уточка. И прочее. Алеша, Наташка и сиамские кошки. В них я влюбляюсь при всем моем отвращении к кошкам. Большой прелести я не видал. Чистейший космополитизм и формализм! Получаю обещание — будущий сиамский котенок украсит наш салон. Это почти так же шикарно, как иметь дома ручного тигра. Сейчас в Америке, в Англии, во Франции самые фешенебельные светские клубы — клубы сиамских кошек и котов. О них читают лекции, издают журналы... сиамские вернисажи и прочее. После того, как у нас будет сиамский кот, придется

завести «Победу», чернобуровые пелерины и такую же (по крайней мере) шубу, как у мадам Черкасовой. А мне купить новые ночные туфли, т. к. имеющиеся «жмут» пальчики и я хожу в одних носках. После обеда отдыхаю 1 1/2 часа среди шедевров образцовского кабинета.

Проснулся. Иду в кафе «Националь». Покупаю грудую тающего во рту хвороста. И отправляюсь на именинный ужин к ...Барто-Щегляевым. Третий день Таня справляет свое шестнадцатилетие... Водка. Белое вино. Шампанское. Восемь шестнадцатилетних девушек танцуют шерочка с машерочкой. Сорокапятилетние дамы и соответствующие им по возрасту месье... много говорят о том, что проделывают не так уж часто и не так уж горячо, как об этом говорят.

Светская жизнь прекрасна!

Сегодня будет советский понедельник... в реперткоме, в комитете, в звонках директорам, с обедом в ВТО, с мечтой поскорей выбраться, поскорей отплыть к своей тихой гавани и к собственной сорокадевятилетней возлюбленной.

Обнимаю, целую, обожаю.

Твой Анантоль-герматург.

р.с. Был у Семы. Сема, как Сема. Только еще немножко поглупел, после того, как стал лектором по философии в «Мосхе».

20 февраля 1950 г.

Великопостный, послеблинный понедельник.

Изволили мы встать с кровати. 12 часов дня. Жизнь самая трудовая! — позавтракаю, покурю и отправляюсь!.. Куда? Зачем? К кому? Ладно, на Петровку! А может к [нрзб.]?..

Шутки побоку, Люха, моя любименькая, моя милая, моя [нрзб.]! — злит меня это будущее дьявольски. Дергает. Корячит. Корежит.

Сдал пьесу в Репертком, Завадскому, Майорову, экземпляры кончились, — а жажда деятельности невероятная, — куда бы еще нести, кому-то еще показать, а тут — тпру! Сиди, жди, жри, пей, прогуляйся по Петровке, чеши язык с Липовским... ни хера не делай.

А таких еще три-четыре дня. Мука мученическая!

Может, во вторник выручу экземпляр от Бродского — тогда еще передам одному из тюзов.

Завадский был очень, как всегда, мил. Но от него ушел Ронецкий (этот тот актер, который, говорят, очень хорошо снимается в Лермонтове — так говорят многие, кроме Агаши, — она бранит его). Юрочка сказал: «Но этот из тех актеров, который, узнав, что есть хорошая роль, прибежит обратно...» Что-то не верится. (Ушел к Лобанову).

Во всяком случае — это препятствие серьезное.

Звонить Завадский обещал дня через четыре. Ведь большая половина его головы — Уланова. Значит, должен прочесть он, обязательно она, если оба не отплюнутся, — директор. Так что 4 дня — срок небольшой.

Сам Завадский ставит «Маскарад». Он сказал: «Вы понимаете, это интересно — рядом с «Маскарадом» поставить и пьесу о Лермонтове».

По-моему, это действительно интересно. Но что по этому поводу скажет комитет? «А где советская пьеса?». Вопрос почти обязательный. И все же у меня почему-то больше маленьких надежд на Юрочку (остатки оптимизма).

Вот и поделился с моей трехчетвертинкой своими трехволнениями.

А блины наши прошли роскошно — лукулоски. (Ты наверное, слыхала о таком древнем обжоре). Ели, ели, ели, ели — и с трудом съели $\frac{1}{4}$ того, что поставили на свой овальный стол Барты.

Мне был совершенно отвратителен Орлов. Голова у него стала круглей мясисто-жирной кавказской жопы. В той же пропорции увеличилась и его охотно-рядская наглость.

Юрочка славно рассказывал о Дании, откуда только что вернулся; а потом — совершенно прелестно стал в коридоре, говорил об Улановой. Боже, до чего сложна жизнь! Вот, подишь ты: он треплется по бабам, она крутила (и крутит)... а рядом что-то такое большое, хорошее, настоящее, ненаглядное, — этакий хвастливенький и человеческий восторг перед человеком, художником,

женщиной, которая, вероятно, и его сильно замучила да он ее меньше. Се ля ви! Проклятая — се ля ви!.. А рядом «Пальма» (в своей собачьей шкурке) лезет на стенку, — все философски поясняя все трагедии нашего мира.

Люшенька, а как твой прогон? Жду с нетерпением дорогих каракуль! Как твое сердечико? Ничего от меня не скрывай. Прошу тебя. Если нужно пожаловаться — миленькая моя, пожалуйста, поскули. Я же скучаю! Иначе это будет не по-товарищески. Я тоже тогда буду перед тобой бодряка-неунывалу из себя разыгрывать.

Обнимаю тебя так, что и под [нрзб.] все твои косточки трещат.

Твой Толюха.

Целую Зою, [нрзб.], [нрзб.], Раю, [нрзб.].

p.s. Только бы обязательно к 4-му с тобой быть.

20 февраля 1950 г.

Понедельник. Вечер.

Любушка моя, утром я отправил тебе фолиант собственного сочинения. А сейчас вот строчу — второй фолиант. Уж больно мне грустно! И хуже всего, что нет никаких, абсолютно никаких причин для этой черной грусти. Ничего не случилось, ничто не рухнуло, никаких неприятностей. А я готов по-собачьи выть на луну, которой нет на небе.

Очевидно, я совершенно не могу быть гостем. А хозяйка мои такие, что лучше и не выдумать. Но за четыре гостевых дня я устал больше, чем ты за дождливый летний месяц. И к лешему, значит, не годятся нервы. Недаром, мы оба устали от нашей Оли, тихой и беспрекословной, и почти безупречной Оли.

Я себе кажусь каким-то сумасшедшим, который может быть вроде как нормальным только в собственной конуре с собственной своей Ньюхой.

[нрзб.]...нет, это не под силу, потому что этой силы жизненной нет.

Прости, что пишу тебе про это.

Только что звонил Майорову. Он — веселый, пьяноватый говорил: «Мариенгоф, сейчас же приезжай

к нам! Дадим водки, блинов. У меня [нрзб.] (директор сценарной студии). Он тебе очень кланяется, приезжай, приезжай!» (все на «ты»). Конечно, будь я порядочный деловой товарищ, много не думая, влез в трамвай № 11 и через двадцать минут пил бы водку, ел опять блины с людьми, которые мне могут пригодиться, быть [нрзб.] полезными.

Но я не поехал, не могу. Не могу-у-у-у!

О пьесе, разумеется, не говорили. Миг к тому не подходящий — водочный, блинный.

Завтра пойду и куплю Бартам... пепельницы. Это, кажется, единственное, чего в доме нет.

Сложно приносить каких-то уток или фазанов, когда тут лопают по четыре раза в день поганую икру и лососину. У Миши-Зои меньше на столе картошки и пшенной каши, чем у наших дорогих «победчиков» и «мерседесников» этих самых гастрономических всяческих деликатесов.

Нет, я бы хотел быть гостем у бедных друзей.

Как только приедет Сара — кинусь к ней.

А вообще невоготу ни у кого быть гостем. Господи? А ведь были же такие времена, когда я в Москве за собственные 30 целковых в день покупал себе бесценное право не улыбаться, когда не хочу улыбаться, не говорить, когда не хочу говорить, и не видеть никого, когда не хочу никого видеть.

Домой! Домой! К Ньюхе на грудку!

р.с. Вдруг взяло сомнение: а правильно ли я [нрзб.] на утреннем фолианте?

22 февраля 1950 г.

Среда.

Ночевал, Люха, у Образцовых. Как и полагается — разговоров у нас Сереже хватило до 4 утра и разошлись на полуслове. Взял с собой читать его толстенную (еще в рукописи) книгу. Надо прочесть в три дня, до Венгрии. Сережа просил. Книга уже подписана к печати.

Оля учится... классическому балету. Удивительная женщина. А Сережа удивительный муж этой удивительной женщины. Он уже говорил мне: «Оля прекрасно

танцует! Стойка! Пуанты! Руки!» А этой Оли, даже по паспорту, за пятьдесят перевалило. Вот бы ты, Мартуха, хоть бы два раза в месяц на меня таким образцовским глазом глядела! Я бы тогда, если не Чеховым, то уж наверное — Сафроновым по советской земле ступал.

От Образцовых прошагал, благо близко, в Репертком. Конечно, мой новый редактор (ба-ба!) где-то на просмотре. Почесал язык с Сегеди и пошел проведать Северина. Думал минут на пять — чтобы сговориться с ним о прочтении им моего бессмертного произведения. Сговорился. Если ему понравится, думаю, что даже сватать будет. Твой, Любонька, Длинный прямо Михуилом Козаковым стал — переполнен идиотским оптимизмом. А может, это уже старческий маразм? А?.. А «пять минут» у Северина обернулись в добрый час. Не отпускал меня. Хочет от этого незадачливого дерьматурга советской пьесы. И, представь себе, даже верит, что я-то и могу написать «неувядающую» в 4-х действиях! Шутки шутками, а разговор был не глупый, любопытный. И если я вошел в его кабинет, даже не думая о новой пьесе, то вышел из него с желанием писать. Вероятно, это потому, что он хочет от меня такой пьесы, какую я сам бы от себя хотел. Без производства, не о колхозе, а о человеках — больших, широко интеллигентных, этаких энциклопедистов, знающих и думающих хотя бы не меньше самого дерьматурга. «Коммунизм-то строить ведь такие люди должны!» — не без основания говорил этот неожиданный начальник Театрального управления Комитета. Словом, Северин, слава тебе, Господи, это не Пименов. Впрочем, я это и раньше знал.

Маразм у Длинного! Старческий маразм!

Теперь мелкие сведения. И Северин, и Евсеев сказали мне, что, очевидно, Гончаров к вам не пойдет. «Тогда, — говорю я, — не водите театр за нос. Скажите БДТ'е об этом прямо». В театре об этом можешь рассказать, но имен не называй (т. е. Северина и Евсеева).

А Ванин из «Камерного» вроде как уже на вылете. Опять же по реперкомовским и комитетским сведениям. Причина? Плюнь через плечо и перекрестись: — Бабы!.. И это старье в рудники полез.

Миленькая, любименькая, а от тебя еще нет второго письма! Спрашиваю грозно: ПОЧЕМУ? Жёнка, — балуй меня своими каракулями.

Кончаю очередной фолиант. Надо опять в Репертком тащиться...

Звонок! И... Домаша вручает письма от тебя. Распечатываю!..

«Не поняла, — почему "Приеду Суровым готовь, место в Свердловске"». Да он в больнице лежит с перепоя. А я тоже в Москве спиваюсь. В день не меньше двух раз хлещу. Да... вместо пепельниц купил... коньяк, да еще итальянский. Хорош проклятый! А Барто привела Кас-сия: «У меня, говорит, Мариенгоф, а ему не с кем водку пить». Вот мы с ним раздавили, оставив половину для Андрюши. А какие сплетни!.. Пальчики оближешь. И Мишка, головой ручаюсь, ни черта не знает из этой партии. Тут каждый день самые свеженькие и высокосортные!

Почему ни слова о просмотре? Беспokoюсь!

Обнимаю, целую, обожаю! Твой.

5 марта 1950 г.

Вечером.

Зайдя в купальню филантроп
Увидел восемь женских... туфель.
В смущенье сморщился, как трюфель;
Упал он в воду и утоп.

(Михалков)

Боюсь, Нюха, что последние строки придется поставить эпиграфом к моим московским похождениям с «Лермонтовым».

Вот разговор с Комиссаржевским:

— Обязательно встретимся. Все сделаю, чтобы достать место на «Пушкина» 7-го. Хотя почти нет возможности, наша ложа уже переполнена, билетов давно нет, а за приставной стул — 300 рублей штрафа. А что касается «Лермонтова» — тут надо очень подумать. Не выйдет ли перегрузка в репертуаре одной тематикой. Подумаем, поговорим.

Разговор, как можешь судить, не ободряющий.

А вот разговор с Габовичем (это не то правая, не то левая рука Руб. Симонова и как бы заведующий литературной частью театра):

— Лермонтов? Это, конечно, интересно. Даже меня не пугает, что у нас биографическая пьеса есть в репертуаре. Но прежде всего надо иметь в труппе для этого актера. Надо сообразить. Пожалуйста, не откладывая, принесите пьесу в театр. Хорошо бы в понедельник. Не можете? Тогда во вторник в 3 часа. Меня вызовут. К этому времени сообразим, прикинем, — ведь у нас неплохая молодежь. Жду Вас.

Как ты считаешь, Нюха? На мой деловой нос не шибко обнадежен твой бумагомаратель?

Итак, к 5-му марта в 6 часов вечера результат: «0 — 3» в пользу сатаны, играющего против меня.

Матч продолжается. Бумагомаратель явно начинает уставать. А сатана звереет.

Пойду вечером пить водку к Андрею Владимировичу. Кричал в телефон: «Ёлки-палки, куда Вы задевались!»

Целуй всех наших друзей.

А я тебя в пупок! Ах ты пуп жизни моей!

16 мая 1951. Вечер.

Любименькая, миленькая, сладенькая!

Сегодня к нам заявился Борух, а из Москвы вернулся Миша. Я с ним только что разговаривал по телефону. Он, как понимаешь, плохих новостей не привезет. Говорит, что в день его отбытия из Москвы Беспалов вернулся из комиссии (той самой) и сказал, что рекомендованы 4 пьесы и наша возглавляет список. Кроме того, Миша мне назвал городов пять, где она будто бы ставится (Архангельск, Вологда и т. д.). Но... в Ленинграде, по Мишиному слову, кислое отношение к ней у Козьмина (?!). Мне это не нравится. Но мой оптимистический соавтор <нрзб.> заявляет: «Как ты не понимаешь, что это вздор. Если в той комиссии она идет с + первым номером». Конечно, это верно. Но как Козьмин может не знать решения?

Впрочем, может быть, Козьмин несколько преждевременно разочаровался.

Мишины дела совсем пригожи. Тройка союза писателей вынесла решение, что ему следует получить 28 тысяч. Это чудно!.. Теперь осталось Московскому секретариату Союза санкционировать решение Тройки. Надеюсь, что все будет в порядке. Дай Господи!.. А пока у них денег ни шиша. Зоя где-то раздобыла очередные тысячки, и Мишку малого отправили жрать фрукты.

Я в первой инстанции дело выиграл. Неужели прохвосты будут кассировать?

Наш Сережа жив и здоров. Ухаживает за какой-то приголубленной Бялым трехмесячной кошечкой. Говорят, что наш нежный мужчина облизывает ее с конца хвостика до ушей. Так что кошечка ходит мокрой. А вчера Сережа воевал с липкой бумагой для мух. Разордал ее в клочья, но сам стал гибелью мух — липкий-прелипкий! Надеюсь, что Дуся его отмыла. Ей довольны. Сегодня должна была выехать на дачу. Вот, кажется, и все КРУПНЫЕ новости.

У тебя в Харькове, говорят, 45 градусов жары. Я в отчаянье! Пиши, Любушка, правду, как переносишь эту пытку.

Обнимаю крепенько.

Твой Длинный.

23 июня 1953 г.

Сегодня, любушко, почему-то надумал, что мой Кесслер явится на работу. Это может случиться в 3 часа дня.

Если нет... О-о-о-о!..

Вчера днем встретил на Тверской Колю Эрдмана и Вольпина с кулем воблы.

Коля сказал: «Поедем ко мне пить пиво с воблой».

И я, разумеется, пошел, и мы пили (и водочки маленечко) часов пять, пили и разговаривали, пили и разговаривали...

Это было расчудесно. Самый лучший мой день в Москве.

И каждый из нас говорил: «Всего лучше получается, если невзначай».

Супруга пришла, когда все бутылки мы прикончили. Предложила пообедать. Но что-то не захотелось... Лицо у нее недоброе, а вода теперь из водопроводного крана теплее (много теплее), чем ее глаза.

Посидели еще, впрочем, в кабинетике и я, пошатываясь (чуть-чуть), побрел восвояси.

Ох, Нюха, до чего же тяжка и оскорбительна жизнь киносценариста!..

Завлит каждое утро справляется о моем здоровье. Из этого я делаю вывод, что дела мои в театре пока неплохи.

28-го собираюсь тебя встречать. Если встречу, это будет уже самый-разсамый лучший мой день в Москве!

Обожаю и обнимаю.

Твой Толюха.

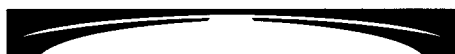
р.с. Звонила Агния. Завтра вечерком, может быть, поеду с Ан. Вл. к ним на дачу.

Агния собирается 27-го на денек в Ленинград.

По займу не выиграли.

Как наша невеста? Где ее жених? Где ее деньги?..
Кланяйся ей.

КОММЕНТАРИИ



КОММЕНТАРИИ

В 1923 году Мариенгоф написал:

У каждого стихов на тысячу страниц
(«Собрание полное» в три тома)

Так и получилось. Правда, в три тома мы уместили не только стихи, но и статьи, прозу, драматургию и письма. Казалось бы — много, но, тем не менее, это не полное собрание. Чтобы создать ПСС Мариенгофа, необходимо посетить не только архивы Москвы и Санкт-Петербурга, но и кировские, комаровские, п्याцундские и т. д.; что, понятное дело, требует большого запаса времени.

Больше откладывать издание собрания сочинений невозможно. Это делали и в 1950-е, как ни старался сам Мариенгоф, и в 1960-е, как ни старались его близкие друзья, и позже. В одном РГАЛИ есть несколько «итоговых» сборников: «Стихи разных лет» (1918 — 1962), «Избранное» (1960), «Маленькие драмы, комедии и сатиры» (1962); не говоря уже о питерских архивах.

Итак, в первый том вошли стихи, драматические произведения в стихах, статьи, письма и автобиография Мариенгоф. Во второй — проза и мемуары. В третий — драматургия.

Без фигового листочка

Автобиография «Без фигового листочка» печатается по письму Мариенгофа к Якову Блоху, хранящемуся в РГАЛИ (ф. 2853, оп. 1, ед. хр. 34). Яков Блох руководил эмигрантским издательством «Петрополис», куда Мариенгоф отдал «Роман без вранья», «Циников» и «Бритого человека». Чтобы опубликовать их, издатель запросил в качестве предисловия автобиографию. Письмо было выслано 1 апреля, 1930 года.

Стихи

Поэтическое наследие Мариенгофа весьма обширно. В собрании сочинений представлены следующие книги:

- «Витрина сердца» (Пенза, «Див», 1918)
- Альманах «Явь» (Москва, Второе государственное издательство, 1919)
- «Магдалина» (Москва, «Имажинисты», 1919)
- «Кондитерская солнц» (Москва, «Имажинисты», 1919)
- «Стихами чванствую» (Москва, «Имажинисты», 1920)
- «Руки галстуком» (Москва, «Имажинисты», 1920)
- «Тучелет» (Москва, «Имажинисты», 1921)
- «Развратничаю с вдохновением» (Москва, «Имажинисты», 1921)
- «Разочарование» (Москва, «Имажинисты», 1922)
- «Новый Мариенгоф». Стихи и поэмы: 1922 – 1926 (Москва, «Современная Россия», 1926)
- «Такса-клякса» (Ленинград, «Радуга», 1927)
- «Мяч-проказник» (Ленинград, «Радуга», 1928)
- «Бобка-физкультурник» (Ленинград, «Государственное издательство», 1930)
- «Поэмы войны» (Киров, Кировское областное издательство, 1942)
- «Пять баллад» (Киров, Кировское областное издательство, 1942)

Если говорить о стихотворениях начала 1920-х годов, непременно надо сказать и о восприятии этих стихов ближайшими соратниками Мариенгофа. С Есениным они собирались выпустить книгу — «Эпоха Есенина и Мариенгофа». Арсений Авраамов написал про обоих поэтов книгу «Воплощение», где показал новаторство поэтов через парадигму музыкального строя. Рюрик Ивнев писал в своем дневнике (Дневник. 1906 – 1980. М.: Эллис Лак, 2012. Запись от 9 сентября 1923 года): «Большой поэт не боится слабых стихов (Блок, Есенин). У Мариенгофа же нет почти ни одной абсолютно слабой строчки». Также Ивнев написал «Четыре выстрела» — в четырех имажинистов: Есенина, Мариенгофа, Шершеневича и Кусикова.

Ниже мы публикуем «выстрел» в Мариенгофа.

ВЫСТРЕЛ ТРЕТИЙ В МАРИЕНГОФА

Боже, когда же сольются потоки
В реку одну, как источник один.

Одоевский

Нет, не приложу ума,
Как воедино сольются
Вытекшие пространства.

Анатолий Мариенгоф

Зеленых облаков стоячие пруды.

Анатолий Мариенгоф

«Зеленых облаков стоячие пруды».

Умри, Мариенгоф, лучше ты не напишешь.

Ты сам, вероятно, не подозреваешь, как характерна для тебя эта строчка. Я знаю тебя уже два года, люблю тебя за то, что ты имеешь свой стиль, внимательно читал все твои стихи, и если бы меня спросили:

Как вы относитесь к Мариенгофу, я бы ответил:

«Зеленых облаков стоячие пруды».

Мариенгоф? — это стоячий пруд, душный, зеленый, без воздуха, без движения.

Тихая вода, осень, желтые листья, и гром войн и революций в этот уголок не долетает. В нем тихо, спокойно, сонно и по-своему мило.

Когда-то, в сущности совсем недавно, но, кажется, очень давно, в первые дни твоего литературного крещения, ты дико замахал картонным мечом, выкрашенным в красную краску, и тебе на минутку понравилась поза «революционного мясника».

Дурачки поверили, клюнули на твою удочку.

Все «фричи» расплескали руками: — он клеветает на нас, мы, революционеры, совсем не такие страшные.

Бурцев завыл в своей парижской берлоге: Распутин Советской России.

Я уже не говорю про Львова-Рогачевского, называющего тебя «мясорубкой». Он говорит о тебе как о человеке (ведь это же нелепость) и не разбирает тебя как поэта. Главное в тебе проглядели: твою безобидность, тихость, безлюдность, твое спокойствие.

Ну куда тебе в мясники «за рабьих годов позор». Тебе бы вести «застольную беседу», мечтая затуманить «блеск пушкинских годов», просить друга «налить в стакан прозрачной тишины».

Под утро
Тост и в честь богемы
Оду

Больше всего ты любишь позу:

Будь трижды и трижды проклят
Час моего венчания
С бессмертием

Кричишь ты, но... я не верю, потому что хорошо знаю, что
весьма и весьма по вкусу пришлось тебе законная супруга.

«Что впереди?» вопрошаешь ты и откровенно отвечаешь:

Покорно стыннуть на книжной полке
Будущего стихолюбя

В душе ты знаешь свой удел, но внешне не успокаиваешься,
лавры громовержца не дают спать.

Опустится звезд жезл
Землю насквозь продырявить,
Прижечь раскаленным железом
Рваную рану яви.

Как страшно! А ведь кто не знает тебя — поверит.
Найдутся дураки, которые собьются в кучку и закудах-
чут: — Мариенгоф, пощади, больше не будем, не будем.

Но ты увлекся, ты не слышишь, ты продолжаешь:

Возлюбленную злобу настезь
И в улицу душ прекрасного зверя —
Крестами убийств крестят вас те же,
Кто кликал раньше с другого берега.
Говорю: идите во имя меня
Под это благословение.
Ирод — нет лучше имени
А я ваш Ирод, славяне.

Но делая «страшные глаза» и говоря «страшные вещи», ты
все ж не можешь успокоиться. Ты насмерть перепугал всех
«фричей», но и эта жертва тебя не удовлетворяет. Тебе хочет-
ся «великих потрясений», чтобы все «ахнули». У тебя остается
последний козырь, и ты козыряешь:

Кричи, Магдалина! Я буду сейчас по черепу стукать
Поленом!..

Да, это козырь, и дальше идти уже некуда.

Чтобы спасти читателя от твоего «полена», я стреляю в тебя, но что мой выстрел перед твоими кулаками, которыми ты

В солнце кулаком бац

(Мариенгоф)

Да твой поэтический жар не зальешь «ведрами любви». Может быть, ты думаешь, что я говорю это в виде упрёка. Ничего подобного

Не в хулу говорю, а в лесть

(Шершеневич)

Ты великолепен в своей тихости. Ты имеешь свой стиль увядания, мертвенности, отцветания, и не суйся ты, пожалуйста, в «мясники» и «громовержцы». Это только смешно. Будь самим собой, вернись в свои «стоячие пруды», и там ты будешь недостижим для злостных выстрелов друзей-изменников. Тяжелым заржавленным якорем лежит твоя мудрость на дне этого, а не иного болота. Ее не видят смертные, но о ней хорошо знаем мы, друзья вечности.

Также необходимо сказать, что современники о Мариенгофе и Есенине писали не только публицистические и исследовательские книги, но и художественные. Примером тому служит Сусанна Мар, выпустившая книгу «Абем» (Москва, 1922). Стихотворение, посвященное Мариенгофу, мы приводим ниже:

...

Осушить бы всю жизнь, Анатолий,
За здоровье твое, как бокал.
Помню душевные дни не за то ли,
Что взлетели они, словно сокол.

Так звенели Москва, Богословский
Обугленный вечер, вчера еще...
Сегодня перила скользкие —
Последняя соломинка утопающего.

Ветер, закружившийся на воле,
Натянул, как струны, провода.
Вспоминать ли ласковую наволоку
В деревянных душевных поездах?

Только дни навсегда потеряны,
Словно скошены травы ресниц,
Наверное, так дерево
Роняет последний лист.

Август 1921

Обращаясь к 1920-м годам, невозможно не сказать и о дендизме Мариенгофа. Знаменателен факт, описанный Софией Старкиной (Велимир Хлебников (ЖЗЛ), М.: Молодая Гвардия, 2007): «Хлебникова начинает тяготить и то, что он носит одежду с чужого плеча. Изношенный серый костюм и такой же изношенный тулупчик, доставшиеся ему от Маяковского, теперь Хлебникову неприятны, хотя раньше он таких мелочей не замечал. Однажды они шли с Митуричем по Кузнецкому и Хлебников остановился у витрины с костюмами. "Я бы не отказался иметь такой костюм, — сказал он. — Мариенгоф хорошо одевается". Митурич принялся утешать друга, говоря, что его костюм "соткан из нитей крайностей нашей эпохи", но Хлебникова это не утешало».

Что касается Хлебникова, то поэт написал про Есенина и Мариенгофа одно стихотворение:

Москвы колымага,
В ней два имаго.
Голгофа
Мариенгофа.
Город
Распорот.
Воскресение
Есенина
Господи, отелись
В шубе из лис!
Апрель 1920

И упомянул в большой поэме «Тиран без Тэ»:

<...>

«Ты наше дитю! Вот тебе ужин, ешь и садись! —
Мне крикнул военный, с русской службы бежавший. —
Чай, вишни и рис».

«Пуль» в эти дни я не имел, шел пеший,
Целых два дня я питался лесной ежевикой,
Ей одолжив желудок Председателя земного шара.

(Мариенгоф и Есенин).

«Боботеувевячь», — славка поет!

В середине 1920-х Мариенгофу становится все труднее издаваться. Орден имажинистов прекратил свое существование. Новую группу сродни ЛЕФу (совместно с Рюриком Ивневым) организовать не получается. И тогда настает время для поиска новых форм. В это время Мариенгоф пробует себя в детской литературе, в сценарной работе для кино (совместно с Николаем Эрдманом; с Борисом Гусманом; с Вадимом Шершеневичем), а также в прозе и драматургии.

В 1930-е годы стихов Мариенгоф практически не пишет. На рубеже 1930-х и 1940-х появляются стихи, по которым можно догадываться о домашней обстановке, об отношениях с женой, о «географической карте». С началом войны Мариенгоф берется писать поэмы и баллады для ленинградской «Радио-хроники». Будучи в эвакуации, он издает сразу два сборника — «Поэмы войны» и «Пять баллад».

В начале 1940-х появляются рукописный сборник «После этого»: т. е. после смерти сына. Его поэтика похожа на более поздние вещи. На те тексты, которые были написаны после знакомства с Николаем Глазковым. Летом 1943-го года, оказавшись в Москве, Мариенгоф заглядывает к семье Бриков, где знакомится с Глазковым. Вот, что пишет поэт своей жене: «Как-то вечером угодил к Брикам и, знаешь, очень доволен. Там сиял этаким 24-летний блаженно-юродивый нэохлебников, поэт (запомни имя и фамилию Николай Глазков), и стал этот монстр читать стихи, да какие! Одно лучше, интересней, замечательней другого! Весь вечер работал, как заведенный. Черт его знает, по-моему, Бог навалил в него таланту столько, что на дюжину Симоновых хватит...».

Знакомство оказалось результативным для обоих поэтов. Мариенгоф посвятил Глазкову стихотворение и «заразился» поэтикой молодого «нэохлебникова», и Глазков посвятил Мариенгофу сразу два стихотворения:

...

А. Мариенгофу

Поэт, ты не можешь добиться издания,
Хотя твой стих и великолепен.
Ты — как церковь, которая лучшее здание,
Но в которой не служат молебн.

Ты имеешь на вещи собственный взгляд
И, как Пушкин, расходишься с чернью
Ты — как церковь, что сбоеприпасила в склад,
Но не в этом ее назначенье.

...

А Мариенгофу

Поэты разных поколений,
А в то же время одного,
Мы соглашаемся без прений,
Что между нами никого

Пишу об этом без злорадства,
Несчастьем ль радоваться мне?
Будь все писатели умней,
Нам было лучше бы гораздо

Меня б давным-давно издали,
А вас почаще бы листали.
Все было б здорово, и стали
Мы с вами вместе издавать
Альманах.

Видимо, планировалось совместное издание альманаха. В записных книжках Глазкова удалось найти его название — «Шедевры развратников». К сожалению, реализовать это не удалось.

В 1950-е и до конца жизни Мариенгоф в основном работает над мемуарами и небольшими пьесами, а также берется редактировать старые стихи.

Помимо обычных книг, Мариенгоф печатал свои стихи в газетах, журналах, альманах и в поэтических сборниках. Кроме уже известных (публикации в «Гостинице для путешественников в прекрасном», сборников «Конница бурь», «Харчевня зорь» и пр.), следует сказать об альманахе «День поэзии» (1964, 1969), где трудами товарищей Мариенгофа были напечатаны его стихи. В 1964 году была напечатана поэма «Денис Давыдов», а в 1969-м — подборка стихотворений (скорректированная в условиях цензуры) с предисловием Израиля Меттера. Подборка включала в себя следующие тексты: «Выплеснули огонь из кадок» («Дикие кочевые / Орды Азии...»), «Дышу, как родиной, тобой», «Мы катим жизнь...» и «Воспоминания».

Предисловие Израиля Меттера печатаем ниже.

...

Сколько раз бывало, что, знакомясь с Анатолием Борисовичем, люди изумленно восклицали:

— Вы тот самый Анатолий Мариенгоф?!

И в этом изумленном восклицании — «тот самый!» — было заключено многое: и то, что имя поэта давно известно людям, и то, что имя это годами не появлялось в печати.

Читателю, даже опытному, порой трудно представить себе все сложности писательской биографии.

Мне повезло: я подружился с Анатолием Борисовичем Мариенгофом в начале тридцатых годов. И дружба эта, никогда и ничем не омрачаемая, длилась почти тридцать лет, до дня смерти поэта в 1962 году.

Если бы меня спросили, какая черта характера Мариенгофа была наиболее стойкой и очевидной, я бы не задумываясь ответил: доброжелательство.

Я редко встречал человека, да еще поэта, да еще поэта не слишком легкой судьбы, который относился бы к людям с таким доброжелательством, как Анатолий Мариенгоф. Оно выражалось во всем. В пристальном внимании, с которым он умел и любил слушать людей. В умении прощать. В глубокой деликатности, — он никому, даже друзьям, не навязывал своих переживаний, вызванных иной раз сложными превратностями его литературной жизни. В неослабевающем, остром интересе к творчеству молодых поэтов.

Я никогда не слышал от него ни одного слова брюзжания на молодежь. Брюзжал иногда я. И в ответ на этой Анатолий Борисович улыбался своей насмешливой, незлой улыбкой и говорил:

— Ладно, ладно... Припомни-ка себя в этом возрасте! Тоже мне, нашелся, судья!..

И еще одна черта была чрезвычайно характерна для него: элегантность. Дело не только в том, с каким изяществом он носил костюм. Мариенгоф был элегантен по самой своей душевной сути. Он всегда был внутренне подобран, ничто в нем не дребезжало.

В последние два-три года своей жизни он тяжело болел. Но я не помню его больным. Даже когда он уже не мог без посторонней помощи подняться с постели, мне все казалось, что этого не может быть, — сейчас он встанет, высокий, стройный, и легко пойдет: его жизненная сила и ироническое отношение к своей хворости завораживали меня.

Накануне его смерти я приехал к нему в Комарово. Так случилось, что среди людей, оказавшихся в комнате Мариенгофа, был человек, с которым я несколько лет не раскланивался. Ссора наша была неглубокой, но безнадежно затянувшейся. Когда я подошел к постели Анатолия Борисовича и, как всегда,

поцеловал его, он произнес что-то неразборчивое. Наклонившись к его губам я спросил:

— Что ты хочешь, Толечка?

И услышал шепот:

— Дураки... помиритесь...

Глаза его улыбались на мучительно неподвижном лице.

Работал Мариенгоф много. Подвижнически много. Несмотря ни на что. Значительное и интересное литературное наследство осталось после него. Я убежден, что произведения Анатолия Борисовича — мемуары, стихи, пьесы — принесут большую радость читателям.

Большая часть стихотворений, за исключением тех, о которых пойдет речь ниже, публикуются по книге А. Б. Мариенгофа «Стихотворения и поэмы», составленной А. Кобринским (СПб.: Академический проспект, 2002).

Стихи для детей («Такса-клякса», «Мяч-проказник» и «Бобка-физкультурник») печатаются по одноименным книгам издательства «Радуга» — 1927, 1928, 1930, соответственно. «Мяч-проказник» предоставлен РГДБ, «Такса-клякса» и «Бобка-физкультурник» — РНБ.

Стихотворения из альманаха «Явь» печатаются по одноименному альманаху (М.: Второе государственное издательство, 1919).

Цикл «Современные романсы» печатается по рукописному сборнику «Стихи разных лет. 1918–1962», хранящемся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 1) — «Изрядно ли у вольности друзей», «Варенька-варварушка» и «Мой парнишка (шуточное)». Четвертое стихотворение этого цикла — «Звенигорская гармошка», — приводится по письмам А. Б. Никритиной к Г. Маквею, которые были опубликованы в ежегоднике «Памятники культуры: новые открытия» за 2004 г. (М.: Наука, 2004–2006).

«Поэмы войны» и «Пять баллад» печатаются по одноименным книгам (обе — К.: Кировское областное издательство, 1942), хранящимся в Кировской областной библиотеке им. Герцена.

Цикл «Поэт и женщины» печатается по машинописи с правками автора, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 6). Некоторые стихотворения настоящего цикла были опубликованы А. Кобринским (СПб.: Академический проспект, 2002): «Мой город спит, как пес», «Привезли вечер серые кони», «Наглец», «Не открывай глаза» (у Кобринского — «Октябрь»),

«А когда в январе вернулась...» (у Кобринского — «Цветы в январе»). И все без поздней правки Мариенгофа.

Стихотворение «В моей стране» печатается по журналу «Вопросы литературы» № 5, 2005, с. 319 — 321.

Стихотворение «Пивоварову С. Ф.» печатается впервые по рукописи, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 30).

Стихотворения «Очень рад. Очень!» и «В красной баньке поддадим жару» печатаются по рукописному сборнику «Стихи разных лет. 1918 — 1962», хранящемся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 1). В этом сборнике они были представлены как стихи из альманаха «Явь».

Стихотворение «Нет, жизнь не легкий чемодан» печатается по рукописному сборнику «Стихи разных лет. 1918 — 1962», хранящемся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 1). В этом сборнике оно было представлено в разделе «Шуточные».

Рукописный сборник «После этого» в основном печатается по книге А. Кобринского, за исключением трех стихотворений: «Теряешь совесть. Что же теряй...», «Последнее: / Я ставлю душу...» и «Верны неверности, как другу». Эти стихи печатаются по рукописным и машинописным черновикам сборника «После этого», хранящимся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 21). Правка остальных стихотворений также дается по этим черновикам.

Стихотворение «Последнее: / Я ставлю душу...» встречается в тексте «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», но в иной правке. Стихотворения «И в этот мрак», «Тропинка ль, берег, подойду к окну ли...» и «А ну — со смертью будем храбры!» печатаются по тексту «Мой век, моя молодость...».

Комментарии к стихам

«Сказка, присказка, бэль...». *Тильтиль и Митиль* — брат с сестрой, герои феерии М. Метерлинка «Синяя птица» (1908).

«Из сердца в ладонях...». В первой публикации «Исход: Альманах 1-й (Пенза)» стихотворение было посвящено Эльзе фон Мондрах. «По всей видимости, — предполагает исследователь творчества А. Б. Мариенгофа Валерий Сухов, — она была возлюбленной молодого поэта». *Иоканан (Иван Креститель)* — святой мученик за христианскую веру; как голову *Иоканана* — аллюзия на евангелия и на «Саломею» О. Уайльда. *Олоферн* — согласно «Книге Юдифь», ассирийский полководец, стоявший во главе вторгшейся в Иудею армии царя На-

вуходоносора. Был обезглавлен Юдифью. Подробнейший разбор стихотворения «Из сердца в ладонях» есть у Т. Хуттунена в книге «Имажинист Мариенгоф. Денди. Монтаж. Циники» (М.: Новое литературное обозрение, 2007, стр. 87 — 91). *Иван Старцев* (1896 — 1967) — поэт-имажинист, журналист, издательский работник, библиограф и мемуарист; пензенский товарищ Мариенгофа. В альманахе «Явь» есть его стихотворение, посвященное Мариенгофу.

«И опять же: — Что Истина?..». *Что Истина?..* — Вопрос, заданный Понтием Пилатом Иисусу Христу на допросе.

Эпитафия. *Почивший в бозе* — мертвый, скончавшийся.

«Приду. Протяну ладони...». *Магалина* — преданная последовательница Иисуса Христа, христианская святая, мирноносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала при Распятии, была свидетельницей его посмертного явления.

Октябрь. *Варавва* — библейский персонаж: преступник, освобожденный Понтием Пилатом по случаю празднования иудейским народом праздника Пасхи. Не единожды встречается в текстах Мариенгофа.

«Я из помойки солнце ладонями выгреб...». *Пейсы* — длинные неподстриженные пряди волос на висках, традиционный элемент прически ортодоксальных евреев. *Камилавка* — высокий цилиндрический, с расширением кверху, головной убор православных священников, даваемый как знак отличия.

«Толпы, толпы, как неумные рощи...». *Саваоф* (буквально «Господь Воинств») — один из титулов Бога в иудейской и христианской традициях. Это имя может означать как «Господь воинств Израилевых», так и «Господь воинств Ангельских».

«Даже грязными...». *Савонарола* (1452 — 1498) — итальянский христианский мыслитель, религиозный и социальный деятель, проповедник, поэт.

«Твердь, твердь за вихры зыбим...». *Чрезвычайка* — чрезвычайная комиссия (ЧК). *«Только Я — человек горд»* — аллюзия на афористичную фразу из пьесы «На дне» (1902) Максима Горького. В 4-м действии Сатин произносит: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека». В позднейшем творчестве Мариенгофа еще не раз встретятся аллюзии на этот афоризм.

Кондитерская солнц. *Святополк «Окаянный»* (ок. 979 — 1019) — князь туровский, а затем и великий князь киевский в 1015 — 1016 и 1018 — 1019.

Магалина. *«Катенька»* — дореволюционная ассигнация с портретом Екатерины II в размере 100 рублей. *«В реве трупы*

Иерихонской» — иерихонские трубы — согласно библейским сказаниям, именно с помощью этих труб удалось взять город: «И вострубили в трубы, народ восклицал громким голосом, и от этого обрушилась стена до основания, и войско вошло в город, и взяли город». *Соломон* — третий еврейский царь, легендарный правитель объединенного Израильского царства; ему же принадлежит «*Песня Песней*», на которую неоднократно ссылались имажинисты. *Голгофа* — небольшая скала или холм, где был распят Иисус Христос. *Скиния* — храм, использовавшийся, согласно Библии, как место принесения жертвоприношений и хранения Ковчега Завета до постройки Иерусалимского храма, созданного строго по образу Скинии. «*Граждане, гуш / Меняйте белье исподнее! / Маргалина, я также сегодня / Приду к тебе в чистых подштаниках*» — согласно имажинистской легенде, именно эти строки были нанесены на стены Страстного монастыря.

«**Дышу, как родиной, тобой...**». Впоследствии было посвящено Анне Никритиной.

Застольная беседа. «*Великолепный был Лоренцо / Великолепный Мариенгоф!..*» — Лоренцо ди Пьеро де Медичи «Великолепный» (1449–1492) — флорентийский государственный деятель, глава Флорентийской республики в эпоху Возрождения, покровитель наук и искусств, поэт.

Эпиграмма. Помимо эпиграммы на В. В. Маяковского, есть у Мариенгофа эпиграмма и на А. Н. Толстого. В мемуарах «Это вам, потомки!» он пишет: «Среди ужина я нагнулся к Никритиной. Вся жизнь она была моим цензором, к счастью, либеральным.

— Нюшка, я сочинил эпиграмму. Послушай:

[*читает*]

— Да ты что, Длинный, совсем опупел? — И добавила довольно строго: — Пора уж немного остепениться.

Так погибла и эта моя эпиграмма».

Судя по всему, эпиграмм у Мариенгофа имелось изрядное количество, но не все были одобрены А. Б. Никритиной и не все сохранились.

«**Как будто я в степном уезде...**». *Capbreton* — город на юге Франции.

«**Мы любим меньше...**». *Coted'Argent* (Серебряный берег) — французское побережье Бискайского залива к югу от эстуария Жиронды до устья реки Адур, после чего переходит в Берег басков.

Шуточное («**Я шел, ворча, к черте неумолимой...**»). «*О Шиллере, о славе*» — строки из стихотворения А. С. Пушкина.

кина «19 октября»: «Приди; огнем волшебного рассказа / Сердечные преданья оживи; / Поговорим о бурных днях Кавказа, / О Шиллере, о славе, о любви».

27 сентября 1939 года. 26.09.1939: Немецкие войска начали штурм Варшавы, а в СССР появилась директива, согласно которой требовалось «немедленно приступить к сосредоточению сил на эстонско-латвийской границе». 27.09.1939 — Польша готовится к капитуляции, а в Москве проходят советско-германские и советско-эстонские переговоры.

«Что-то дождик в Ленинграде...». *Сорокин Сергей Александрович* (1895 — 1973) — гитарист, аккомпаниатор и певец. Заслуженный артист РСФСР.

«Это был урок, урок суровый...». *«Если будем живы и здоровы»* — аллюзия на толстовские ЕБЖ (Если буду жив) — аббревиатура, придуманная Л. Н. Толстым. Так он обычно завершал свои письма. Также часто встречается в письмах Мариенгофа.

«Руки царя Ирода...». Ирод Великий (ок. 73 — 74 гг. до н. э. — 4 до н. э.) — царь Иудеи (40 — 4 гг. до н. э.), основатель идумейской династии Иродиадов. Известен своей жестокостью.

Коле Глазкову. *Николай Иванович Глазков* (1919 — 1979) — поэт-неофутурист, переводчик. Стихотворение, видимо, разыгрывает летнюю встречу 1943 года. Глазков также посвятил Мариенгофу два стихотворения. Вместе они, видимо, собирались издавать альманах «Шедевры развратников».

Старому Эйху. *Борис Михайлович Эйхенбаум* (1886 — 1959) — литературовед, один из ключевых деятелей «формальной школы», близкий друг семьи Мариенгофа — Никритиной.

Таня-Зоя. *Зоя Анатольевна Космодемьянская* (1923 — 1941) — партизанка. Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. Стала символом героизма советских людей в Великой Отечественной войне. Ее образ отражен в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях. *«Все в человеке / Быть / Должно / Прекрасно»* — аллюзия на А. П. Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» («Дядя Ваня», 1897). *Долорес Ибаррури* (1895 — 1989) — деятель испанского и международного коммунистического движения, активный участник республиканского движения в годы Гражданской войны 1936 — 1939 годов, затем деятель эмигрантской оппозиции диктатуре Фран-

ко. Именно ей приписывается эта фраза: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. *Сарра Лебедева* (1892—1967) — скульптор, художник, близкий друг семьи Мариенгофа — Никритиной; бюст Мариенгофа ее работы хранится в Государственной Третьяковской Галерее.

Денис Давыдов. «*Был — Давыдов, / Есть — Белов*» — В рукописном сборнике «Стихи разных лет. 1918—1962» последняя строчка заменена: «*Был — Давыдов, / Есть — Усков*». Тем не менее, стоит сказать и о первом герое войны и о втором. *Белов Павел Алексеевич*. С ноября 1941 года принимал участие в битве под Москвой на Западном фронте. Практически в одиночку части корпуса отбили удар основных сил 2-й танковой группы Гудериана на Москву в юга под Каширой. За отличие в оборонительных сражениях летом и осенью 1941 года, 26 ноября 1941 года корпус был удостоен звания гвардейского, став 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. В контрнаступлении и общем наступлении на западном направлении конники Белова не раз отличались в боях, в январе 1942 года прорвали фронт и совершили глубокий рейд по вражеским тылам, а затем более 5 месяцев, находясь в окружении, сражались во вражеском тылу. *Усков Василий Михайлович*. В личном деле летчика упомянуто много подвигов, совершенных им на фронте. В историю полка вошел бой Ускова с двадцатью «хейнкелями» в районе города Георгиевска в августе 1942 года. Патрулируя, капитан заметил армаду гитлеровских бомбардировщиков, идущих к городу. Сообщив на базу о грозной опасности, Василий Михайлович, сразу же бросился на врага. Подбил один, второй протаранил. *Гастелло* — Николай Францевич Гастелло (1907—1941) — военный летчик, участник трех войн, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка. Погиб во время боевого вылета. Герой Советского Союза (посмертно).

Три товарища. *Стефанцев, Изгурский и Комаров* — Герои Великой Отечественной войны. Вырвавшись из вражеского окружения, политрук Изгурский, лейтенант Комаров и красноармеец Стефанцев пробирались к своим частям, когда обнаружили немецкую базу... Дальнейшее развитие действий полностью совпадает с изложением Мариенгофа.

Отто Оппель. Из сообщений советского информбюро за 15 июля 1941 года: «Внезапной атакой наших частей в районе Н. уничтожено два германских батальона пехоты. В бою было взято в плен 320 немецких солдат и офицеров. Среди трофеев — 6 противотанковых пушек, четыре миномета, 12 мотоциклов, радиостанция и боеприпасы. В ранцах у некоторых гер-

манских солдат обнаружены награбленные ими в захваченных городах золотые и серебряные вещи. У унтер-офицера Отто Оппель оказалось 8 пар золотых и серебряных часов, 12 обручальных колец и различная серебряная церковная утварь».

Наглец. «*Вы голову несли, как вымпел*» — в мемуарах «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» встречается иной вариант этого стихотворения:

Вы голову несли, как вымпел.
Загадочна,
Как незнакомое, чуть освещенное окно.
А дальше?
Милая, ну кто бы вас не выпил,
Как за обедом легкое вино?

«**Очень рад. Очень!**» — в сборнике Кобринского стихотворение оканчивается так: «Вы — хам!».

Пивоварову С. Ф. Пивоваров Семен Фаддеевич — более полной информации нет.

«**В моей стране...**» — возможно, что, ориентируясь на это стихотворение, Есенин написал: «В своей стране я словно иностранец». В конце рукописи стоит косая черта и надпись «50 строк».

Драмы

«**Заговор дураков**» печатается по сборнику стихотворений Мариенгофа, составленным А. Кобринским (СПб.: Академический проспект, 2002).

В «Гостинице для путешествующих в прекрасном» в рубрике «И в хвост и в гриву» за подписью «С. Н.» была напечатана рецензия на «Заговор дураков», которую мы и приводим.

«ЗАГОВОР ДУРАКОВ», ТРАГЕДИЯ МАРИЕНГОФА

1

Стержень волевого устремления трагедии («Заговор дураков») — борьба «поющего и танцующего живота» (жизни самостной, самоигральной, театральной в себе, в каждом мгновении своем полной супрематии радостно-творческого бытия, жизни освобожденной формы) — борьба театрального

начала мира вечно динамического и устремленного к перевоплощению — с костностью отложенной формы, инертностью ее устоев, мертвою закономерностью ее быта; борьба Актера с мещанином, Человека с Вещью. — Вокруг этого стержня развивается вся игра волевых положений, действия и персонажей. Каждое слово «Заговора дураков» в этом плане полно необычайной значимости, богатства и сжатости и содержания — только у Пушкина в его т. н. «малом» драматическом цикле («Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и т. д.) мы встречаем такую силу и глубину сценического выражения.

2

Стержень временного продвижения — ритм срывающейся и несущейся бомбы, ритм грохочущей тяжести — в нем, как сфера разворачивающейся полноты, — ритм мелодии чистого дпящегося звука. Вокруг этого стержня с изумительной стройностью и архитектурной нарастает интрига развивающегося действия ритма слова.

3

Я, конечно, не стану здесь разбирать трагедию, рассказывать о ее сценических положениях, волевым разворачивании, чеканно разработанном *действе* (событии), где есть и 3 начала и завязка — достигающая кульминационного пункта вырастающая в свою вершину, где есть свой ведущий трагедию (4-й дурак) и Неприкаянный, приводящий ее к катастрофе (Тредьяковский (*sic!*)), где есть шуты и моралисты, — фаты и опекуны, где с изумительной силою предстоит весь мир театральных персонажей, каждый отлагаясь в сжатый и точно поставленный на свое место образ. Я хочу только отметить (двумя словами) самую картину архитектуры разворачивающегося ритма трагедии 2-мя словами и только об этом, потому что для большого понадобилось бы неизмеримо больше места.

4

«Заговор дураков» группируясь вокруг основной темы ритма, раскалывается на четыре важнейшие части (ритма), создавая из каждой из них акт трагедии и располагая их так, что каждая последующая часть является динамическим становлением предыдущей, и устремляется в ритмический котел — котел 4-го акта, где вскипая до предельной силы (экста-

тическая пауза 4-го акта: «глуши грозу грозой») разрывается натиском выхода Ушакова, его монологами и разрезающими их воплями 2-го и 5-го дураков. Каждый акт, построенный из трех математически точных — архитектурных масс (ритма), разворачивается в плане (его) интриги, действуя персонажами, из которых каждый, как инструмент оркестра, что обладает своим тембром, фактурно противопоставленным целому и — конструктивно своей ближайшей противоположности, — столкновения персонажей — столкновения ритмов — на нем построен весь блеск разворачивающейся игры акта, каждый период которого, проходя через фазы намерения, осуществляется, реакции — уверенно продвигается к вершине трагедии.

С. Н.

Анна Ивановна (1693 — 1740) — российская императрица из династии Романовых; время правления: 1730 — 1740 гг. Позднее время ее правления получило название «биرونщина/биронщина».

Герцог Бирон (1690 — 1772) — фаворит русской императрицы Анны Иоанновны; с 1730 — граф; фактический глава правительства; регент Российской империи в октябре — ноябре 1740 года, герцог Курляндии и Семигалии с 1737. В 1740 — 61 гг. в ссылке.

Граф Остерман (1687 — 1747) — один из сподвижников Петра I, фактически руководивший внешней политикой Российской империи в 1720-е и 1730-е годы. С 1730 — граф. Занимал пост вице-канцлера и первого кабинет-министра. В 1740 году был произведен в чин генерал-адмирала, но после переворота 1741 года попал в опалу и был лишен чинов и титулов.

Ушаков (1672 — 1747) — начальник тайной розыскной канцелярии в 1731 — 1746 гг.

Князь Черкасский (1680 — 1742) — канцлер Российской империи (1741 — 1742), один из богатейших вельмож России.

В. К. Тредиаковский — Василий Кириллович Тредиаковский (1703 — 1769) — ученый и поэт; вместе с М. В. Ломоносовым является реформатором русского стихосложения: от силлабического к силлабо-тоническому.

«Но пророчу, что лучше скажет через сотни лет / Мариенгоф в "Яви"» — В альманахе «Явь» Мариенгоф опубликовал большую подборку стихотворений, после которой критики называли поэта не иначе, как «мясорубкой».

«Когда Голицын с Долгоруким / Над троном / Чертили ястребиные круги» — После смерти Петра II Верховный Тай-

ный Совет начал совещаться о новом государе. В тайный совет входили: канцлер Головкин, четыре представителя рода Долгоруких и двое Голицыных (Дмитрий и Михаил). Вице-канцлер Остерман уклонился от обсуждения. По мужской линии не осталось прямых потомков рода Романовых, поэтому поиск претендентов на престол весьма осложнился. В итоге члены Совета выбрали на царство Анну Иоанновну, которая на тот момент уже 19 лет жила в Курляндии и не имела в России фаворитов и партий — а значит, устраивала всех членов Совета.

«Вы помните, когда Верховного и Тайного Совета Кондиции / Подписывала императрица» — Члены Тайного Совета решили ограничить Анна Иоанновну в полномочиях. Они потребовали от нее подписания определенных условий, так называемых «Кондиций», согласно которым реальная власть в Российской Империи переходила к Верховному Тайному Совету, а роль монарха сводилась к представительским функциям.

«Золотые ворота Великого Князя Ярослава» — построены Великим князем Ярославом около 1037 г. Над воротами Ярослав устроил церковь Благовещения.

«Швыркнул в воздух» — В 1743 г. сенат предписал: «Золотые ворота, для сохранения и вида древности, засыпать землей, как внутри, так и по сторонам, и оставить в валу, а вместо них устроить другие, каменные». Ворота засыпали и построили новые по проекту инженера Д. Дебоскета.

Педрилло — придворный шут Анны Иоанновны.

«Провожали Педриллу с козой за брачный полог» — Мемуарист Кристоф Герман Манштейн оставил описание этой свадьбы (Журнал «Новый Берег» № 38, 2012): «Герцог Курляндский сказал однажды Педрилле, шутя, что он женат на козе. Педрилло отвечал ему с глубочайшим почтением, что это правда, и что как скоро его жена разрешится от бремени, он осмеливается просить Ея Величество со всем Ея Двором в гости к родительнице в той надежде, что от гостей сих соберет денежную сумму, которой довольно будет для лучшего воспитания ея детей. Сия шутка разглашена была по всему дворцу. В назначенный день кладут его на театре в постель, а подле него козу. При открытии занавеса все увидели Педриллу с его женою в постели. Императрица, поднося ему подарок, назначает сама, сколько каждый должен дать родительнице».

«В Ледяном доме справляли свадьбу / Русского князя / С калмыцким чучелом» — Была шутовская свадьба придворного шута князя М. А. Голицына с А. И. Бужениновой. Молодожены брачную ночь провели в ледяном доме. На эту свадьбу

В. К. Третьяковский написал стихотворение — «Приветствие, сказанное на шутовской свадьбе»:

Ну мордва, ну чуваша, ну самоеды!
Начните веселье, молодые деда,
Балалайки, гудки, рожки и волюнки!
Сберите и вы бурлацки рынки...

<...>

Итак, надлежит новобрачным приветствовать ныне,
Дабы они во все свое время жили в благостыне,
Спалось бы им, да вралось, пилося бы, да елось.
Здравствуйте, женившись, дурак и дурка.

<...>

«Царица — опытный стрелок» — Императрица действительно отличалась любовью к охоте, при этом, судя по отзывам современников и иностранных дипломатов, стреляла она очень точно, что для русской женщины того времени необычно.

«Доктор Дапертутто» — псевдоним В. Э. Мейерхольда. В стенах его театра впервые был поставлен «Заговор дураков». Об этом сохранились некоторые воспоминания. Мы приведем выдержку из мемуаров актера Александра Лабаса — из отдельной главы, посвященной художникам Клементу Редько и Соломону Никритину (брату Анны Борисовны, жены Мариенгофа):

«Характерное для Никритина упорство помогло ему устроить спектакль в Доме Союзов. "Ты знаешь, какой спектакль мы покажем? "Заговор дураков" Анатолия Мариенгофа!" Сестра Никритина Анна, талантливая артистка Московского камерного театра, была замужем за Анатолием Мариенгофом. Мы часто заходили к Мариенгофу, иногда встречали у него Сергея Есенина, с которым он очень дружил.

Но вернемся к спектаклю "Заговор дураков".

В Доме Союзов посредине большого зала были поставлены конструкции художника Н. Тряскина — несколько больших деревянных колес. Актер должен был улечься на расширенную ось и привести колесо в движение — нечто вроде белки в колесе, только с той разницей, что колесо едет, а человек внутри делает мертвые петли. Были и другие конструкции, которые стояли в центре зала. Для всех явилось неожиданностью, что не было ни одного стула, и удивленная публика окружила центральную часть, которая была отведена для игры актеров. Долго ждать не пришлось — раздался сигнал. Под барабанный бой вошли шеренгами актеры. Публика насторожилась в ожидании, было довольно много народа. Я успел увидеть художников, знаменитых актеров и автора Анатолия Мариенгофа.

Трудно рассказать, что происходило дальше. Все это носило странный характер. Никритин, стоя на хорах, отчаянно барабанил непонятно для чего, казалось, он хочет обязательно пробить барабан насквозь. Петя Вильямс произнес какой-то монолог. Ему отвечал нечеловеческий голос робота, кто-то пищал, кто-то крутился на колесе. Потом мне стало ясно, что они сбились с ритма. Никритин продолжал бить по барабану и уже задыхался, крича "аь-два". Публика в оцепенении застыла... Но кто-то крикнул возмущенно, и вслед за ним другой. Наконец, громко ругаясь, издеваясь, толпа двинулась к выходу. А Никритин, не видя и не слыша, продолжал барабанить и кричать "аь-два", в то время как публика уже почти вся ушла, бежали, как из сумасшедшего дома, скорее, на свежий воздух. Я видел, как побледнел, опустил голову и стремительно выбежал из зала Мариенгоф. Словом, все ушли, если не считать нас, близких друзей. Но этот провал был совершенно для Никритина и его коллектива неожиданным — они все ждали потрясающего успеха... Поздно ночью мы с Никритиным сидели, я не мог и не хотел его оставить, он был до того подавлен, что не мог прийти в себя».

«Шут Балакирев» публикуется по изданию «Рождение поэта. Шут Балакирев. Пьесы» (Л.: Советский писатель, 1959). Писалась пьеса с 1938 по 1940 год. Посвящена сыну — Кириллу Мариенгофу. В 1941 году была напечатана отдельная книга (М.: Искусство).

Ставилась пьеса во многих театрах страны. Об этом пишет Мирон Петровский: «На дневных представлениях в театре можно было посмотреть спектакли о Суворове, Брусилове, русско-японской войне (с императором Николаем Вторым на сцене, поразительно!) и "Шута Балакирева" Мариенгофа. Много лет спустя я прочел в какой-то театроведческой книге, будто эта пьеса никогда нигде не ставилась. Свидетельствую: в сезон 1944/45 года "Шут Балакирев" шел на сцене Алтайского краевого драматического театра».

Также об этом пишет Б. М. Эйхенбаум. В РГАЛИ сохранилась машинопись с речью, которую он произнес 2 апреля 1957 года перед авторским вечером Мариенгофа (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 93): «В 1941 году на сцене Московского театра Ленсовета появилась остроумная, полная движения и юмора комедия Мариенгофа исторического содержания — "Шут Балакирев" (в стихах). Началась война, театр эвакуировался — и пьеса пошла по сценкам всего Союза, веселя зрителей самого разного состава. Но

вот война прошла, люди и театры вернулись домой, а "Шут Балакирев" исчез: вход на сцену оказался для него закрытым».

Также следует отметить, что Мариенгоф не в первый раз обращается к эпохе Петра I и дворцовых переворотов. Мы знаем еще ряд произведений: «Заговор дураков», «Екатерина», «Совершенная Виктория», «Актер со шпагой» и т. д. Помимо этого, нельзя не указать на платоновское определение человека («Человек — существо бескрылое, двуногое...»), которое вслед за Диогеном не устает развенчивать и Мариенгоф. Можно привести в пример еще несколько произведений — это как минимум «Заговор дураков» и «Двуногие». Если в «Заговоре дураков» на двуногих идет охота, а в «Двуногих» их днем с огнем пытаются разыскать, то уже в «Шуте Балакиреве» им противопоставляется другое существо:

Л и з а. Ты, Яков, не один?

Б а л а к и р е в. У нас два тела, а душа одна.

Л и з а. А сколько ног?

Б а л а к и р е в. Четыре.

Отличительными, исключительно человеческими чертами награждаются главные положительные герои — Балакирев и Васильев. Все остальные персонажи пьесы, за исключением второстепенных (корчмарка, лекарь, паж, драгуны и т. п.), женщин (жена Балакирева, Лиза) и царя (Петр I), — существа подчеркнута «двуногие». И один лишь принц — тонконогий, что само по себе характеризует его как нерешительного, уступчивого, меланхоличного, — не отрицательный герой, но и не положительный. Так Мариенгоф с начала 1920-х («Заговор дураков» и «Двуногие»), наследуя риторике Диогена, с киническим усердием показывал, что человек на протяжении времени не меняется.

Шут Балакирев — Иван Александрович Балакирев (1699 — 1763) — доверенный слуга Петра I, впоследствии придворный шут императрицы Анны Иоанновны. Пользовался славой большого остроумца и балагура. Его имя стало популярно после того, как в 1830 г. вышла книга «Собрание анекдотов Балакирева», которая выдержала затем более 70 изданий. Имя Балакирева стало нарицательным для всякого весельчака. Видимо, этому способствовала сама фамилия — Балакирев, созвучная глаголам «балагурить», «балакать» (диалект.), то есть болтать, говорить. Образ яркий настолько, что к нему раз обращались в художественной литературе, на театральных сценах, в фильмах и мультфильмах.

Корчмарка — владелица, содержательница корчмы, т. е. постоянного двора.

Канаям — канапе (фр. *canapé*) — в первоначальном значении — определенный вид дивана с высокой спинкой и локотниками, или же трех-, четырехместное кресло с четырьмя, шестью или восемью ножками.

«**Актер со шпагой**» публикуется по машинописи с правками М. Э. Козакова, хранящейся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 13). Пьеса была написана в 1944 году совместно с М. Э. Козаковым. Вместе с ним написаны и другие драматические произведения: «Не пиццать!» (по «Педагогической поэме» Макаренко), «Преступление на улице Марата» и «Остров Великих Надежд».

Герберг — постоянный двор с трактиром.

Федор Григорьевич Волков (1729–1763) — актер и театральный деятель, который создал первый постоянный русский театр. Считается основателем русского театра.

Первый постоянный публичный театр в России был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа (10 сентября) 1756, первоначальное название — «Русский для представлений трагедий и комедий театр». Труппу возглавил Федор Волков, директором театра стал А. П. Сумароков. С 1759 года театр получил статус придворного.

31 августа (12 сентября) 1832 года, через 76 лет после организации труппы, театр получил здание, созданное зодчим Карлом Ивановичем Росси, обращенное главным фасадом к Невскому проспекту. Здание является одним из выдающихся архитектурных памятников Петербурга, выполнено в стиле ампир.

На 1841 год здесь было 107 лож (10 в бенеуаре, 26 лож первого яруса, 28 — второго, 27 — третьего и 16 — четвертого), балкон на 36 человек, галерея четвертого яруса на 151 место, 390 мест в пятом ярусе, 231 кресло в партере (9 рядов) и 183 места за ними. В общей сложности театр мог вместить в себя до 1700 человек.

С 1832 года театр стал называться Александринским. Название было дано в честь супруги императора Николая Первого Александры Федоровны.

С 1920 года стал именоваться «Государственный театр драмы» (или «Ак-драма» — от «академический»), затем ему было присвоено имя А. С. Пушкина.

Александр Петрович Сумароков (1717—1777) — поэт, писатель и драматург XVIII века. «Хорев» — его первая трагедия, сыгранная при дворе.

Григорий Григорьевич Орлов (1734—1783) — фаворит императрицы Екатерины II, второй из братьев Орловых.

Григорий Александрович Потемкин (1739—1791) — государственный деятель, который руководил присоединением к Российской империи и первоначальным устройством Новороссии, где обладал колоссальными земельными наделами и основал ряд городов, включая современные областные центры Днепропетровск (1776), Херсон (1778) и Николаев (1789). Фаворит Екатерины II. Первый хозяин Таврического дворца в Петербурге.

Лекуврерши — от Адриенны Лекуврер (1692—1730) — знаменитая французская актриса, героиня одноименной пьесы Э. Скриба и оперы Ф. Чилеа «Адриана Лекуврер».

Рейнвейн — от нем. *Reinwein*, что в дословном переводе значит — вино с берегов Рейна.

Произведения для детей

1927—1930 гг. — именно в это время из-под пера Мариенгофа выходят три его книжки для детей: «Такса-клякса» (1927), «Мяч проказник» (1928) и «Бобка-физкультурник» (1930).

Первые две книги вышли в издательстве «Радуга» (1922—1930), которым руководил Лев Моисеевич Клячко (1873—1934). В его издательстве за год выпускалось до 120 наименований книг. Среди авторов — А. Л. Барто, В. В. Бианки, Б. С. Житков, С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Д. Хармс. Среди художников — Ю. П. Анненкова, Б. М. Кустодиева, В. В. Лебедева, Д. П. Штеренберг.

Все началось с Чуковского и Маршака, которые хотели издать новый детский журнал — «Радуга». Они не только подготовили к печати первые произведения, но и заключили уже договор с издателем — Клячко. Но издание журнала не состоялось: вместо него было открыто специализированное издательство детской литературы, которое и использовало подготовленные для журнала произведения Маршака и Чуковского. Название не изменилось, издателем также остался Клячко, одним из сотрудников редакции — Чуковский.

В первые годы своего существования издательство быстро поднялось. Расцвет пришелся на 1925—1926 года. А в дальней-

шем положение ухудшилось. В 1927 году из-за низкого художественного уровня рукописей (так как ведущие писатели и художники перешли в Государственное издательство), а отчасти и из-за чиновников, которые запретили выпускать 81% всего издательского портфеля. Начавшийся кризис «Радуга» так и не сумела преодолеть вплоть до своего закрытия в 1930 году.

Именно в период упадка в издательстве оказался и Мариенгоф. И для него, и для издательства настал период новых поисков. Два относительно «свободных» текста появились в «Радуге».

«Мяч-проказник» был изъят из продажи. В книге имеются инструкции по этому поводу: «Рисунки совершенно не отвечают требованиям к картинке для дошкольника: фигуры разорваны, даны отдельные части предметов».

После закрытия «Радуги» Мариенгоф отнес «Бобку-физкультурника» уже в «Государственное издательство».

Отдельно стоит сказать о книге «Такса-клякса». Ее герои и сюжет, видимо, настолько понравились Маршаку, работавшему в «Радуге» и имеющему доступ к ее книгам, что он решил много позже написать свою «Кляксу-ваксу».

Как на «Кляксу-ваксу» отреагировал Мариенгоф, остается только догадываться. В записных книжках (РГАЛИ: ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 34 и ед. хр. 35) есть выписанные стихи Маршака («Из народной поэзии; Эпиграммы; Из зарубежных поэтов; Из поэтов народов СССР»):

Благоуханна, как весна,
Блистательна, как небо в звездах,
Всем одинаково она
Принадлежала точно воздух

Также надо отметить, что, видимо, именно в «Радуге» случилось и знакомство Мариенгофа с А. Л. Барто, которое потом переросло в тесную дружбу на все последующие десятилетия.

Очерки, статьи

«Полтора месяца на шхуне “Утро” (Отчет ученика экскурсанта)» печатается по газете «Пензенские губернские ведомости» от 28 октября (по старому стилю) 1914 года.

«Велемир Хлебников» печатается по журнал «Эрмитаж» № 9, 1922, с. 4—5. Предисловие редакции выглядит так:

«28-го июня в деревне Сантаково новгородской губернии скончался после мучительной болезни (паралич и гангрена)

поэт Велемир Хлебников. Погребен там же 29-го. Из друзей при нем находился только художник Митурич.

Весь свой литературный путь Хлебников прошел под знаменем футуризма («заумь»), истинным вождем которого его и запомнит литература.

Многочисленные его теоретические работы (он был отличный математик и филолог), поэмы и драмы изданы только в небольшой части. Свет увидели: «Ряв», «Творения», «Ладомир», «Ошибка барышни Смерти», «Ночь в окопах», «Зангези», частично — «Доски Судьбы» — труд, который он считал главным, и немногие другие работы, разбросанные в альманахах и журналах. Много было опубликовано в газете «Красный Иран» (Персия. Решт).

Ближайшая задача друзей и учеников Велемира — собрать и издать его произведения. Только по окончании этой работы можно дать исчерпывающую характеристику поэта и выяснить его влияние на современную поэзию, которые было очень значительным и формально, и идейно. Формально Хлебников обосновал теоретически и практически все, что сделано русским футуризмом, причем звукопись Хлебникова всегда строилась на базе великолепного знания великорусского языка и его говоров; идейно Хлебников очень близко — и давно — подошел к интернациональным замыслам революции и надолго останется одним из ярких выразителей своей эпохи.

«**Барышня Смерть**» сделала большую ошибку, унеся его в могилу раньше, чем он довел свои изыскания до конца. Необходимо ослабить влияние этой ошибки на литературу и теперь же собрать и обнародовать работу Хлебникова в наивозможно полном виде».

Так же имеется примечание редакции, помеченное звездочкой (*): «Редакция охотно дает место отклику Ан. Мариенгофа — на смерть В. Хлебникова, отнюдь не разделяя некоторых его утверждений, особенно в части, касающейся персональных характеристик: Маяковского, Каменского и т. п.».

«**Имажинизм**» печатается по газете «Известия Пензенского губернского исполнительного комитета рабочих и крестьянских депутатов» от 12 июня 1919. Место в статье, обозначенное <...>, расшифровать не удалось. Книга «Выкидыш отчаяния», как и «Копытами в небо», «Холодная страна», «Эпоха Есенина и Мариенгофа» и другие книги либо не выходили в печать, хоть и были анонсированы, либо сведений о них не сохранилось.

«**Буян-Остров**» печатается по одноименной книге издательства «Имажинисты», Москва, 1920.

«Да, поэты для театра» публикуется по журналу «Театральная Москва» № 37 от 1922 года. Это письмо в редакцию — ответ на статью «Поэты для театра» В. Г. Шершеневича, которую мы приводим ниже.

ПОЭТЫ ДЛЯ ТЕАТРА

Если бы меня спросили: какие лучшие книги стихов я читал за этот год? я не колеблясь, ответил бы: «Пугачев» Есенина и «Заговор дураков» Мариенгофа.

И это была бы не партийная реклама. Не потому мы любим стихи друг друга, что мы имажинисты, а потому что, с нашей точки зрения, только те стихи, чье слово напоено образом, можно считать подлинной поэзией.

Может быть, никогда сочность Есенинских образов и точность Мариенгофских не достигала такой исключительной силы, как в этих двух пьесах.

Но сегодня меня интересуют эти книги с другой точки зрения: с театральной. «Пугачев» написан в драматической форме, а «Заговор» имеет даже подзаголовок «трагедия».

Есенин в разговорах и публичных выступлениях отрицает, что «Пугачев» — драматическое произведение. Но я вспоминаю обещания Мейерхольда поставить эти две пьесы, вспоминаю фразу одного режиссера: ««Заговор» на сцене захватит публику!»

Что определяет театральность произведения? Интрига или фабула, построение слова и закономерное разрешение актерского волнения. Хаотично набросанное волнение может уничтожить с театральной точки зрения лучшее произведение.

Говорить о словесном построении «Пугачева» и «Заговора» вряд ли приходится, так как кому же, как не мастерам сегодняшнего дня, разрешать словесные и ритмические проблемы, хотя я в глубине души убежден, что строки Мариенгофа в чтении приобретают совершенно иную структуру, чем в написанном виде. Я бы даже, пожалуй, признал, что «Заговор» в словоритмометрическом отношении разрешен интереснее «Пугачева».

Но как только мы перейдем к фабуле и к зависящей от нее действительности пьес, мы увидим, что эта сторона не разрешена никак.

В «Пугачеве» с фабульной стороны есть просто исторический сценарий: восстание разрешается так, как ему надлежит, но фабула требует того, чтоб ее писали со всех точек зрения,

иначе это — поэма с внешней темой. «Пугачев» совершенно напрасно имеет несколько действующих лиц, ибо это все слова одного и того же лица — Пугачева — в разные моменты Есенинского настроения.

«Заговор» имеет все видимости интриги: тут и погребение, и заговоры, и церемониалы, и переодевания. Колоссальное количество движения и полное отсутствие закономерно развивающегося действия. Это — декламация с пластикой, а не театральная пьеса.

Вопрос образов сценически не затрагивался совершенно, но это, может быть, и неплохо, так как трагедия должна строиться не на образе (характерности), а на последовательности волнений.

Однако заговор именно тем и примечателен, что все действующие лица много говорят о страстях, облечены чистомарионеточной способностью не волноваться никак. Волнение (то, что безграмотно зовется «эмоцией») Пугачева есть волнение самого Есенина, а не действующего лица.

И все же при всех кажущихся преимуществах «Заговора» перед «Пугачевым» с театральной точки зрения, конечно, «Пугачев» может быть поставлен, хотя бы как трагическая оратория, с минимум движения, в монументальных формах; «Заговор» же так и напрашивается на плохо понятный стиль условного театра: узкий просцениум и сплюснутое театральное представление, не объемный, а плоский актер, плоский жест, словом, все то, что ошибочно на театре. «Заговор», развернутый на сценической площадке закономерного театрального действия, сразу превратился в читку в костюмах. Это — типичное произведение современного Метерлинка по статичности с Уальдовским парадоксальным стилем. «Пугачева» можно разрешать на проблеме монументального темперамента, «Заговор» не выдерживает никакого подхода.

И, наконец, о самом слове. Для меня совершенно ясно, что проблемы слога на театре разрешается только в смысле глубокого слога, а отнюдь не широкого, как в поэзии; в стихах слово имеет два измерения, на театре — три.

Все намерения Мейерхольда поставить эти пьесы есть не что иное, как воспоминания молодости. Подобно тому, как кавалерийский конь, услышав военную трубу, рвется из пролетки, так и Мейерхольд, услышав нотки условного театра, заволновался. Я не знаю, что заставило его отменить постановку «Заговора» — гибель 1-го театра РСФСР или понятная ошибка, но для меня совершенно ясно, что Мариенгоф подзаголовком

«трагедия» губит то прекрасное, что есть в «Заговоре», — поэтический, словесный материал.

Вообще же говоря, я все яснее и яснее убеждаюсь, что драматургическая деятельность в том виде, как она была до сего времени, т. е. писание пьес — должна вымереть. Не только писать пьесы для данного театра, как рекомендует Маас, нет, надо строить словесный материал по тем формам актерского волнения, которые разработаны коллективом. Совершенно так же, как композитор пишет определенную музыку на данные слова, так же поэт должен писать определенное словесное построение на разработанную фабулу волнений.

«Корова и оранжерея» — по журналу «Гостиница для путешественников в прекрасном» №1, Москва, 1922.

«Почти декларация» — по журналу «Гостиница для путешественников в прекрасном» № 2, Москва, 1923.

«И в хвост и в гриву» — по журналу «Гостиница для путешественников в прекрасном» № 2, 1923 и № 3, 1924. Печатаются только те рецензии, которые опубликованы за подписью Мариенгофа.

«Процесс правых казров. День 1666-й» — по рукописи, хранящейся в ИМЛИ (ф. 299, оп. 1, № 5, л. 1 — 4). Рукопись карандашом. Ориентировочная дата написания — 1-я половина 1920-х.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872 — 1928) — литературный критик, пользовавшийся большой популярностью и влиянием в 1905 — 1917, в период расцвета русского модернизма.

Фриче Владимир Максимович (1870 — 1929) — литературовед и искусствовед. Директор Института русского языка и литературы при РАНИОН, заведующий литературным отделением Института красной профессуры, зав. секцией литературы в Комакадемии. Ответственный редактор журнала «Литература и марксизм» (1928 — 1929).

Также Фриче был ответственным редактором первых двух томов Литературной энциклопедии.

Коган Лев Рудольфович (1885 — 1959) — литературовед, историк литературы (пушкинист).

Осинский Н. (Оболенский В. В.) (1887 — 1938) — экономист, журналист, литературный критик, впоследствии один из лидеров правой оппозиции.

Христофан Х. 11 июля 1922 г. в газете «Известия ВЦИК» напечатал статью «Конец имажинизма» (подпись: Хрисанф). «Было изобретательное, чисто формальное, — писал Х. Н. Херсон-

ский, — узкое по своей теме, литературное течение, втекало оно в общий поток литературы и перестало быть оригинальным самим собою, но изобретательно оплодотворило многие молодые поэтические направления и группы. А теперь осталось двое. Один, бесспорно, талантливый поэт С. Есенин, и другой талантливый и умный человек Вадим Шершеневич. Остроумный. Около них еще несколько малозаметных».

Коллективное: манифесты и письма

Декларация имажинистов печатается по воронежской газете «Сирена» от 30 января 1919 г.

«**Манифест**» печатается по неполной верстке книги «Эпоха Есенина и Мариенгофа» (Имажинисты, Москва, 1922) с посвящением «Верховному мастеру ордена имажинистов, создателю декоративной эпохи Георгию Якулову посвящают поэтическую эпоху Есенин и Мариенгоф». Датируется по помете в автографе. «Манифест», по замыслу поэтов, должен был предварять их совместный сборник. Проект реализовать не удалось.

«**Не передовица**» — по журналу «Гостиница для путешествующих в прекрасном» № 1, 1922.

«**Своевременные размышления**» — по журналу «Гостиница для путешествующих в прекрасном» № 4, Москва, 1924.

«**Восемь пунктов**» — по журналу «Гостиница для путешествующих в прекрасном» № 3, Москва, 1924.

Коллективное письмо о роспуске Есениным Ордена имажинистов приводится по журналу «Новый зритель» (№ 35, 1924, с. 16). Само письмо за подписью Есенина и Грузинова выглядит так: «Мы, создатели имажинизма, доводим до всеобщего сведения, что группа "имажинисты" в доселе известном составе объявляется нами распущенной» (Газета «Правда», М., 1924, 31 авг., № 197).

Протокол из учредительного собрания общества «Литература и быт» печатается по статье А. Ю. Галушкина и К. М. Поливанова «Имажинисты: лицом к лицу с НКВД» («Литературное обозрение», 1996, № 5—6, с. 55—64). Исследователи в свою очередь приводят документы из Государственного Архива Российской Федерации (ф. 393, оп. 43а, ед. хр. 1636).

Существовал также коллективно подписанный «Устав Ассоциации Вольнодумцев в Москве», который мы приводим ниже.

УСТАВ АССОЦИАЦИИ ВОЛЬНОДУМЦЕВ В МОСКВЕ

§ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Ассоциация Вольнодумцев есть культурно-просветительное учреждение, ставящее себе целью духовное и экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции. Свою цель Ассоциация Вольнодумцев полагает в пропаганде и самом широком распространении творческих идей революционной мысли и революционного искусства человечества путем устного и печатного слова.

§ 2. СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Ассоциация Вольнодумцев в осуществление своих целей имеет образцовую студию-редакцию с библиотекой-читальней, имеет свое помещение, столовую, а также устраивает митинги, лекции, чтения, беседы, спектакли, концерты, выставки и т. п.

Цели студии — дать возможность членам Ассоциации, изучив новую жизнь, создавать о ней художественные произведения.

Цель устройства митингов, лекций, выставок — агитационно-просветительная: из членов Ассоциации должны выходить борцы за идеи истинного революционного творчества во всех областях революционной мысли и революционного искусства.

§ 3. СОСТАВ АССОЦИАЦИИ, ВСТУПЛЕНИЕ И ВЫХОД ИЗ НЕЕ.

Действительными членами Ассоциации могут быть мыслители и художники, как то: поэты, беллетристы, композиторы, режиссеры театра, живописцы и скульпторы, а равно лица, приносящие активную пользу Ассоциации, при условии рекомендации двух действительных членов Ассоциации и по утверждении Совета Ассоциации.

Выбытие из числа членов Ассоциации совершается:

- а) в случае подачи о том заявления,
- б) в случае неподчинения распоряжениям Совета Ассоциации,
- в) в случае учинения действий, мешающих развитию и существованию Ассоциации.

Примечание: В последних двух случаях Ассоциация в лице Совета может прекратить доступ в помещение Ассоциации та-

ким лицам, но исключение из Ассоциации решает только Общее Собрание членов Ассоциации большинством голосов.

§ 4. СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ.

Средства Ассоциации составляют из:

- а) добровольных взносов,
- б) платы гостей,
- в) доходов от лекций, концертов, спектаклей, выставок, митингов, гуляний, изданий, со столовой и т. д.

§ 5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ.

Управление делами принадлежит:

- а) Общему Собранию и
- б) Совету Ассоциации.

Совет Ассоциации образуется из членов Ассоциации.

Совет избирается на один год. По истечении года члены Совета могут быть снова избраны Общим Собранием.

Число членов Совета определяется не менее 3 человек и не менее 2 кандидатов к ним.

Заседания Совета происходят по мере надобности. На обязанности Совета лежит установление распорядков внутри помещения и ведение всех административных и финансовых дел Ассоциации, созыв Общих Собраний, проведение в жизнь постановлений Собраний и сношение по делам Ассоциации с государственными учреждениями и частными лицами.

Все дела Совет решает большинством голосов.

§ 6. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ.

Общие Собрания устраиваются по мере надобности. Созываются они Советом Ассоциации или по своей инициативе, или же по письменному заявлению не менее 1/3 всех членов Ассоциации для решения особо важных вопросов.

Собрание действительно при наличии одной трети членов Ассоциации, не состоявшееся в назначенный срок и созванное вторично действительно при любом количестве явившихся.

Общее Собрание выбирает члена ревизионной комиссии и кандидата к нему.

§ 7. АССОЦИАЦИЯ ИМЕЕТ СВОЮ ПЕЧАТЬ.

Сергей Есенин
Д. И. Марьянов
Як. Блюмкин
Мариенгоф
А. Сахаров
Ив. Старцев

М. Герасимов
А. Силин
Колобов
В. Шершеневич
Марк Криницкий
М. Ройзман

Письма

Письмо Есенину печатается по журналу «Гостиница для путешественников в прекрасном» № 2, Москва, 1923.

Письмо А. Б. Кусикову публикуется по статье Гордона Маквея «Новое об имажинистах», опубликованной в книге «Памятники культуры. Новые открытия. 2004», (М.: Наука, 2006, с. 121 – 122).

Письма Рюрику Ивневу публикуются по книге «Жар прожитых лет» (СПб.: Искусство — СПб, 2007, с. 316 – 496). Также, видимо, на письмо от 11 июля 1928 Рюрик Ивнев приводит такой фрагмент:

«...Должен тебя порадовать: недельку тому назад нас обворовали. Мерзавцы влезли ночью и из-под наших храпящих носов уперли наши милые часы, мои замечательные желтые брюки, бритву, мартышкины перчатки и... Да, не оставляй ключи у Ив. Приблудного... Это известие, привезенное соседкой, сократило жизнь моей тещи лет на десять: ведь у нас в шкафчике целый советский кооператив: и масла нет, яиц нет, сахара нет и т. д.

Целую тебя крепко и нежно. Нюська — тоже. Мы пока набрали фунтов 15. Выручай же, дружок!»

Избранные письма к жене А. Б. Никритиной публикуются по документам, хранящимся в РГАЛИ (ф. 2269, оп. 1, ед. хр. 37 и ед. хр. 38). Здесь представлены, как нам кажется, самые важные и одновременно занимательные письма: из поездки Мариенгофа в Келломяки (Комарово), из трех поездок в Пятигорск и разрозненные письма разных лет. В собрание сочинений мы намеренно не включили письма рабочего характера, где Мариенгоф отчитывается о ходе забот над пьесами, о хождении в Репертком, о пребывании в Москве и т. п. Если в нижеприведенных текстах это и встречается, то только за тем, чтобы сохранить контекст эпохи. Редакции хотелось показать живого человека: его горести и радости, мелкий быт, новые знакомства.

«P.s.» — это не постскрипtum. Редакция решила так обозначить следующее: когда на бумаге не хватало места, Мариенгоф переворачивал лист и мелким бисерным почерком дописывал что-то сверху, снизу, по бокам листа.

Комментарии к письмам из Келломяк

Келломяки (с 1948 — Комарово, от фин. Kellomäki — колокольная горка) — поселок в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Григорий Петников (1894 — 1971) — поэт-футурист, переводчик.

Саррушка (Сарра Лебедева; 1892 — 1967) — советская художница, мастер скульптурного портрета, близкий друг семьи Мариенгофа — Никритиной.

Дуся — видимо, домработница.

Борушок (Борис Михайлович Эйхенбаум; 1886 — 1959) — советский литературовед, близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Заславский (Давид Иосифович; 1880 — 1965) — российский публицист, литературовед, литературный критик, журналист, социал-демократический, бундовский и коммунистический деятель.

Михаил Сломинский (1897 — 1972) — советский писатель.

Яков Горев (1900 — 1984) — советский разведчик.

Миша (Михаил Эмануилович Козаков; 1897 — 1954) — советский писатель и драматург, соавтор Мариенгофа, отец М. М. Козакова, близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Зоя — жена М. Э. Козакова.

Фадеев (Александр Александрович; 1901 — 1956) — советский писатель, руководитель различных писательских организация.

Шлепянов (Илья Юльевич; 1900 — 1951) — советский театральный режиссер и художник.

«Рождение», «Лермонтов» — имеется в виду пьеса Мариенгофа «Рождение поэта».

Агния Барто (1906 — 1981) — советский детский писатель, сценарист, близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Павловское лечение сном — из работы И. В. Павлова о нормальном функционировании нервной системы, как результате равновесия между торможением и возбуждением, широкое распространение получил метод лечения сном.

Курослепов — составное имя, от болезни «куриная слепота» (резкое ухудшение зрения в условиях пониженной освещенности).

Николай Никитин (1895—1963) — советский писатель, драматург, сценарист.

Ренэ — видимо, жена Николая Никитина.

Репин — скорее всего, Николай Никитович (1932 — по настоящее время) — советский живописец.

Шостакович (Дмитрий Дмитриевич; 1906—1975) — советский композитор, пианист, педагог и общественный деятель, близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Нина Васильевна (1909—1954) — первая жена Шостаковича.

Максим (1938 — по настоящее время), *Галя* — дети Шостаковича.

Казико (Ольга Георгиевна; 1900—1963) — советская актриса Ленинградского Большого Драматического театра.

Софроновы — видимо, Эвелина Сергеевна и Анатолий Владимирович (1911—1990) — советский писатель, поэт, публицист, сценарист и драматург.

Шварц (Евгений Львович; 1896—1958) — советский писатель, драматург.

«Лапы мои молодцы» — в последние годы жизни Мариенгофа подводили ноги. Если обращаться к источникам, то в одном из писем к Г. Маквею А. Б. Никритина пишет, что после игры в волейбол, у ее мужа сильно разболелось колено — рецидив старой травмы. Помимо этого, можно прочесть целые циклы писем Мариенгофа из Пятигорска, где он проходил лечение.

Суок — роль А. Б. Никритиной в пьесе «Три Толстяка» (Ю. К. Олеша).

Рудник (Лев Сергеевич; 1906—1987) — советский режиссер театра и кино.

«Панова», «Яровая» — речь идет о ролях из спектакля «Любовь Яровая». Спектакль ЛБДТ им. М. Горького, постановленный Иваном Ефремовым по одноименной пьесе Константина Тренева в 1951 году. В 1953 спектакль был записан для телевидения.

Толстый — видимо, главный режиссер БДТ Иван Ефремов.

Кибаргина (Валентина Тихоновна; 1907—1988) — советская актриса театра и кино.

«Остров» — пьеса «Остров великих надежд» (1946—1951) Мариенгофа и Козакова.

Глебов (Анатолий Глебович; настоящая фамилия Котельников; 1899 — 1964) — советский драматург, журналист, прозаик.

Луговской — видимо, Владимир Александрович Луговской (1901 — 1957) — советский поэт.

Друзин (Валерий Павлович; 1903 — 1980) — советский литературовед, критик, литератор. Главный редактор журнала «Звезда» (1947 — 1957), где в 1951 году вышла пьеса «Остров великих надежд».

Райволово — база отдыха в Выборгском районе Ленинградской области.

«Сережа» — видимо, кот, отданный знакомым на содержание, пока Мариенгоф отдыхает в Келломяках, а Никритина с ЛБДТ на гастролях в Харькове.

Семенов — видимо, литературный работник в Реперткоме.

Рошаль (Григорий Львович; 1899 — 1983) — советский режиссер театра и кино, сценарист, педагог.

Абрамова (Анна Абрамовна; настоящая фамилия — Бруштейн; 1902-?) — советская сценаристка

Комментарии к письмам из Пятигорска

Бори, Оли, Миши и Сени — дети близких друзей семьи: [неизвестно], Ольги Пыжовой, Козаковых и [неизвестно].

Анжан — видимо, речь идет о знаменитом гримере театра и кино, который делал актеров «под Ленина».

Бабочкин (Борис Андреевич; 1904 — 1975) — актер, режиссер; в 1952 — 1953 г. — главный режиссер Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

«Доразваливает бывший Камерный» — имеется в виду Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, который был основан в 1950 году на основе таировского Камерного Театра.

Рюрик и Синеус — по норманнской теории они вместе с Трувором являются тремя братьями-варягами, призванными новгородцами для прекращения междоусобиц в Новгороде и основавшие Древнерусское государство.

Ольхина (Нина Алексеевна; 1925 — по настоящее время) — советская и российская актриса театра и кино, близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Костени Т. — актер Ростовского академического театра драмы.

Руднин — видимо, режиссер Ростовского академического театра драмы.

Гр<афиня>Шерер — имеется ввиду толстовская Анна Павлова Шерер. Так Мариенгоф называл Софью Матвеевну Аствацатурову, хозяйку пятигорской квартиры.

«Санктир» — имеется в виду сортир. Мариенгоф, видимо, воспроизводит либо диалект, либо особое произношение С. М. Аствацатуровой.

Машук — гора в северо-восточной части Пятигорска. Высота 993,7 м. Памятник природы.

Герман (Юрий Павлович; 1910 — 1967) — советский писатель, драматург, киносценарист.

«В гости к Лермонтову» — в Пятигорске находится государственный музей-заповедник «Домик Лермонтова».

Макогоненко (Георгий Пантелеймонович; 1912 — 1986) — советский литературовед, критик. Муж Ольги Берггольц.

«Дон Жуан» Сережа — сиамский кот.

«Пятигорские мамонты» — так Мариенгоф пишет о филологах, о докторах наук.

«Песни улиц» — скорее всего фильм 1950 года «Песни на улицах», реж. Марио Ланди.

«Весенние дни» — либо американский фильм 1937 года «Mauptime», либо советский — 1934 года.

Чебукиани (Вахтанг Михайлович; 1910 — 1992) — советский артист балета, балетмейстер, педагог.

Пирогов — здесь имеется в виду рассказ «Пирогов у Гарибальди».

Горбачев (Игорь Олегович; 1927 — 2003) — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. Вместе с Никритиной выступал в ЛБДТ.

Вертинский (Александр Николаевич; 1889 — 1957) — эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец.

Нагсон (Семен Яковлевич; 1862 — 1887) — русский поэт.

Солнечное (до 1948 Оллила, фин. Ollila) — курортный поселок на берегу Финского залива.

«Не пицать!» — пьеса Мариенгофа и Козакова 1941 года.

«Враги» — имеется в виду спектакль по одноименной пьесе М. Горького.

Северин — видимо, работник Реперткома.

Вспомнил нашу Вятку — имеется в виду эвакуация в Киров.

«Фигаро — тут, Фигаро — там» (Figaroqua, Figarolà) — известное выражение из либретто Стербини к опере «Севильский цирюльник» (Дж. Россини). В основе либретто пьеса

Бомарше «Женитьба Фигаро». Русский эквивалент — это пословица: наш пострел везде поспел.

Филоненко (Виктор Иосифович) — филолог-востоковед, тюрколог-лингвист, филолог-русист и литературовед, фольклорист, этнограф, профессор (1925); с 1945-го заведующий кафедрой языкознания и русского языка Пятигорского педагогического института.

Госзайм — государственная лотерея.

«*Хлопоты*» — вероятно, пьеса «Большие хлопоты» С. Л. Ленча (Леонида Сергеевича Попова; 1905–1991); режиссер — А. Л. Шапс.

Е. Б. Ж. (Если буду жив) — аббревиатура, придуманная Л. Н. Толстым. Так он обычно завершал свои письма.

Открытка и закрытка — вероятно, вскрытое и невскрытое письмо.

Лукулоски — Лукулл Луций Лициний (около 117 — около 56 до н. э.), римский полководец и политический деятель. Лукуллов пир — изобильный и изысканный стол с множеством блюд. Писатель Варрон свидетельствует: «Повара богачей жарили павлинов с острова Самос, рябчиков из Азии, журавлей из Греции. Закусывали устрицами из Южной Италии, на сладкое подавали египетские финики».

«*Кукушка*» — одноактная пьеса, написанная специально для А. Б. Никритиной. Была напечатана в сборнике «Маленькие комедии» (1957).

Арапство — мошенничество.

Полицеймако (Виталий Павлович; настоящая фамилия Полицеймакос; 1906–1967) — советский актер театра и кино.

Соколовский (Семен Григорьевич; 1921–1995) — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Комментарии к письмам разных лет

Глазков (Николай Иванович; 1919–1979) — советский поэт, основоположник самиздата («сам-себя-издата»); посвятил Мариенгофу два стихотворения.

О Петре будут еще разговоры — речь идет о пьесе «Совершенная Виктория» (1943).

Осип Брик (1888–1945) — советский литератор, литературовед и литературный критик.

Лиля Брик (1891–1978) — любимая женщина и муза Владимира Маяковского.

Симонов (Константин (Кирилл) Михайлович; 1915—1979) — советский писатель, поэт.

Смотрел в «Лебедином» — «Лебединое озеро».

Дугинская (Наталия Михайловна; 1912—2003) — советская балерина.

Уланова (Галина Сергеевна; 1909—1998) — советская балерина, друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Преображенская (Ольга Иосифовна; 1871—1962) — советская балерина, педагог.

За «Шута» получил... — имеется в виду пьеса «Шут Балакирев» (1938—1940).

«Куранты» — имеется в виду пьеса Н. Ф. Погодина «Кремлевские куранты» (1939). Впервые поставлена Ленинградским Большим драматическим театром в 1940 году. К 1942 году она была в репертуаре 300 театров. В 1943 году шла в постановке Л. В. Рудника.

Глафира — роль в пьесе М. Горького «Достигаев и другие».

Барто (Агния Львовна; 1906—1981) — советская детская поэтесса, писательница, киносценаристка; близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Щегляев (Андрей Владимирович; 1902—1970) — советский инженер, механик и ученый-теплоэнергетик, выдающийся деятель Высшей школы. Доктор технических наук (1948), профессор (1946), член-корреспондент Академии наук СССР (1953); муж А. Л. Барто; близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Питоев (Георгий Питоев, или Жорж Питоев; 1885—1939) — русский и французский актер и театральный режиссер.

Образцов (Сергей Владимирович; 1901—1992) — советский актер и режиссер кукольного театра, театральный деятель; близкий друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

Магам Черкасова — скорее всего, имеется в виду баронесса, гофмейстерина императрицы Елизаветы Петровны Екатерина Ивановна Черкасова (1727—1797).

Сема (Соломон Борисович Никритин; 1898—1965) — советский художник, теоретик искусства, представитель пост-футуристического авангарда; ученик Л. О. Пастернака; брат А. Б. Никритиной.

«Мосх» — Московский союз художников.

Завагский (Юрий Александрович; 1894—1977) — советский актер и режиссер, педагог; с 1940 года был главным режиссером Театра им. Моссовета (занимал этот пост до конца жизни).

Майоров (Сергей Арсеньевич; 1903 — 1973) — советский театральный режиссер; в 1946 — 1958 гг. Майоров возглавлял Московский драматический театр (Театра на Малой Бронной).

Бродский (Николай Леонтьевич; 1881 — 1951) — советский литературовед.

Лобанов (Андрей Михайлович; 1900 — 1959) — советский театральный режиссер и педагог. В 1945 — 1958 гг. был главным режиссером Театра им. М. Н. Ермоловой. Также ставил спектакли в Московском театре Сатиры.

Уланова (Галина Сергеевна; 1909 — 1998) — советская балерина; жена Ю. А. Завадского; друг семьи Мариенгофа-Никритиной.

«Маскарад» — пьеса М. Ю. Лермонтова (1835).

Оля — имеется в виду Н. А. Ольхина, которая некоторое время жила в семье Мариенгофа-Никритиной.

Сафронов — видимо, Софронов (Анатолий Владимирович; 1911 — 1990) — советский писатель, поэт, публицист, сценарист и драматург.

Пименов — предыдущий начальник Театрального управления в Реперткоме, работавший с Мариенгофом до Северина.

Кассиль (Лев Абрамович; 1905 — 1970) — советский писатель, член-корреспондент АПН СССР.

Михалков (Сергей Владимирович; 1913 — 2009) — советский писатель, поэт, драматург, автор текстов гимнов Советского Союза и гимна Российской Федерации, председатель Союза писателей РСФСР.

Комиссаржевский (Виктор Григорьевич; 1912 — 1981) — актер, режиссер театра и кино, театральный критик. С 1934 года — актер и режиссер Московского театра-студии под руководством Николая Хмелева (с 1937 — театр имени Ермоловой).

Габович (Александр Маркович; 1907 — 1974) — советский актер, режиссер; 1926 — 1937 работал актером в Театре-студии Рубена Симонова, где также заведовал учебной частью. 1939 — 1956 — актер Вахтанговского театра и его Фронтowego филиала.

Симонов (Рубен Николаевич; 1899 — 1968) — советский актер, режиссер театра и кино, педагог. С 1939 года и до конца жизни Симонов занимал должность главного режиссера Театра им. Вахтангова.

Козьмин — видимо, Козьмин Борис Павлович (1888 — 1958) — историк, доктор исторических наук. Исследования и публикации по истории общественной мысли и революцион-

ного движения в России XIX в. Редактор сочинений А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и др.

Бялый (Григорий Абрамович; 1905) — советский литературовед; автор статей о Г. И. Успенском, В. Г. Короленко, А. П. Чехове, об общих проблемах историко-литературного процесса XIX в.

Эрдман (Николай Робертович; 1900 — 1970) — советский драматург, поэт, киносценарист; вместе с Мариенгофом входил в Московский Орден имажинистов.

Вольпин — скорее всего, Михаил Давыдович Вольпин (1902 — 1988) — советский драматург, поэт и киносценарист; соавтор Н. Р. Эрдмана по ряду пьес и киносценариев.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
«Без фигового листочка»	43

СТИХИ

Витрина сердца.....	51
Из альманаха «Явь».....	56
Кондитерская солнц	65
Магдалина.....	69
Развратничаю с вдохновением.....	81
Стихами чванствую	89
Из рукописного сборника «Это любовь»)	100
Тучелет	103
Разочарование	119
После грозы.....	128
Сергею Есенину	137
Шуточные	144
Парижские стихи.....	149
Поэма четырех глав	154
Из рукописного сборника «Анне Никритиной)	168
Из рукописного сборника «Стихи о любви»	177
Из цикла «Современные романсы).....	191
Стихи 1917 – 1939 годов	194
Поэмы войны	213
Пять баллад.....	253
Из рукописного сборника «После этого).....	271
Стихи 1940 – 1962 годов	279
Поэт и женщины	293
Из рукописного сборника «Стихи разных лет)	301
Стихи из разных архивов	303

ДРАМЫ

Заговор дураков.....	307
Шут Балакирев.....	351
Актер со шпагой	492

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Такса-Клякса	613
Мяч-проказник	615
Бобка-физкультурник	617

ОЧЕРКИ, СТАТЬИ

Полтора месяца на шхуне «Утро»	623
Велемир Хлебников	629
Имажинизм	631
Буян-Остров	634
Да, поэты для театра.....	641
Корова и апельсина	643
Почти декларация	649
И в хвост и в гриву	654
Процесс правых казнов. День 1666-й.....	657

КОЛЛЕКТИВНОЕ: МАНИФЕСТЫ И ПИСЬМА

Декларация имажинистов	663
Манифест	667
Не передовица	668
Своевременные размышления.....	671
Восемь пунктов.....	675
Коллективное письмо: ответ на роспуск Ордена имажинистов Есениным и Грузиновым.....	678
Протокол из учредительного собрания общества «Литература и быт».....	679

ПИСЬМА

Письмо Сергею Есенину	683
Письмо Александру Кусикову.....	689
Письма Рюрику Ивневу	690
Письма Анне Никритиной.....	694
Комментарии	741

Анатолий Борисович Мариенгоф

Собрание сочинений в трех томах

ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор *О Хвилько*

Художественный редактор *А. Балашова*

Технический редактор *О Стоскова*

Корректоры *Е Пастухова, Г. Кузьмина, Л. Кузьмина*

Компьютерная верстка *А. Деева*

Подписано в печать 16.08 13 г

Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная

Гарнитура «Балтика» Печать офсетная.

Усл печ. л. 41,16 + 0,5 вкл. Уч -изд. л. 39,03 + вкл

Книжный Клуб Книговек.

127206, Москва, Чуксин тупик, 9.

www.terra.su

Отпечатано BALTO print

www.balto.lt

www.baltoprint.ru

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0737-8



9 785422 407378